prose_military
prose_su_classics

Андрей
Платонович
Платонов

Всеволод
Вячеславович
Иванов

Сергей
Николаевич
Сергеев-Ценский

Викентий
Викентьевич
Вересаев

Лидия
Николаевна
Сейфуллина

Юрий
Львович
Слёзкин
внук

Валентин
Владимирович
Овечкин

Михаил
Михайлович
Пришвин

Николай
Евгеньевич
Вирта

Сергей
Петрович
Антонов

Павел
Петрович
Бажов

Вячеслав
Яковлевич
Шишков

Галина
Евгеньевна
Николаева

Борис
Андреевич
Лавренёв

Леонид
Сергеевич
Соболев

Алексей
Николаевич
Толстой

Аркадий
Петрович
Гайдар

Валентин
Петрович
Катаев

Николай
Александрович
Асанов

Юрий
Маркович
Нагибин

Константин
Георгиевич
Паустовский

Константин
Александрович
Федин

Вадим
Михайлович
Кожевников

Александр
Серафимович
Серафимович

Владимир
Германович
Лидин

Александр
Трифонович
Твардовский

Борис
Николаевич
Полевой

Николай
Семенович
Тихонов

Борис
Леонтьевич
Горбатов

Михаил
Александрович
Шолохов

Константин
Михайлович
Симонов

Федор
Васильевич
Гладков

Антология русского советского рассказа (40-е годы)

В сборник вошли лучшие рассказы 40-х годов наиболее известных советских писателей: М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, А. Платонова, Б. Полевого и других.


Антология русского
советского рассказа (40-е годы)

ru

oldtimer

ABBYY FineReader 12, FictionBook Editor Release 2.6.6
2017-04-05
ABBYY FineReader 12
{1746E16E-2F82-4F66-8EB9-08AF0AC63DA2}
2.0

v. 1.0 — scan: Kreyder 05.03.2017
v. 2.0 — fb2 convert: oldtimer

Современник
1987

Серия «Сельская библиотека Нечерноземья» Общественная редакционная коллегия: Дементьев В. В. — председатель, Акулов И. И., Белов В. И., Васильев И. А., Викулов С. В., Воронин С. А., Грибов Ю. Т., Гусев Г. М., Шкаев В. В., Шуртаков С. И. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний: Сергей Иванович Журавлев Редактор: О. Владимирская Художественный редактор: Е. Андреева Технический редактор: В. Соколова Корректоры: Г. Панова, А. Володина Подписано к печати 25.08.87. Тираж 300 000 Цена 3 р. 10 к.

Антология русского советского рассказа (40-е годы)

Голос героической души народа

Литература 40-х годов, опаленная огнем жесточайшей войны, — явление в мировом искусстве уникальное. И дело здесь не только в высоких художественных достоинствах появившихся тогда произведений, в их неоспоримо огромном влиянии на весь дальнейший литературный процесс, на последующие достижения прозы, поэзии, драматургии. Поражает удивительная органичность и целеустремленность литературы того времени, полнейшая гражданская и творческая самоотдача художников слова, неразрывное слияние их мыслей и чувств с духовными устремлениями всего народа.

«Дух народа, как и дух честного человека, выказывается вполне только в критические минуты…» — писал в свое время В. Г. Белинский. И когда такие минуты настали, советские литераторы не мыслили себе иной судьбы, чем судьба их Родины. На следующий же день после начала войны Михаил Шолохов телеграфировал правительству о сдаче в Фонд обороны Государственной премии, присужденной ему за роман «Тихий Дон», и выразил готовность «стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину».

В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии встали: М. Шолохов и Л. Соболев, А. Фадеев и А. Твардовский, В. Вишневский и Н. Тихонов, А. Гайдар и Б. Лавренев, К. Симонов и Б. Горбатов, В. Кочетов и Б. Полевой, А. Сурков и А. Платонов, А. Софронов и В. Лебедев-Кумач… Свыше 1000 писателей были на фронтах Великой Отечественной, «пером и автоматом» защищая родную землю, более 350 из них пали на полях сражений. Восемнадцать

литераторов удостоены звания Героев Советского Союза. Выезжали на фронт и активно работали в печати и те, кто по разным причинам не смог надеть военную форму — Л. Леонов, А. Толстой, А. Серафимович, В. Панферов, И. Эренбург, В. Шишков и другие художники слова. Литературные произведения тех лет рождались в буквальном смысле слова в огне боев и грохоте сражений. «Война открыла новый этап — новый период, — говорил Алексей Толстой. — Казалось бы, грохот войны должен заглушать голос поэта, должен огрублять, упрощать литературу, укладывать ее в узкую щель окопа.

…Советская литература в дни войны становится истинным народным искусством, голосом героической души народа. Она находит слова правды, высокохудожественной формы и ту божественную меру, которая свойственна народному искусству».

Но этот новый и совершенно особый этап, который отмечает А. Толстой и который справедливо выделяется историками советской литературы, неверно было бы воспринимать изолированно, вне глубинных традиций всей отечественной словесности. Вглядываясь в развитие нашей литературы, отчетливо видишь, что всю ее, начиная с древних летописей, как ни одну другую литературу мира, буквально пронизывает пафос любви к Родине, готовность защищать ее, не щадя жизни.

И как массовый героизм советского народа возник не на пустом месте — за ним, кроме цементирующей силы большевистской партии, нового социального строя, опыта революции и гражданской войны, стоял еще и из дали веков идущий патриотизм нашего народа, так и литература военных лет прочно опиралась на патриотические традиции русской словесности. И не случайно именно в годы войны особенно ярко проступила неразрывная кровная связь советского искусства с многовековой отечественной культурой.

> Преемственность сказывалась и в обращении художников слова к героическому прошлому нашей страны, к славным именам великих предков, и в утверждении патриотизма и национальной гордости как центральной, стержневой идеи искусства. Да и сам подход к освоению и отображению героической действительности прочно опирался на философско-эстетический опыт предшественников. И когда мы вчитываемся в высказывание Алексея Толстого о «нравственных категориях», приобретающих «решающую роль в этой войне», мы невольно вспоминаем и слова другого Толстого — Льва, гениально точно обозначившего эти важнейшие для русского человека категории: «Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за звания, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая высокая побудительная причина.
>
> И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого — любовь к родине
>
> …»

Существенную роль в мобилизации советской литературы на решительную борьбу с врагом сыграл и тот неоценимый опыт, который приобрела она в 20–30-е годы. Выдающиеся произведения М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, Л. Леонова, А. Фадеева, А. Толстого не только отразили события революции, гражданской войны, первых пятилеток, не только утвердили в нашей литературе метод социалистического реализма, но еще и наглядно показали значение художника-творца в жизни народа, его высокую ответственность за судьбы страны и всего мира. Именно поэтому, наверное, литература наша уже в начале 30-х годов, когда фашизм только поднимал еще голову, начала бескомпромиссную борьбу с ним, показывая всю гнусность идеологических и политических его устремлений. «Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову с его позвонков, — заявлял Алексей Максимович Горький, — это уже не зверь, а что-то несравнимо хуже зверя — это — безумное животное, подлежащее уничтожению». Великий пролетарский писатель, возглавивший в начале 30-х годов международное движение интеллигенции против фашизма, обостренным чутьем художника-гуманиста почти за десятилетие до нападения гитлеровцев на нашу страну почувствовал

неизбежность этого конфликта. И уже тогда, заявляя о том, что, если вспыхнет война «против того класса, силами которого я живу и работаю, я тоже пойду рядовым бойцом в его армию», он говорил не только от своего имени, но выражал чувства и волю всей советской интеллигенции, которая, как уже отмечалось, делом доказала и подтвердила искренность этих слов.
Выступления М. Горького против фашизма, очерки и статьи А. Толстого, А. Кольцова, И. Эренбурга, К. Симонова о событиях в Испании, предвоенные антифашистские рассказы А. Платонова, М. Пришвина и других писателей весомо помогли нашей литературе с первых дней войны мобилизоваться и начать работать «по законам военного времени».
Обстановка требовала мгновенной реакции, немедленного отклика на стремительно развивающиеся события. Не случайно такую роль стали играть газетные издания, на страницах которых и печатались многие из появившихся тогда литературных произведений. Кроме центральных и областных газет большое распространение получила армейская пресса. По подсчетам исследователей, к началу 1942 года в стране издавалось 19 фронтовых, 93 армейских и корпусных, 70 флотских газет и несколько сот дивизионных. Единовременный тираж военной печати превысил три миллиона экземпляров. Кроме того, за линией фронта издавалось 270 партизанских и подпольных изданий.
«Пришлите снарядов и газет», — писали бойцы с фронта.
Действенность информации определялась ее оперативностью, а оперативность требовала соответствующих жанровых форм. Потому-то столь созвучны времени стали «малые жанры» прозы — корреспонденция с мест событий, фронтовая зарисовка, публицистическая статья, очерк и, конечно же, рассказ, занявший с первых месяцев войны если не центральное, то весьма и весьма заметное место в литературе тех лет. О популярности рассказа у читателей говорит и тот факт, что лучшие из них издавались и переиздавались множество раз. Знаменитая шолоховская «Наука ненависти», например, с момента первой публикации и до конца войны выдержала 46 изданий. Ее читала, — по высказыванию Н. Тихонова, — вся армия, а «наша армия сегодня — это вооруженный народ».
Причем рассказ военных лет — опять же в силу своеобразия времени и особых задач, стоявших перед литературой, — часто не укладывался в привычные рамки «классической» формы. Он как бы раздвигал и «размывал» собственные — тесные ему теперь — жанровые границы. Художественный вымысел, сплошь и рядом органически соединяясь с документальной основой, с действительно происходившими событиями, сближал рассказ с очерком; повышенная экспрессивность и эмоциональность новеллистики военных лет были сродни публицистике; а стремление художников слова философски осмыслить судьбу народа на переломном, критическом этапе его истории, исследовать глубины национального характера делало рассказ похожим в чем-то на повесть. Не случайно ту же «Науку ненависти» называли, да и сейчас называют, то рассказом, то очерком, то повестью, то рассказом-очерком; «Ночь летнего солнцестояния» Л. Соболева — рассказом и повестью; а в циклах рассказов «Морская душа» того же Л. Соболева, «Черты советского человека» Н. Тихонова, «Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого некоторые видят «зачаточные формы» повести.
Но подобная «размытость», неопределенность и неустойчивость жанровых форм, довольно обычные для рассказа военных лет, отнюдь не говорят о его художественном несовершенстве. Напротив даже. В этом, в общем-то частном, случае советская литература в который уже раз проявила свою новаторскую сущность, показала присущую ей животворную силу, способность мгновенно откликаться на запросы времени и духовные нужды народа и, не сковывая себя тесными рамками, развивать тем самым лучшие традиции отечественной словесности.
О значении рассказа в литературе военных лет, да и 40-х годов в целом, говорит и то, что почти все художники, активно работавшие в те годы, отдали ему немалую дань в своем творчестве. Конечно, ни один, даже весьма объемный, том не способен вместить в себя всего богатства живого литературного процесса целого десятилетия, даже ограничившись рамками одного жанра, как не способен охватить и всех писателей, выступавших тогда с рассказами. Но если мы вглядимся в представленные в данной антологии имена, то убедимся, что в этом жанре работали как художники старшего поколения, так и только что вступившие в литературу, как знаменитые мастера слова, так и писатели, мало еще кому тогда известные.

Антология составлена в основном по хронологическому принципу, с учетом времени первой публикации включенных в нее рассказов

[1]
. Это помогает не только нагляднее представить себе внутреннее движение и развитие жанра, но и увидеть, как менялся и углублялся принцип изображения человека на войне.

Вроде бы и не такое большое время — меньше года — отделяет появление открывающего данный сборник рассказа «Ночь летнего солнцестояния» Л. Соболева от первой публикации «Науки ненависти». Но какова разница в восприятии героями происходящего, в его глубинном осознании! И дело здесь не в разнице дарований, не только в том, что «Наука ненависти» принадлежит перу гениального художника. Главную роль играло здесь само время. Оно вносило свои коррективы, наглядно показывая всю смертельную бескомпромиссность идущей борьбы. И если «сухой и грозный» жар всего как несколько часов начавшейся войны пока лишь «иссушил… живое, почти мальчишеское лицо» командира тральщика, старшего лейтенанта Николая Новикова, главного героя рассказа Л. Соболева, «стянул молодую кожу глубокой складкой у бровей, отнял у глаз их влажный юношеский блеск, сухими сделал полные губы», то шолоховского лейтенанта Герасимова, воюющего уже несколько месяцев и успевшего испытать горечь отступлений, ужас и стыд фашистской неволи, война
прожгла насквозь
, до самых глубин души.

Лейтенант Герасимов — это уже народ, воюющий в полную силу и в полную меру ненависти. «Всякие виды мне приходилось видывать, — говорит о Герасимове политрук, — но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли — это страшно!»
И когда Герасимов размышляет о любви к Родине, которая «хранится у нас в сердце», и о ненависти, «которую мы носим на кончиках штыков», он выражает чувство всего народа.
С этим чувством будут жить герои многих произведений военных, да и последующих лет. И не только жить, но драться и умирать, как, например, политрук Фильченко в рассказе А. Платонова «Одухотворенные люди», бросившийся с гранатой под танк и приникший к земле с последним вздохом «любви и ненависти».
В такой прямой и бескомпромиссной постановке вопроса, в соединении и предельном сближении резко полярных понятий наша литература еще раз показала свою творческую силу, неисчерпаемые возможности метода социалистического реализма. «Вот опять, — писал в те годы Л. Леонов, — матерый враг России пробует силу и крепость твою, русский человек. Он пристально ищет твое сердце поверх мушки своей винтовки, или в прицельной трубке орудия, или из смотровой танковой щели. Неутомимую бессонную ненависть читаешь ты в его прищуренном глазу. Это и есть тот, убить которого повелела тебе родина. Не горячись, бей с холодком: холодная ярость метче…» «Бей его, проклятого зверя, вставшего над Европой и замахнувшегося на твое будущее…»

Основной отличительной чертой рассказа военных лет, как, впрочем, и всей литературы той поры, является ярко выраженный
героический пафос
. Причем пафос этот не был чем-то искусственно-обязательным, сковывающим свободу художественного поиска. Героикой была буквально пронизана тогдашняя жизнь страны, и не только на фронте, но и в тылу (рассказ Ф. Гладкова «Маша из Заполья»), и естественно, что писатели пытались отразить ее в своих произведениях, следуя природному складу и своеобразию собственного таланта, используя различные темы, сюжеты, художественные приемы.

В романтически-приподнятом ключе ведет рассказ о людях, «в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы», Л. Соболев. Уже само название цикла его новелл («Морская душа») как бы задает тон всему повествованию. Решительность, находчивость, стойкость, удаль, презрение к смерти, огромная любовь к жизни, стремление к победе — вот качества, отличающие его героев, которых писатель любит и которыми любуется.

Приподнятому настрою рассказов соответствует их лексика («И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл»).

Иные задачи ставит перед собой А. Платонов в философском рассказе «Одухотворенные люди». В реалистически строгий тон его повествования органически вплетаются романтические строки, которые в свою очередь сменяются натуралистически выписанными эпизодами. И все это подчинено главной цели — «заглянуть в душу» солдата, и не столько попытаться описать его подвиг (хотя и этому А. Платонов уделяет достаточно внимания), сколько осмыслить побудительные причины героического деяния, выявить духовные его корни. И потому герои А. Платонова — комиссар Поликарпов, матрос Цибулько, Красносельский, Паршин, Одинцов, политрук Фильченко, да и другие — это всегда одухотворенные люди, вступившие в смертный бой со своим нравственным антиподом — неодушевленным врагом (вспомним название другого рассказа писателя), которого А. Платонов сравнивает с «движущимся мертвяком с пустой душой, убивающего всех живущих». И это противопоставление очень точно отражало реальность того времени, глубинную сущность единоборства нашего народа с фашизмом.

В своеобразной, органично свойственной ему сказовой манере продолжает работать П. Бажов. И хотя его сказы, помещенные в антологию, на первый взгляд и не связаны прямо с войной, с темой подвига, они имеют к ним самое непосредственное отношение. Глубоко и талантливо П. Бажов раскрывает внутреннюю сущность русского человека — его доброту, чистосердечие, природное миролюбие, тягу к труду, который не является для него только лишь необходимостью, но еще и радостью, вдохновенной творческой потребностью. Именно это — творчески одухотворенное — начало русского человека и позволяет ему (рассказ «Иванко Крылатко») победить в соревновании с заезжим немцем. И победа эта глубоко символична.

Не изменяет своему дару «мудрец и поэт» М. Пришвин. Картины родной природы, рисуемые им, то радостны, то печальны, но всегда они созвучны и дороги душе человека, особенно душе настрадавшейся, тянущейся к чему-то дорогому и близкому. Рассказы М. Пришвина, дышащие ароматом полей, наполненные шелестом листвы дубрав и пением птиц, заставляют человека глубже задуматься о родине, пристальнее вглядеться в нее, лучше узнать и еще больше полюбить…

Все эти примеры еще раз подчеркивают разнообразие творческих поисков литературы тех лет, своеобычность дарований рассказчиков, оригинальность их подхода к жизненному материалу. Примеры эти можно было бы умножить. Но вряд ли стоит это делать. Читатель сам сможет убедиться, насколько полнокровен, богат жизненным материалом и красками рассказ 40-х годов.

Тема Родины, национальной гордости, тема русского характера, с новой силой возродившаяся в нашей литературе, достигает во время Отечественной войны своего наиболее яркого воплощения. «Советская литература… — утверждал А. Толстой, — от пафоса космополитизма — пришла к родине, как одной из самых глубоких и поэтических своих тем».

Тема эта так или иначе проходит через большинство рассказов, являясь одним из важнейших слагаемых в осмыслении писателями героизма советского народа.

Проблема национального характера, из дали веков идущего патриотизма русского человека ясно ощутима в «Науке ненависти» М. Шолохова.

«Кипящую в нем гордую и вольную русскую душу», которую «ни оплевать, ни растоптать, ни унизить нельзя», остро чувствует Алексей Куликов. Он, как и его товарищи, идет жестоким и кровавым «крестным путем русского народа», становится не только бесстрашным бойцом, но и человеком, осознающим свою гражданскую и историческую ответственность за судьбу родины (Б. Горбатов. «Алексей Куликов, боец»).

Дерутся с врагом, как «спокон веку дрались русские, — до последнего человека, а последний человек — до последней капли крови и До последнего дыхания», моряки А. Платонова («Одухотворенные люди»).

Ощущает свою связь с национально-героическими традициями прошлого майор Дорошенко в «Возвращении» Б. Горбатова. Как тяжкий укор воспринимает он слова незнакомого ему деда, швырнувшего на землю свои «Георгии» со словами: «Ироды… опозорили вы русскую славу…» Но особенно рельефно проблема русского национального характера выступила на страницах «Рассказов Ивана Сударева» А. Толстого. Герои проверяются здесь на человеческую стойкость, воинскую доблесть, нравственную силу в самых жесточайших испытаниях. Они как бы держат экзамен, проходя «великое историческое испытание». И экзаменует их не только настоящее, но и прошлое, которое для них свято и дорого: «На древних погостах деды наши поднялись из гробов — слушать, что мы ответим. Нам решать! Святыни русские, взорванные немцами, размахивают колокольными языками».
Различны судьбы у этих героев, различен их жизненный и военный опыт. Есть среди них люди старые и молодые, передовые и не очень, мужчины и женщины. Но при всей разнице их судеб и житейских взглядов есть для них нечто общее: убеждение в том, что «правда есть — русская земля»…
И как бы подводя итог своим размышлениям, скажет в заключение рассказа «Русский характер» А. Толстой о своих героях — современниках: «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота».
Тема войны и народного героизма не исчезнет из произведений последующих лет, оставаясь до сего дня одной из центральных во всей советской литературе. Ведущее место занимает она и в рассказах второй половины 40-х годов («Ваганов» Ю. Нагибина, «Братство» В. Лидина, «Мы — советские люди» Б. Полевого). Но жизнь ставила перед народом уже иные задачи — восстановления разрушенного войной хозяйства, скорейшего налаживания быта людей, и литература не могла не откликнуться на это требование времени. И потому тема мирного труда советского человека начинает занимать все более и более существенное место в рассказе послевоенного времени. Причем, — и в этом видится величайшая художническая чуткость к правде наших писателей, — труд этот приравнивается к воинскому подвигу. Таким образом, героическое начало, свойственное рассказу военных лет, сохранило свою традицию и в последующих сугубо мирных рассказах. И наиболее характерный пример тому — рассказ-очерк А. Твардовского «В родных местах». Приехав на «малую» свою родину, понаблюдав жизнь знакомых и незнакомых ему людей, писатель не скрывает своей гордости за них, прямо говоря, что и теперешняя их жизнь — это подвиг, «…все вместе — и пятиэтажные здания… и самодельные кирпичные домики… и Мартыненкова изба, ровесница не только этих строек, но и крупнейших послевоенных сооружений в стране, — все это вместе панорама великого всенародного труда, пришедшего на смену такому же великому воинскому труду».

Конечно, ошибочно было бы представлять развитие русского советского рассказа 40-х годов как некую поднимающуюся вверх прямую. Были здесь и свои неудачи, творческие просчеты. Не все равноценно и в предлагаемой читателю антологии. Но несомненно одно — искренность художников слова. А их произведения — и шедевры М. Шолохова и А. Толстого, и рассказы других писателей — это художественная и жизненная правда того нелегкого, сурового, но героически-прекрасного времени. Это, — вспомним еще раз А. Толстого, — «голос героической души народа».

Сергей Журавлев

Леонид Соболев

Ночь летнего солнцестояния

Пора было спуститься поужинать, но старший лейтенант оставался на мостике, вглядываясь в дымчатый горизонт балтийской белой ночи.

Высокий и светлый купол неба, где мягко смешивались нежные тона, легко и невесомо опирался на гладкую штилевую воду. Она светилась розовыми отблесками. Солнце, зайдя, пробиралось под самым горизонтом, готовое вновь подняться, и просторное бледное зарево стояло над морем, охватив всю северную часть неба. Только на юге сгущалась над берегом неясная фиолетовая дымка. Наступала самая короткая ночь в году, ночь на двадцать второе июня.

Но для тральщика это была просто третья ночь беспокойного дозора.

Тральщик крейсировал в Финском заливе, обязанный все видеть и все замечать. Здесь проходила невидимая на воде линия границы, и все, что было к югу от нее, было запретно для чужих кораблей, самолетов, шлюпок и пловцов. Вода к северу от нее была «ничьей водой». Эта «ничья вода» была древней дорогой торговли и культуры, но она же была не менее древней дорогой войны. Поэтому и там надо было следить, не собирается ли кто-либо свернуть к советским берегам: морская дорога вела из Европы, в Европе полыхала война, а всякий большой пожар разбрасывает опасные искры.

Дозор выпал беспокойный. Две ночи подряд тральщик наблюдал необычайное оживление в западной части Финского залива. Один, за другим шли там на юг большие транспорты. Высоко поднятые над водой борта показывали, что они идут пустыми, оставив где-то свой груз, но торопливость, с которой они уходили, была подозрительной. Тральщик нагонял их, подходил вплотную, и на каждом из них был виден на корме наспех замазанный порт приписки — Штеттин, Гамбург, а сверху немецких — грубо намалеванные финские названия кораблей. С мостиков смотрели беспокойные лица немецких капитанов, а над ними на гафеле торопливо подымался финский флаг. Странный маскарад…

Все это заставляло насторожиться. Поэтому к ночи тральщик снова повернул на запад, поближе к «большой дороге», и старший лейтенант, рассматривая с мостика горизонт, интересовался вовсе не красками белой ночи, а силуэтами встречных кораблей.

Очевидно, он что-то увидел, потому что, не отрывая глаз от бинокля, нащупал ручки машинного телеграфа и передвинул их на «самый полный». Тральщик в ответ задрожал всем своим небольшим, но ладно сбитым телом, и под форштевнем, шипя, встал высокий пенистый бурун.

— Право на борт, — сказал лейтенант, не повышая голоса. На мостике все было рядом — компас, рулевой, штурманский столик с картами. И только два сигнальщика, сидевшие на разножках у рогатых стереотруб, были далеко друг от друга: они были на самых краях мостика, раскинувшегося над палубой от борта до борта, — два широко расставленных глаза корабля, охватывающие весь горизонт. Старший лейтенант наклонился над компасом, взял по нему направление на далекий транспорт и продолжил этот пеленг на карте. Он наметил точку встречи и назвал рулевому новый курс.

На мостик поднялся старший политрук Костин, — резкое увеличение хода вызвало его наверх, оторвав от позднего вечернего чая (который вернее было бы назвать ночным). Он тоже поднял бинокль к глазам и всмотрелся.

— Непонятный курс, — сказал он потом. — Идет прямо на берег… Куда это он целится? В бухту?

Он обернулся к командиру, но, увидев, что тот, шевеля губами, шагнул от компаса к штурманскому столику, замолчал. Не следует задавать вопросы человеку, который несет в голове пеленги: бормоча цифры, тот посмотрит на вас отсутствующим взглядом, еще пытаясь удержать в голове четвертушки градусов, потом отчаянно махнет рукой и скажет: «Ну вот… забыл…» — и вам будет неприятность. Поэтому старший политрук дождался, пока цифры не превратились в тонкие линии на карте, и тогда наклонился над маленьким кружком — местом тральщика в море. Командир провел на западе еще одну линию — курс замеченного транспорта. Она уперлась в восточный проход мимо банки с длинным названием «Эбатрудус-матала».

— Вот куда он идет. Понятно? — сказал он и выразительно взглянул на старшего политрука.

Проход был в «ничьей воде». Он лежал далеко в стороне от большой дороги в Балтику, и транспорту, если он не терпит бедствия, решительно нечего было тут делать. Но проход этот, узкий и длинный, был кратчайшим путем из прибрежной советской бухты в Финский залив. Второй выход из нее вел далеко на запад, в Балтику. Старший политрук понимающе кивнул головой и посмотрел на счетчик оборотов (стрелки их дрожали у предельной цифры), потом опять поднял бинокль.
— Пустой, — сказал он, вглядываясь, — наверное, опять из этих, перекрашенный… Продали они их финнам, что ли? И какого черта ему идти этим проходом, это же ему много дальше? — Он посмотрел на карту. — «Матала» — банка, а «Эбатрудус»? Знакомое что-то слово, а какая-то пакость… Забыл…
Старший политрук учился говорить по-эстонски и тренировался на всем: на вывесках, на встречных лайбах, на газетах и названиях маяков и банок. Он еще пошептал это слово, как бы подкидывая его на языке и беря на вкус, и неожиданно закончил:
— Надо догнать, командир. Ряженый. От него всего жди.
— Догоним, — ответил старший лейтенант. Он вновь взял пеленг на далекий силуэт и подправил курс.
Тральщик полным ходом шел к точке встречи. Легкий ветер, рожденный скоростью, шевелил на мостике ленточки на бескозырках сигнальщиков. Один из них, не отрываясь, смотрел на транспорт, второй, с левого борта, медленно обводил своей рогатой трубой горизонт. На мостике молчали, выжидая сближения с транспортом. Потом старший политрук огорченно вздохнул.
— Нет, не вспомнить, — сказал он и достал потрепанный карманный словарик. Он полистал его (на мостике было совершенно светло) и радостно докончил: — Говорил я, что пакость! «Вероломство», вот что! Банка Вероломная, или Предательская, как хочешь.
— Никак не хочу, — сердито ответил командир, и оба опять замолчали, вглядываясь в транспорт. В бинокль он уже был виден в подробностях — большой и высокий. Гребной винт, взбивая пену, крутился близко от поверхности воды, как это бывает у незагруженного корабля. Транспорт упорно шел к проходу. Через час он мог быть там.
— Слева на траверзе три подводные лодки! Восемьдесят кабельтовых, — вдруг громко сказал сигнальщик на левом крыле.
Командир и политрук одновременно повернулись и вскинули бинокли. Много правее розового зарева низко на воде виднелись три узкие высокие рубки. Лодки, очевидно, были в позиционном положении. Но сигнальщик торопливо поправился:
— Финские катера, товарищ старший лейтенант. — И добавил, оправдываясь: — Рубки очень похожие, а палуба низкая… Три шюцкоровских катера, курс зюйд.
Старший лейтенант пригнулся к компасу и быстро перешел к карте. Он прикинул на ней место катеров и задумался, постукивая карандашом по ладони. Старший политрук молчал: не надо мешать командиру принимать решение. Но, стоя рядом с командиром, Костин тоже оценивал обстановку и думал, как бы он сам поступил на его месте.
Обстановка была сложной: слева — военные катера чужой страны шли на юг к невидимой линии границы, справа — торговый транспорт, перекрашенный и под чужим флагом, шел к важному проходу в «ничьей воде». Тральщик мог повернуть только вправо или влево, — проследить одновременно действия подозрительных гостей он не мог. Давать радио о помощи было бесполезно, даже самолет запоздал бы к месту происшествия. Оставалось решать, куда важнее идти: к катерам или к транспорту?
Но катера были военные, и катера явно шли в наши территориальные воды. Следовательно, нужно было гнаться именно за ними, а не за торговым кораблем в нейтральных водах. Додумав, Костин выжидательно посмотрел на командира.
Очевидно, и тот пришел к такому же решению, потому что скомандовал:
— Лево на борт, обратный курс… Держать на катера! Видите их?
— Вижу, товарищ старший лейтенант, — ответил рулевой, пригибаясь к штурвалу, как будто это помогало ему рассмотреть катера. Они были очень далеко, за дистанцией залпа, и для простого глаза казались низкими черточками на воде.
Тральщик, кренясь, круто покатился влево, а командир, смотря в бинокль, стал с той же скоростью поворачиваться вправо, не выпуская из глаз транспорт. Даже когда тральщик закончил поворот и пошел на катера, командир продолжал стоять к ним спиной.

— Не нравится мне этот транспортюга, — сказал он негромко, и в голосе его Костин уловил тревожные нотки. — Уж больно кстати катера подгадали, что-то вроде совместных действий… Как они там, не поворачивают?
— Идут к границе, далеко еще, — ответил Костин. — Думаешь, старый трюк откалывают?
— Обязательно, — сказал старший лейтенант. — Вот увидишь, сейчас повернут — и начнется петрушка… Плюнуть бы на них и жать полным ходом к транспорту… Да, черт его, как угадаешь?..
Трюк, о котором говорил Костин, был действительно уже устаревшим. Недели три назад сторожевой корабль так же ходил в дозоре и так же заметил два шюцкоровских катера, идущих к нашим берегам. Сторожевик пошел на сближение, и катера тотчас повернули вдоль линии границы. Но едва сторожевик, убедившись в этом, попробовал вернуться к своему району, катера опять пошли на юг, к нашим водам, вынуждая его гнаться за ними. Так, не переходя запретной линии, а только угрожая этим, катера оттянули сторожевик далеко на восток, а на западе меж тем проскочила к берегу шлюпка… Правда, привезенного ею гостя немедленно же словили пограничники, но задачу свою катера выполнили.
Обстановка и в этом случае была похожей: транспорт зачем-то пробирался в проход у «Эбатрудус-матала», и катера явно отвлекали внимание дозорного тральщика. Некоторое время они шли еще прежним курсом к границе; потом, убедившись, что они обнаружены и что тральщик повернул на них, катера легли курсом ост и пошли вдоль границы.
— Так, все нормально, — сказал старший лейтенант, когда сигнальщик доложил об этом повороте. — Что же, проверим… Лево на борт, обратный курс!
Тральщик снова повернулся к транспорту. Тот уже был близко от прохода, и, чтобы тральщику застать его там, нужно было решиться теперь же прекратить преследование катеров и идти прямо к «Банке Эбатрудус». Старший лейтенант прикинул циркулем расстояние до прохода и поднял голову.
— Эбатрудус, Эбатрудус… — сказал он, в раздумье покачивая в пальцах циркуль. — Так, говоришь — Вероломная?
— Или Предательская, как хочешь, — повторил Костин.
— Это что в лоб, что по лбу… Название подходящее. Только что ему там делать? Шпионов на таких бандурах возить дело мертвое… Хотя, впрочем, из-за борта на резиновой шлюпке спустить — и здравствуйте…
— А черт его знает, — медленно сказал Костин. — Ему и затопиться недолго. Потом скажет — извините, что так вышло, ах-ах, авария, нам самим неприятно, сплошные убытки, — а дело сделано…
Война полыхала в Европе, а Европа была совсем близко. Перекрашенный корабль под чужим флагом мог, и точно, выкинуть любую пакость. А проход был узок, и транспорт, затонувший в нем как бы случайно, мог надолго закупорить для советских военных кораблей удобный стратегический выход. Догадка Костина была близка к правде, и за транспортом надо было глядеть в оба…
— Товарищ старший лейтенант, катера повернули на зюйд, — снова доложил сигнальщик.
Все разыгрывалось как по нотам: теперь тральщик вынуждался вновь идти к катерам, те снова отвернут на восток вдоль границы — и все начнется сначала… А тем временем перекрашенный транспорт выполнит ту диверсию, для которой, как вполне был убежден старший лейтенант, он и шел в проход.
Уверенность в том, что транспорт имеет особую тайную цель, была так сильна, что старший лейтенант твердо решил идти к угрожаемому проходу, не обращая более внимания на демонстративное поведение катеров. Он сказал об этом Костину, добавив, что катера вряд ли рискнут на глазах у советского дозорного корабля войти в наши воды. Надо тотчас дать радио в штаб с извещением о появлении катеров, а самим следить за транспортом.
Радио дали, и тральщик продолжал идти к проходу у «Банки Эбатрудус», Маневрирование, к которому вынудили его катера, несколько изменило положение: теперь точка встречи с транспортом могла быть у самого прохода, а не перед ним. Но все же старший лейтенант надеялся, что, видя возле себя советский военный корабль, транспорт не осмелится ни затопиться, ни спустить шлюпку с диверсантами, ни принять на борт возвращающегося шпиона.

Однако и решив бросить катера, он то и дело оглядывался, следуя за ними. Они упорно продолжали идти на юг. Направление на них показывало, что они все еще не дошли до запретной линии границы. Наконец, проложив очередной пеленг, старший лейтенант сказал:
— Дальше им некуда. Через три минуты повернут.
Но прошло и три минуты, и пять, а катера все еще продолжали идти курсом зюйд. Старший лейтенант тревожно наклонился над компасом» они были уже на милю южнее границы, и не заметить этого на катерах, конечно, не могли. Но они продолжали идти в кильватер головному, не уменьшая хода, и курс их нагло и открыто — на глазах у дозорного корабля — «вел к советской воде, к советским берегам.
По всем инструкциям дозорной службы, тральщик был теперь обязан преследовать катера. Но ясно было, что катера и транспорт действуют совместно, решая одну задачу. Откровенный и наглый переход границы должен был заставить тральщик все-таки кинуться за ними, бросив транспорт в проходе у «Банки Эбатрудус». Что он мог там сделать — было еще непонятно, но оба, и командир и политрук, были убеждены, что все дело сводилось к нему. Надо было быть возле него, чтобы помешать ему сделать то неизвестное, но опасное, что угадывалось, прощупывалось, чувствовалось в его настойчивом и странном стремлении к проходу.
Транспорт был уже хорошо виден. И тогда на гафеле его поднялся большой флаг.
— Товарищ старший лейтенант, транспорт поднял германский торговый флаг, — тотчас доложил сигнальщик с правого борта, и командир вскинул бинокль.
Это был флаг дружественного государства, связанного с Советским Союзом пактом о ненападении, договорами и соглашениями. Торговый корабль этого дружественного государства шел в нейтральной воде, там, где он имел право ходить, как ему угодно. Он шел пустой, без груза, осматривать на нем было нечего, и задерживать его для осмотра или предложить ему переменить в «ничьей воде» курс означало бы вызвать дипломатический конфликт. Отчетливо видный в ровном рассеянном свете белой ночи, льющемся со всех сторон высокого неба, флаг дружественной державы, поднятый на транспорте, резко менял обстановку. Оставалось одно: повернуть к военным кораблям, нарушившим границу.
Но старший лейтенант медлил.
Он продолжал смотреть на флаг, не опуская бинокля, и глаз его Костину не было видно, — руки открывали только нижнюю часть лица. Губы командира дважды выразительно сжались, потом раскрылись, как будто он хотел что-то сказать, но вновь сомкнулись, и на щеке выскочил желвак: он плотно стиснул челюсти. Другую минуту, которая Костину показалась часом, командир молчал. Потом он опустил бинокль и повернул лицо к своему заместителю — и тот поразился перемене, которая произошла в нем за эту минуту.
— Война, — сказал старший лейтенант негромко, не то вопросительно, не то утверждающе.
Над Европой полыхал пожар войны, ветер истории качнул языки пламени к Финскому заливу, сухой и грозный его жар вмиг иссушил это живое, почти мальчишеское лицо. Он стянул молодую кожу глубокой складкой у бровей, отнял у глаз их влажный юношеский блеск, сухими сделал полные губы. В такие минуты военные люди, как бы молоды они ни были, сразу становятся взрослыми.
Это веселое простое лицо молодого советского человека, привычное лицо командира и друга, было новым и незнакомым. Новыми были эта складка на лбу, крепко сжатые челюсти, странная бледность розовых щек, — или так играла на них белая ночь? — незнакомым был серьезный, какой-то слишком взрослый взгляд веселого и жизнерадостного командира, которого больше хотелось называть Колей, чем товарищем Новиковым или, как полагается по службе, «товарищ старший лейтенант», И сразу тихая белая ночь, нежные краски воды и неба, последняя ночь привычного, надоевшего дозора, далекая база с друзьями, с семьей, театром и обычной воскресной поездкой за город — все исчезло, стерлось, заволоклось горячим и тревожным дыханием войны.
Транспорт надо было остановить или заставить отвернуть от прохода. Но он имел право не подчиниться сигналу. Тогда следовало дать по нему предупредительный выстрел. Этот выстрел мог быть первым из миллионов других.
— Отсалютовать флагом! — скомандовал старший лейтенант. — Лево на борт!

Он наклонился над картой и быстрым движением проложил курс на северо-восток — к катерам.
— Не уйдут, — сказал он Костину. — Мы их отрежем.
Транспорт, продолжая держать на гафеле флаг, уходил к «Банке Эбатрудус». Старший лейтенант проводил его долгим выразительным взглядом и потом надавил кнопку. Резкий звонок боевой тревоги прозвучал в тишине белой ночи. Тральщик увеличил ход, орудия его зашевелились.
Спокойно плыла над морем белая тихая ночь. Это была самая короткая ночь в году — ночь летнего солнцестояния. В эту ночь черные тяжелые бомбовозы уже несли по легкому, высокому и светлому небу большие бомбы, чтобы скинуть их на города Советской страны, мирно отдыхающие под воскресенье. В эту ночь фашистские танки уже шли к границе в военный поход на Советский Союз. В эту ночь фашизм рвал договоры и пакты, совершая никого уже не изумляющее новое предательство. В эту ночь — самую короткую ночь в году — история человечества вступила в новый период, который потом будут называть периодом восстановления прав человека на земном шаре, загаженном страшной, мрачной силой фашизма.
Катера заметили поворот советского тральщика. Они тотчас повернули на север и полным ходом стали уходить из территориальных вод, стараясь как можно скорее уйти на «ничью воду», где советский корабль уже не сможет их обстреливать.
На мостике тральщика была боевая тишина. Ровно гудели вентиляторы, низко рычало в дымовой трубе горячее бесцветное дыхание топок. И только один голос звучал в этой тишине — дальномерщик каждые полминуты называл расстояние до катеров. Оно медленно, но неуклонно уменьшалось, но было еще слишком далеким для верного залпа. Носовое орудие, задрав до самого мостика ствол, пошевеливало им в стороны, как бы нюхая в воздухе след уходящих катеров.
Это была погоня — напряжение всех механизмов, молчаливое выжидание залпа, умный, точный выигрыш на каждом градусе курса. Катера не могли полностью использовать свое превосходство в скорости: не рассчитав маневра, они слишком далеко спустились за линию границы. Теперь справа им мешали островки, и оставалось только уходить от островков под углом к курсу тральщика. А это означало, что раньше, чем они выйдут на «ничью воду», они сблизятся с тральщиком на дистанцию его артиллерийского залпа.
Видимо, на катерах поняли всю опасность этого сближения, потому что под кормой головного вырос белый бурун и остальные стали заметно отставать. Потом и у них за кормой показалась пышная пена, — катера дали предельный ход. Его не могло надолго хватить, и весь вопрос был теперь в том, успеют ли они выскочить за невидимую роковую линию или до этого сблизятся с тральщиком.
Старший лейтенант, казалось, совсем забыл о транспорте. Теперь им владело одно стремление — догнать и атаковать катера, пока они находятся еще в наших водах. Он дважды до отказа передвинул ручки машинного телеграфа, и, очевидно, этот сигнал, требующий от людей и механизмов невозможного, был понят: тральщик дал ход, которого он до сих пор не знал. Дистанция снова начала уменьшаться.
Но все же она уменьшалась слишком медленно. Катера все ближе подходили к заветной грани. Через пять-шесть минут они будут на нейтральной воде, и пограничный конфликт опять перерастет в дипломатический, угрожающий войной. Не пойманный не вор: уничтоженные в советских водах катера считались бы бандитами, уничтоженные в «ничьей воде» — они были бы военными кораблями, на которые напал первым советский военный корабль.
Старший лейтенант быстро перешел к карте, хотя она вся была у него в голове. Он наклонился над столом, но сбоку ему протянул листок шифровальщик:
— Товарищ старший лейтенант, экстренное радио по флоту.
— Старшему политруку дайте, — сказал он нетерпеливо.
Сейчас ему было не до телеграмм, даже если в ней сообщалось о вылете самолетов: катера уже были у «ничьей воды»… Нужно было немедленно выдумать что-то, что помогло бы их поймать. Он всматривался в карту, требуя от нее ответа, хотя отлично знал, что другого маневрирования не придумаешь. Если бы граница была хоть на две-три мили севернее!.. Тогда катера были бы вынуждены сами еще отклонить курс в сторону тральщика —

острова прижали бы их на запад — и вошли в сферу его действительного огня. Но граница была там, где она была, и ничего нельзя было сделать…
— Уйдут, — сказал старший лейтенант сквозь зубы и с отчаянием повернулся к Костину. Он хотел сказать ему, что попался на удочку, медля возле транспорта, что катера успели сделать свое дело у берегов и теперь безнаказанно уходят, но старший политрук молча протянул ему бланк радиограммы. Командир прочел его, поднял на него глаза, снова прочел бланк, потом бережно сложил его вчетверо и спрятал в боковой карман кителя.
— Товарищ старший политрук, — сказал он официально, — объявите на мостике и по боевым постам. Первая задача — катера.
Солнце уже встало над морем, и вся таинственная невнятность белой ночи давно исчезла. Трезвая и ясная бежала за бортами вода, ясно и прозрачно было голубое небо. Блестела на мостике краска, и ярко трепетали на быстром ходу флюгарки. Начинался день, первый день войны, и в мыслях, во всем существе были те же ясность, трезвость и прозрачность.
Все стало на свое место: враг есть враг, и никакие дипломатические сложности, никакие условные линии границ, которых не видно на море, не стесняли более действий тральщика.
Радиограмма была короткой. В ней сообщалось о нападении гитлеровской Германии на наши города и приказывалось атаковать противника при встрече.
Огромное спокойствие овладело Новиковым. Как будто лопнул где-то внутри давний старый нарыв, мучивший и беспокоивший, стеснявший движение и мысль. Ему показалось, что эта белая невнятная ночь, транспорт, катера, неизвестность, что делать и за кем гнаться, были давным-давно, несколько лет назад. Он даже удивился, как это мог он так мучиться и колебаться. Теперь он неторопливо подошел к компасу, удобно пристроился к нему и стал ожидать терпеливо и спокойно, когда катера сделают свой вынужденный островами поворот и сами приблизятся к его курсу. Впереди было много воды, ясность и победа.
Так его и застал старший политрук, когда вернулся на мостик. Он сообщил, что краснофлотцы приняли сообщение именно так, как он и ожидал: спокойно, почти не удивляясь, не разменивая ненависть к врагу на крики и угрозы. Краснофлотцы просили передать командиру, что к бою с врагом родины, революции и человечества они готовы.
— Про катера сказал? — спросил старший лейтенант.
— Про катера я не говорил, — негромко сказал Костин и наклонился к нему: — Ты малость погорячился, Николай Иванович. Ничего с ними не изменилось: Финляндия пока с нами не воюет. Она, может, только наших снарядов и ждет, чтобы поднять крик на весь мир.
Он сказал это мягко и осторожно. Так говорят другу о неожиданно постигшей его беде, так опытный врач сообщает больному о перемене к худшему. Он слишком хорошо знал своего командира (и просто Колю Новикова), чтобы не понимать, каким ударом будет для него это сообщение.
Старший лейтенант продолжал стоять у компаса в той же спокойной позе. Только карандаш в его руках, с которым он отошел сюда от карты, — карандаш, которым был проложен беспощадный курс, отрезающий катерам выход, — внезапно хрустнул. Ровный голос дальномерщика продолжал отсчитывать дистанцию. Она была близка к дистанции огня, еще пять минут — и можно было открывать огонь. Тральщик, дрожа, мчался вперед, носовое орудие по-прежнему нюхало след врага, но весь план боя рухнул.
Старший лейтенант поднял руку и выбросил обломки карандаша за борт. Потом он повернул пеленгатор на катера и прильнул к нему глазом. Сбоку Костин увидел этот пристальный, немигающий взгляд — и снова поразился: второй раз за эти немногие часы веселый молодой командир повзрослел еще на несколько лет.
— Ясно. Ушли. Право на борт, трал к постановке изготовить, — скомандовал старший лейтенант и поднял голову от пеленгатора. Он посмотрел на Костина, и где-то в глубине глаз тот на миг увидел прежний взгляд Коли Новикова, горячего, неукротимого парня, выдумщика и упрямца, человека смелых, но слишком быстрых поступков.
— Эх, и прижал бы я их к островкам, и раскатал бы как миленьких! — протянул он, покачивая сжатым кулаком. — Ведь что обидно, Кузьмич: на них те же немцы сидят, это как факт, все же теперь ясно… Да, я понимаю, — остановил он Костина, — я все понимаю… Предлагаю перейти к очередным делам. Пойдем посмотрим, что там эта гадюка наделала…
Он дал телеграфом уменьшение хода и повел Костина к карте.

Через полтора часа тральщик с заведенными фортралами подходил к проходу у «Банки Эбатрудус». Здесь не было никого — транспорт «дружественной державы» давно ушел в Балтику западным дальним проходом, и нагнать его не было возможности.
Был совершенный штиль, зеленая вода лежала ровно и гладко, и рябь не затуманивала ее прозрачной глубины. В ней отчетливо были видны красные буйки фортрала, — они плыли под водой, как плотные, упитанные дельфины, изредка резвясь и вскидываясь к поверхности, но тотчас увлекаемые на нужную глубину оттяжками и рулями. Прочные тросы, проведенные к ним с форштевня, защищали тральщик от встречи с миной. Раздвигая перед собой воду, водоросли и минрепы, тральщик осторожно вошел в проход.
И в самом узком месте прохода из правого трала всплыла подсеченная им мина. Освобожденная от удерживающего ее на глубине минрепа, перебитого тралом, она с легким всплеском выскочила из воды и осталась на поверхности — первая мина новой большой войны. Финский залив, вдоволь наглотавшийся мин за годы первой мировой и гражданской войн, вновь почувствовал их надоедливый металлический вкус. И может быть, поэтому он так охотно и быстро выплюнул эту первую мину, едва трос, удерживавший ее в зеленой глубине, встретился с советским очистительным тралом. Она медленно кружилась на неподвижной воде, показывая свои длинные рожки — обнаженные нервы, не терпящие прикосновения, — огромная черная круглая смерть.
Ее уничтожили, как гадюку, меткой пулеметной очередью. Зашипев, как гадюка, она медленно погрузилась и пошла на дно, выпустив темный дым из мерзкого своего существа. Пули, не вызывая взрыва, продырявили ее корпус — командир решил утопить ее без шума, чтобы не привлекать внимания.
Но вторая подняла этот нежелательный шум: правый трал неудачно задел ее рожок, и столб воды, дыма и металла встал рядом с тральщиком. Страшное сотрясение всего корпуса выбило из зажимов рубильники, в кочегарке и в машине потух свет. Рулевой повернул голову к старшему лейтенанту и, стараясь не повышать голоса, доложил, что рулевое управление вышло из строя, и потом отряхнулся от воды, упавшей с неба на мостик прохладным, свежим душем. Через минуту на мостике зазвонил телефон, из машины сообщили, что все нормально и что рубильник теперь зажат намертво, все должно работать — и руль, и приборы, и свет.
Тогда новый столб воды встал с левого борта, новый звуковой удар потряс людей — и второй красный упитанный дельфин всплыл рядом с бортом. Тральщик остался без фортралов.
Старший лейтенант застопорил машину.
Было неизвестно, на какую глубину поставил мины транспорт, так оправдавший название «Банки Эбатрудус».
Предательское заграждение, выставленное торговым кораблем без объявления войны, несомненно, было рассчитано и на мелко сидящий тральщик, гнавшийся за транспортом. Поэтому продвижение вперед без фортрала было опасным. Заводить новые буйки здесь, на заграждении, было бессмысленно: трал начинал работать при определенной скорости хода, а развивать эту скорость на минах было нельзя. Уйти задним ходом тоже нельзя было: струя винтов сама подтащила бы к корпусу тральщика покачивающиеся под водой мины.
Старший лейтенант в раздумье смотрел в воду. Спокойная и неподвижная, она была прозрачна. Он поднял голову и взглянул на Костина:
— Я думаю, проползем, если с умом взяться? Не ночевать же тут.
— Попробуем, — ответил Костин, поглядывая в воду. — Все равно до самой смерти ничего особенного не будет.
Командир наклонился с мостика и объявил краснофлотцам, что надо делать.
Приготовились к худшему — достали спасательные средства, вывалили за борт шлюпки. На баке, по бортам, на корме встали наблюдатели. Дали воде совершенно успокоиться и восстановить свою прозрачность. И тогда старший лейтенант дал малый ход — несколько оборотов винтов — и тотчас застопорил машины.
Медленно, как бы ощупью, тральщик двинулся вперед. Напряженная, строгая тишина стояла на мостике, на палубе, в машине, в кочегарке. И в этой тишине раздался первый возглас наблюдателя с бака:
— Мина слева в пяти метрах, тянет под корабль!

Новиков и Костин перегнулись с левого крыла мостика.
Мина, и точно, была видна. Она стояла на небольшой глубине, дожидаясь прохода тральщика. И как ни медленно и ни осторожно он шел, увлекаемая им масса воды заставила мину дрогнуть на минрепе, качнуться и двинуться к борту тральщика.
Неторопливо поворачиваясь и как бы целясь своими рогами в борт, она подходила ближе. Но этим рогам был нужен удар определенной силы, иначе мины рвались бы сами от удара волны, от наскочившей на них сдуру крупной рыбы. И на этом был построен весь расчет старшего лейтенанта: пройти медленно, по инерции, может быть, и касаясь мин и их рогов, но касаясь осторожно, без удара.
И тральщик медленно шел вперед, и еще медленнее текло время. Страшной эстафетой — страшной в своей деловитости и спокойствии — шла вдоль борта к корме перекличка наблюдателей:
— Мина слева в трех метрах. Уходит под корабль.
— Мина у борта, плохо видно.
— Ушла под корабль у машинного отделения.
Томительно и грозно наступила большая пауза. Мина шла под дном корабля. Она шла медленно, вероятно поворачиваясь и царапая днище. Возможно, что колпаки не сомнутся. Но возможно и другое. Сделать больше ничего нельзя, надо ждать.
И на тральщике ждали. Краснофлотцы смотрели вниз: те, кто стоял на палубе, — в воду, те, кто был внутри корабля, — на железный настил. И только двое, подняв головы, смотрели на небо: это были два сигнальщика, искавшие в голубой яркой высоте черную точку.
Старший лейтенант был убежден, что вот-вот должен появиться фашистский самолет, — транспорт наверняка сообщил по радио о преследовании его тральщиком.
О мине под днищем никаких сведений больше не поступало. Зато с бака опять раздался спокойный голос боцмана:
— Товарищ старший лейтенант, вторая. Справа в шести метрах.
— Докладывайте, как проходит, — сказал старший лейтенант, всматриваясь. С мостика она еще не была видна.
— На месте стоит, товарищ старший лейтенант. То есть мы стоим, хода нет.
— Так, — сказал старший лейтенант и повернулся к Костину: — Интересно, где первая? Может быть, уже под винтами… Рискнуть, что ли?
— На Волге шестами отпихиваются, а тут глубоко, — ответил тот. — Хочешь не хочешь, а крутануть винтами придется. Давай, благословясь.
Старший лейтенант передвинул ручки телеграфа, поймав себя на том, что старается сделать это осторожно, как будто от этого зависела сила удара винтов. В машине старшина-машинист переглянулся с инженером, и оба опять невольно посмотрели себе под ноги. Потом старшина приоткрыл стопорный клапан, и винты дали несколько оборотов. Стрелка телеграфа опять прыгнула на «стоп», и пар перекрыли.
Тральщик получил чуть заметный ход. Тогда сразу раздалось два одновременных возгласа:
— Вышла из-под днища на правом борту, всплывает!
— Справа мина проходит хорошо!
А с бака вперебивку раздался тонкий тенорок боцмана:
— Товарищ старший лейтенант, третья слева, в трех метрах, тянет под корабль!
— Спички у тебя есть, Николай Иванович? — вдруг спросил Костин.
Старший лейтенант покосился на него неодобрительно: никогда не курил, а тут… Он достал спички и нехотя протянул ему. Старший политрук аккуратно вынул две спички и положил их на стекло компаса.
— Две прошло, — пояснил он. — Запутаешься с ними, так вернее будет.
Командир засмеялся, и Костин увидел, что перед ним прежний Новиков — жизнерадостный, веселый, молодой. Глаза его блестели прежним озорным блеском, и тяжелая непривычная складка на лбу разошлась.
— А ведь вылезем, Кузьмич! Смотри, как ладно идет!
— Ты сплюнь, — посоветовал ему Костин. — Не кажи «гоп», пока не перескочишь… Неужто всю коробку на компас выложу? О четвертой докладывают.
Но коробки хватило. Через двадцать три минуты тральщик очутился на чистой воде, и Костин бережно собрал со стекла двенадцать спичек.

Тральщик весело развернулся на чистой воде, завел тралы и снова пошел на заграждение, освобождая от мин важный для флота проход у «Банки Эбатрудус». Солнце подымалось к зениту, наступал полдень первого дня войны и первого за последние полгода дня, который был короче предыдущего. Солнце повернуло на осень. Впереди были холодные дни, дожди, сырость, мрак, — зима, ожидающая фашистские полчища. Впереди был бесславный конец начатой ими в этот день гибельной войны.

Морская душа

Из фронтовых записей

Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.
В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полоски «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом, традицией. И, как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа» — полосатая тельняшка — означает многое.
Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.
Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка, — веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына Родины.
Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.
Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.
Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.
Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».
Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.
Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.
И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.
В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

Федя с наганом

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.
В тот день в третьем морском полку потеряли счет фашистским атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.
Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда, в поисках документов, расстегнули ворот — под ним увидели знакомые сине-белые полоски флотской тельняшки. И молча сняли моряки бескозырки, обводя глазами место неравного боя.
Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату. Вражеский автомат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.
И тогда кто-то негромко сказал:
— Это, верно, тот… Федя с наганом…
В третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.
Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Федя с наганом».
Фамилии его не узнали: документы были неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.
О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полоски тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

Поединок

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки третьего морского полка уничтожать связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.
Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носу и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.
Идти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.
Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше, — рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен» — и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть

некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.
Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались, и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.
— У меня шарики в глазах запрыгали, — рассказывал потом Королев. — Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а напротив — даже очнулся… Такая меня злоба взяла — моей же гранатой меня же и по башке?.. Откуда силы взялись — я ка-ак психану на него: заорал что-то, ударил его по руке… Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне… Я снизу бью его по черепу, и развернуться неловко, и сил нет… А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала, — как заяц… Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню…
Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат — и опять началась неравная борьба сильного, здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.
Они тянули автомат друг к другу, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя и обоих врагов.
— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю: думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой… Тогда живым заберут, много ли мне было надо: дать раза — и в глазах вовсе потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся — всадник уж рядом… Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются. Бросил солдат мой автомат — и тикать! Коровников его с ходу одним выстрелом положил — и ко мне… А у меня и сил никаких нет: кончились…
Оказалось, что к утру один батальон третьего морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше.
И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей.
— Что за черт? — сказал он недоверчиво. — А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак, там морячок французской борьбой с фашистом занимается.
В прицел рассмотрели, что это был и точно моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, выжидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.
Привычное дело
Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия била По вершине, парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника.
Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.
— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут, — сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное… Полный вперед!..
Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, взобрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взобрался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.
И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию.
— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию…
Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне.
— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина… Ну, извините, что поднапутал…
И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили сине-белые полоски «морской души» — тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.
Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:
— Бесполезное занятие. Он небось теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершинке наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает… Морская душа, точно…
И миномет бил…
В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегающихся фашистов. Батарея замолкла.
Казалось, можно было бы возвращаться — не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, и рядом лежало несколько ящиков мин.
— А что, хлопцы, — раздумчиво сказал Абращук, — мабуть, трошки покидаемся по немцу?
Он взялся наводить, Колесник — подносить ящики с минами, а третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим.
Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.
Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин.
И миномет бил по фашистам. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпать краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам.

Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже видавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразличимо перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл, а Абращук сказал:

— Эх, расстроили нашу компанию… Ну, становись к миномету желающие… Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

«Пушка без мушки»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в Музее севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано, но то, что пушка эта завезена в Крым Потемкиным, — уж, конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отдельные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории, не то в порту, не то на складе металлолома, полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлекшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось стрелять по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная Невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая

жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.
Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и покряхтывая лафетом, старушка развернулась и уставилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:
— Правей… Еще чуть правей… Теперь чуточку левей… Стоп!
Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился набок.
Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя.
Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее установили в двухстах — трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные фашисты не распознавали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов.
Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала.
С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:
— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом. Понятно?
В самом деле, все было понятно.

Подарок военкома

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так, запись «14–9/1–2» означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат — Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов), как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы, — и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».
Там в полутьме играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых.
Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость, — а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»
И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил немцев». Так, он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай враг боезапас тратит!»), снарядил разведчиков за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь безработицей, плясал.
— Сколько же у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал, — ответил он, как бы извиняясь. — Тридцать семь… То есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.
И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.
— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил, — закончил Васильев. — Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счет вести ни к чему, я им и счет потерял…»
И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ехлаков.
В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб, и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все темно было от мундиров» — так рассказали мне моряки исход этого боя.
Баян замолк, и военком подошел к нам.
— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет, — сказал он и стремительно подошел к выходу. Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.

«Матросский майор»

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.
«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснил он это так:
— Две задачи. Первая: фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая: войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди… стало быть, все в порядке… — И он деловито добавлял: — Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит.
Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.
Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.
К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.
Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.
Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и с досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.
Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним в Крым по этому же узкому перешейку, — была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.
Военком, видимо, разгадал его чувство, или, может быть, у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:
— Да, брат… Хороша вода…
— Хороша, — сказал майор, и они опять надолго замолчали.
Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя.
В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было — и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что, если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.
Поэтому оба говорили другое.
— Ветер нынче какой, — сказал военком. — В море шторм, верно.
— Наверное, шторм, — ответил майор.
И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде:
— Корабль, что ли?
Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость.
— Военком, — сказал майор с неистребимой подначкой, — ты и вправду думаешь, что это море?
— А что ж, степь, что ли? — обиделся военком. — Конечно, море.
— Эх ты, морская душа! — покачал головой майор. — Моря от лужи не отличил! Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?
— Ничего не понятно, — честно сказал военком.
— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?
Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома.
Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги — и майор вскочил, пряча в планшет карту.
— Окопались? — спросил оживленно. — Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде…
Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, подняв над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять оставались еще в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.
Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее Черное море гремело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.
И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло —

так же, как двадцать лет назад, когда он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

Последний доклад

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Бронекатер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная роща. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, беспрерывно меняя курс.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой снова не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:

— Товарищ командир… управляться не могу…

Он с трудом обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу. Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была залита кровью.

Это было на бронекатере 034. Рулевым его был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.

На старых стенах

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады восьмидесятичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирал выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово — держать форт и выход из бухты.

Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары и

круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.
Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.
Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.
Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестьдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.
Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо…
И моряки держали форт трое суток, пока из бухту не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.
Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.
Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.
На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.
И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.
В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но белые полоски на ней нельзя было различить: весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.
У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.
— Давай назад, — сказал он хрипло. — Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята…
Моряки молча шли к шлюпкам.
— Назад неси, говорю! — крикнул он в бешенстве, приподымаясь на носилках.
И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.
Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго — еще вечер, еще день, еще ночь.
Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.
Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.
Воробьевская батарея

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю.
Теперь, в июне, батарея снова закрыла дорогу к городу славы.
На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.
Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины, — лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.
Как дрались там моряки, как ухитрялись они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей, — не будем догадываться и выдумывать.
Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиограммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:
«12–03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».
«13–07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».
«16–10. Биться некем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев».
И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

Аркадий Гайдар

Мост

Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать — тридцать метров стоят наши часовые.
Вправо по берегу за камышами — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли — спрятан прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в кустарнике, — артиллеристы-зенитчики.
По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.
Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.
По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.
Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набекрень крышей возникает связной от батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и топью. Поэтому нижняя половина его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светло-серой пылью.
Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорщатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, который пытливо исследует рваные дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:
— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на час-два одолжите мне вон ту плетеную корзинку, то, вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.
Старшина Дворников оборачивается:
— На что тебе корзина?
— Не могу сказать, товарищ старшина: военная тайна.
— Не дам корзины, — заявляет старшина. — Вы у нас мешок взяли и не вернули.
— Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленый материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.
— Ты мне зубы не заговаривай, — невольно улыбнувшись, сказал старшина. — Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут — арсенал, цейхгауз?
— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже не хватило. У меня еще пара круглых лимонов лежит в кармане. Хо-орошая это штука для ночной разведки: огонь яркий, звук резкий; который немец не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.
— Какая операция? — недоумевает старшина. — Ты, друг, что-то заболтался.
Старшина смотрит на Ефимкина.
Ох и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые, угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цигарку, и сразу скажешь: «Это боевой парень».
— Возьми, — говорит старшина, — да скажи вашему лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть пришлет на уху щурят или ершей и на нашу долю.
— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить, — поспешно забирая корзинку, говорит Ефимкин. — Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за пропуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина, — со вздохом добавляет Ефимкин. — Мы что — у нас трава, канавы, земля, кустарники. А вы… стоите на глазах у всего света.
Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый, пыльный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилиям. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов.
Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайних песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.
Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он хотел было сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов «хальт» (стой), «хенде хох» (руки вверх), «вафэн хинлэген» (бросай оружие), Ефимкин ничего не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.
Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясна и военная тайна, и вся операция Ефимкина. Утром снарядом разбило фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и неопасная для моста музыка.
Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.
Но прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»
Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.
Еще одна, две… три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли в ладонях, грозный железный мост.
Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого Советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем, что в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах, на перекрестках, — но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.
Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, йод которыми блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток, и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.
Два шага направо, два шага налево.
Вот и весь ход у часового.
Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.
Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огромного шквала.
Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много — тридцать, сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.
Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно его подхватила на свой станковый пулемет пехота.
И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы, раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.
Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.
Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.
Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.
И вот, прежде чем связисты успеют наладить порванный воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.
Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.
Проходят долгие, томительные минуты… пять, десять, и вдруг…
Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, с заборов, несутся радостные крики:

— Пошли, пошли!
— Наши тронулись!
Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.
— Значит, все в порядке!
К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, глушенной немецкими бомбами рыбой и говорит:
— Добрый вечер! Все целы?
Ему наперебой сообщают:
— Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожег сапог, обжег ногу.
Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.
Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным переплет моста светит луна.
Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.
Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь, вскоре после огня и гула, громко поют девчата.
Ефимкин удерживает старшину за рукав.
— Высокий у вас пост, товарищ старшина! — опять повторяет он. — Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять все слышно…

Борис Лавренев

Подвиг

Несчастье случилось в шесть ноль-ноль.
Оно было записано в вахтенном журнале эскадренного миноносца с исчерпывающей жесткой точностью: «6.00. «Стремительный» подорвался на минной банке на траверзе маяка Лонгрунд. По донесению командира, держится на плаву. Убитых семь, раненых шестнадцать. Командир соединения приказал: «Стремительному» остаться на месте, остальным продолжать операцию».
Это было все, что занесла в журнал вздрагивающая от волнения рука вахтенного командира «Сурового». Вахтенный журнал не знает чувств и эмоций. Он отражает только факты.
Если же рассказать последовательно, дело было так.
За несколько минут до шести командир соединения капитан второго ранга Маглидзе приказал поднять сигнал: «Поворот последовательно влево на 8 румбов». «Смелый» и «Стремительный», шедшие в кильватере за флагманом, отрепетовали сигнал. Цветные флажки резво затрепетали по ветру на ноках усов и слетели вниз. На «Суровом» одновременно с началом поворота взвился «исполнительный». Эсминец круто покатился влево. Отброшенная заносящейся кормой, сердито зашипела и заплескалась пена.
Капитан второго ранга Маглидзе перешел на левое крыло мостика, наблюдая за выполнением поворота кораблями. «Смелый», идя в кормовой струе флагмана, точно повернул в том месте, где эта струя образовывала крутой изгиб бледно-зеленой, пенистой от воздушных пузырьков воды. «Стремительный» с разбегу проскочил точку поворота, и Маглидзе поморщился. Он не любил небрежности в эволюциях. В море каждое движение корабля и человека должно быть выверено до микрона.
«Резвится, как рысак, — с неодобрением подумал он о командире «Стремительного». — А зачем резвится? Морене ипподром и…»
Но не успел додумать. Из-под форштевня «Стремительного» упругим белым столбом рванулась кверху вода. Столб этот вспух у основания кипящим куполом.

Сквозь него сверкнуло желтое пламя, выбросив второй столб, уже черный от дыма. Он заволок весь корабль, и тотчас же в уши стоящих на мостике «Сурового» ударило плотным раскатом взрыва.
Штурман, подскочив к переднему обвесу, заметил, как судорожно скрючились пальцы командира соединения на поручнях мостика и как посинели ногти на этих стиснутых пальцах.
Туча воды и дыма опала с шуршанием и плеском. Из нее медленно выползал корпус «Стремительного». Его носовая часть была оторвана до мостика. Отделенный от корабля полубак быстро уходил в клокочущий водоворот. Изогнутый взрывом гюйсшток продержался еще секунду над водой. Потом и его захлестнула волна.
«Стремительный» вышел из дыма весь и стоял с небольшим дифферентом на нос. «Суровый» и «Смелый», убавив ход, держались на последнем курсе. С них хорошо был виден исковерканный мостик «Стремительного». По завернутому в железный рулон настилу палубы под мостиком карабкалась чья-то фигура.
— Разрешите застопорить и спустить шлюпки? — неестественно громко и от волнения пропустив титулование, спросил у Маглидзе командир «Сурового» капитан-лейтенант Голиков, не отрывая взгляда от подорванного эсминца.
— Не разрешаю!
Маглидзе резко сбросил руки со стоек, как будто обжегся:
— Удивляюсь, товарищ капитан-лейтенант! Вы не первый год на службе и должны бы знать боевые инструкции.
Капитан-лейтенант Голиков покраснел. Боевые инструкции он помнил наизусть и знал, что они запрещают в такой обстановке задерживаться и спускать шлюпки для подачи подорванному кораблю, следующему в составе соединения. Это был суровый, прозаический закон новой морской войны, который навсегда отменил жертвенную традицию прошлого. Кодекс благородного самопожертвования был опорочен во всех флотах с того сентябрьского дня четырнадцатого года, когда подводная лодка Отто Веддигена тремя последовательными атаками отправила на дно три британских крейсера. Крейсера неподвижно стояли на месте и спасали людей с подорванного первым «Хэга». И один за другим разделили его судьбу.
Капитан-лейтенант Голиков теоретически понимал всю целесообразность суровой инструкции, но сейчас, перед лицом гибели товарища, он на мгновение усомнился в ней. Замечание командира соединения вернуло ему ясность мысли. Лучше потерять один корабль, чем три. Дело сводилось к тактической арифметике.
— Запросите «Стремительный» о повреждениях и сумеет ли он справиться? — приказал Маглидзе.
Старший сигнальщик с необыкновенной быстротой отмахал флажками вопрос. Ответ на мостике «Сурового» читали все, с тоскливым напряжением, по буквам, беззвучно шевеля губами.
— О-т-о-р-в-а-н п-о-л-у-б-а-к Пе-ре-бор-ка первой кочегарки вдавлена. Течь незначительна… полагаю возможным удержаться на плаву своими средствами.
Сдвинутые брови командира соединения разошлись.
— Отлично! — сказал он. — Передайте: «Приказываю оставаться на месте, ожидать возвращения отряда».
— Есть!
Голиков поглядел в сторону «Стремительного». Изуродованный корабль тихо покачивался на пологой зыби. Голиков подумал о командире «Стремительного» Васе Калинине, о незабвенных годах морского училища и тихо вздохнул. Скучно сидеть в одиночестве, среди пустого моря, на искалеченном корабле, ожидая, что любая забредшая в район происшествия вражеская подводная лодка окончательно может отправить тебя на кормежку ракам. Надо же попытаться хоть что-нибудь сделать для облегчения этой пытки друга.
— Товарищ капитан второго ранга, — нерешительно предложил Голиков, — может быть, радировать базе, чтобы выслали поддержку?
— Не разрешаю, — вторично отрезал Маглидзе. — Операция продолжается. Натрещим в эфире, немцы запеленгуют, и получится лишняя хурда-мурда. А нам нужно ставить

заграждение. Это основная наша задача. Забыли, чем мы нагружены? Повезло «Стремительному», что напоролся носом. А если бы кормой?.. Ну, так пусть поскучает.
Капитан-лейтенант Голиков сразу вспомнил о грузе и ощутил противный холодок, иголочками проползший под кителем. На корме «Стремительного», как и на других эсминцах, стояли на рельсах готовые к сбросу мины. Если бы они рванули от детонации… Голиков поежился и в раздумье тряхнул головой.
«Впрочем, погода тихая, неприятельские подлодки здесь особенно не разгуляются — мелководье. А мы больше трех часов не провозимся, так что успеем вернуться и подать Васе кончик, если он продержится… А если нет? Если сдаст переборка? Шлюпки, наверно, искалечены взрывом, придется плавать с поясами и капкой. Но долго ли проплаваешь?»
Голиков сердито отвернулся от уменьшающегося силуэта покидаемого эсминца. Больно покидать товарища в беде, но этого требует железная необходимость войны. Нужно делать свое дело. Нужно думать о своем корабле и своих людях.
— За секторами внимательно смотреть! — крикнул он наблюдателям, и те одновременно отозвались не веселыми, как всегда, а приглушенно серьезными голосами;
— Есть за секторами внимательно смотреть!
Голиков искоса взглянул на командира соединения. Тот стоял, посасывая трубку, немного грузный от возраста, сорокадвухлетний человек, с неподвижным лицом, на котором ничего нельзя было прочесть.
«Каменный характер, — внутренне возмутился Голиков. — Не волнуется даже».
Но он ошибался. Штурман, который подметил внезапную судорогу пальцев командира соединения в момент взрыва «Стремительного», мог бы сказать ему об этом.
Командир соединения волновался. И со вчерашнего вечера, когда пришлось грузить мины не в оборудованной гавани, которую третьи сутки бомбили вражеские самолеты, а в глухой бухточке, где не было никаких приспособлений и мины втаскивали на палубы вручную, это волнение не прекращалось ни на секунду. Командир соединения даже не вздремнул в эту тревожную белую ночь, в сумраке которой краснофлотцы, крякая от натуги, волокли по мостикам угрюмые черные шары, начиненные гремучей смертью. Он волновался за этих трудолюбивых, как муравьи, молодых ребят, за свои корабли, за успех намеченной операции. И несчастье со «Стремительным» еще больше взволновало его прежде всего потому, что оно произошло с кораблем его любимца, самого лихого командира эсминца на всей Балтике. И еще потому, что оно ставило под угрозу результат похода. Вместо положенного количества мин приходилось теперь ставить на одну треть меньше, а это уже на треть уменьшало вероятность гибели неприятельских кораблей на заграждении.
Командир соединения волновался за всех и только не за себя. О себе он привык не думать.
Он оглянулся на чуть видный за кормой силуэт «Стремительного».
Дрянной щенок! Прекрасный моряк, но чересчур самонадеян… Этому ли он, капитан второго ранга Маглидзе, учил своих командиров… Вчера он радовался, что командир «Стремительного» первым закончил погрузку мин, намного обогнав остальных… А теперь?
Маглидзе шагнул к обвесу и свирепо выколотил пепел из трубки в отрезок снарядной гильзы, приспособленный под пепельницу.

Первым обнаружил врага наблюдатель левого борта старший краснофлотец Рудник. Его голос прозвенел неожиданно резко в тишине мостика, нарушаемой только сухим шелестом вспарываемой, эсминцем воды.
— Справа по носу, курсовой десять — дым!
Вытянутая рука Рудника указала направление.
Маглидзе, Голиков и штурман разом вскинули бинокли. И в окулярах у всех троих обнаружилось одно и то же: палево-голубая, бледная полоска горизонта, дрожь нагретого воздуха над ней и в этих плывущих струйках еле заметное мутно-серое облачко.
Маглидзе опустил бинокль. Горбоносое лицо его с тяжелым подбородком — от загара оно превратилось в закопченную бронзу — еще больше затвердело и отяжелело.
— Боевую тревогу! — обронил он Голикову.
По корпусу корабля горячечным трепетом промчались звуки колоколов громкого боя. Они еще бились и дребезжали, а уже, глуша их, по палубам и трапам раскатывался грохот каблуков. Расчеты орудий торопливо снимали брезенты со снарядов и пороховых картузов.

Медные головки снарядов заблестели под солнцем. Орудия медленно и бесшумно развернулись на правый борт, задрав в синеву длинные стволы. Было похоже, что эсминец, как осторожный жук, высунул наружу чуткие усики и прощупывает ими воздух. На корабле стало тихо, как в поле перед грозой.
Флагманский артиллерист, старший лейтенант Слинько, очень юный, с нежным яблочным румянцем, какой бывает только у девушек, подымался в башенку поста управления огнем, цепляясь рукой за перила скобчатого трапа. Наверху он задержался и посмотрел в бинокль.
— Вижу мачты, товарищ капитан второго ранга, — сказал он, не опуская бинокля.
— Сколько? — спросил Маглидзе.
— Две… высокие. Судя по типу мачт — вспомогательный крейсер. А сзади еще два дыма. Копеечные у них механики, товарищ капитан второго ранга, не могут без дыма ходить, коптят, как самовары.
— Ладно, — ответил Маглидзе, — займитесь делом.
Артиллерист нырнул в люк башенки, Маглидзе вглядывался в голубеющее марево горизонта.
Вот этот день! День большого и ответственного дела. Сколько он ждал его? Двадцать лет, со дня выпуска из училища и до этого вот солнечного июльского утра. Каждый год ему, Маглидзе, приходилось осенью смотреть на такие же вот дымки, на медленно встающие из-за горизонта мачты и корпуса, давать боевую тревогу, обдумывать сближение, определять курсы противника и свои, приказывать открывать огонь, маневрировать в бою.
Но всегда враг был только условностью игры. Орудия выбрасывали пламя и гром, но пламя и гром были безвредны, как бенгальский огонь на семейном празднике. И после боя враги мирно сидели рядом в салоне комфлота, попивая чай и обсуждая процент попаданий и вероятность гибели корабля. Самые неприятные результаты ошибок выражались только в выговорах и замечаниях комфлота.
Сейчас каждая ошибка грозила катастрофой сотням людей и кораблям. И это была уже не условная, а настоящая гибель, с кровью и страданиями. И от него, командира соединения, теперь зависело, чтобы эта гибель обрушилась не на него, а на вражеские корабли. За каждой оплошностью стояла сумрачная тень смерти.
Незначительная оплошность командира «Стремительного», который проскочил из-за чрезмерной лихости на полкабельтова точку поворота, уже повлекла за собой несчастье для корабля и людей. Сейчас каждое движение должно быть предельно точным, каждая мысль мгновенно продуманной до конца. А времени думать было мало, мучительно мало. Современный морской бой дает на это не минуты и даже не секунды, а доли секунды.
Возбужденный голос артиллериста, который высунулся по пояс из люка башенки, оторвал командира соединения от размышлений.
— Товарищ капитан второго ранга, — частил артиллерист, — я определил противника в дальномер. Вспомогательный крейсер тысяч на шесть тонн и два «ягуара». Идут курсом шестьдесят пять, кильватерной колонной. Дистанция двести двадцать.
Доложив командиру, старший лейтенант снова скрылся в люке.
Маглидзе снял фуражку и пригладил потные волосы. Потом взглянул на ходовой компас. Стрелка картушки дрожала на 190. «Суровый» расходился с противником. Нужно было ворочать на пересечку курса.
— Право руля! Курс триста тридцать! — приказал он штурману.
«Суровый» накренился. Всех на мостике мотнуло к правому борту.
— Противник открыл огонь! Вижу вспышки! — крикнул Рудник.
Штурман высоко поднял узкие мальчишеские плечи. — Обалдели, что ли, немчики? — произнес он врастяжку, улыбаясь толстогубым ртом. — Открыть огонь с такой дистанции.
Штурману было непонятно поведение врага. Четырехдюймовые пушки немецких эсминцев едва могли добросить снаряд на половину расстояния между врагами. Даже если предположить, что на немецком крейсере есть шестидюймовки, то и в этом случае они могли бить не дальше чем на сто тридцать кабельтовых. А дистанция была еще больше двухсот. Даже падения неприятельских снарядов еле видны.
Но командир соединения видел дальше и глубже лейтенанта и уже разгадывал секрет этой бессмысленной стрельбы. Мысль его стала холодной, ясной и как бы раздвоенной. Он одновременно думал и за себя и за неизвестного человека, стоящего там, на чужом мостике,

и тоже старающегося угадать мысли советского командира. И важно было опередить врага в отгадывании мыслей и намерений.
— Ясно! — сказал Маглидзе. — Все ясно. На пушку берут, сукины дети, гитлеровские фокусники. В игрушки играются.
— Не понимаю, товарищ капитан второго ранга, — покосился на него штурман, — чего им хочется? Что за комедия?
— Комедия простая, как гвоздь, штурман, — ласково сказал Маглидзе лейтенанту. — Из данных своей разведки они, возможно, подозревают, что мы идем ставить заграждение, ну и берут на испуг. Авось мы сдрейфим и дадим драпу, чтобы не принимать бой с полным грузом мин на палубе. Вот и лупят с такого расстояния, чтобы вогнать нас в дрожь фейерверком. Понятно?
— Ну и ослы! — искренне восхитился штурман. — Вот это ослы! Чистой арийской породы!
Маглидзе продолжал наблюдать за неприятельскими кораблями. Бледно-соломенные огни залпов вспыхивали над их уже заметными корпусами. Дистанция на встречных курсах сокращалась быстро, и теперь отчетливо видны были фонтаны падений немецких снарядов, ложащихся с громадными недолетами.
— Товарищ вахтенный командир, — сказал Маглидзе, — отправить радио командующему воздушными силами базы. Пусть подошлет бомбардировщики. Веселей будет. Дайте точное место. — Вахтенный командир записал приказание в блокнот, вырвал листок, и рассыльный слетел по трапу вниз в радиорубку.
— Противник ворочает влево, — доложили наблюдатели.
— Ага, не выгорело, — Маглидзе усмехнулся, подняв брови. Лицо его оставалось по-прежнему непроницаемым. — Ага, — повторил он, — не вышли штучки. Мореплаватели высшей породы дерут нах хаузе… Что ж, погоняемся! Больше ход!
Ему стало весело. Чужой человек на чужом мостике промахнулся. Игру он начал неверным ходом и потерял качество. Теперь он спасает свою шкуру, этот незадачливый игрок. Он хотел озадачить его, Маглидзе, своим нахальством и не сумел. Теперь ему приходится удирать от расплаты.
Не дать ему уйти! Не позволить ему больше ставить ставки на смерть и разрушение! Уничтожить! Вот в чем была сейчас задача.
— Самый полный ход! — скомандовал Маглидзе.
По тому, как мгновенно набран был сигнал, как мелькали руки сигнальщиков, выбирая фалы, по блеску из глаз Маглидзе понял, что на «Суровом» все захвачены одним жадным и острым желанием — не выпустить врага.
«Суровый» задрожал от напряжения машин. Оба эсминца, наседая на уходящих немцев, неслись на зюйд-вест. Могуче и густо ревели форсунки, заглушая свист ветра, и над широким горлом трубы плясал и бился раскаленный воздух. Ветер стал тягучим и плотным, как резина. Он с силой влезал в ноздри, в рот, слезил глаза.
Расстояние сокращалось. В бинокли уже ясно видна была высокая корма теплохода, превращенного немцами во вспомогательный крейсер. Два эсминца, зарываясь носами в буруны, бежали за ним. Теперь их орудия молчали. Они прекратили огонь после поворота. Их игра была разгадана на мостике «Сурового». Они поняли это и ждали сближения на дистанцию действительного огня, когда им придется защищаться в схватке насмерть.
Из башенки поста управления огнем опять показался артиллерист. Ветер сорвал с него фуражку, и она висела у него на затылке, поддерживаемая подбородным ремешком.
— Дистанция сто двадцать, товарищ капитан второго ранга, — закричал он во всю силу легких, чтобы перекричать ветер и вой форсунок. — Разрешите открыть огонь?
Командир соединения посмотрел на веселое лицо артиллериста. Молодость!
Двадцать лет назад и сам он был таким, нетерпеливым и буйным. Сейчас годы и опыт лежат на плечах грузом ответственности. А пожалуй, он немного завидует этой прекрасной и жадной молодости. Маглидзе поманил артиллериста пальцем, и тот быстро скатился по перекладинам трапа на мостик.
— Очень горячий! — сказал командир соединения, положив руку на плечо лейтенанта и любуясь юношеским задором. — Очень… Артиллерист, дорогой мой, должен быть не только хорошим артиллеристом. Он должен и рассуждать. Иногда можно не жалеть снарядов, когда массированный огонь может сразу решить судьбу боя. Иногда нужно и

поберечь снаряды. Они народу много стоят. Если можете гарантировать, что накроете с первого залпа, — разрешаю. Нет — подождите. Они от нас не уйдут. Ясно?
— Ясно, товарищ капитан второго ранга, — артиллерист улыбнулся. — Разрешите доложить! С этой дистанции не ручаюсь, но со ста разрешите открыть огонь?
— Добро! — ответил командир соединения и тоже улыбнулся.
Немецкие эсминцы дымили вовсю, стремясь выжать предельный ход. Теперь они выдвинулись вперед и бежали по бокам крейсера, как две собаки, гуляющие с хозяином.
— Собаки! Песьи души! — сказал вслух Маглидзе, и неожиданно ему вспомнились гневные, полные брезгливого презрения слова Маркса о рыцарях Тевтонского ордена. Прохвосты опять лезут к русской земле? Хорошо! Они будут выкупаны в русской воде.
Внезапно бинокль больно ударил его по надбровью. В лицо пахнуло жаром и мелкой пылью пороховой гари. Грохнул первый залп «Сурового». Не отнимая бинокля от глаз, Маглидзе потер пальцем ушибленное место и следил за падением снаряда. Как справится артиллерист? И в ответ на этот вопрос у корпуса немецкого эсминца, шедшего слева от крейсера, прыгнули вверх два белых столба, а в самом корпусе мигнуло темно-красное пламя разрыва.
— Два накрытия, одно попадание! — услышал командир соединения согласный вскрик наблюдателей.
Он взглянул вниз, на полубак. Расчет носового орудия стоял на местах, ожидая ревуна для нового залпа. Лица краснофлотцев были осветлены особенным, необычным напряжением. И оно передалось командиру соединения. Он любовно смотрел на краснофлотцев. Как и командиры «Сурового», они тоже были его учениками и воспитанниками, учениками и воспитанниками оставленной за кормой большой и любимой земли. Вместе с ним они стояли на боевом посту, вместе с ним нетерпеливо ждали конца этой неутомимой, яростной погони за теми, кто осмелился стать поперек счастью родины.
Завыли ревуны. Прозрачным огненным облаком полыхнуло орудийное дуло. Пушка рванулась назад, но, сдержанная компрессором, послушно вернулась на место.
Лязгнул затвор, и в ствол, шипя, ворвался сжатый воздух, выдувая нагар. Наводчик приник к козырьку прицела, вращая штурвальчик.
Командир соединения снова взялся за бинокль, ловя в окуляр серую тень немецкого эсминца. И едва поймал, как ее застлало зыбкой пеленой пламени. Она переметнулась с носа на корму, погасла, но сейчас же вновь вырвалась изнутри корпуса могучим веером, взметнув в небо кудлатую тучу распухающего рыжего дыма. Эта туча отползала назад, открывая пенящиеся водометы.
На мостике «Сурового» раскатилось «ура». Кричали наблюдатели, сигнальщики, старшины, командиры. Кричал, размахивая фуражкой, молчаливый, всегда сдержанный Голиков. И командир соединения даже удивился, поняв, что сам участвует в этом стихийном радостном хоре.
Он взглянул на часы. От первого залпа до гибели вражеского корабля протекло минута пятьдесят восемь секунд.
Артиллерист правильно понимал темп морского боя, и командир соединения почувствовал гордость за своего ученика.
«Суровый» и «Смелый» перенесли огонь на второй немецкий эсминец. Он метался зигзагами, как заяц на травле, заливаемый всплесками от падений. Огни его залпов мигали с лихорадочной быстротой. Он загнанно огрызался.
В лицо командиру соединения хлестнула упругая масса холодной, колющей кожу влаги. Она шумно разлилась по мостику, окатывая людей. Маглидзе попятился. Отряхнув брызги с кителя, увидел опадающую вдоль борта струю вспененной воды и привычно определил: «Накрытие шестидюймовым у самого борта». Это пристреливался немецкий крейсер, защищая своего сторожевого пса. И мысль командира соединения автоматически реагировала на этот вызов.
— Перенос огня на крейсер противника, — крикнул он Голикову и, вынув платок, тщательно отер лицо от соленых капель.
Наблюдатели доложили о появлении самолетов за кормой.
На бледно-золотой от солнца восточной стороне неба прорезались чуть различимые черные черточки.

«Свои или нет?» — подумал Маглидзе.
Весь мостик неотрывно следил, как перемещались в небе эти крошечные черточки. От них зависело разрешение событий. Если самолеты окажутся вражескими, придется прекратить преследование и выпустить врага. Если свои, они могут помочь быстро закончить бой, который становится затяжным. Дальнобойные пушки крейсера заставили командира соединения оттянуться назад и держаться на предельной дистанции огня. Это расстраивало стрельбу. Снаряды эсминцев по-прежнему часто накрывали неприятеля, но попадания стали единичными. А увлекаться долгим преследованием не приходилось. Маглидзе ясно угадывал мысли немецкого флагмана. Чем дальше он завлечет советские корабли, тем выгоднее для него. Во-первых, он отвлекает их от непосредственной задачи — постановки минного заграждения. Во-вторых, затягивает их к своей базе, а оттуда уже должны спешить на помощь. Рации немецких кораблей беспрерывно просили о поддержке.
Но командир соединения не намеревался доставить врагу удовольствие быть пойманным на такую глупую приманку. Если через десять минут он не прикончит немцев, — черт с ними, пусть уходят.
Самолеты приближались. Шли в боевом строю на большой высоте два звена.
Командир зенитного дивизиона, размашисто шагавший до полубаку между своими пушечками, беспокойно вскинул голову к мостику и взглянул на Маглидзе.
И тотчас же послышался бодрый возглас Рудника:
— Самолеты свои!
На мостике облегченно вздохнули. Самолеты стремительно снижались. Они пронеслись над мартами эсминцев, приветственно покачали крыльями с красными звездами и снова взмыли кверху, проблистав на развороте серебряным сверканием фюзеляжей. Они заходили на боевой курс для бомбометания и, обогнав «Суровый», тучей повисли над немецкими кораблями. Капитан второго ранга Маглидзе увидел, как второй немецкий эсминец исчез в облаке дыма и взметенной воды. На мостик «Сурового» донесло мощный удар воздушной волны.
«Суровый» полным ходом пронесся по водовороту, кружащему обломки. Среди них поплавками вертелись головы плавающих немцев. Они цеплялись за обломки, но беспощадная сила бушующей воды несла их под корпус «Сурового», и они отчаянно плескали руками по воде, стараясь отгрести в сторону.
— В дым прячутся, вояки, — сказал командиру соединения Голиков.
С кормы бегущего немецкого крейсера сползала в море, ширясь и густея, плотная, как пена, завеса белого непроницаемого дыма. Она поднялась выше мачт и скрыла крейсер. В дыму ухали грузные взрывы. Самолеты неумолимо разыскивали крейсер в непроглядной пелене.
Маглидзе отвернул рукав кителя. Девять тридцать семь, Пора возвращаться! Окончание можно предоставить самолетам.
— Прекратить огонь! Отбой боевой тревоги! Боевая готовность номер два! Ворочать к точке постановки, — сказал командир соединения Голикову. И окаменелое лицо его разгладилось, помолодело. Жестокая игра в опережение чужих мыслей была выиграна.
Он представил себе томительное беспокойство и отчаяние этого чужого, угрюмо стоящего там, на мостике убегающего крейсера, в удушливом дыму завесы и взрывов, залитого водой, оглушенного, жалкого и растерзанного, и засмеялся торжествующе и зло. Командир «Сурового» удивился. Маглидзе смеялся редко.
Эсминцы описали полукруг и спокойно уходили назад. Высоко стоящее солнце заливало палубы блеском, и вода, взлетая у штевней, рассыпалась алмазной радугой.
Но командир соединения не замечал этого. С момента поворота мысль его направилась к оставленному «Стремительному». Прошло больше трех часов после аварии, постигшей эсминец. А еще предстояло ставить заграждение. Беспокойство боя кончилось, но возникало новое беспокойство — за судьбу подорванного корабля. Оно жило и во время боя, это подспудное беспокойство, но сейчас оно становилось все острее. И командир соединения не сбавлял хода эсминцев. Он торопился. Было, конечно, большим риском оставить поврежденный корабль в таком положении. Многие на месте капитана второго ранга Маглидзе, может быть, прервали бы операцию и вернулись бы в базу, прикрывая отход раненого товарища. И у кого поднялся бы голос осудить за это? Можно, конечно, не рисковать. Но разве вся морская служба не бесконечный риск? И разве без риска приходят

удача и победа? Без риска нет ответственности, а к ответственности он, командир соединения, давно привык.
— Разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга, — подошел штурман. — Пришли в точку. Позволите начинать постановку?
Командир соединения молча кивнул и вдруг сладко потянулся всем телом, как после долгой, утомительной, но приятной работы.

За полчаса до взрыва командир «Стремительного» Калинин, горячий, молодой командир, прозванный за бурный темперамент «Рысаком», имел короткий, но неприятный разговор со своим комиссаром. Причиной разговора был политрук Колосовский.
Отличный командир и дельный моряк, Калинин имел слабость полагать, что во всем мире нет корабля лучше, чем его «Стремительный». И соответственно этому требовал, чтобы на эскадренном миноносце «Стремительный» все блестело, отличалось лихим морским шиком, не говорило бы, а прямо кричало о настоящей морской подтянутости и дисциплине. Комплименты своему кораблю Калинин принимал как нечто должное, как дань восхищения образцовой морской службе.
Поэтому Калинин не переносил отсутствия в людях той степени выправки и почти балетной точности в движениях, которые сам он считал неотъемлемыми и природными качествами подлинного моряка. Малейшую неловкость, отсутствие той стремительной расторопности в работе, которую командир привил всему кадровому составу эсминца, Калинин воспринимал как угрозу всем своим стараниям сделать «Стремительный» показательным кораблем, экспонатом военно-морской лихости. Это был слабый пунктик командира, над которым дружески посмеивались товарищи, считая, что тут у Калинина «заедает».
С начала войны и с появлением на эсминце Колосовского сердце командира стал грызть червячок. Призванный из запаса хозяйственный работник, немолодой рябоватый человек, Колосовский, естественно, не мог сразу принять тот удалой вид, какого требовал Калинин от своих людей, и оскорблял романтическое представление командира о военном моряке. Вдобавок Колосовский заикался, а это, по мнению командира, было уже совсем нетерпимо на военном корабле, да еще таком, как «Стремительный».
И то, что Колосовский был трудолюбив и исполнителен, что он завоевал авторитет у краснофлотцев, не примиряло с ним командира, бурная натура которого мешала объективному и спокойному отношению к подчиненному.
И утром, после выхода с рейда, Калинин неожиданно и несправедливо нашумел на политрука.
С высоты мостика он заметил на палубе Колосовского, разговаривающего с краснофлотцами. Вторая пуговица кителя политрука была не застегнута, и Калинин обратился к нему тем сухим, жестяным тоном, который появлялся у него в приступах командирского гнева:
— Товарищ старший политрук, вы, кажется, изволили устроить у себя за пазухой колыбельку для ветра? Застегнитесь!
Колосовский посмотрел на командира добродушными серыми глазами, покраснел и покорно застегнулся.
Калинин раздраженно отошел к штурманскому столику. Секунду спустя к нему подошел комиссар — прикурить папироску. Но, взглянув на комиссара, Калинин понял, что папироска только повод для разговора. И действительно, понизив голос, комиссар сказал командиру с дружеской укоризной:
— Опять беленишься? Пороховой у тебя характер.
Командир и сам уже понимал, что его подвел неукротимый характер, но слова комиссара только раздразнили командирское самолюбие, и он перенес свою злость на товарища.
— Тогда я попрошу вас, товарищ батальонный комиссар, заняться морским воспитанием товарища Колосовского.
Комиссар удивился командирскому возбуждению и вызывающему тону. Они служили на «Стремительном» вместе три года, знали друг друга еще до этого, жили дружно, никогда не ссорились. И комиссар решил отшутиться:
— Чистый рысак ты! Скачешь без удержу!

Калинин повернулся к комиссару и, неожиданно взяв под козырек, ответил, побледнев:
— Разрешите напомнить, товарищ батальонный комиссар, что мы находимся в боевом походе. Шутки неуместны!
Комиссар изумленно взглянул на друга и в свою очередь озлился:
— Отлично, товарищ капитан-лейтенант. Но полагаю, что ваш тон тоже неуместен.
Они разошлись в разные стороны мостика. Но, как всякий вспыльчивый человек, Калинин отходил быстро. Он подумал, что совершенно напрасно погрызся с товарищем из-за пустяков, что нужно держать в узде свой характер, и в момент поворота решительно шагнул к комиссару, чтобы восстановить отношения и извиниться за нелепую вспышку. Но не успел он сделать и двух шагов, как что-то с невероятной силой схватило его за грудь и подняло на воздух.
Когда, оглушенный взрывом и сброшенный с мостика, он очнулся на палубе, втиснутый между вентилятором и кожухом трубы, он не сразу понял, что происходит вокруг.
На мокрой палубе, в горячей сырости пара, в дыму метались люди.
Кто-то, скрытый мраком, кричал рядом с ним:
— Корабль тонет!
Кто-то командовал и распоряжался за него, капитан-лейтенанта Калинина, хозяина «Стремительного». Это был непорядок. Этого нельзя было допустить. Он повернулся на бок, и первое, что почувствовал, была чугунная тяжесть в левой руке. Он попробовал пошевелить пальцами, но пальцы остались мертвыми. Он не ощущал их. Он попытался взглянуть на руку, и тоже не удалось. Мешала какая-то заслонка перед глазами. Он поднес к лицу здоровую руку, чтобы отодвинуть эту заслонку, и застонал. Пальцы сразу взмокли, и он с трудом понял, что перед глазами не заслонка, а свисшая со лба лоскутом его собственная кожа.
— Корабль тонет! Спасайся!
Какой болван орет эту чушь? Разве может утонуть его «Стремительный»? Калинин решительно вскочил на ноги. На кожухе валялась чья-то бескозырка. Командир эсминца Схватил ее и, прижав ко лбу лоскут кожи, не обращая внимания на боль, нахлобучил бескозырку. Теперь он мог видеть, хотя ресницы слипались от крови.
Сквозь пар он заметил краснофлотца на торпедном аппарате. Тот стоял с выпученными, бессмысленными глазами и дрожащими губами выкрикивал:
— Тонем! Тонем!
— Что вы мелете? Долой с аппарата!
Краснофлотец уставился на него пустым, одурелым взглядом. И вдруг этот взгляд прояснел обыкновенной человеческой тревогой при виде залитого кровью лица командира.
Краснофлотец ахнул:
— Товарищ командир корабля! Вы…
— На место! — скомандовал Калинин. — Стоять по местам!
И сам тоже кинулся на свое командирское место, на мостик, карабкаясь по искореженному трапу.
— Куда лезете? Назад! — крикнул ему кто-то, когда неузнаваемая голова, покрытая бескозыркой, показалась из люка.
— Я командир эсминца… Кто здесь распоряжается? — рявкнул Калинин, выбираясь на мостик, усеянный обломками.
Тот, кто кричал на него, — Калинин узнал в нем командира БЧ-III лейтенанта Воробьева, — вгляделся и взял под козырек.
— Виноват, товарищ капитан-лейтенант… Согласно боевому расписанию я вступил в исполнение обязанностей командира эсминца. Комиссар пропал без вести. Помощник убит. Артиллерист и штурман тяжело ранены, — отрапортовал Воробьев и нерешительно добавил: — Вы тоже ранены, товарищ капитан-лейтенант.
Командир недовольно поглядел на левое крыло мостика, где за секунду до взрыва стоял комиссар. Левого крыла не было, не было и комиссара. Калинин зажмурился.
— Исполняйте свои обязанности, — сказал он Воробьеву, — командую я.
— Но вам нужно к врачу… Санитаров! — вдруг закричал на весь мостик Воробьев. — Санитаров к командиру!
— Отправляйтесь на место! — повторил Калинин, стиснув зубы, и огляделся.

Мостик был в пятнах крови. У штурманской будки, скорчась, лежал помощник. Вахтенный командир, бледный, в висящем лохмотьями кителе, распутывал обрывки сигнальных фалов, которые окрутили его, как неводом.
Но среди обломков и крови стояли на своих местах сигнальщики и наблюдатели, и только во взглядах их, устремленных на командира, Калинин подметил недоумение и ожидание. Он понял, что люди смотрят на него, раненого командира, и ждут, что он примет то единственное решение, от которого зависит жизнь корабля и их жизнь.
— Все благополучно, товарищи, — сказал он, пытаясь улыбнуться. — Не ослаблять наблюдения.
В эту минуту с «Сурового» последовал запрос флагмана о последствиях взрыва, и Калинин приказал передать, что эсминец держится на плаву и повреждения выясняются. Он был уверен, что его «Стремительный» не может погибнуть.
Пока передавали семафор, Калинин подошел к помощнику и наклонился над ним. Окликнул. Ответа не было. Калинин попытался приподнять голову помощника. Она завалилась и деревянно стукнулась о палубу. Командир эсминца выпрямился.
«Прощай, помощник! Много вместе поплавано. Встретишь ли такого другого? И моряка и друга?»
Но грустить было некогда. Нужно было прежде всего восстановить порядок на мостике.
— Что вы смотрите, товарищи? Прибрать мостик!
Люди кинулись исполнять приказание командира. Зазвенел телефон.
— Командир эсминца слушает, — сказал Калинин, подняв трубку и чувствуя, как все в нем мутнеет от нарастающей боли.
— Говорит командир БЧ-V. Разрешите доложить положение, товарищ капитан-лейтенант. Работа аварийной группы идет успешно. Течь ликвидирована. Ставим упоры на переборку. Думаю…
— Понятно, — перебил Калинин. — Продолжайте работу. Сейчас спущусь вниз…
Он положил трубку. Вахтенный командир, наконец, выпутался из фалов. Калинин мутно посмотрел на его изодранный китель. Это тоже был непорядок. Что бы ни случилось, моряк должен быть на мостике в исправном виде.
— Пойдите, переодень… — командир эсминца не кончил фразы, шатнулся и повалился на руки вахтенного.
Он очнулся в кают-компании, когда врач, наложив лубок на левую, сломанную руку, кончал бинтовать голову, со сшитой стежками кожей лба. Как только врач завязал кончики бинта, Калинин сделал нетерпеливое движение, пытаясь встать.
— Нельзя, Василь Васильич, — сердито сказал врач, — вам нужно лежать.
— Уложите вашу бабушку, — упрямо и зло огрызнулся Калинин и спустил ноги с обеденного стола, на котором подвергся перевязке.
Пока в командире эсминца есть хоть капля жизни, он должен оставаться командиром эсминца, и лежать ему непристойно. Шатаясь, Калинин побрел к выходу на верхнюю палубу. От воздуха ему стало легче. Он прислонился к надстройке и стал дышать глубоко и ровно, как на зарядке. Стало почти хорошо.
Он поднял голову к мостику и окликнул:
— Вахтенный командир!
Голова вахтенного командира показалась над изорванным обвесом.
— Остаться за меня на мостике, — сказал Калинин. — Я иду вниз.
Когда он непривычно медленно и осторожно сползал по отвесному трапу в первую кочегарку, где работала аварийная группа, его поразили взрывы смеха, несшиеся снизу. «Что там смешного?» — подумал он с недоумением.
Заметив командира эсминца, командир БЧ-V подошел с рапортом:
— Товарищ капитан-лейтенант, работы заканчиваем. Все в порядке. Живучесть корабля обеспечена.
— Что это у вас за смех? — спросил капитан-лейтенант.
— Разрешите доложить… Старший политрук Колосовский сумел высоко поднять моральное состояние людей. Благодаря ему повреждения исправлены быстрее, чем можно было ожидать.

Командир эсминца, поморщась от боли, направился к переборке, откуда продолжали нестись раскаты смеха. И среди смеющихся краснофлотцев увидал Колосовского и не узнал политрука. Колосовский, без кителя, с засученными рукавами, управлял работой, как дирижер оркестром, переходя от одной группы к другой, ужом пролезая между механизмами, подбадривая людей, безостановочно бросая шуточки. Он даже перестал заикаться.
Калинин изумленно смотрел на простое, рябоватое лицо политрука. Сейчас оно стало неузнаваемо. Оно дышало оживлением, энергией, неисчерпаемой духовной силой русского человека, которая так подымает самых обычных и незаметных людей в грозные часы. И лица краснофлотцев тоже цвели жизнерадостной уверенностью. Это было удивительно и приятно.
— В первую минуту, товарищ капитан-лейтенант, — шепотом сказал из-за плеча командир БЧ-V, — среди команды возникла некоторая растерянность, но товарищ Колосовский сумел быстро успокоить людей, внушить бодрость…
Командир эсминца еще раз оглядел Колосовского с ног до головы, как будто впервые увидев этого человека по-настоящему, и вдруг с неожиданной теплотой сказал, протягивая ему руку:
— Объявляю вам, товарищ старший политрук, благодарность за отличное руководство. Будете представлены к награде.
Колосовский, опешив от похвалы командира эсминца, поднял руку к козырьку, забыв, что на нем нет фуражки. Но теперь даже это не только не рассердило, а, наоборот, растрогало Калинина. Он опустил эту руку и крепко сжал ее.
— Отлично работали!
Колосовский хотел ответить командиру, и вдруг от волнения его заело.
— С-с-с-с, — зашипел он в тщетном желании выговорить начатое слово.
Калинин засмеялся и здоровой рукой потрепал Колосовского по плечу.
— Не трудитесь, политрук, понятно!
Краснофлотцы прыснули. Засмеялся и сам Колосовский. И командир эсминца почувствовал, что его люди вместе с ним составляют тесную, крепкую боевую семью.
— Спасибо, товарищи краснофлотцы! — голос капитан-лейтенанта дрогнул. — Спасибо за службу! «Стремительный» не пропадет с такими людьми. Счастлив, что командую вами.
Когда он вернулся на мостик, там все было убрано. Море расстилалось вокруг — большое, теплое, голубое, мерцая солнечной рябью. Оно было пусто, «Суровый» и «Смелый» давно скрылись за горизонтом. Оставалось выполнить приказ командира соединения и терпеливо ожидать возвращения отряда. Командиру «Стремительного» стало очень тоскливо. Он сел на выступ тумбы ходового компаса, закрыл глаза и тихонько засвистел «Варяга».

Во время боя краснофлотец первого года службы Алексеев стоял подающим у третьего орудия на корме «Сурового». Прошлой осенью Алексеев пришел на флот из тамбовского колхоза и, когда садился на пароход в Ораниенбауме с партией молодых моряков, отправляемых в кронштадтский экипаж, смотрел на вспученную осенними ветрами воду взморья с недоверием и робостью.
По блеклой свинцовой шири мчались желтые гребни волн. Пароход, нырявший между этими гребнями, показался Алексееву ненадежным, а от скачки волн рябило в глазах и из-под ложечки подымалась к горлу противная и расслабляющая муть.
Но это осталось позади. Теперь Алексеев не испытывал больше робости перед морем. В конце концов, оно было очень похоже на бескрайнее колхозное поле в дни созревания хлебов. Оно тоже все время колыхалось, как зреющая пшеница. Только оно было из воды и непрестанно меняло цвет. Алексеев полюбил эту сказочную смену красок.
И в этот поход он любовался морем. Из темно-чернильного, каким оно было ночью, оно постепенно превращалось в пепельно-серое, зеленовато-опаловое, розовое и, наконец, стало густо-изумрудным у самого борта корабля, все больше бледнея к горизонту и сливаясь там с сиреневой дымкой.
С первого залпа Алексеев забыл о море. Он проделывал одну и ту же несложную работу: подхватывал с палубы длинную остроносую болванку снаряда и, натужась, ловко опускал ее в уютную выгнутую люльку автоматического зарядника. Зарядник уже без помощи

Алексеева со звоном втискивал снаряд в отверстие каморы. Первые дни службы при орудии Алексеев завороженно смотрел на самостоятельную работу зарядника. Этот гнутый кусок стали казался ему наделенным своей жизнью и хитрым металлическим мозгом. Он стал уважать зарядник, как безмолвного и безотказного друга и помощника, который не подведет и не выдаст. Этот умный прибор был создан, может быть, руками такого же двадцатилетнего комсомольца в грохочущем корпусе заводского цеха. И Алексеев иногда завидовал неизвестному однолетке, создателю зарядника, и думал, что хорошо бы после службы пойти на завод и тоже делать такие замечательные вещи.
Занятый своим делом, Алексеев не замечал происходящего за пределами его пушки и не думал об опасности. Ему и некогда было о ней думать. Залп следовал за залпом, и на раздумывание не оставалось времени.
Он знал только, что болванки металла с медными остриями и кольцами, швыряемые буйной мощью пороха, должны отогнать и уничтожить те чужие корабли, что были едва различимы в морской дымке. Эти корабли лезли к берегам родины, охрану которых страна доверила Алексееву и его товарищам. Каждый из них исполнял свои обязанности у этой пушки, мигая и морщась от сухих, сотрясающих все тело ударов залпов, раскрывая рты в момент выстрела, испытывая боль в ушах, куда вбивало, как молотом, раздирающий грохот.
И Алексеев очень удивился, когда в промежутке между залпами, еще до мычания ревуна, по палубе у казенной части орудия с ревом разлилось мгновенное темное пламя. Когда оно сникло, Алексеев увидел вспученную пузырями и почерневшую краску на щитовой броне, вмятины и рваные дыры в листах палубы, распластанное ничком тело комендора Люлько со странно раскинутыми руками.
Алексеев протер запорошенные глаза и нагнулся за очередным снарядом. Но, к своему удивлению, поднять его не смог. Онемелая левая нога подвернулась, и он неловко сел на палубу. Оробев, он посмотрел на непослушную ногу. Брезент брюк был разорван у колена, и по палубе под коленом расплывалось блестящее по краю пятно крови.
— О-ой! — закричал Алексеев тоненьким бабьим воплем.
Над ним наклонился командир орудия старшина Форафонов.
— Чего кричишь? — сказал он Алексееву. — Зацепило? На то и бой! Порядка не знаешь? Доставай пакет, перевязывай.
Форафонов ухватился за надорванную осколком штанину Алексеева и с натугой разорвал ее по шву до бедра. Алексеев увидел свое развороченное мясо над коленом и испугался. Та же расслабляющая муть, какую он испытал, впервые попав на пароход, заколыхала его. Форафонов вырвал у него индивидуальный пакет. Ремешком от своих брюк он туго перетянул ногу Алексеева, положил подушечку и стал бинтовать. Алексеев сидел, сжав губы, стараясь удержать неприятное цоканье зубов.
— Готово! — Форафонов шлепнул ладошкой по спине Алексеева. — Ползи, товарищ, в лазарет, кланяйся доктору.
Алексеев не смог улыбнуться на шутку. Он пополз по палубе до леера, поднялся и, чуть не плача от боли в коленке, повис на леере и стал продвигаться, подпрыгивая на одной ноге. Оглядываясь на свою пушку, увидел, что расчет ее пополнен из подвахтенной смены. На его месте стоял рыжий Сережка Иванов. По прогнутой стали щита гремели кувалды, освобождая откат пушки.
Алексееву стало досадно, что он покинул свое место. Придерживаясь за леер, он смотрел на работающих товарищей, но новая вспышка темного пламени оторвала его от леера и хватила затылком о шлюпбалку вельбота. Присев на корточки, он увидел сквозь вонючий дым наполовину отбитый ствол пушки и разметанный по палубе расчет. И он почувствовал рану пушки, как свою собственную. Ярость залила ему глаза. Он всхлипнул и потряс кулаком в море, туда, где были враги.
И сейчас же услышал рядом грозный крик:
— Мина горит!
Алексеев повернулся. У одной из мин, приготовленных к постановке, осколком разворотило корпус. Разбросанный желтыми комьями по палубе, тротил горел, сильно коптя. Языки огня лизали корпус мины, и из нее уже шел дымок. Алексеев вспомнил занятия по минному делу. Горящий на воздухе тротил безопасен. Но в разбитой мине были

запальные стаканы с гремучей ртутью и тетрилом. Раскалясь, они взорвутся, и тогда рванет тротил, захватывая и соседние мины.
Кто-то с обожженным лицом, в изорванном рабочем платье, проскочив мимо Алексеева, метнулся к горящей мине и уперся в нее черными, ободранными в кровь руками, стараясь подтолкнуть к борту. Но тяжелая мина только покачивалась. Один человек не мог совладать с ней. А поблизости никого не было. Тогда, забыв о ране, Алексеев вскочил на ноги и, не хромая, побежал на помощь одинокому товарищу. В этом опаленном человеке он не узнал всегда щеголеватого Форафонова.
— Навались! — крикнул Форафонов, тоже не узнавая соседа. — Напри! Разок! Еще разик! Ухнем!
Мина толчками подавалась к борту. Последним усилием краснофлотцы перевалили ее через ватервейс, и она, высоко плеснув брызгами, исчезла в глубине.
И тут же Алексеев с воплем схватился за ногу и лег на палубу, впиваясь зубами в ладонь от нестерпимой боли.
Форафонов провел рукой по закопченному лицу, нагнулся, подхватил Алексеева и, перекинув его через плечо, пошел на перевязочный пост.

Штурман захлопнул крышку ящика с хронометром и поднес руку к фуражке.
— Постановка окончена, товарищ капитан второго ранга. Одна мина на нашей палубе была разбита осколком и загорелась. Старшина Форафонов и раненый краснофлотец Алексеев успели столкнуть ее за борт, предупредив катастрофу.
Капитан второго ранга Маглидзе наклонил голову.
«Хорошие ребята, золотые ребята, — подумал он, смотря на штурмана. — Вот они, наши дети. С ними жить, драться и побеждать радостно. И умирать не страшно!»
— Добро! — коротко сказал он штурману и обернулся к командиру «Сурового». — Ложиться курсом на место «Стремительного». Идти полным ходом. Поторопимся!
Эсминцы повернули домой. Целый час командир соединения не сводил глаз с востока, где был оставлен «Стремительный». И когда наблюдатели открыли эсминец, Маглидзе впервые за двое суток ощутил голод.
— Притащите мне пару бутербродов и чаю покрепче, — сказал он вестовому и стал набивать трубку.
«Суровый» вплотную прошел мимо «Стремительного». На палубе поврежденного корабля стояла выстроенная по бортам команда, на мостике белела перевязанная голова командира. Боевой флаг «Стремительного» развевался на гафеле, приветствуя флагмана, и на «Суровом» услышали медленный медный ритм гимна.
Командир соединения опустил руку от козырька.
— Передать на «Стремительный»: «Приготовиться принять швартовы».
Флажки семафора начали свою сложную пляску в воздухе. Со «Стремительного» отмахали в ответ: «Ясно вижу». Потом флажки на его мостике взлетали долго, передавая длинную фразу!
«Прошу разрешить самостоятельно следовать на базу, — читал командир соединения. — Повреждения исправил, могу держать десять узлов без риска для корабля».
— Ну и жук! — одобрительно крякнул Маглидзе. — Подымите ему: «Флагман изъявляет удовольствие». А я пойду к раненым.
Алексеев лежал на лазаретной койке. После укола морфия и вторичной перевязки, наложенной врачом, нога уже не болела, а лишь тихонько ныла. Он лежал, положив руки под затылок, и думал, как напишет письмо Танюше Будкиной, трактористке второго стана, как расскажет про свой первый бой и рану и как Танюша станет читать его письмо всем друзьям.
Чья-то тень заслонила от него солнечный луч из иллюминатора. Алексеев нехотя повернул голову и на уровне койки увидел лицо командира соединения. Он дернулся, пытаясь привстать, но крепкая рука опустила его на подушку.
— Лежите, товарищ Алексеев, отдыхайте! Как чувствуете себя? Очень больно?
— Теперь ничего, товарищ капитан второго ранга, — ответил Алексеев, — самую чуточку. Вот когда мину спихнул, тогда в коленку так ударило, аж море заплясало.
— Как же вы так с разбитой ногой полезли мину сбрасывать? — спросил Маглидзе.

Алексееву почудилось, что начальник упрекает его. В глаза ему набежали слезы, и он виновато сказал:
— Так, товарищ же капитан второго ранга, ведь коли б она рванула, — всем крышка была б… Я и про ногу забыл, как увидел, что Форафонов в одиночку с ней мучается… Извините, коли неправильно поступил…
Он замолчал и нервно затеребил пальцами воротник рубашки. Командир соединения взглянул на стоящего рядом врача, торопливо отвел взгляд и быстро вышел.

Вечером командир «Стремительного» сидел в салоне командира соединения и докладывал соображения по ремонту эсминца.
Ему было не по себе. Он ослабел от ран. Болела рука, разламывало голову. Но он старался держаться бодро. Он ждал, что после окончания доклада командир соединения разнесет его за неудачный поворот и аварию корабля. Может быть, даже отдаст под суд. И, оттягивая эту минуту, Калинин был чрезмерно многословен. Но пришлось все же закончить. И он замолчал, опустив глаза.
— Ну что же, одобряю, — услыхал он голос Маглидзе, — и благодарю за энергичные действия по обеспечению живучести корабля.
Калинин горько вздохнул.
— Эх! — произнес он печально. — Разве об этом я думал, товарищ капитан второго ранга, когда выходил в поход. Я мечтал о подвиге, а получилось черт знает что. Хоть бы выругали вы меня!
Командир соединения молчал. В салоне было слышно только посапывание раскуриваемой трубки. Воздух заволокло сладковатым голубым дымом. И Маглидзе задумчиво сказал:
— Подвиг!.. А что такое подвиг? Очень интересно! Никто не понимает. Краснофлотец Алексеев извинился передо мной за то, что совершил подвиг… Командир эсминца Калинин считает естественным оставаться командовать кораблем, когда ему самому нужна хорошая починка в госпитале…
Калинин искоса посмотрел на командира соединения, и в глазах мелькнула лукавая искра. Он поднялся:
— Разрешите сказать, товарищ капитан второго ранга. Я тоже знаю одного командира соединения, который не замечает, что принял на себя огромную ответственность продолжать и довести до конца операцию в таких тяжелых условиях, которые были созданы аварией корабля. Вот что такое подвиг!
— Хватил!.. — насмешливо проворчал Маглидзе. — Бредишь, наверное, от ран, капитан-лейтенант… Езжай, выспись… Время позднее!

Чайная роза

Жора Фемелиди был балаклавский грек. А балаклавские греки не простая порода. Нигде больше не найти такого бурного и счастливого смешения кровей, как в балаклавцах. Оттого и вырастают они кипучей старого вина, шумные любители соленой шутки, сердцееды, непокорные, как древняя генуэзская башня над их родным городом, которую не могли разрушить ни века, ни бешеные морские ветры.
Как всякий балаклавец, Жора был непомерно самолюбив и вспыльчив. Он напоминал то ехидное растение, которое лепится по прибрежным скалам и называется морским огурцом. Невзрачные плоды его, похожие на корнишоны, при легчайшем прикосновении к ним неосторожного прохожего с треском плюются мокрыми семенами, как разозленный верблюд. Так же мгновенно и шумно вскипал Жора при малейшей обиде. А обидой ему казалось все, что противоречило его желаниям и его представлению о собственной личности.
Был он долговяз, смугл, гибок и худ, а зрачки его влажных греческих глаз сверкали, как отполированные шарики чистого антрацита, впаянные в голубоватый мрамор белков.
В роте он имел репутацию отличного служаки, но крикуна, занозы и беспокойного человека. Поэтому, выбирая пятерку бойцов для отправки в снайперскую команду

батальона, лейтенант Седельников первой внес в список фамилию Фемелиди. С одной стороны, лейтенант этим избавлялся от неизбежного бурного разговора о незаслуженной обиде, с другой — тайно надеялся хоть на время отдохнуть от шумливого потомка Гомера. Жора не разгадал хитрости лейтенанта. Он принял назначение, как почетное отличие, и весело сверкнул своими антрацитными шариками. Потом, не дожидаясь, пока соберутся остальные, он подхватил мешок с парой трусиков, початым флаконом «Красной Москвы», бритвой и любимой мандолиной и отправился в район штаба батальона разыскивать инструктора команды снайперов, старшего сержанта Бондарчук. Но на пороге указанной ему землянки сидел краснофлотец, задумчиво штопая штаны второго срока. На вопрос Жоры он сообщил, что сержант в текущий момент находится у командира батальона и прибудет так через полчасика.

Солнце висело в зените. Порыжелый от зноя полдень горячей лавой растекался по каменистой почве. Дрожали струйки раскаленного воздуха. Как природный крымчак, Жора ненавидел жару и потащился в сторону, разыскивая какое-нибудь укрытие. Но трудно найти настоящую освежающую прохладу на голых севастопольских высотах, и пришлось ограничиться условным холодком под чахлыми кустами дерезы.

Чтобы скоротать ожидание, Жора вытащил из мешка мандолину, разлегся поудобнее и, с ненавистью посмотрев на пылающую синюю высь, забренчал танго «Утомленное солнце». Играл он, несмотря на зной, с упоением, не заметив даже, как резкая синяя тень легла на мандолину.

— Довольно неудобное место для концерта… А играете неплохо.

Голос был грудной, высокий, и Жора удивленно вскинул голову. И заморгал так, словно взглянул на солнце и опалил глаза.

Он увидел худенькую девушку в армейской форме. Примятая пилотка бочком сидела на ее аккуратной небольшой голове. Пушистые волосы золотились на солнце. У девушки был маленький точеный носик, по-детски припухлые губы, а загорелое лицо точно освещалось изнутри теплым светом глаз, синих, как вода в бухте.

Жора обомлел от неожиданности. Но замешательство было не в правилах коренного балаклавца. Вскочив на ноги, он неотразимо ухмыльнулся, щелкнул каблуками и произнес с преувеличенным восторгом:

— Калимера-калиспера! Волшебная игра природы! Видение, превышающее воображение. Какая яркая индивидуальность!

Угловатые бровки девушки дрогнули и сошлись к переносью. Смотря в глаза Жоре, она неожиданно резко спросила:

— Вы кто такой?

Это не понравилось Жоре. От своего безошибочного, не раз проверенного на женской психологии приема он ждал иной реакции — смущения, застенчивой или лукавой улыбки. И вдруг… Да с какой, собственно, стати эта пичуга так обращается с ним, закаленным фронтовиком? И кто она-то сама? Какая-нибудь сандружинница, в лучшем случае радистка или зенитчица. А фасонит, как командир.

— Я вас спрашиваю, кто вы такой? — еще резче повторила девушка.

Жора весь напружился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зрелой мякотью. Оскалив тридцать два ослепительных зуба и дерзко прищурясь, он брякнул:

— Ну, вот что, милая барышня, раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шагиком… Тоже… чайная роза!

Он вложил в этот эпитет все яростное презрение к нахальной девчонке, которое вскипело в его обидчивом сердце. Но девушка даже не изменилась в лице, словно Жорина дерзость прошла мимо ее слуха.

— Отлично! — сказала она совершенно спокойно. — Очень приятное знакомство. Ну, а я, к вашему сведению, старший сержант Бондарчук… Для первого шага делаю вам, товарищ краснофлотец, замечание за непристойное кривлянье и грубость. И, если не хотите заработать более крупное взыскание, извольте отвечать на вопрос.

Жора обомлел от нежданного оборота событий. Только теперь он рассмотрел защитные Треугольнички на таких же петлицах. Против собственного желания он автоматически выпрямился.

— Краснофлотец третьей роты Фемелиди… Прибыл в ваше распоряжение, товарищ старший сержант! — с трудом выдавил он сразу пересохшим ртом.
Синие глаза обдали его нестерпимым блеском, и ему захотелось провалиться, когда он услышал презрительный голос:
— Очень ценное приобретение. Именно всю жизнь мечтала, чтобы мне прислали такое сокровище. Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться. И можете быть свободны до вызова.
И, повернув к Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням.
Подобрав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький широкоплечий живчик старшина после первых слов всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил:
— Ты что, браток, с лица потерянный, будто к тебе теща напостоянно приехала с правом на жилплощадь?
Жора уныло махнул рукой и рассказал старшине о происшествии.
Старшина почесал веснушчатый нос.
— Здорово напоролся, — сказал он с мужским сочувствием. — Теперь держи ухи на макухе. Она тебе приварит, эта чайная роза. Она насчет дисциплины пристрастное понятие имеет. Зато стреляет — рассказать невозможно. Который нормальный снайпер, тот ганса просто в глаз бьет, а она в самый зрачок норовит. Сам увидишь.
Остаток дня Жора провел скучно и тревожно. Будущее представлялось невеселым. Ничего не может быть хуже порчи отношений с начальством с первого дня. Толку из жизни после этого не будет. И Жора честил себя отборными балаклавскими эпитетами, едкими, как стручковый перец.
— Камбала одноглазая, морской кот слепой! — ругался он втихую. — Знаков различия не мог сразу разобрать… Да кто ж его знал… Бондарчук!.. Бондарчук!.. Такая фамилия — не разберешь, какого пола. И думать не мог… Эх, вляпался, Жорка, — держись!
Он заснул неуспокоенный. После побудки его вызвали к старшему сержанту. Жора предстал перед начальством хмурый и поникший. Сержант Бондарчук критически осмотрела его с ног до головы.
— На вид, — сказала она, — хороший боец. А вчера тошно смотреть было. Как рыжий в цирке.
Жора осторожно молчал.
— С винтовкой обращаться умеете? — спросила Бондарчук.
Жора затрясся. Это было уже чересчур. Вчера он ответил бы на такой вопрос. Ой, как ответил бы. Но сейчас он только потемнел от ярости и буркнул?
— Второго года службы, товарищ старший сержант… Учили.
— Не знаю, — ответила Бондарчук, — многому придется переучиваться. Снайперское дело иногда не столько стрельба, сколько уменье ждать, когда можно будет выстрелить. А чтобы этого дождаться, надо уметь видеть. На первый раз проверим вашу способность к наблюдению. Пойдемте.
Жора покорно поплелся за старшим сержантом. Несмотря на злость, которая бушевала в нем, он начал сознаваться самому себе, что сержант — командир хоть куда.
Они пробрались к замаскированной снайперской ячейке на гребне холма. Внизу, белая от пыли, струилась, как речка, проселочная дорога. Вдоль нее валялись поваленные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливняка. Бондарчук показала Жоре на эти заросли:
— Вот пробирайтесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Заляжете и будете наблюдать в течение двух часов. Человек появится, повозка, лошадь, блеснет что-нибудь, дымок пойдет — запоминайте место и засекайте направление по компасу. С компасом справляетесь? Хорошо… Все ясно?
— Ясно, — хмуро сказал Жора.
— Огня не открывать, пока не начнут стрелять непосредственно по вас, то есть когда станет ясно, что вы обнаружены. Тогда можно отстреливаться. Но не нужно этого допускать. Снайпер должен уметь видеть и быть невидимкой. Трогайтесь! Я буду вас ждать здесь. И имейте в виду — там довольно опасно.

Жора вскинул голову, как конь, которого дернули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она, в самом деле, думает о нем, эта… чайная роза! И он огрызнулся:
— Не в таких переделках бывал, товарищ старший сержант. Воевать — что скумбрию на сковородке жарить.
Но Бондарчук не захотела понять дерзкого намека на домашнее хозяйство.
— Ладно! Меньше слов — больше дела! Это еще Суворов говорил. Выполняйте приказание.
Жора выбрался из гнезда и пополз к назначенному месту. Он достиг его без всяких приключений, приметил под изогнутым стволом терна неглубокую ямку, забрался в нее и, обломав для очистки обзора несколько веточек, прикрыл ими себя. Потом стал приглядываться к местности. Под ним струилась та же дорога. На ней темнело несколько опаленных воронок. Очевидно, дорога попала под короткий, но сильный обстрел. Подальше над дорогой вздымалась отвесная бело-желтая, с потеками от дождей Скала. Ее мягкий камень пилили дровяными пилами для севастопольских построек. В ней чернели узкие дыры — это был северный край Инкерманского пещерного города. Напротив Жоры подымался такой же поросший диким сливняком склон, и по нему змеился, сбегая книзу, оросительный кювет. В долине голубели пятна садов, а еще дальше вставали зубчатые вершины. На них время от времени вспыхивали бледные молнии, сопровождаемые глухим громом. Оттуда била по городу немецкая артиллерия.
Жора проглядывал каждую складку, каждый уголок, напрягая глаза, стараясь не шевелиться, не поворачивать головы. Он успел уже заметить обозную повозку, которая пронеслась в долине, дымок не то костра, не то полевой кухни за забором разбитого хутора. Потом в одной из пещерных дыр мелькнула и скрылась смутная фигура, и Жора заметил эту дыру по нависшему над ней ржавому камню. Потом долгое время он не обнаруживал нигде признаков жизни и уже начал скучать, как вдруг из кювета напротив выскочила курчавая беленькая собачонка. Она присела на задние лапки и пискливо затявкала.
Жора всмотрелся и увидел на ее шее голубую ленточку. Это удивило его. Видимо, собачка в военной тревоге отбилась от хозяев и блуждала голодная по зарослям. Жора пожалел ее. И у него возникла мысль приманить ее и отвести в батальон — все-таки забава для ребят. Он тихонько засвистал. В сонном и знойном воздухе свист должен был быть слышен далеко, но собачка по-прежнему подпрыгивала на месте и тявкала, не слыша призыва. Жора приподнялся на локтях и засвистал громче. В ту же секунду голова его словно раскололась от грохота. Оглушенный, он так быстро юркнул в свою ямку, что сильно ударился носом о камень. В глазах у него потемнело, и он не сразу понял, что это каска налезла ему на лицо. Он осторожно снял ее и увидел на левой стороне козырька косую рваную пробоину с острыми лепестками развороченной стали. Он мгновенно вспотел. Чуть правее — и пробоина была бы в его голове. Снова напялив каску, он попытался сдвинуться назад, и сейчас же пуля вскопала щебень у его плеча, подняв белесое облачко пыли.
Но теперь Жора успел заметить взблеск выстрела на краю кювета, рядом с собачкой, которая больше не прыгала и не тявкала, а лежала на боку, деревянно вытянув лапки. Жора понял, что его поймали на приманку, как глупого бычка.
— Пожди, господа бога свиной огрызок, — прошептал он, белея от обиды и злобы, — пожди!
Он медленно и тщательно прицелился в собачку. От удара пули она подпрыгнула, и из ее пробитого тела клочьями полетела ватная начинка.
— Ага, выложил твоего кобелька, спортил Гансу породу, — злорадно усмехнулся Жора. Немец тоже озлился и не выдержал характера. Он расковырял землю у головы Жоры целой очередью. Но этим окончательно обнаружил себя. Жора увидел и черное дуло автомата, и серо-зеленое плечо, и склоненную к прикладу голову. Он послал пулю в эту голову. Дуло автомата дрогнуло и поникло.
— Маринованный баклажан по-советски кушал? — сказал Жора сквозь зубы и отер потный лоб. На противоположном склоне белела разорванная собачка и чернело дуло смолкшего автомата. Жора не спускал с него глаз. Он не был бы балаклавцем, если бы не захотел захватить вражеское оружие. Кинув быстрый взгляд кругом и не видя никакой опасности, он выполз из ямки, по-пластунски загребая руками, но не продвинулся и на длину своего

тела, как две пули настигли его с разных сторон. Одна с шипением ушла в землю, как уползающая в нору змея, вторая ожгла левое плечо. Это заставило его стремглав ринуться в ямку. Сердце у него застучало, как мотор. Он понял, что попал в ловушку, что за ним охотятся. Число врагов было неизвестно. Может быть, целый взвод Гансов пялит на него буркалы.
Жора пощупал пробитое плечо. Оно горело, но он мог двигать рукой, хотя каждое движение отдавалось болью.
Он лежал неподвижно, тяжело дышал и думал. Конечно, теперь ему не выбраться из этой ямы. Но запросто его не возьмут. Он отдаст свою жизнь не иначе, как за хорошую цену. Так, чтобы о нем, Жоре Фемелиди, пели в Балаклаве гордую песню, как о тех черноусых предках, обвешанных ятаганами и пистолетами, засиженные мухами портреты которых висели в каждом балаклавском домике. Он закрыл глаза и вспомнил Балаклаву. И все его тело запротестовало против смерти. Слишком мало еще он прожил, слишком мало отведал раннего кисловатого молодого вина, слишком недолго любил огненнооких балаклавских девушек. И в нем поднялась тяжелая злоба на сержанта Бондарчук. Ведь она знала, посылая его сюда, что тут западня. Так небось не пошла вместе с ним, а погнала на смерть его одного. И еще раскалила намеком на опасность. У, чертова кукла! Сидит теперь спокойненько в гнезде, и мало ей заботы, что тут погибает краснофлотец Фемелиди, двадцати двух лет.
Он чуть приподнял голову, чтобы, по крайней мере, определить, где могут находиться враги, и это движение снова едва не стоило ему жизни. Пуля боком чиркнула по каске. Тогда, задрожав от бешенства и бессилия, он лег ничком и вцепился зубами в сухую веточку, неистово разгрызая ее. И в этот миг над самым его ухом оглушительно лопнул выстрел. Жора рванулся вбок, уверенный, что враг подкрался сзади. Но, повернув голову, ахнул. Из-под лохмотьев маскировочного плаща, утыканного листвой, на него в упор смотрели синие, как вода бухты, глаза.
— Живы? — спросил знакомый грудной голос, вливаясь теплом в грудь Жоры. — Лежите тихо, не двигайтесь… Одного уже сняла.
Жора притих. Он видел, как положенное на камень дуло винтовки сержанта медленно продвигалось влево и замерло. Жора пялил глаза по этому направлению, но не видел ничего, кроме густой листвы. Ударил выстрел, обдав его жаром, и из листвы, хватая пальцами ветки, тщетно стараясь удержаться, вывалился и распластался на откосе немец. Листва затряслась, и сквозь нее Жора увидел двоих, бегущих из своей засады. Третий выстрел срезал одного из них на бегу. Второй успел скрыться за непроницаемой сеткой стволов.
— Вот сволочь! — огорченно сказала Бондарчук. — Уплелся… перетянула с прицеливанием… Да вы что, ранены? — быстро спросила она, увидя землистое лицо Жоры и застывающую лепешку крови на его плече.
— Чиркнуло, — небрежно проворчал Жора, обретая прежнюю лихость, — до свадьбы…
Ноющий визг не дал ему договорить. Рядом брякнула и разорвалась тяжелая мина. Черный дым призрачным монахом недвижно и плотно встал в воздухе, и мгновение спустя сверху посыпались поднятые взрывом обломки деревьев и камни. И вслед за взрывом по сливняку, как вода из шланга, туго хлестнула пулеметная струя.
— Ого! Всерьез обиделись… А ну, ходу! — крикнула сержант Бондарчук и, скорчась в три погибели, бросилась в чащу сливняка. Преодолевая боль от толчков в раненом плече, Жора мчался за ней. В непроходимой чаще они остановились, и Жора рискнул высказать свое мнение.
— Мы ж не той дорогой идем, товарищ старший сержант.
— Знаю, что не той. Той нельзя уже. Она вся простреливается. Пойдем обходом. Можете идти?
— Чтоб Жора Фемелиди не мог идти из-за кошачьей болячки? — сердито сказал Жора.
Они карабкались сквозь колючую чащу еще минут десять. Шипы терна вырывали лоскутья из одежды, царапали и резали руки и лица. Заросли окончились над обрывом.
— Давайте вниз! — сказала Бондарчук и, спустив ноги за край обрыва, поехала спиной по почти отвесному скату. Жора свалился вслед за ней. Внизу они поднялись, оборванные, как бродяги, перебежали по дну балки и нырнули в пролом какого-то забора. За забором был

фруктовый сад. Сонная золотая тишина окутывала его и показалась Жоре неправдоподобной после пережитого. Сквозь ветви яблонь и груш белел покинутый домик, напоминая о былом мире и покое. Лениво жужжали пчелы.
Пролезая сквозь живую изгородь из блестящего на солнце буксуса, Жора задел ногой за ветки и повалился вперед, проламывая головой упругую стену зелени. Охнув от боли, он поднялся и увидел, что упал на штамбовый куст, росший за оградой. Он обломал его при падении, и на сломанном стебле, перед его глазами медленно раскачивалась, горя на солнце, как волшебная чаша из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чайная роза.
Он смотрел на нее, и его рука сама протянулась к ней и оторвала надломленный стебель.
— Ну, выбрались… Теперь в порядке, — сказала сержант Бондарчук, смотря не на Жору, а на свои кровоточащие руки, изодранные колючками терна. Потом, вспомнив, она повернулась к Жоре.
— Вас перевязать надо… Что вы так на меня уставились? — спросила она с гримаской, увидя устремленные на нее блестящие антрацитные шарики.
Тогда Жора поступил так, как должен был поступить балаклавский грек. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, он шагнул вперед.
— Вот какая штука, — сказал он, — вчера вышло недоразумение. Так давайте, товарищ старший сержант, кончим это дело. Жора Фемелиди не такой человек. Жора все понимает… Даю руку на вечную морскую дружбу…
Сержант Бондарчук посмотрела на стоящего перед ней долговязого парня со сверкающими преданностью глазами, и в синих зрачках ее пробежал мягкий свет. Она усмехнулась и шлепнула маленькой жаркой ладонью по протянутой ладони Жоры.
— Ладно, снайпер из вас выйдет.
— Разрешите, я вам эту эмблему приспособлю.
И Жора бережно всунул в кармашек гимнастерки сержанта чайную розу. Выпрямляясь, он ощутил звон в голове и пошатнулся. Но рука сержанта Бондарчук не дала ему упасть. Он оперся на нее, и так, рядом, плечо к плечу, спаянные лучшей из дружб — дружбой, рожденной в бою, они пошли к своим.

Михаил Шолохов

Наука ненависти

На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах. Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.
Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:
— Как же ты тут уцелела, милая?..
Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.

На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние всё еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья…
Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном.
Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.
Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.
Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.
Шагавший впереди немец — пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, — поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:
— Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрей, говорят тебе!..
Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал:
— Ничего не поделаешь, — нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там, и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал — даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет. — Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот: — Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает… Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, — это страшно!

Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издалека доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.
В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.
Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.
— До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня — жена, двое ребят, отец-инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится — жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся

я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе о горлом вынем, не беспокойся!»
Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось: «Смотри, — говорит, — Виктор, фамилия Герасимовых — это не простая фамилия. Ты — потомственный рабочий; прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то — твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».
«Будет сделано, отец».
По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек… Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов, — говорит мой секретарь, — перед дорогой посидим минутку по старому обычаю».
Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу — очки у него будто бы отпотели… Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется».
Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше…
И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.
А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене невесело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:
«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте». — «Что ты, — говорю ей, — Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, вероломные соседи, — теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!
Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал:
— До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю ее со всех сторон. Ничего не скажешь — умные руки эти машины делали. Книги немецких писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война в Западной Европе…
И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия — тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после…
В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню, как сейчас: привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто — табаку или папирос, кто — чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит; «Слюни вы распустили с этими «друзьями». Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.
Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись… Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки…
Особенно одна осталась у меня в памяти; ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники… Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как исступленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.
Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место… На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей… Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху — стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки, — восемь красноармейских пилоток…
Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом! — Лейтенант Герасимов надолго умолк.
— Можно здесь закурить? — спросил я его.
— Можно. Курите в руку, — охрипшим голосом ответил он.
И, закурив, продолжал!
— Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались как черти!
В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо.
С жадностью затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном:
— Хорошая земля на Украине, и природа там чудесная! Каждое село и деревушка казались нам родными, может быть, потому, что, не скупясь, проливали мы там свою кровь, а кровь ведь, как говорят, роднит… И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко! Уходим и в глаза друг другу не глядим.
…Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А двадцать первого, в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен.
Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге, следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. Два раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили шесть танков и одну бронемашину, уложили на кукурузном поле человек сто двадцать гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высотку, которую держали с полудня до четырех часов. С утра было жарко. В небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то

чужим, окончательно осипшим голосом. Мы перебегали по лощине, когда впереди меня разорвалась мина. Кажется, я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это — все. Осколок мины пробил мою каску, второй попал в правое плечо.
Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, что лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен, кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали, и я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Это топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия: ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня.
«Вот и смерть», — подумал я. О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел подумать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал на колени, касаясь руками земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах. Стоял и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду и они меня заколют лежачего. Ни одного лица я не помню. Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой — иди, мол, вперед. Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови, из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая, плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел…
Нет, я вовсе не хотел умирать и тем более — оставаться в плену. С великим трудом преодолевая головокружение и тошноту, я шел, — значит, я был жив и мог еще действовать. Ох как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: «Как только напьюсь и чуточку отдохну — убегу!»
На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из нашего полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали. Тогда он еще раз спросил: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед». Никто из строя не вышел. Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?» — и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять; он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек — удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя — на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными, но когда обыск кончился и партбилет остался при мне, — я так обрадовался, что даже про жажду забыл!
Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой и ехало человек десять немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел потому, что знал, что, если пролежу лишнюю минуту и колонна пройдет, — меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивал от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал:
— Нет, не могу. Прощайте, товарищи! — и сел среди дороги.
Его пытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне, помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза… Колонна прошла. Он остался позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и

выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще нескольких отстававших красноармейцев.
И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост, во рту у меня было полно пыли, я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться…
А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла. И все-таки я встал! Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневую теплую жижу, и она казалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге…
Только отошли от речки, как по пути нам встретилась колонна средних немецких танков. Они двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы — пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину, что-то орали высунувшимся из люков танкистам и размахивали руками. Потом снова построили нас и погнали сбоку дороги. Веселые люди, ничего не скажешь…
В этот вечер и ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потери крови, да и охраняли нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки! Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унизить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части. И мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных.
Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей проволокой. Внутри плечом к плечу стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом, — значит, ничего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолнуха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать…
Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил не переставая… Каждую ночь умирало по нескольку десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны.
На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще сильнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноение. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали, тяжелораненые красноармейцы. Утром я обратился к унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали мне, был при, раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь».
Тогда я не понял насмешки и, обрадованный, побрел к конюшне.
Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченый человек. Худой до изнеможения, измученный, он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в рангах кишели черви, и те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками… Тут же лежала груда умерших пленных, их не успевали убирать.
«Видели? — спросил у меня врач. — Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет! Идите отсюда, ради бога, идите! А бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь у двери — свежая зола».

Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну, как? О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помощь?» Я хотел молча пройти мимо него, но он ударил меня кулаком в лицо, крикнул: «Ты не хочешь отвечать, скотина?!» Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно…

Вы спрашиваете, как я выжил?

До войны, когда я еще не был механиком, я работал грузчиком на Каме, я на разгрузке носил по два куля соли, в каждом — по центнеру. Силенка была, не жаловался, к тому же вообще организм у меня здоровый, но главное — это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за родину, и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!

Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в ста от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном: высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить эту падаль. Чтобы не умереть с голоду, мы ели — и умирали сотнями… Вдобавок ко всему в октябре наступили холода, беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель. Но и это не спасало от холода, а к голоду мы уже привыкли…

Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались: утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика:

«Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны».

Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих, живых скелетов стоят на пронизывающем ветру… Стоят и ждут.

И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая голодом, шарахается туда, около кусков измазанной в грязи конины идет свалка…

Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые… Высокий обер-лейтенант — начальник лагеря — подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит:

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно! Убрать убитых и раненых!»

Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают со смеху. Им по душе «остроумная» выходка их начальника.

Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, в овраге… Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои затянулись, потом, наверное от вечной сырости и побоев, снова открылись и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление… Спали мы прямо в грязи, не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня: зябнут те, которые лежат на самом низу, в грязи, зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука.

Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои обтянутые одной кожей, высохшие руки, думал: «Как же я уйду отсюда?» Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь.

Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере… Наконец было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все

ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабенькая, но надежда, что, может быть, удастся бежать.
В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы услышали орудийный гул. Все вокруг меня зашевелилось. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал:
— Товарищи, наши наступают!
И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленные рыдания… Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд… Я тоже… я тоже… — прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту, но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее: — У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру… Кто-то слабым голосом запел «Интернационал», мы подхватили тонкими, скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нас из пулеметов и автоматов, раздалась команда: «Лежать!» Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессилевших от голода, могли замучить, но сломить наш дух не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу.
Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказ лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолью. Лейтенант сидел на скамье, согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него, невольно я подумал, что это там, в лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать.
— Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как услышали мы ночью орудийный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью. Шли дожди. Нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и вначале: истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге…
Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина, по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это — собственность германского государства, — сказал унтер, широко поводя вокруг рукой. — Всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит».
В деревне, через которую мы проходили, женщины, увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось: конвой открыл стрельбу по окнам, а нам приказано было идти быстрее. Но ребятишки — бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед, прямо на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его. Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля!
Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел!
В этот же день перед вечером я решился: вылез из ямы, которую мы рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику… До этого я приметил, что остальные немцы находятся у рва и, кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было.
— У меня сломалась лопата… вот посмотрите, — бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что, если не хватит сил и я не свалю его с первого удара, — я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило, немец без крика запрокинулся навзничь.
В руках у меня автомат и три обоймы. Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцой. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал… Но

с каждой минутой уходил все дальше. Всхлипывая и задыхаясь от усталости, пробирался я по чаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было нелегко.
Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться, — только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее.
Ночевал в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев.
На другой день меня подобрали партизаны. Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то, что я достал из-под подкладки шинели кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне сразу изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам, тщательно веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне.
В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал, и все тут! Как там ни говори, а мое место здесь до конца.
Прощались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил:
— …И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю, — закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.
А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался.

Алексей Толстой

Рассказы Ивана Сударева

I

Ночью в сенях на сене

Русский человек любит высказаться, — причину этого объяснить не берусь. Иной шуршит, шуршит сеном у тебя под боком, вздыхает, как по маме родной, не дает тебе завести глаз, да и пошел мягким голосом колобродить про свое отношение к жизни и смерти, покуда ты окончательно не заснешь. А бывают и такие, — за веселым разговором вдруг уставится на рюмку да еще кашлянет, будто у него душа к горлу подступила, и ни к селу ни к городу начинает освобождать себя от мыслей.

А мыслей за эту войну накопилось больше, чем полагается человеку для естественного существования. То, что наши деды и отцы не додумали, приходится додумывать нам в самый короткий срок, иной раз — между двумя фугасками… И делать немедленный вывод при помощи оружия… Непонятно говорю?
Дед мой был крепостным у графа Воронцова. Отец крестьянствовал ни шатко, ни валко, жил беспечно, как трава растет, что добудет — прогуляет, зазовет гостей — и ему ничего не жалко, к рождеству все подчистит: ни солонинки на погребице, ни курей, ни уток. А он знай смеется: «Веселому и могила — пухом, чай, живем один раз…» Ох, любил я папашку!.. Советская власть потребовала от него серьезного отношения к жизни, — папашка мой обиделся, не захотел идти в колхоз, продал он корову, заколотил избу и вместе с мачехой моей уехал на Дальний Восток… А мне, его сыну, уже пришлось решать государственную задачу, и решать не кое-как, а так, чтобы немец меня испугался, чтобы немцу скучно стало на нашей русской земле… Он стоек в бою, я — стойче его, его сломаю, а не он меня… Он, как бык, прет за пищей. Ему разрешено детей убивать… Он похабник. Я же руку намну, погуляв клинком по немецким шеям, как было в феврале, и этой же рукой пишу стихи…
Давеча вы правильно заметили, что я пишу стихи. Печатался во фронтовой газете… «У тебя, Сударев, — это личные слова редактора, — тематическое и боевое крепко выходит, а лирику надо бросить…» А и верно — ну ее в болото. Завел я тетрадь для таких стихов, но в походе пропала вместе с конем Беллерофонтом, — такой у меня был конь… До сих пор жалко этого коня… В марте ранило меня в обе ноги без повреждения кости, думаю — лягу в госпиталь, кто напоит, накормит коня? Доказал врачу, что могу остаться при эскадроне, и в самом деле легко поправился… А он, Беллерофонт, понимает — животное — чего мне стоит в лютый мороз в одних подштанниках проковылять с ведерком от колодца к конюшне, — в лицо мне дышал и губой трогал… Стихов не записываю, лирику ношу в груди.
Не так давно видел в одном частном доме картину, — средней величины, да ничего в ней не было особенного, кроме одного: представляете — лесок, речонка, самая что ни на есть тихая, русская, и по берегу бежит тропинка в березовую рощу. Взглянул я и все понял, — ах, сколько жил, и не мог словами выразить этого!.. А художник написал тропинку, и я чувствую — на ней следочки, тянет она меня, умру я за нее, это — моя родина… Опять непонятно говорю?
Представляете: в деревне, на завалинке, сидит старушка, худая, древняя, лицо подернуто могильной землей, одни глаза живые. Я сел рядом. День апрельский, солнышко, а еще — снег кое-где и ручьи…
— Ну, бабушка, — спрашиваю, — кто же победит?
— Наши, красные победят, русские.
— Ай да патриотка, — говорю. — Почему же ты все-таки так уверенно думаешь?
Долго бабушка не отвечала, руки положила на клюшку, глаза, как черная ночь, уставила перед собой. Я уж уходить собрался.
— Давеча петухи шибко дрались, — ответила, — чужой-то нашего оседлал и долбит и долбит, крыльями бьет, да слез с него, да закукуречит… А наш-то вскочил и давай опять биться, давай того трепать и загнал его — куда и хозяйка не найдет.
Эта бабушка — была молодой — бегала по тропинке над речкой, березу заламывала, шум лесной слушала…
Теперь сидит на завалинке, путь ее кончен, впереди — земля разрытая, но хочет она, чтобы ее вечный покой был в родной земле.
Вам, вижу, спать тоже не хочется. Как только зенитки кончат стрелять, мы заснем. А пока расскажу несколько правдивых историй. Пришлось видеть немало, — из каких только речек мой конь воду не пил и по эту и по ту сторону фронта… Подойдут рассказы — печатайте, сам-то я за славой не гонюсь…

II

Как это началось

Березовое полено кололось, как стеклянное, под ударом топора. Хорош был январский денек, — спокойный дым над занесенной снегом крышей подымался и таял в небе, таком

бирюзовом, с нежным отливом по краю, что казалось, невозможно, будто в небе такой холод; невысокое солнце глядело во все око на разукрашенную в иней плакучую березу. Только вот человек здесь мучил человека. А хорошо бы вот так — тюкать и тюкать колуном по немецким головам, чтобы кололись они, как стеклянные… Василий Васильевич заиндевелой варежкой вытер нос, опустил топор и оглянулся. Со стороны села по дороге, бледно синевшей санным следом, шел в ушастой шапке низенький паренек, — вернее — катился, расстегнув полушубок, размахивая в помощь себе руками.

Увязнув в снегу по пояс, он перевалился через плетень во двор, не здороваясь, сдернул шапку, — от стриженой головы его поднялся пар, — достал из шапки синеватый листочек.

— С самолета сбросили! — сказал, схватил топор и с выдыхом начал тюкать по сучковатому полену, чтобы избавить себя от переизбытка возбуждения.

Этого паренька звали Андрей Юденков. Весной он окончил в Ельне среднюю школу, где директорствовал Василий Васильевич, и начал готовиться к университетским экзаменам, но был призван в армию и в злосчастных боях под Вязьмой попал в плен. В то время еще живы были устаревшие понятия о том, как надо воевать: если окружен — значит, проиграл, клади оружие. Тогда еще не был доподлинно известен немецкий характер: с виду каменный, но истерический и хрупкий, если ударить по немцу с достаточной решимостью. Но — за науку платят. Поплатился и Андрей Юденков. Вместе с другими военнопленными его загнали на болото, обнесенное проволокой, где все они простояли по колено в жидкой грязи четверо суток под дождем, без еды. Некоторые не выстояли — повалились, утонули. На пятый день обессилевших людей погнали на запад. В пути тоже многие ложились, и тогда слышались выстрелы, на которые никто не оборачивался.

Когда проходили деревней, отовсюду — из-за плетня, или в приоткрытую калитку, или в пузырчатое окошечко — глядели на унылую толпу военнопленных милосердные глаза русских женщин и протягивалась рука с хлебом, с куском пирога, а иная женщина, пропустив угрюмого конвоира с автоматом на шее, из-под платка доставала глиняный горшок: «Родные мои, молочка съешьте…»

Тут эти люди, кто по неразумению своему малодушно положил оружие, узнали стыд, и кусок им мешала проглотить злоба. Тут многие, кто покрепче, начали бежать, выбирая время в сумерках, покуда конвоиры не загнали людей в сарай. Так и Андрей Юденков, отстав, будто по нужде, кинулся за спиной конвоира в мелкий ельник и долго полз под выстрелами. Стороною от большака он добрался до села Старая Буда. Так же, как и другие бежавшие, он постучался в незнакомую избу и сказал: «Возьмите в зятья…» По немецкому закону за укрывательство военнопленного полагается повешение. Из избы вышел хромой человек с седой щетиной на заячьей губе: «Нет, боимся, — ответил тихо, — проходи, милый». В другую избу его впустили. Пожилая женщина, мывшая в корыте лысого ребенка, подумав, ответила: «Ну что ж, девка у нас есть, ребенок есть — старшей дочери… Пропала у меня доченька-то, немцы угнали в публичный дом… Оставайся, работай в семье».

Таких, как Андрей, зятьков на селе было несколько человек. Они жили в семьях, и с ними делили скудный кусок хлеба из-за одного лишь великого русского милосердия.

Присланный немцами нездешний староста Носков, жестокий, но трусливый, не особенно допытывался — подлинные ли это зятья; он глядел лишь за тем, чтобы сдано было оружие, да отбирал именем германского командования теплые вещи, поросят и птицу, что еще не успели взять немецкие солдаты.

Андрей, осмотревшись, начал с этими людьми заговаривать. Все они люто были злы на немцев, но все считали, что наше дело безнадежно проиграно: Москва давно отдана, — об этом сообщили населению бургомистры и старосты, — остатки Красной Армии погибают где-то на Урале…

Андрей с досадой поднял вместе с завязшим топором сучковатое полено, грохнул его, расколол.

Разгоревшимися глазами Василий Васильевич читал строки синенького листка, — в нем сообщалось, что миллионная фашистская армия разгромлена по всему московскому фронту, отступает, бросая танки, артиллерийские парки, машины, и бесчисленными трупами своими устилает дороги и лесные дебри… Это было как нежданное помилование после смертного приговора… Он пошел с Андреем в избу, мимоходом, около печки, взял за

плечи, повернул к себе низенькую, полную седую стриженую женщину — свою кормилицу, у которой жил на хуторе под видом племянника, крикнул ей в задрожавшее лицо:
— Капитолина Ивановна, оставьте уныние, заводите блины… Есть колоссальные новости… Жив русский бог! — Прошел за перегородку и у стола вслух прочел еще раз синенький листок… Хлопнул по нему ладонью, захохотал: — А кто в Россию не верил? А! Кто Россию хоронить собрался? Поднялась матушка!..
Андрей тут же рассказал, как давеча услышал гул самолета, выскочил на двор: батюшки — наш! А он уже пролетел, и за ним, как голуби, листочки падают…
— Я за ними бежать, по пузо в снегу, аж пар от меня… Василий Васильевич, это все в корне меняет сущность дела…
— Разумеется, меняет все в корне! — закричал директор школы, сбегал куда-то и положил на стол парабеллум, жирный от масла, и мешочек с патронами. — Сколько я ночей не спал, ждал этого листочка… Все обдумано! Начнем мстить, Андрей…
— Вдвоем-то, с одним пистолетом, а их — две роты, Василий Васильевич…
— С чего-нибудь начинать надо. Первый человек тоже догадался взять острый камень в руку, а во что развернулось!
— Тогда автоматов не было, Василий Васильевич, каменные топоры да личная храбрость…
— Ага! Личная храбрость! — Он поставил тощий палец перед носом Андрея. Никто никогда таким еще не видел директора школы, — небольшие глаза его сверлили, как буравы, худощавое книжное лицо с козлиной бородкой разгорелось, оскалилось не то от дикого смеха, не то готовясь укусить. — Мы держим экзамен, великое историческое испытание, — говорил он так, будто перед его пальцем сидела тысяча Андреев. — Пропадет ли Россия под немцем, или пропасть немцу?.. На древних погостах деды наши поднялись из гробов — слушать, что мы ответим. Нам решать!.. Святыни русские, взорванные немцами, размахивают колокольными языками… Набат? Пушкина любишь? Звезда эта горит в твоем сердце? Культуру нашу, честную, мужицкую, мудрую, несешь в себе? Все мы виноваты, что мало ее холили, мало ее берегли… Русский человек расточителен… Ничего… Россия — велика, тяжела, вынослива… А знаешь ли ты, какая в русской тишине таится добродетель? Какое милосердие под ситцевым платочком! Какое самоотвержение!
Василий Васильевич выговорил все это, и глаза его помягчели. Зато у Андрея серые, широко расставленные глаза стали холодными и злыми и осунулось моложавое лицо с задорным носом. Василий Васильевич сказал:
— Теперь — конкретно — начинать надо вот с чего: сегодня ночью идем в Старую Буду.
Луна в бледном радужном круге высоко стояла над белыми снегами с густыми кое-где тенями от корявой сосны, от печной трубы, одиноко торчавшей из занесенного пожарища. Василий Васильевич едва поспевал за Андреем, бойко скрипевшим валенками по стеклянной колее. Андрей поднял руку и остановился, — впереди тихо, скучно выла собака. Тогда они свернули по цельному снегу и, тяжело дыша, вышли в село со стороны гумна и стали в тени сарая. Черные окошечки в избах корявились от лунного света. Вдалеке чихал и выстреливал грузовик, доносились отрывистые, не наши голоса.
— Фрицы консервы и водку привезли, подождем, — сказал Андрей.
Когда на улице успокоилось, Андрей перемахнул через забор.
— Давайте за мной смелее, — и за руку перетащил во двор Василия Васильевича, путавшегося в шубе.
Они постучались на крылечке. Андрей крикнул:
— Староста, к тебе господа офицеры.
И когда в сенях заскрипели морозными досками, Василий Васильевич сказал по-немецки:
— Выходите, вы мне нужны.
— Сейчас, сейчас, господа, минуточку, — торопливо зашептали из сеней, отодвигая задвижку. Дверь приоткрылась, и в лунный свет из черной щели потянулось умильное, с острым носом, рябоватое лицо.
Андрей кинулся на дверь, ввалился в сени, и там началась возня. Василий Васильевич не сразу мог разобраться в обстановке, — у его ног сопели, хрипели, катались… Все же

различил, что наверху сидит староста, двигая лопатками, и он револьвером ударил по затылку этого умильного человека…
— О-о-о-о-х, — протянул староста, — о-о-о-о-х, сволочи…
В жарко натопленной комнате, едва освещенной привернутой лампой, окошки были закрыты ставнями, над клеенчатым диваном, с которого несколько минут тому назад соскочил староста, откинув бараний тулуп и уронив на пол грязную ситцевую подушку, была приколота открытка — Гитлер в морской форме. На голом столе рядом с пузырьком чернил и раскрытой конторской книгой лежал новенький автомат, — то, за чем они сюда пришли.
— Теперь ты согласен, что мы уже неплохо вооружены? — спросил Василий Васильевич с усмешкой, сдвинувшей набок его бородку. — Бери автомат, я возьму книгу, идем к Леньке Власову.
Старосту из предосторожности они отнесли из сеней в сарай и бросили за дрова. Над тихим селом стоял месяц в морозных радугах, но не волшебные сказки рассказывал он спящим людям, — лучше бы ему взойти красным, как кровь из замученного сердца, раскаленным, как ненависть…
— Чего вы все голову задираете, воздух спокойный, — сказал Андрей, — лезьте за мной, собак на дворе нет…
Ленька Власов, с хмурым лицом, с сильной шеей, вышел к ним на мороз босиком, в одной неподпоясанной рубашке. Разглядывая трофейный автомат, поджимая ноги, выслушал краткое сообщение о сброшенной листовке, о необходимости немедленных партизанских действий. Когда у него застучали зубы, сказал:
— Идемте в избу. Это дела серьезные. Надо за ребятами послать…
В темной избе, где пахло бедностью, говорили шепотом, замолкая, когда за перегородкой ворочались женщины. В неясном свету, пробивавшемся сквозь морозное окошечко, видно было, как одна из них вышла, надевая в рукава-полушубок; Ленька шепнул ей что-то, она, подойдя к печке, позвала юным голосом: «Ваня, подай мне валенки мои», — стоя, всунула в них ноги и торопливо ушла со двора. Василий Васильевич принялся было развивать те же идеи, что давеча перед Андреем, но Ленька перебил сурово:
— Сейчас агитация возможна только боем. Удастся нам хоть один гарнизон уничтожить — поднимется десять сел. Оружие нужно. — И он позвал: — Ваня, оденься, слезь к нам.
С печки соскользнул мальчик и стал близко к взрослым, подняв к ним большие глаза. Когда Василий Васильевич положил руку на его теплую мягковолосую голову, он отстранился, — дескать, не время ласкам.
— Нам нужно оружие, — сказал ему Ленька…
— Понятно.
— Имеется поблизости брошенное оружие? Вы, мальчишки, должны все знать.
— Имеется. Есть один мальчишка, Аркадий, тот больше моего знает, вам он скажет. Противотанковая пушка вам нужна? Есть две пушки — утоплены в речке. Снаряды знаем где. В лесу, в яме, одиннадцать пулеметов закопано. А еще в одном месте — ручные гранаты и мины. Все покажем. Чего, — вы собрались немцев бить?
— Ну, это не твое дело.
— Как это — не мое дело? — мужским голосом сказал мальчик и подтянул штаны. — Меня можно пытать, от меня ничего не добьешься.
Василий Васильевич присел, чтобы лучше рассмотреть его лицо, — оно было и детское, круглое, с пухлыми губами, и не по-детски серьезное. В избу один за другим явились пять человек фронтовиков и — последняя — девушка, которая за ними бегала. Разматывая платок, она ушла за перегородку. Василий Васильевич у самого окошечка опять прочел листовку. Андрей, подняв ребром ладонь, сказал, что это призыв к борьбе. Один из фронтовиков ответил:
— Вот, значит, как дела оборачиваются. Ну что ж, отольем немцу наши слезки… Пойдемте искать оружие…
Так в эту ночь под носом у немцев произошла мобилизация партизанского отряда в восемь человек, не считая двух мальчиков-разведчиков. Ваня и тот другой — Аркадий, всезнающий, повели партизан, вооруженных лопатами, в темный лес и, не сбившись, показали, где нужно копать. Из ямы — из-под снега и валежника — вытащили пулеметы, из

них четыре были вполне готовые к бою. Неподалеку в другой яме откопали ящик с гранатами и штук двадцать мин. Мальчики уговаривали вытащить из речки, из-подо льда, также обе противотанковые пушки и вызвались даже сами нырять в воду:

— Вы, дяденьки, только сбегайте за пешней, расколите лед, мы студеной воды не боимся.

Но пушки отложили до другого раза. Оружие еще досветла перенесли на хутор к Василию Васильевичу. Жалко, не было только винтовок.

Наутро он опять колол дрова, напевая в бородку: «Ах ты, зимушка-зима, холодна больно была, все дорожки замела…» По чистому полю прибежал на лыжах Ваня. Днем он не казался таким маленьким, — курносый и не важный, как давеча ночью.

— Немцы всполошились, нашли за дровами старосту Носкова. Сейчас ходят по дворам, обыскивают, бьют… Крик стоит. На Федюнином дворе грудного как головой о косяк грохнут… Все наши ребята ушли в лес… А этот мальчишка, который с нами был, — не знаю, врет, не знаю, нет, — понимает по-немецки немного. Он слышал — они этой ночью ждут грузовиков… Сказывай, — чего тебе еще узнать нужно?

— Поди к Капитолине Ивановне, она тебе блинов даст горячих…

Этой ночью километрах в десяти от села Старая Буда колонна немецких грузовиков налетела на мины. Как только головная машина высоко подскочила от резкого огненного удара, из хвойной чащи застучали пулеметы. Немцам некуда было ни сворачивать, ни уходить: с обеих сторон дороги поднималась снежная стена. Их было (как потом подсчитали) двадцать семь душ; они заметались около грузовиков, дико вскрикивая, без толку стреляя и падая. Из черной тени на лунную дорогу выбежал человек в черной шубе и другой — низенький, с автоматом. «Ура!» — закричал человек, подняв руки. Тогда со снежных обочин посыпались партизаны, бросая кувыркающиеся в воздухе гранаты.

В несколько минут все было кончено. В шести захваченных грузовиках, не считая переднего — сгоревшего, оказались винтовки, огнеприпасы, продовольствие и эрзац-одеяла. Все, что было нужно, партизаны взяли, остальное сожгли в машинах.

Наутро Василий Васильевич опять колол дрова. Мимо пустынного хуторка в этот день прошло немало народу. Каждый, завидев директора школы, кашлянув или другим способом обнаружив свое намерение, осторожно — околицей — сворачивал к его избенке. Через неделю в партизанском отряде, под командованием Василия Васильевича Козубского, находилось свыше двухсот человек и две пушки. Тогда было приступлено к основной операции — уничтожению в селе Старая Буда немецкого гарнизона.

III

Семеро чумазых

На помощь партизанам прорвалась через фронт крупная кавалерийская часть. Самый прорыв был не сложен, — немцев обманули демонстрацией в одном месте, а главные силы перешли через шоссе в другом. Но поход в сорокаградусную стужу по лесным чащобам был небывало тяжел. Лошади вязли в снегу по брюхо; спешенным кавалеристам приходилось утаптывать ногами снег и подсекать деревья, чтобы протаскивать сани и пушки; люди, замученные дневным переходом, ночевали в снегу, не зажигая костров.

На седьмой день похода стало ясно, что людям нужно погреться. Для отдыха определили пять деревень, раскинутых по берегам речонки близко одна от другой. В деревнях стояли немцы. Генерал приказал занять их без шума, так, чтобы факельщики не успели поджечь домов, и так, к тому же, чтобы ни один немец не ушел оттуда.

В ночь деревни были обойдены, на дорогах выставлены засады. Под завывание бесновавшейся вьюги, — будто все лешие из области собрались сюда помогать русским, — спешенные эскадроны вместе с вихрями снега ворвались в спящие деревни. Пять — одна за другой — зеленых ракет, пронизавших летящие снеговые тучи, оповестили, что приказ выполнен.

Генерал слез с коня около покосившегося, с кружевной резьбой, крылечка, озаренного со стороны улицы догорающими стропилами; у крыльца уткнулся немец, будто рассматривая что-то под землею, болотную шинель его уже заносило снегом. Генерал вошел в избу и потопал смерзшимися сапогами; женщина в темном платке, с бледным, измятым лицом, бессмысленно глядела на него, тихо причитывая…

— А ну-ка — самоварчик, — сказал он, сбросил бурку на лавку, стащил меховую бекешу и сел под божницу, потирая опухшие от мороза руки. — А хорошо бы и баньку истопить…

Женщина мелко закивала и, уйдя за перегородку, кажется, зажала себе рот, чтобы громко не закричать.
С мороза в избу входили командиры, все довольные, бойко вытягивались, весело отвечали. Генерал нет-нет да и прикладывал ладони к пылавшим щекам с отросшей щетиной, — ему казалось, что лицо от тепла расширяется, как баллон. А генерал следил за своей внешностью. «Вот черт, придется выспаться разок за семь дней…»
Самовар внес высокий паренек — лицо его было в лиловых глянцевитых рубцах, карие глаза мягко посмеивались, когда, сдунув пепел, он поставил самовар и начал наливать в чайник.
— Это мать, что ли, ваша? Чего она так дурно воет?
— Все еще опомниться не может, — бойко ответил паренек. — Немцы уж очень нервные, — у нее крик-то ихний в ушах стоит.
— Немцы ли нервные, русские ли нервные, — без усмешки сказал генерал, обжигая пальцы о стакан. — А много ли в деревне вас — беглых военнопленных?
Пятнистый паренек опустил голову, опустил руки, сдерживаясь, незаметно вздохнул:
— Мы не виноваты, товарищ генерал-майор. Очутились мы позади немцев — между первым их и вторым эшелоном — как раз одиннадцатого сентября… Ну вот, и рассеялись…
— Инициативы индивидуальной у вас, бойцов, не нашлось — пробиваться с оружием?.. Стыдно… (У паренька затряслась рука, прижатая к бедру.) Ну, иди, топи баню, утром поговорим.
Утром генерал, помывшийся в баньке, выспавшийся, выбритый и опять красивый, вышел на крыльцо. С тепла дыхание перехватило морозом. У крыльца, где сквозь чистый снег проступали алые пятна и немцы уже были убраны, стоял давешний пятнистый паренек и с ним шесть человек — на вид всем по восемнадцати, девятнадцати лет. Они сейчас же вытянулись.
— Ага, воинство! — сказал генерал, подходя к ним. — Беглые военнопленные? Ну что, ответственности испугались? Красная Армия, значит, не на Урале. Красная Армия сама к вам пришла… Так как же вы расцениваете ваш поступок, — сложили оружие перед врагом! Согласны ему воду возить, капониры чистить?
И он принялся их ругать обидными выражениями. Пареньки молчали, лишь у одного глаза затуманились слезой, у другого между бровей легла упрямая морщина. Одеты все были худо, плохо — в старые бараньи полушубки, в короткие куртки, на одном — ватная женская кацавейка.
— Красноармейскую шинель променяли на бабий салоп! Честь на стыд променяли! Кому вы такие нужны! — крепким голосом рассуждал генерал, похаживая по фронту. — Немца бить — не кур щупать… Определите сами свою судьбу. Кто из вас может ответить простосердечно?
Ответил крепенький паренек с водянисто-голубыми глазами, с упрямой морщиной над коротким носом:
— Мы вполне сознаем свою вину, ни на кого ее не сваливаем. Мы обрадовались вашему приходу, мы просим разрешить нам кровью расплатиться с фашистами… — Он кивнул на губастого паренька, с изумленной и счастливой улыбкой глядевшего на генерала. — Его, Константина Костина, сестра, Мавруня, найдена нами в лесу, повешенная за ногу, с изрезанным животом… Ее мы хорошо знали, у нас сердце по ней сохло… Так что воду возить фашистам мы не согласны…
Константин Костин сказал:
— Товарищ генерал-майор, в вашей группе танков нет. Мы знаем, где брошенные танки, мы можем их откопать и отремонтировать, — это наше предложение… Мы танкисты.
— Ты что скажешь? — спросил генерал у пятнистого.
— Танки есть. Неподалеку в болоте сидит «КВ» и два средних. И еще знаем, где танки. Немцы пытались их вытащить, целыми деревнями народ сгоняли, да бросили. А мы знаем, как их вытащить. Конечно, население поснимало с них части, растащило. Ремонт будет тяжелый. Я сам механик-водитель, — видите, — у меня лицо чумазое: горел два раза… но справился.

— Хорошо. Мы этот вопрос обсудим, — сказал генерал. — Подите хоть в немецкие, что ли, шинелишки оденьтесь, дьяволы.
Отдохнув сутки, кавалерийские полки двинулись в пылающий войною край, где действовало много мелких партизанских отрядов и десантников-парашютистов. Там был «слоеный пирог». Не проходило ночи, чтобы какую-нибудь деревню не окружили партизаны, подобравшись по глубоким снегам. Часовой, наставивший выше каски воротник бараньего тулупа, со слабым криком падал под ударом ножа. Партизаны входили в прелые, набитые спящими немцами избы. Тот из немцев, кто умудрялся выскочить из этого ада выстрелов, воплей, ударов — на улицу, все равно далеко не уходил, — одного валила пуля, другого пристукивал Дед Мороз, променявший сказочную и елочную профессию на вымораживание немцев. Проселки стали непроезжими. По большакам проскакивали лишь грузовые колонны под сильной охраной, и то не всегда. Движение по железной дороге прекратилось, — путь был загроможден подорванными на минах паровозами и вагонами, вставшими дыбом друг на друга. Немцы теряли голову в этой «проклятой русской анархии».
Двигаясь широким фронтом, кавалерийские полки выбивали немецкие гарнизоны и к концу марта месяца помогли партизанам воссоединить под советским флагом несколько районов. Народ повеселел. Повсюду искали оружие, укрепляли деревни, где у околиц стояли на охране девушки с винтовками. Но долгая в этот год зима уже ломалась, на крышах повисли сосульки, прилетели худые грачи и кружились, тревожно крича вокруг прошлогодних гнезд. Пошли разговоры о том, что немцы на западной и северной стороне края стягивают крупные силы. Генерал послал разведать, — подлинно ли те семь пареньков-танкистов что-либо разумное сделали за это время.
Семеро танкистов сдержали слово. Дело у них началось с бочки трофейного бензина, про которую они тогда ничего не сказали генералу. Они привели в порядок два немецких трактора и отремонтировали один советский, утопленный колхозниками в пруду. Осенью в этих местах немецкие танки окружили «КВ», и он, вместо того чтобы проложить себе путь пушками и гусеницами или погибнуть со славой, кинулся уходить лесом, проломил дорогу в столетних соснах и увяз в болоте по самую башню.
Пешнями и топорами они вырубили кругом танка тоннель в промерзшей земле, в котлован под перед танка подвели бревна, — их тут много валялось под снегом после бесплодных немецких попыток; сняли с него цепи и, прикрепив к трем тракторам, разом выдернули из ямы стотонную стальную крепость «КВ». Тогда они сели и покурили — в первый раз за два дня и три ночи. Покурив, тут же в снегу уснули. Танк они отволокли в деревню под навес для сушки хлеба, и тогда начались большие хлопоты.
На танке не было карбюратора, все свечи надо менять, поршневые кольца ни к черту не годились, вся оптика украдена, ствол пушки пробит насквозь противотанковой пулей, и самое отчаянное было то, что не оказалось инструментов, ни одного ключа, и если бы эту развалину даже отправить на ремонтный завод, там бы провозились с ней до седьмого поту. Танкисты приуныли.
— Наобещали генералу, эх, ребята, подлецами оказываемся, — малодушно сказал губастый Константин Костин.
— А кто же знал! — закричал на него чумазый Федя Иволгин. — Какому черту сиволапому, например, карбюратор понадобился! Щи на нем варить?
Они сидели вокруг танка под навесом, куда с одного края метель наносила голубоватый, как сахар, сугроб дымящей поземкой.
— Шарики в башне надо менять, — тихо проговорил башенный стрелок, худощавый брюнет, похожий на девушку с усиками, — а дыру в стволе, в пушке пальцем, что ли, заткнуть?
— Товарищи, кончили психологию? — спросил тот самый — с водянисто-голубыми недобрыми глазами, техник-студент, москвич, Сашка Самохвалов. — А то я начинаю жалеть, что связался с такой сопливой компанией. — Он встал и засунул руки в карманы длинной, ему до пят, германской шинели. — Вот мой приказ — на ремонт этого крокодила три недели сроку. Для этого надо вытащить из болота оба средних танка, на них найдем некоторые части. Не найдем — пойдем по деревням, из избы в избу, отыщем все, чего не

хватает: у мужичков все припрятано. Кто со мной не согласен, предлагаю того заклеймить изменником родине…
Танкисты помолчали, глядя, как ветер отдувает ему полу немецкой шинели.
— Немного ты перехватил, дружок, — сказал ему чумазый Федя Иволгин, — но в общем, конечно, правильно.
Все поднялись, взяли пешни, топоры, стали заводить тракторы. Вытащить из болота средние танки оказалось много легче. Их тоже поставили под навес. Трое танкистов — Иволгин, Самохвалов и Костин — занялись разборкой моторов. Четверо пошли на деревню — искать по дворам инструменты и разные части — и действительно у одного мужика, кузнеца, значившегося в колхозе кустарем-одиночкой и лодырем, обнаружили среди ржавых замков и примусовых горелок все три карбюратора.
Он пришел туда же под навес, где стояли танки. Звали его Гусар; был он жилистый и стройный, несмотря на года, с насмешливым морщинистым лицом, на котором большой лоснящийся нос выдавал пристрастие к выпивке; Ядовито улыбаясь, он слушал, какие именно инструменты и ключи необходимо достать или немедленно сделать.
— Антиресно, — сказал он, — антиресно, ведь меня уж давно собрались в архив сдать, да, значит, опять пригодился кустарь-одиночка…
На другой день он принес несколько ключей, так отлично сделанных, что танкисты удивились:
— Неужели, Гусар, это ваша работа?
— Антиресно, — сказал он ядовито, — антиресно ваше мнение о русском человеке… Кустарь-одиночка, пропойца… Так… А кто пьян, да умен — два угодья в нем… Нет, товарищи, поторопились вы судить русского человека.
У Гусара работа так и горела в руках. Хитер он был до удивления. На колхозной лошади сгонял на сожженную немцами паровую мельницу и привез оттуда стальные тросы и чугунные шестерни, — из них смастерили под крышей сарая подъемный кран и трактором вытащили из танка башню. Он бегал на лыжах по окрестным деревням и умудрился достать автогенную горелку и трофейные баллоны с кислородом. Он же подал простую идею: бронебойными снарядами прочистить от заусениц простреленный ствол пушки. Со второго выстрела бронебойным снарядом ствол стал снова гладок; сквозную дыру в нем, в которую выходили газы, забили стальными пробками и на это место навели бандаж из резинового шланга. Пушка была, как только что с завода.
Тем временем танкисты приволокли к сараю еще четыре легких танка. По деревням уже знали об этой работе, и колхозники обшаривали болота в поисках боеприпасов и танков. Не проходило дня, чтобы к сараю не подъезжали сани, — валил пар от клочкастой лошаденки, которой в свое время побрезговали немцы, в санях сидел дед, с сосульками на усах, с древним строгим взором круглых глаз под изломанными бровями, и его внучонок, — мальчишка, не видно от земли, — звонко спрашивал у чумазых от гари и масла танкистов:
— Эй, дяденьки, куда сложить сорокапятимиллиметровые осколочные?
Когда посланный генерала приехал в эту деревню, под крышей сарая дымили горны, шипел ослепительно голубой автоген, грохотали молотки по стали; один средний и два легких танка стояли, готовые к бою; «КВ», с надетыми гусеницами, дымил и стрелял в выхлопную трубу, но еще не заводился.
— Передайте генерал-майору, что задержка только за командами, — сказал посланному, лейтенанту с тонкими губами, Сашка Самохвалов, — пускай пришлют смелых механиков-водителей и башенных стрелков. Да пускай торопятся доставать горючее. Оптики у нас нет, — все поснимали немцы, приходится стрелять наводкой через дуло, это тоже возьмите на карандаш… А покуда вы будете канителиться, мы еще подкинем парочку крокодилов.
Лейтенант молчаливо все записал в блокнот, не выражая ни удивления, ни восторга, пожал руки семерым чумазым, восьмому Гусару и улетел на «огороднике» бреющим полетом.
Тронулись наконец шумные весенние воды и так затопили поля и леса, так буйно вздулись речки и верхом потекли овраги, что и думать нечего было о войне. Колхозники готовились к севу. Девушки с винтовками, скучающие у околиц, сдвинув брови, глядели на косяки перелетных птиц. Генерал приказал достать побольше книг из местных библиотек, чтобы занять умы и сердца кавалеристов разумным чтением. Но на триста верст в окружности все библиотеки были уничтожены немцами, — удивительно, как у них хватило заботы сжечь

столько книг. Нашелся только затрепанный роман Вальтер Скотта «Квентин Дорвард». Генерал проглотил его в одну ночь, лежа без сапог и гимнастерки на лавке у окна, за которым в беловатом свете падали тяжелые капли и по всей деревне кричали петухи. Затем книжка пошла по взводам и эскадронам для чтения вслух.

Но земля просохла, и немцы, недовольные тем, что недостаточно замучили русских людей, недостаточно сожгли сел и деревень и порезали скота, двинулись в наступление десятками батальонов и сотней танков на разгром «мужичья». Но у «мужичья», не в пример прошлой осени, были теперь хорошо сформированные и вооруженные партизанские полки, и, не в пример осени, всем был известен немецкий характер, от которого можно ждать только смерти русскому человеку.

По всему фронту вспыхнули бои. На помощь партизанам всюду, где становилось тесно, поспевали кавалерийские полки генерала. Это были прославившиеся в декабрьских и январских боях лихие полки — все из украинцев, донских, кубанских, терских и сибирских казаков. Они знали четыре заповеди: не признавать окружения, выходить при любых обстоятельствах из любой создавшейся обстановки, биться до последнего патрона и живым не сдаваться, любить свое оружие и не бросать его даже в смертный час.

День и ночь немецкие самолеты проносились над селениями, едва не задевая колесами соломенные крыши, бомбя и обстреливая все живое, по всем большакам и проселкам грохотали их танки. Задача заключалась в истреблении нацистов, в создании такого сопротивления, чтобы русская земля стала для них землей отчаяния.

Во время одного из первых боев двенадцать немецких танков, беспечно и близко один к другому, двигались большаком. Окружалась большая группа партизан, и танки заходили им в тыл. Справа столетние сосны шумели под свежим майским ветром, слева расстилалась густая ольховая поросль. Оттуда, из этого майского шума листвы, раздался пушечный выстрел, и головной танк, пораженный в борт, остановился и задымил. Второй снаряд разбил гусеницу у другого танка. Немцы захлопнули люки и, стреляя из пулеметов, повернули в поросль, где, как поняли они, скрывается партизанская пушка. Но это оказалось не пушкой. Раздвигая ольховые заросли, как кабан из тростников, вылетел ржавой громадой «КВ». Немцы никак не могли ждать здесь советских танков, да еще такого не пробиваемого никакими снарядами чудовища.

«КВ», переваливаясь, выехал на большак, почти в упор расстрелял третий танк, внезапно разлетевшийся от взрыва, со всего хода влез сбоку на четвертый и раздавил его с чудовищным хрустом вместе с немцами. Уцелевшие танки повернули и уползли за поворот дороги. На «КВ» откинулся башенный люк, из машины на дорогу выскочили Сашка Самохвалов, Федя Иволгин и Леша Ракитин, — похожий на девушку с усиками, — чумазые, возбужденные…

— Ну и сукин же кот этот Гусар! — закричал Сашка Самохвалов. — Конечно, мотор барахлит! Давай, ребята, снимай у немцев карбюраторы…

В то же время на крутом берегу речки спешенный эскадрон Ивана Сударева сдерживал немцев на переправе. Выли и рвались немецкие мины, перед щелями, где сидели кавалеристы, от сплошной завесы разрывных пуль кипела и дымила земля, рвалась шрапнель, проносились огромные крылатые тени бомбардировщиков, с грохотом содрогался весь берег, и взметенные столбы, опадая, стучали комьями по шлемам и спинам людей. Немецкая пехота уже начала выбегать из приречных зарослей, солдаты налегке, в одних рубахах, бежали по реке.

Тогда на выручку Ивану Судареву поспели два танка чумазых — средний и легкий. Они повисли на самом обрыве, над рекой. Через несколько минут очень много немецких солдат поплыло по ее медленному течению, опустив в воду голову и ноги. Иван Сударев поднял из щелей эскадрон, и русские скатились с обрыва на тех немецких пехотинцев, которые успели уже переправиться вплавь и на лодках на эту сторону.

В бою легкий танк погиб, — это была первая потеря самохваловского «танкового батальона». Средний, расстреляв все боеприпасы, ушел в лес за пополнением. Ящики со снарядами лежали в яме, прикрытые ветвями. Когда Константин Костин и двое чумазых начали вытаскивать ящики и подавать их в танк, безо всякой осторожности крича друг на друга, по всему лесу торопливо застучали немецкие автоматы, пули защелкали по броне. Тогда чумазые, присев в яме на корточки, стали разбивать ящики и передавать снаряды

через люк в моторе — четвертому, сидевшему в танке. Автоматчики приближались, — на виду перебегали от дерева к дереву. Трое чумазых, погрузив снаряды, изловчаясь, вскакивали на гусеницу и — в люк; последним кинулся Константин Костин — вниз головой. Люк захлопнули, и танк погнался за автоматчиками. Одного из них, офицера, взяли живым, отвезли в штаб.

Таков был первый бой «семерых чумазых», как их потом прозвали. Генерал вызвал к телефону старшину Самохвалова и лично поблагодарил его и остальных товарищей за стойкость. Чумазые поняли это как то, что родина их простила.

IV

Нина

Чем здоровее человек, да чем грубее и проще жизнь наша, тем он чувствительнее… Не так ли?.. Пустое болтают, будто у Ивана Сударева вовсе нет нервов. Как начнешь иной раз вздыхать, привяжутся жалостливые воспоминания, — уходишь от разговоров, ложишься в траву… Ветер качает травинки, метелки, виден край неба… И сердце стучит в землю: матушка, земля родная, отворись, приласкай дорожного человека…

Вспоминается мне один случай в начале войны. Вам известно, — и рассказывать не стоит, — в каком красивом положении оказались наши пограничные войска, когда он в первый же день разбомбил наши аэродромы. В тылу некоторые и до сих пор говорят, будто части Красной Армии тогда бежали. Нет, не оскорбляйте безвестных могил, в них лежат преданные сыны родины, — жизнью своей они купили возможность нашей победы. Об их груди разбилось безудержное немецкое нахальство. Стволы пулеметов и винтовок накалялись докрасна — так мы дрались, отступая. Он окружал нас бесчисленными танками, автоматчиками, бомбил и забрасывал минами, как хотел. Мы пробивались и пробились; нам было туго, но и немец ужаснулся от своих потерь.

Не спорю, — были среди нас малодушные. Вылежав без памяти бомбежку, отряхивались и глаза отворачивали: «Ну, его взяла…» Эти сдавались. И еще была причина. Нас многому учили, но не все крепко усвоили, что в бою у каждого должна быть инициатива. Мы глядели на командира, — он отвечал за все… А если он убит? Мы — без головы?.. Вот что тогда губило многие части… И тогда же стала расти у нас инициатива… Народ смышленый, в драке злой… Гордость наша стонала. Как праздника ждали — добраться до него врукопашную.

Неман остался позади. Мы потеряли связь с частями. И тут немец навалился со всех сторон. Мы наскоро вырыли узкие щели, сидим в них — бронебойных пуль у нас и тех нет. А он клюет нас минами со всех сторон, самолеты — волна за волной, земля скрипит от взрывов, пыль, вонючая гарь, в глазах, ушах забито песком. Иной подлец так низко пронесется, поливая из пулеметов, — белесую рожу его успеешь разглядеть.

А мы сидим. Заповеди наши помните? Не признаем себя окруженными и — все. И ему остается самое нежелательное — идти с нами на рукопашное сближение. И точно, — все стихло, ни выстрела, в небе — ни звука. Начинаем слышать, как шумит лес. Высовываемся из щелей, видим — зарево заката, большущее солнце в последний раз светит нам из-под тучи.

Берем легко раненных, способных держать винтовку или хоть ногами передвигать… Осторожно — перебежками направляемся к лесу. Там, — знаем, — группа автоматчиков и пулеметы. Ползем впритирку к траве между кочками, — одна забота — ближе подобраться, на — «ура». А ему бы уж время открыть по нас огонь.

Помню, — дрожь меня пробрала: что за черт! — мы уже в полутораста шагах, он должен нас обнаружить, почему он молчит? Встаю, прижимаюсь грудью к березе, вглядываюсь, — на опушке никакого движения. В чем тут уловка? И вдруг начинается трескотня в глубине леса, правее этого места. Трассирующие пули, — синие, красные, зеленые, — замелькали, потянулись нитками. И слышим — русское «ура!». Глотки у нас сами разинулись, — мы поднялись и тоже — «ура!». Проскочили то место, где еще днем сидели немцы, и встретили их в лесной чаще. И отвели душу на этих автоматчиках.

Произошло вот что: отставшая от одного полка неполная рота под командой лейтенанта Моисеева, пробиваясь на восток, разведала о нашем окружении и, будучи в соседстве, решила нас выручить, — с тылу ударила по автоматчикам. Мы в этот прорыв и вышли.

Моисеев был пылкий человек, рожден воином. Кто он такой на самом деле, мы так и не узнали, — кажется, служил где-то в Западной Белоруссии. Прямой, среднего роста, лицо невыразительное, обыкновенное; рукава гимнастерки засучены по локоть; всегда смеялся добродушно, но взгляд — острый, умный. Да, есть золотые люди на Руси.
Пробиваемся вместе с ротой Моисеева на восток. Сами ищем немцев, — гарнизон ли, оставленный в деревне их первым эшелоном, или десантников, — нападаем первые, и немцы перед нами бегут. Обросли мы бородами, черные все стали, уж не знаю — от грязи ли, от злости. Бывало, Моисеев посмеивается: с такой армией да под музыку, да по Берлину пройтись, на страх немкам, вот будет лихо…
Однажды около полустанка, где стоял разбитый покинутый состав и только что побывали немцы, на зеленом-зеленом сыром лугу, на нескошенной траве увидели лежащую молодую женщину. Руку положила под голову, другую прижала к простреленной груди, — была, как спящая, опущены ресницы, ветерок шевелит каштановые волосы, только с уголка побледневшего рта — струечка крови. Около женщины ползает черноглазая девочка, лет двух, в платьице горошком, тормошит ее и все повторяет: «Мама спит, мама спит…» Мы подошли. Девочка прижалась к матери, ладошками сжала ее щеки и глядит на нас, как испуганный галчонок.
«Товарищи, что там, что там?» — слышим. Бежит Моисеев, рвет на себе ворот гимнастерки. Мы молча расступились. Он остановился и будто про себя, с удивлением: «Мои, мои, жена, дочь…» Схватил девочку, притиснул к себе… Опустился у жены в изголовье и заплакал, затянул, как ребенок; тут и девочка заревела.
Бойцы, кто засопев, кто вытирая глаза, отошли. Я отобрал у Моисеева револьвер, и на некоторое время оставили его одного с девочкой; стали копать могилу под тремя кудрявыми березами.
Жена его, должно быть, бежала — в чем была — с дочкой из Белостока, пробиралась где пешком, где на грузовике, где случайным поездом; на этом полустанке незадолго до нас немец их разбомбил; выскочила, побежала по зеленому лугу. А у немецких летчиков, у желтогубых мальчишек, особенный спорт — пикировать до бреющего полета на бегущую без памяти женщину с ребенком… Может быть, она часу только не дождалась встречи с мужем…
Вырыли могилу под березами, думали, что для одного человека, а пришлось положить туда двоих. Прискакал один из наших разведчиков на заморенной лошаденке, сообщил, что обнаружена группа мотоциклистов на большаке, который пересекал около этого полустанка железнодорожный путь. Можно было, конечно, отойти незаметно, не ввязываться в драку. Но подошел Моисеев с девочкой на руках; у него даже лицо изменилось, стало серое, глаза погасли. «Никак нет, я не согласен, — сказал он, — хочу встретить их, как должно… Только так, только так, товарищи». Погладил девочку по головке и передал на руки бойцу, раненному в голову, и мне — повелительно: «Возвратите мое личное оружие».
Моисеев сам провел всю операцию, — в узком месте дороги навалил деревья, посадил в засаду пулеметчиков и стрелков, и, когда немцы беспечно и с удивлением остановились около завала и задние машины подтянулись, он истребил их огнем и штыками, — всех до последнего человека. То ли он действительно искал смерти в этом бою, то ли душила его злоба, — он вертелся с винтовкой в самой гуще схватки. Весь живот ему прошило из автомата. Все же он нашел силы, сел на дороге, оглядывая немецкое побоище… «Ну вот, Маруся, — сказал, видимо, уже немножко не в себе, — это по тебе тризна, хороним тебя с музыкой…» Повалился на левый бок, посиневшей рукой потащил из кобуры револьвер. У него был весь живот перерезан…
Похоронили их обоих в одной могиле. Девочка на руках у того бойца, представьте, не плакала, но глядела, как взрослая, когда зарывали ее мать и отца. Может быть, не понимала, что мы делаем? Хотя — нет, — дети в эту войну понимают больше, чем нам кажется. У них в умишках многое копошится и созревает со временем…
К вечеру в лесу, на привале, мы вскипятили воду в шлемах, помыли нашу девочку, завернули в плащ-палатку, устроили ей гнездо из ветвей и на охрану поставили с винтовкой бойца-пограничника Матвея Махоткина, страшенного на вид мужчину. Девочка спала плохо, все просыпалась, звала: «Мама…» Матвей ей говорил: «Спи, спи, не бойся…» Но

уже на другой день она затихла. Матвей никому ее не доверял: сам нес на руках и добился, как ее зовут; она долго не хотела говорить, потом вдруг сказала ему на ухо: «Нина…»
Еще много дней пробивались на восток через немецкие заслоны, а когда вплотную подошли к линии фронта, решили девочкой не рисковать. В местечке Немирово попросили незнакомую нам женщину Рину Михальчук, — понравилась она нам, поверили ей, — взять наше дитя. Что было у нас сахара и белых галет — все отдали этой женщине в приданое за Ниной. Уходили из Немирова — заглянули в ее хату. Нина прыгала у приемной матери на руках, а женщина тихо плакала… Вот и вся моя история…
Осталась наша Ниночка на западе, у немцев. И могила под теми березами — у немцев…

V

Странная история

Вот они!.. Поползли гуськом — один, другой, третий — с белым кругом, как кошачий глаз, с черным крестом… Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филипповича. Как только загромыхали танки, он подскочил на лавку к окошку, прилип к стеклу, но, когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов — в сером влажном свете — немецкие лица глядели пустыми глазами, тоже серые, мертвенные, брюзгливые.
Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:
— Господи, страх-то какой… Ну что ж, Петр Филиппович, может, теперь людьми будем?
Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу, — небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, плешивый. Прасковье Савишне хотелось заговорить об ихнем доме, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа, с того дня, как ее в четырнадцатом году взяли из бедной семьи в богатую старообрядческую. С годами как будто и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв десятилетний срок наказания, она опять начала его бояться, и теперь ей было это очень обидно: для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает, но, как ни повернись, на все у него — усмешка, все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают, теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читая книги. Для этого привез очки с севера.
Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собирать обедать, накрошила капусты, луку, овощей, налила в чашку жидкого квасу и сердито кликнула детей. Обедали с заплесневелыми сухарями, — зерно, мука, копченая гусятина и свинина — все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы ладонями, — это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непоследовательностью:
— Вывеску сельсовета-то содрали, должны теперь нам вернуть дом.
Положив ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами, — излилась в длинной, сто раз слышанной, жалобе. Петр Филиппович и дети — мальчик, такой же рыжий, как отец, и двенадцатилетняя дочь с молочно-белым угрюмым лицом — молча продолжали хлебать крошанку. Наконец Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее:
— В селе Благовещенском уголовника одного, — это все говорят, — бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадь… А у тебя, слава богу, заслуги-то выстраданные…
— А и дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная, — только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и затихла.
На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший, под железной крышей, отцовский дом Петра Филипповича, что стоял через улицу, наискось от избенки, в которой он жил сейчас; солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого почти вся молодежь — девушки и пареньки-подростки — скрылись из села: кто-то их сманил. Немцам это очень не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они наклеили объявление, — на двух языках, на хорошей

бумаге, — правила поведения для русских, с одним наказанием — смертной казнью. Потом начались повальные обыски. Перепуганная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат — специалист по отыскиванию спрятанных поросят: тихонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и — не отличишь, хрюкает и слушает. Действительно, на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке… Уж так-то эти бабы потом плакали…

Немцы отбирали все, обчищали избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам носильные вещи из сундука в подполье, оттуда — в золу, в подпечье или еще куда-нибудь. Наконец Петр Филиппович закричал на нее, затопал ногами: «Сиди ты спокойно или уйди, умри где-нибудь, сгинь!..» Дом их был будто под запретом, его обходили. Наконец явились двое с винтовками. Петр Филиппович надвинул на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный, в очках, вполне интеллигентного вида немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет четырнадцати, обшаривал ее и щупал; она испуганно подставляла локти, шептала! «Не надо, дяденька, не надо». Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок, — она споткнулась, пошла; он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича, — не в лицо, не в глаза, а выше.

— Это и есть Петр Горшков? — спросил он, несколько задыхаясь.

Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей; дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, вцепившись в горб. Стены были свежепобелены, полы вымыты; в комнате — в три окна — пахло сигарами; здесь в прежние времена по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича так же выше головы и сказал по-русски:

— Снять картуз и сесть на стул у двери.

Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором; на черных петлицах — серебряные молнии (которые в древнем, руническом, алфавите обозначали буквы «с» и «с», а также главные атрибуты германского бога войны — Тора).

— Ваша биография нам известна, — заговорил он после продолжительного молчания, — вы были врагом Советской власти, таким, надеюсь, продолжаете оставаться. (Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бороду, глядел на господина офицера блестящими точками сквозь морщинистые щелки.) Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас: полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами; чтобы вы заставили население работать; русские не умеют работать; мы, немцы, этого не любим, — человек должен работать от утра и до ночи, всю жизнь, иначе его ждет смерть; на моей родине, у моего отца, есть маленькая мельница, на ней работает собака, — она день и ночь бегает в мельничном колесе; собака умное животное, она хочет жить, — этого я не могу сказать про русских… Итак, вы будете назначены бургомистром села Медведовки. В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности…

Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему:

— Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?

— Как же, как же, — ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.

— Что еще сказали-то тебе?

— Велели, чтоб ты мне баню истопила.

Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа. Но переспросить побоялась… «А хотя и верно — сегодня ведь суббота, немцы порядок любят…» Надела сапоги и пошла топить баню на берегу речонки.

Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома.

Партизаны, о которых так беспокоился хорошенький немец с молниями на воротнике, имели штаб — не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой, но попасть туда было очень трудно: дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту; посреди его

на твердом острову помещался штаб; все подходы к нему охранялись секретами; немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда чужой человек — услышал бы он, как вдруг, где-то рядом, застучал дятел, ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки — постукивание и посвисты, воронье карканье, собачье потявкивание… Жутко бы стало чужому человеку…

Сегодня в безветрии моросил мелкий дождичек. В штабе партизан значительных операций не предвиделось. Небольшие группы — в три, четыре человека — ушли, как обычно; одни — в разведку, другие — ставить мины на большаке. Особая группа еще стемна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого известью, чтобы обнаруживать следы партизан, оттопывали каждый свои два километра немецкие часовые, угрюмо и опасливо поглядывая по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, в осоке, под заломанными ветвями лежала наблюдательница — девушка, вооруженная карабином и двумя черными гранатами величиной в гусиное яйцо; подальше, за вывороченным корневищем, сидел мальчик, — ему пришлось видеть, как всю семью — мать, бабушку, сестренок — серо-зеленые солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом и ночью сарай запылал, и среди криков слышался голос матери… Лицо у мальчика было желтое, в старческих морщинках, он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоко надвинутом шлеме.

Когда один из часовых прошел то место, которое было намечено партизанами, за его спиной проворный паренек, в туго подпоясанной стеганой куртке, одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, и тотчас другой паренек, так же бесшумно, кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкладывать под рельс сложный и страшный снаряд.

Грохоча по лесу, показался поезд, видный весь на завороте пути; попыхивающие белые клубы дыма стлались к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко дышащий паровоз приближался, — часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий взрыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельса, свистя осколками, отскочил в сторону; паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы; сзади на его занесенный зад с треском начали громоздиться вагоны, вдвигаться один в другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серозеленые человечки…

Кроме таких дел, у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба, Евтюхов, тихо беседовал с гостем, начальником конной разведки, Иваном Сударевым. Сидя около замаскированной землянки, на сваленной сосне, под моросящим дождичком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспетое еще Пушкиным. В такую сырость у обоих ныли старые раны. Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него не хватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах.

— Нужен глубокий разведчик, где его найти? Вот мое горе.

— Твое горе основательное, — рассудительно сказал Иван Сударев и выплеснул из жестянки остатки слабого напитка. — Без глубокой разведки отважный дерется с завязанными глазами, а это есть абсурд.

Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девущки в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках, в больших сапогах. Держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки. Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ими в трех километрах отсюда и непонятно, как он пробрался через секреты.

— Это жирный карась, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — В Медведовке я у него раз ночевал, умен и хитер, интересно, что он скажет.

Петру Филипповичу развязали глаза, девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на затуманенные вершины леса, вздохнул:

— К вам, собственно, я и шел, дело у меня к вам…

— Любопытно, какое у вас ко мне может быть дело, — ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него. — Немцы, что ли, обижают?
— Наоборот, немцы меня не обижают… Я же десять лет отбывал наказание за вредительство.
— Вам известно, Горшков, что вот вы — незваный — пробрались сюда, но обратно трудно вам будет вернуться?
— Как же, известно… Я и шел на смерть…
Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревне:
— Да вы сядьте, Горшков, будет удобнее разговаривать. Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?
Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом…
— Принял, принял в расчет, что вы мне не поверите… Податься было некуда — вчера вызвали меня и, видишь, предложили должность бургомистра… У немчиков — круговая порука, вот и меня решили связать преступлением: в понедельник должен быть при казни двух ваших партизан…
Евтюхов не усидел на бревне:
— Фу-ты, черт!
У него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.

— Сядь, это всегда успеешь, — сказал ему Иван Сударев. — Продолжайте, Горшков, мы вас слушаем.

— Наперед вот что хочу вам сказать: действительно, я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой организации не состоял, это мне пришили, но — был зол и все… Не верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве… Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как полагается… Что похоронят меня с честью на русской земле… Не было у меня прощения… Ну, там связался с одним агрономом. Дал он мне порошки… Подумал, подумал — коровы, кормилицы, лошадки, — чем же они виноваты? Эти порошки я выбросил, этого греха на мне нет. Агроном-то все-таки попался и на допросе меня оговорил… А я молчал со зла: ладно, ссылайте…
— Странная история, — все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.
— Чем же она странная? Русский человек — не простой человек, русский человек — хитро задуманный человек. Десять лет я проработал в лагерях, — мало, что ли, передумано? Так: страдаешь ты, Петр Горшков… Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей, — беспокоится о нем Прасковья Савишна, но не я, это у меня давно отмерло… За какую правду ты страдаешь? В городе Пустозерске, что неподалече от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в яме протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать; с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти… Творения Аввакума прочел, — тогда была одна правда, сегодня — другая, но — правда… А правда есть — русская земля…
— Он убедительно говорит, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.
— Торопиться не будем, подойдем и к делу. Немчик, офицер, вчера рассказал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то… А? — Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцветными круглыми, тяжелыми глазами взглянул на слушателей. — Смеются они над русским народом: вон, мол, идет неумытый, нечесаный, дурак дураком, — бей его до смерти!.. Вчера другой офицерик на улице, при всем народе, щупать начал девчонку, Киселеву Анютку, хорошую такую, милую девочку, задрал ей юбку, задыхается сам… Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть Советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться над нами проклятый немец…

Становое дело вы делаете, товарищи, спасибо вам… Советская власть — наша, русская, мужицкая… Свой личный счет я давно закрыл и забыл…
Петр Филиппович облокотился, прикрыл ладонью лоб под козырьком каракулевого картуза.
— Теперь — решайте… Ведите меня в лес, расстреливайте… Я готов, только, ей-богу, будет обидно… Или — верьте мне. Предлагаю: давать о них все сведения, я все буду знать, в штаб армии к ним проберусь, — хитрости у меня хватит. Работать буду смело. Я смерти не боюсь, пыток не испугаюсь.
Иван Сударев и начальник штаба Евтюхов спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны, трудно было поверить такому человеку, с другой — глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке:
— Решили вам поверить. Обманете, — под землей найдем…
Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился:
— Это счастье. Большое счастье для меня. Сведения буду посылать — куда укажете — через мою девчонку… Сынишка-то в мать пошел, слабый, дочка, Анна, в меня, ребенок злой, скрытный.
Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его.
В понедельник, такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятное и тыча рукой в сторону сельсовета. Там, на небольшой площади, где еще недавно был палисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика — два высоких столба с перекладиной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями.
Весь народ уже знал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова, — его немцы подстрелили неподалеку от села, в орешнике, — и Клавдию Ушакову, учительницу медведовской начальной школы; ее также взяли в орешнике, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова.
Солдаты, взмахивая подбородками и покрикивая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами. Только и было слышно, как кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штыком.
Показался грузовик. В нем стояла учительница, простоволосая, бледная, как покойница, черное платье расстегнуто, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов. Был он убедительный и горячий паренек, на селе его любили, — ничего от него не осталось, замучили, — сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера, — длинный в очках, с фотографическим аппаратом, и хорошенький. Оба солидно посмеивались, поглядывая на русских.
Грузовик подъехал, повернулся и задом вдвинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушакова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:
— Товарищи, я умираю, уничтожайте немцев, клянитесь мне…
Солдат с размаху ладонью закрыл ей рот и сейчас же, торопливо и неловко, начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею.
Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:
— Товарищи, убивайте немцев!..
Другой солдат ударил его по голове и тоже начал натаскивать петлю.
В толпе все громче плакали. Грузовик резко дернул. Ноги Клавдии Ушаковой поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно, — она первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза…
На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился.
Начальник штаба несколько дней после казни дожидался Горшковой девочки в условленном месте, — в сумерках, в овраге, в густом дубняке. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же, присев на корточки, тихим голосом начал подробно рассказывать, как происходила казнь.

— Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые-с… Наказ их предсмертный у всех в ушах… Что же касается сведений, то будут они такие…
И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба и мечтать не мог. Он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова:
— Ну, если ты врешь…
Петр Филиппович не ответил, только, развел ладошками, усмехнулся; из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.
— Ну, это ты оставь — планы чертить, — сказал ему Евтюхов, пряча, бумажку в кармашек, — запрещаю тебе строжайше, должен все держать в памяти… Никаких документов! И больше сам сюда не приходи, посылай девчонку…
Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетали на воздух. Угрюмая белолицая девчонка Анна прокрадывалась, почти каждый вечер в овраг и передавала и важное и маловажное. Однажды она сказала, как всегда, бубнящим равнодушным голосом:
— Папаша велел сказать: получены новые автоматы, ключи-то от склада у него теперь, — вам первым он отпустит автоматы. Приходите завтра ночью; только наказывал: в часовых никак не стрелять, а резать их беспременно…
Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он будто издевался над немцами, доказывал им, что действительно русский человек — хитро задуманный человек и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдохновенным, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом.
Оба офицера были уверены, что нашли преданного им, как собака хозяину, смышленого человека. Жили они в постоянном страхе: под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов, и таких именно, в которых везли солдат или особо важные грузы; им в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием автоматов и пистолетов уже не было и со склада из Медведовки на фронт отсылались, тщательно закупоренные, ящики с песком. Офицер, с молниями бога Тора на воротнике, не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он отделался испугом, когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так, — не лежи он в это время на низкой койке, случилось бы непоправимое. В белье он выскочил на улицу. По селу шла трескотня, солдаты выбегали из изб, кричали: «Партизанен!» — и стреляли в темноту. У его крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только наутро хватился сумки, но ее вскорости принес вместе с чемоданчиком и запачканным мундиром Петр Филиппович, — он нашел эти вещи здесь же на огороде, очевидно, партизаны бросили их, убегая.
Немцам дорого обошлось бургомистерство Петра Филипповича. Все же он попался, — на мелочи, вернее, от высокомерной злобы своей к немчикам. Он похитил печать и бланк, взял со склада немецкую пишущую машинку и поехал в село Старую Буду, где партизанил отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город, в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость: им все теперь стало понятно…
Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила немцев из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна, — волосы у девочки были, как колтун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное, платьишко изодрано на коленях.
— Вы папашку моего ищете?
— Да, да, что такое с ним?
— Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня пытали, он еще сейчас живой висит, идемте.
Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернулась, с трудом приоткрыла зубы:

— Вы не думайте, папашка мой ничего им не сказал…
В коровьем сарае под перекладиной висел Горшков, в одних подштанниках, с синими опущенными ступнями; искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в грудь был всунут крюк, — он висел под перекладиной, повешенный за ребро…
Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо уже не в себе, проговорил:
— Ничего… Мы люди русские.
VI
Русский характер
Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.
Русский характер! Поди-ка опиши его… Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезет из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.
На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, — говорит, — сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись…»
У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения…» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных…» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это, когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный…» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть… Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге…
Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.
«…Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает… Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево… Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо… А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал… Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх… Экипаж и полез через запасной люк… Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат, ногами дрыгаются… Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел… Фашисты кто куда… А — грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал… Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей… А я еще — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут…»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт… «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, у него сердце стучит…»
Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.
— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.
На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошку, увидел мать — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи… «Ох, знать бы, — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка…» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью… Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.
Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».
У него так заколотилось сердце, — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.
— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.
— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:
— Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.
Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.
— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.
— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну, что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай, взрослый стал, с усами ходит… Эдак — каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони. «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама…»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинки пшенные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку:

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: — поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая…

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите…

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, — сегодня же.

Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.
Недели через две пришло от матери письмо:
«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся… Чего ему скрываться, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась…»
Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, — говорю, — характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума… Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».
Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш…» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.
Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает солдат к Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают…» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу, — он не в себе, все покашливает… Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:
«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.
Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он, — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого…»
Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собиралась жить век. Я вас буду любить верно, очень буду любить… Не отсылайте меня…»
Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

Вадим Кожевников

Март — апрель

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.
В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело.
Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.
Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус…
Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.
«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше неважное положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».
Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.
Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, добрый, душевный, все понимает. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.
Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.
Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:
— Побриться бы надо, а то щеки как у ежа, — и поспешно проходил к себе.
О работе в тылу у немцев он тоже не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.
— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.
Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена фашистами.
Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:
— Жена пишет.
Все переглянулись. Многие разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья, оказывается, никакого и не было…
…Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.
Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.
Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.
Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, — пить только для того, чтобы заполнить пустоту в желудке.
Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли; когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.
Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.
Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»
Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.
Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.
Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.
— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!
Но капитан повел себя странно. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему на немецком языке приказали поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:
— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку, — тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку… — И капитан поднялся.
Пароль произнес одними губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».
— А пистолетик все-таки в руке держали!
Капитан сердито посмотрел на радиста:
— Ты что ж, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твое помещение!
— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу.
— Зачем ползти? В лесу спокойно.
— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.
Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползушим человеком. Потом он насмешливо спросил:
— Ты что ж, босиком бегал?
— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел… еще в воздухе.
— Хорош! Как это ты еще штаны не потерял. — И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!
Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:
— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.
— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли немцы рацию, понятно? — и вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.
— Михайлова.
— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?
Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.
Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим, резко очерченным ртом, от которого трудно отвести взгляд.
У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно, — напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.
А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!
Сколько раз говорил капитан:

— Подберите волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал капитану замечание за то, что он уделяет Михайловой так мало внимания.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни. — И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую… — И капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун обычного выходного дня. Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнущимися щупальцами, но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые, — все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда немного усталым и грустным, был жестким и требовательным и к себе самому…

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан молчал о своем горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило побудительной причиной его бесстрашия. Поэтому он и обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». Всю свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили враги твое сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, Михайлова рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что и он никуда не годится.

Сказать все? Ну нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся…

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.

Вы не доктор. И потом…

— Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала: меньше разговаривайте.
— Ой, больно!
— Не пищите, — сказал капитан, ощупывая ее ступню, вспухшую, обтянутую глянцевитой синей кожей.
— Да я же не могу больше терпеть.
— Ладно, потерпите, — сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.
— Мне не нужно вашего шарфа.
— Грязный носок лучше?
— Он чистый.
— Знаете, — снова повторил капитан, — не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?
— Нет.
Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:
— Хорошо держится!
Потом он вытащил лыжи наружу и что-то долго мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:
— Можно ехать.
— Вы хотите тащить меня на лыжах?
— Я этого, положим, не хочу, но приходится.
— Ну что же, у меня другого выхода нет.
— Вот это правильно, — согласился капитан. — Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
— Вот, — сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.
— Маловато.
— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней…
— Понятно, — протянул капитан. — Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
— Можете оставить ваш шоколад себе.
— А я угощать и не собираюсь. — И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.
После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее, на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.
«Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».
Капитан посмотрел на часы и предложил:
— Не худо бы выпить горячего.
Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.
Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.
— Вкусно? — спросила девушка.
— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.
— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.
— Вы у меня еще натерпитесь, — сказал капитан. Не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.
К вечеру ему удалось убить старого грача.
— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.
— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.
Он зажарил птицу на костре.
— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.
— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:
— Пожалуй, это будет справедливо. — И съел всю птицу.
Закурив, он повеселел и спросил:
— Ну, как нога?
— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — ответила девушка.
— Это вы бросьте!
Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.
На рассвете капитан остановился в овраге.
Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями, оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.
— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.
— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.
Девушка начала выбираться из своего спального мешка.
— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.
Девушка подошла и сказала:
— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся мешком.
— Ну, знаете… — возмутился капитан.
— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу… Вам неудобно?
— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще…
— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы мои вам не мешают.
— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.
Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.
Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула руку под его голову.
С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая его лицо. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.
Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.
— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?
— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.
— Ну, когда вас расстреливали.
— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.
Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался из рва и полз двадцать километров до места явки.
Чтобы прекратить разговор, он спросил:
— Нога все болит?
— Я же сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.
— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.
Капитан снова впрягся в сани и заковылял по талому снегу.
Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно поверх льда уже покрытую водой.
На дороге лежала убитая лошадь.
Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.
— Знаете, — сказала девушка, приподымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.
— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.
Он поджарил тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.
— Вкусно? — удивилась девушка.
— Еще бы! — улыбнулся капитан. — Жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:
— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.
— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.
— Ну-ну! Без глупостей, — пробормотал капитан.
Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.
Вернулся он ночью.
Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.
— Садитесь, садитесь, — попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.
Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку!
— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.
— Ну и что? — спросила девушка.
— Ничего, — ответил капитан. — Ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?
— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.
— И даже очень, — сказал капитан.
Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:
— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне… Какая там у вас волна, сообщите.
Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.
Но капитан, сворачивая новую цигарку, даже не поднял глаз.
— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Рацию я забираю и иду туда, — он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.
— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.
— Ну-ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.
— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.
— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.
— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.
— Да поймите же вы!.. — вспылил капитан.
— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова. — Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.
Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:
— Ладно, валяйте, действуйте. — И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот…
Михайлова насмешливо сказала:
— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.
Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.
— Чего ж вы сидите? Время не ждет.
Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.
— До свидания, капитан!
— Идите, идите, — буркнул тот и пошел к реке…
Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:
— Но ведь другие могут?
— А если вас убьют?
— Не всех же убивают.
— А если вас будут мучить?
Она задумалась бы и тихо сказала:
— Я не знаю, как буду себя держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.
И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:
— Нам с матерью теперь будет очень тяжело, очень.
— Папа, — звонко сказала она, — папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!
Отец поднял лицо, и она испугалась: таким оно стало измученным и старым.
— Я понимаю, — сказал отец. — Ну что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.
— Папа, — крикнула тогда она, — папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!
Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.
Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:
— Будь осторожнее, деточка.
На курсах Михайлова училась старательно, во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.
Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.
И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отмороженной ногой. А ведь когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроенно сообщала: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот теперь, если немцы успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.
Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.
А этот лес так похож на рощу в Краснове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.
И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.
Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:
— Ты чего так расфрантилась?
— Подумаешь, — сказала она. — Почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, распухшую ногу.
«Ну, убьют. Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я лучше их, что ли?»
Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.
Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.
Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.
И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались: ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводырем огромным стальным кораблям.
Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.
Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Она подносила руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это не важно».
Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок… Там горит печь… и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет… Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно… Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно… Скорее бы только! Ну, что они, в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»
Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное тяжелое небо. Вот его лизнули прожектора, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:
— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти слова? Что же они тогда про меня подумают?»
Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться. Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.
— Ага, не нравится?
Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик: «Бейте, бейте!» — высекала из ключа.
Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.
Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.
Потом наступила тишина, замолкли зенитки.
«Кончено, — с тоской подумала она. — Теперь я снова одна».
Она пыталась подняться, но ее ноги…

Она их совсем не чувствовала. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто… И она не узнала бы самого страшного.
«Нет, — решительно сказала себе она, — с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».
Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.
«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»
Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.
Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.
Она открыла глаза.
— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.
Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.
Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.
Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, а из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:
— Ну как?
— Никак, — прошептала она.
— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.
— А вы?
— А я здесь немного отдохну.
Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю.
Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.
Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.
Она ничего не понимала. Сколько это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.
Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:
— Так вам будет легче.
Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.
Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.
Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.
— Проснулись? — спросил он незнакомым, добрым голосом.
— Я не спала.
— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.
Она подняла руку и увидела, что рука голая.
— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.
— Это я вас раздел, — сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.
— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.
Она улыбнулась и сказала:
— Я знала, что вы вернетесь за мной.
— Это почему же? — усмехнулся капитан.
— Так, знала.
— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли пристукнуть. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих…
— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.
— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы хорошая девушка. — И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?
Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:
— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.
Капитан отвернулся. У него побледнели уши.
— Ну, это вы бросьте.
— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.
Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, застенчиво сказал:
— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.
Поднявшись, он опять сурово спросил:
— Верхом ездили?
— Нет, — сказала Михайлова.
— Поедете, — сказал капитан.
— Гаврюша, партизан, — отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним немцев из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.
Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:
— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.
Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:
— Мне сейчас так хорошо. — И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.
— Ну еще бы, — сказал капитан, — вы еще будете счастливой.
Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, он вдруг заявил:
— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А теперь сколько я этих гитлеровцев порезал! — Он всплеснул руками. — Я человек злой, обиженный!
Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.
Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:
— А Михайлова снова на задании.
На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Боевая девушка, ничего не скажешь. — И, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

Константин Симонов

Третий адъютант

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.
В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.
Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним. Если тот выдерживал испытание — вечером комиссар знакомился с ним еще раз.
— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.
Удивленный командир называл свою фамилию.
— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку. — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.
В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.
Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.
Вечером возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.
Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.
Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.
Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.
Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав под мышкой, повернулся.
Ему стреляли в спину. Две пули попали в флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.
Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.
— Напоите!
— А вдруг дошли бы, а она пустая? — заинтересованно спросил кто-то.
— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.
Он часто делал вещи, которые, в сушности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке.
Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.
Через пятнадцать минут он неожиданно окрикнул командира батальона.
— Ну, отправили в санбат?
— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.
— Дотемна он умрет. — И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.
Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.
А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя, и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не припадая к земле. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.
Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.
— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга.
Корневу казалось, что на воине все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.
И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.
— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?
Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.
Хирург пожал плечами.
— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен, — сердито повторил он. — Плохо работаете.
И, не простившись, пошел к машине.
Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки была в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, что он плохо работает.
— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.
Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.
— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить. — Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами…
Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди от него уходили сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая их, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, — лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.
Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не жалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.
Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.
Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой, грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если идти рядом с ним, то ничего не может случиться.
Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.
— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.
Почти у самых окопов их «взяли в вилку». Одна мина разорвалась впереди, другая сзади. Комиссар встал, отряхиваясь.
— Вот видите, — сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку. — Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед идти.
— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так… — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.
— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они уже по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили и опять был бы недолет.
Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю.
Так состоялось их первое знакомство.
Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми.
Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.
Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал у железной печки свои забрызганные грязью сапоги.
Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.
— Ну, хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он, видимо, прерванный разговор, — ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как, по-вашему?
— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.
Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:
— Ну, выживет, хорошо — едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?
— У меня нет теории, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, — хорошая теория.
В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.
— Кто вместо него? — спросил комиссар.
— Лейтенант Васильев из пятой роты.
— А кто же в пятой роте?
— Какой-то сержант.
Комиссар на минуту задумался.
— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.
— По правде говоря — сильно.
— Выпейте водки.
Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте.
Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.
— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами. — Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?
Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.
— Да, — сказал он.
В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.
Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту — всю, до последнего человека.
Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку.
Тронутый первыми заморозками гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Гитлеровцы были убиты или взяты в плен. Многие, пытавшиеся добраться до своего берега вплавь, потонули в ледяной зимней воде.
Бросив уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.
Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.
Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.
Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана — пулевая или штыковая.
Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.
Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.
— Штыковая, — сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.
Когда он поднялся, на лице его было удивление.
— Еще дышит, — сказал он.
— Дышит?
Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого, оказавшегося живым, человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он, наверное, бежал. И все-таки — нет! Не может быть. Он очень редко ошибался в людях.
— Двое сюда! — резко приказал он. — На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И он, повернувшись, пошел дальше по полю.
«Выживет или нет?» — этот вопрос у него путался с другим — как себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле. И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро, — значит, выживет, непременно выживет.
И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую руку.
— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты, — сказал адъютант, — застрял на переправе, еще шагов сто оставалось, когда…
— Знаю, — прервал его комиссар, — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.
Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:
— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой…

Свеча

История, которую я хочу рассказать, произошла 19 октября сорок четвертого года.
К этому времени Белград был уже взят, в руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу.
На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через небольшой полукруглый скверик, в котором стояло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева, торчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста.
Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и, наконец, когда немножко затихло, двое легкораненых уползли назад, таща на себе двух тяжелораненых. Пятый — мертвый — остался лежать в сквере.
Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулев и что он погиб девятнадцатого числа утром в Белграде, на берегу реки Савы.
Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице.
Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят.
А немцы все стреляли — и днем, и на закате, и в сумерках.
Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали развалины каменного дома. Его почти сровняло с землей в первые же дни, и никому не приходило в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить.
А между тем под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбило второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбило первый этаж, она перешла в подвал.
Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много, мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная, свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Старуха окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил. И она поняла, что он убит.
Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову, в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево.
Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Порывшись в своем единственном узле, старуха вытащила оттуда что-то, спрятала под черный вдовий платок и неторопливо вылезла из подвала.
Она не умела ни ползать, ни перебегать, она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ее встретился кусок решетки, оставшейся целой, она не стала перелезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер.
Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи.
Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю.
Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали далеко от нее.
Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два и молчала.
Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, в которые рвались мины.
Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу.
Вскоре она нашла то, что искала: это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая наполняться водой.
Опустившись в воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к мертвому русскому. Она взяла его под мышки и потащила.
Тащить нужно было всего десять шагов, но она была стара и три раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила мертвого до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала.
А немцы все стреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от нее.
Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб.
Потом стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его полностью. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и, снова отдохнув, начала подгребать землю. Через несколько часов она горстями насыпала над мертвым маленький холмик.
Уже вечерело. А немцы все стреляли.
Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу, одну из двух венчальных свечей, сорок пять лет хранившихся у нее со дня свадьбы.
Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на коленях.
Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, а один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу.
Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал пламя, если начнется ветер. Сделав это,

старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал.
Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост.
Через час или два совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу.
Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром.
Тело Чекулева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек.
— Смотрите, — сказал красноармеец.
И все посмотрели туда, куда он показывал.
Около разбитой ограды сквера высился маленький холмик. В головах его был воткнут полукруг горелого железа. Прикрытая им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая.
Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить.
Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле. Подняв огарок, она зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех, помог ей подняться.
Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.
Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой, — догонять свою роту.
А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.
И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.

Валентин Катаев

Флаг

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.
Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.
Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар.
Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.
Простыни слепящего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.
Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг: враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его.
Но время шло.
Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но разрядка приближалась. И вот она наступила.
— Ну? — сказал наконец комиссар.
— Вот тебе и ну, — сказал командир. — Все.
— Тогда пиши.
Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше ист. Запас продовольствия на одни сутки».
Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скрепленную сургучной печатью, подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.
— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.
В дверь постучали.
— Войдите.
Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик.
— Вымпел?
— Точно.
— Кем сброшен?
— Немецким истребителем.
Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, зелеными ализариновыми чернилами было написано следующее:

> «Господин коммандантий соведки форт и батареи. Вы есть окружени зовсех старон. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование… Условия: весь гарнизон форта зовместно коммандантий и командиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха — там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть иметь выставить бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь.
> Командир немецки десант контр-адмирал
>
> фон Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:
— Хорошо. Идите.
Дежурный вышел.
— Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво.
— Да, — сказал комиссар.
— Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтоб они его непременно заметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?
— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.
Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.
Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом.
Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.
Незадолго до рассвета флаг размером, по крайней мере, в шесть простынь был готов. Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыханье, поднимая для приветствия руку.
— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой слоновой кости рукояткой кинжала.
— Так точно. Они сдаются.
— Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх!
Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный, ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита.
Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.
— Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.
Он отдал приказ.
Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.
— Черт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп, — солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.
Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались в узкие, извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетела обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.
Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.
Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен. Его лицо подергивали судороги.
— Вперед, мальчики, вперед!
И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.
Морщина землетрясения прошла по острову.
— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы!
В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все кругом стало монотонного гранитного цвета. Все, кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным, Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя.
Фон Эвершарп отдал новое приказание.
Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.
И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе.
Но силы были слишком неравны.
Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.
Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из

пунцовых одеял, маек, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.
На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед, к победе.

Сергей Сергеев-Ценский

В снегах

1

В это утро, умываясь около землянки ледяной водой, летчик лейтенант Свиридов вспомнил только что виденный странный какой-то сон.
Обыкновенно никаких в последнее время снов Свиридов не в состоянии был припомнить, но этот почему-то запомнился.
Он видел свою московскую квартиру на шестом этаже и в ней — жену Нюру и четырехлетнюю светловолосую, в отца, дочку Катю. Они сидели обнявшись, смотрели в окно, а ближе к двери, на полу, стоял электрический чайник, от которого шел красный шнур к штепселю. Он же сам будто бы вошел в эту комнату из коридора и вдруг услышал слова, сказанные очень отчетливо и с большой тоской:
— Я — жаворонок… Я умею говорить по-человечески… И вот меня хотят изжарить!
Слова эти шли из чайника, а когда он пригляделся, то оказалось, что чайник почему-то похож на клетку, и в этой клетке-чайнике метался действительно серенький хохлатый жаворонок с безумными от ужаса глазами.
Потом как-то все спуталось, смешалось. Он порывался вытащить из горячего уже чайника-клетки этого изумительного говоруна, но почему-то не мог, а Нюра и Катя уже не сидели около окна, — их не было в комнате, — и никто не объяснил ему, что это за жаворонок и зачем нужно было его жарить. А потом на дне чайника он увидел только маленькую головку уже зажаренной птички.
В двадцать пять лет люди вообще мало бывают склонны думать о том, чего не бывает в жизни, а здесь, в тундре, где тонули в снегах низкорослые жиденькие корявенькие березки и неумолчно гремела война, тем более некогда было думать об этом.
Кругом лежала укрытая снегом тундра, подпертая на западе грядою сопок, а на севере темнело полосой Баренцево море, и оттуда сейчас тянул легкий, но свежий ветер.
В этот день Свиридов должен был патрулировать там, в стороне чуть заметно синевших дальних сопок, из-за которых часто появлялись вражеские бомбардировщики, чтобы тревожить Мурманск.
Аэродром, на котором, тщательно замаскированный, стоял в ряду с другими и его «ястребок», был укрыт мягким, пока еще неглубоким снегом.
Свиридов, тепло одетый для полета, казался издали толстым и неуклюжим, хотя был легким и гибким, хорошим гимнастом. Из землянки он вышел, захватив с собой на всякий случай бортпаек: несколько банок консервов, несколько плиток шоколаду. И вот, быстро пробежав по снегу и оставив в нем широкий след, «ястребок» оторвался от земли и свечой пошел в высоту.
Как-то вышло так, что лейтенант даже не попрощался с Вадиковым, а вспомнив об этом при взлете, подумал: «Ну, пустяки какие… Ненадолго же лечу, вернусь…»
Ему часто приходилось вылетать в разведку и возвращаться в положенный срок, никого не встретив в воздухе. Однако еще с раннего утра он, как и другие, видел, что день наклевывается ясный. Небо было хотя и облачным, но с большими прозорами бледной голубизны. А когда «ястребок» прорезал два слоя облаков, небо стало гораздо просторнее,

чище… И вдруг разглядел в нем Свиридов три мутные, прячущиеся в облаке тени самолетов.
«Может быть, свои, не фашистские?»
Послущный опытным рукам, лежавшим на штурвале, «ястребок» пошел на сближение. Свиридову просто хотелось убедиться, что это свои, в чем он был почти уверен, однако чем ближе он подходил, тем яснее видел: враги.
С земли он узнал бы их по характерному шуму моторов, но теперь рев «ястребка» заглушал все звуки кругом. Врагов выдал их желтый камуфляж. Глаза искали на ближайшем из них белый круг с черной свастикой в середине и нашли. И тут же пришло решение напасть.
Чтобы напасть, нужно было набрать высоту. Лейтенант быстро взял штурвал на себя — «ястребок» резко взмыл кверху.
Настал момент. Свиридов выбрал бомбардировщик, который был ведущим в звене, и спикировал на него. Затяжная очередь трассирующих крупнокалиберных пуль пронзила правую плоскость. Тяжелая машина начала оседать, но он, увлекшись, продолжал тратить на нее свой запас патронов.
Фашистский бомбардировщик зарылся в тучах и исчез из виду. Упадет ли или дотащится до удобного места посадки, — этот бомбардировщик был уже выведен из строя, а два других?
Свиридов присмотрелся к ним и увидел, что они, потеряв ведущего, изменили направление и уходят от него во всю силу моторов.
Он полетел вслед за ними.
«Врешь, не уйдешь, гад!» — подумал лейтенант, заметно покрывая расстояние до ближайшей вражеской машины.
Сбитый им бомбардировщик был третьим по счету в списке его побед; этот, впереди, входил в шеренгу четвертым. Одного, из двух прежних, он протаранил, слегка только погнув свой винт. Он уже видел, что этот, стремившийся от него уйти, будет вторым…
И такое было чувство уверенности, что его ждет и здесь полная удача. Однако случилось не совсем так, как ожидалось.
Была ли допущена какая-то небольшая, но роковая ошибка им самим, когда он повис уже над хвостом вражеского самолета и приготовился всем телом к удару, или немецкий летчик в какую-то долю секунды чуть-чуть взял влево, но только что винт «ястребка» ударил в хвост бомбардировщика, причем от руля глубины посыпались вниз обломки, как Свиридов почувствовал, что левое крыло его «ястребка» тоже ранено.
От толчка Свиридов едва усидел на месте. Потом точно судорожная дрожь охватила все тело «ястребка»; этого не было в тот первый раз, когда он применил таран. И хотя лейтенант видел, как от его удара пошел вниз бомбардировщик, но радость не появлялась: он чувствовал, что, дрожа и забирая влево, стала снижаться и его машина. Он понял, что левое крыло повреждено, что о полете дальше или на свой аэродром нечего было и думать, что единственное, о чем он может мечтать теперь, — это посадить свой самолет где-нибудь так, чтобы он не разбился и не схоронил его самого под обломками.
Мгновенная оторопь, от которой даже виски под шапкой вспотели, сменилась в нем предельной собранностью: впереди была смерть, если он допустит хоть малейшую ошибку. Где-то нужно было посадить самолет, но где именно? Внизу видны были только скалистые сопки, обрывы, почти отвесные и потому не покрытые снегом. Вся земля от этих каменных обрывов казалась полосатой, как огромнейший матрац. А времени для выбора места посадки отводилось в обрез: самолет мог еще плавно снижаться, но лететь он уже не мог. Свиридов был так полон острой мыслью спасти самолет, а значит, и себя, что не вспомнил даже о сбитом им только что бомбардировщике. На какую из этих сопок внизу он упал, ему было уже безразлично. И велика была его радость, когда он заметил какую-то ровную площадку между гор. Он не сразу понял, что это замерзшее и покрытое снегом озеро; он видел только, что здесь можно совершить посадку. И вот «ястребок» коснулся колесами снега, протащился в нем животом десятка два метров и стал.
Снег лежал неровно: местами меньше, местами больше; мотора уже не стало слышно; тишина и сознание, что жив, что машина цела, что ее можно будет еще исправить и пустить в дело. Нужно было только осмотреться, запомнить местность, сообразить, как и в какую сторону отсюда выйти, чтобы добраться к своим.

Свиридов сдвинул на лоб очки, снял с себя парашют, отодвинул колпак с кабины и огляделся, насколько мог.

Горы обступили озеро со всех сторон, но скаты их, поросшие деревьями, были не круты. Их складки, где снег казался особенно глубок, густо синели. Никак не представлялось, чтобы ходили где-нибудь здесь человеческие ноги, до того нетронутая стояла кругом тишина.

И вдруг тишину эту прорезал выстрел. Это было так неожиданно, что Свиридов не поверил себе: выстрел или, может, треснул лед… Но спустя две-три секунды еще выстрел, и даже как будто пуля ударилась о самолет. Тогда лейтенант выхватил из кобуры свой пистолет и зажал в руке, в то же время высунувшись из кабины.

Первое, что он увидел, была огромная собака — мышастого цвета дог; двух фашистских летчиков, бежавших тяжело следом за нею, он увидел в следующий момент, и только потом бросился ему в глаза тот самый бомбардировщик, который был так недавно им сбит: немец-пилот посадил его в другом конце того же озера.

Врагов было двое, с огромной собакой, которую вздумалось им взять в полет, и собака эта уже подбегала неловкими прыжками, увязая кое-где в снегу. Но не в нее, а в переднего из летчиков, который стрелял, три раза подряд выстрелил Свиридов, и тот упал; а дог был уже в двух шагах, и лейтенант едва успел укрыться от него, закрыв колпак кабины.

Дог рычал и скреб передними лапами колпак кабины. Низко обрезанные круглые уши он прижал к широколобой квадратной голове; шерсть на затылке поднялась дыбом. Яростные зеленые глаза, огромные белые клыки, пена на красных брыжах, рычание, перешедшее в вой, — все это за стеклом, тут же, и видно, как подбегает второй летчик, высокий и грузный.

Но вдруг дог, стремившийся вскочить на гладкий верх машины, сорвался и опрокинулся на спину, в снег. Точно толкнуло что Свиридова тут же отбросить колпак кабины, перегнуться через борт и выстрелить. Огромная собака забилась на снегу, окрашивая его своей кровью. Встать она не могла уже больше: голова ее была прострелена. Длинным языком она лизала снег.

А фашист, толстощекий, грудастый, зеленоглазый, всем своим внешним обликом разительно похожий на своего дога, был уже близко и кричал:

— Погоди, русский, погоди-и!

Русские слова угрозы — это было так неожиданно, что Свиридов тут же выскочил из кабины навстречу врагу.

Он выстрелил в его сторону, но промахнулся ли от волнения или только слегка ранил, не понял; фашист, рыча по-дожьи и бормоча: «Не уйдешь, врешь!» — опрокинул его и прижал всей тяжестью своей шестипудовой туши.

Свиридов собрал свои силы, насколько позволило это сделать кожаное пальто, и сбросил с себя гитлеровца. Но при этом пистолет выпал из его руки, а фашист, оказавшийся через момент снова сверху, обеими руками схватил его за горло.

Видя, что вот-вот конец, что уже не хватает воздуха, Свиридов подтянул левое плечо и вывернул правое из-под навалившегося на него врага. Тогда пальцы фашиста разжались, и лейтенант не только сильно втянул в себя свежий морозный воздух, но, вспомнив о пистолете, начал нашаривать его около себя в снегу.

Однако гитлеровец предупредил его. Руки он разжал затем, чтобы вытащить финский нож из кармана, и торжествующими стали его круглые зеленые дожьи глаза когда он вонзил нож в лицо лейтенанта и резанул от переносья вдоль левой щеки и нижней челюсти.

Острая боль отдалась в сердце лейтенанта. Нож в руке врага — это была уже явная смерть. И всплыл в памяти дед, как-то раз сказавший: «Если лихой человек, беспощадный, тебя осилил, вдарь его ногой в причинное место». Свиридов шевельнул правой ногой, согнутой в колене, и из последних сил ударил немца коленом между раскоряченных ног.

«Лихой человек» вскрикнул глухо и обмяк, опустив руку с ножом, занесенную было для второго, смертельного уже удара, а лейтенант тем временем нашарил подмятый им под себя и вдавленный в снег пистолет. Не теряя ни одного мгновенья, он выстрелил туда, куда пришлось дуло пистолета, в левый бок фашиста — и тут же почувствовал себя свободно: враг сполз с него совсем, он же отодвинулся по снегу в сторону и сел, не имея сил подняться на ноги.

Так сидел он несколько минут. Он глядел в глаза смертельного врага, которые стекленели, туманились, но не закрывались, и, подтягиваясь рукой до чистого снега, прикладывал его к ране; когда же комок снега багровел от крови, отбрасывал его и брал другой.

Дог перестал уже дергать лапами, застыл. Неподвижно лежал в снегу, шагах в тридцати, другой гитлеровец. Неподвижно, как на аэродроме, стояли одна в виду другой две покалеченные воздушные машины: одна со свастикой, другая с красной звездой.

Всюду, на льду озера было тихо, кругом в горах было тихо, вверху, в облачном небе, было тихо. Все живое, что здесь было теперь, — он один, лейтенант Свиридов, с лицом, глубоко разрезанным финским ножом.

2

Боль была острая, неутихающая, гулко отдающаяся в голове. Сжать зубы оказалось невозможным, так как ранена была и верхняя десна во всей левой стороне, и часть нижней, и он долго выплевывал кровь.

Но нужно было все-таки встать и, не теряя времени, идти в сторону своих землянок: первозимний день короток везде, а здесь, в тундре, он короче, чем где бы то ни было.

Свиридов подошел к своему «ястребку» и взял из него то, что считал самым нужным в дороге: бортпаек, карту, авиакомпас. Перезарядил пистолет, оглядел в последний раз машины, свою и чужую, и трупы врагов и пошел прямо на север, чтобы выйти к морю.

Он то проваливался в глубокий снег, то выбирался на лысый обледенелый камень обрывистых ребер сопки, то застревал в ползучих деревьях, похожих на кустарник, и не успел еще перевалить через сопку, как уже надвинулся вечер.

Ему казалось, что отсюда, с порядочной высоты, он должен будет увидеть темную полосу моря, как приходилось видеть ее с истребителя, но не было ничего видно, кроме других сопок, густо уже синевших во всех своих впадинах.

Свиридов старался припомнить, как летел в начале полета, пока не встретился с немецкими бомбардировщиками, и куда повернул потом, чтобы по местности определить, хотя бы приблизительно, где он находится. Но в памяти это стерлось, заслонилось другим, а карта, взятая им, ничего ему не разъяснила: на ней тут было просто белое пятно.

Разогревшись от ходьбы, Свиридов не чувствовал холода и, когда совсем окончился день, остановился и сел прямо на снег. Он очень устал и от борьбы с врагом, и от потери крови, и от ходьбы, но когда вздумалось ему хоть немного подкрепить силы шоколадом, который был в его бортпайке, оказалось, что он не мог этого сделать. Боль во рту не позволяла сжать зубы, которые к тому же качались. Он подержал на языке кусок шоколадной плитки и выплюнул.

Он знал, что ночь не будет темной, что небо на севере вот-вот расцветится сполохами, и сполохи начались, как обычно, каким-то мгновенным разрывом темного неба и заколыхались радугой цветов. Отсюда, с пустынной сопки, это было гораздо более величественно, чем оттуда, от своих землянок, однако не менее непонятно.

Снежные шапки сопок заиграли то голубыми, то розовыми, то палевыми полосами и пятнами, и лейтенант Свиридов следил за этими переливами тонов, точно находился в картинной галерее. Но усталость постепенно тяжелила и тяжелила веки, и он задремал, прислонясь спиною к камню.

Он именно дремал, а не спал, потому что в одно и тоже время отшатывался куда-то в провалы сознания и какой-то частью мозга сознавал, что он на сопке один, что кругом снежная пустыня, что тянется ночь, что переливисто блещет северное сияние.

Очнулся и откинул голову, когда что-то коснулось его израненного лица, отчего внезапно стала острее боль. Он даже приподнялся несколько на месте, огляделся.

Недалеко от себя, на камне обрыва, он заметил две светящиеся точки рядом; их не было прежде. Они пропали было на миг и опять зажглись. Он догадался, что это глаза совы, белой большой полярной совы, что это она пролетела около него так близко, что задела его крылом, а может быть, даже села на его плечо.

Потом раздался довольно резкий в тишине и неприятный крик. Это другая такая же сова пролетела над ним и села недалеко от первой. Скатав снежок, Свиридов бросил его в сторону двух пар светящихся глаз. Совы улетели, и крик их послышался издали.

Свиридов встал и пошел дальше, однако свет сполохов, достаточный, чтобы идти по ровному месту при неглубоком снеге, здесь, на стремнинах сопки, оказался очень

обманчивым по своему непостоянству, по прихотливой игре тонов. Лейтенант проваливался чуть не по пояс в снег там, где ему представлялось твердое место, и натыкался на деревья, тщательно обходя их резкие тени.

Кончилось тем, что через час он сел снова, чтобы дождаться рассвета. Опять дремал; опять над ним и около бесшумно вились белые совы, а он, прогоняя их снежками, вспомнил случай, бывший на его московской квартире.

Там на балконе зимой Нюра оставляла кое-что из продуктов, и вот замечено было ею, что исчезали бесследно то сливочное масло, кусками по сто граммов, то ветчина, нарезанная и накрытая тарелкой, то даже растерзана была курица, приготовленная для бульона.

Грешили на чьего-нибудь кота, хотя и не понимали, как мог он взбираться на балкон шестого этажа, и вдруг нечаянно застали на балконе ворону. По описанию Нюры, это была какая-то необыкновенно большая ворона, видимо очень опытная в подобных кражах.

Масло, например, она аккуратно освобождала от оберточной бумаги; тарелку с ветчины, тоже аккуратно и стараясь не стучать, спихивала клювом; у курицы она съела только печенку и сердце…

Грезилась московская квартира, Нюра, Катя… Представлялось, как воентехник Вадиков и другие товарищи ждали его возвращения, а теперь решили уже, конечно, что он погиб…

Тяжелели веки, дремалось, ухали совы, колдовали сполохи на круглых шапках сопок — в этом прошла ночь, а чуть свет он двинулся дальше, справляясь со стрелкой компаса.

Все казалось, что море где-то не так далеко, что вот еще час, два, пусть три, ходьбы, и он его увидит. В это хотелось верить, и в это верилось. А между тем чем дальше, тем все труднее становилось идти: деревенели ноги.

Свиридов понимал, что нужно было бы подкрепиться, хотя не ощущал еще сильного голода. Но когда снова вынул плитку шоколаду и положил в рот, то убедился, что не только жевать, даже и сосать было нестерпимо больно, и он бросил всю плитку в снег.

Это он сделал с досады, но потом уже не досада, а только ощущение непосильной тяжести всего, что было на нем и с ним, заставило его выкинуть из своего бортпайка две банки консервов, совершенно ему ненужных, раз он не мог жевать, но тяжелых.

Был ли это обман чувств или настойчивое желание убедить себя, что он поступил как следует, но несколько времени потом Свиридов шел более бодро.

У родника, бившего из-под тонкого льда и пропадавшего в снегах, он остановился и начал пить из горсти. Глотать было больно, однако пить очень хотелось; кроме того, холодная вода освежала рот. Около родника просидел больше часа и раза три принимался пить.

Но когда Свиридов пошел дальше, он вздрогнул, увидев совсем недалеко от себя ожившего дога. Так показалось по первому взгляду: медленно, так же, как и он, идет шагах в десяти в крутящейся поземке мышастый немецкий дог.

Рука лейтенанта чуть не потянулась к пистолету, но он разглядел острые уши, пухлый хвост и понял, что это волк.

Матерый волк легко ставил лапы, не проваливаясь на слабом насте, и поглядывал на него, казалось бы, вполне добродушно. Шел Свиридов, шел рядом волк, точно старый знакомый, и лейтенанту поначалу это не казалось неприятным.

Он не знал, правда, как ведут себя полярные волки, о своих же рязанских волках он с детства слышал, что они на человека не нападают. Пробовал останавливаться, чтобы дать волку возможность уйти куда-нибудь дальше, но волк останавливался тоже.

Между тем, несколько оживленный холодной водой, Свиридов снова начал уже терять силы. Ему даже казалось, что у него жар: во всем теле начиналась ломота. И он понял вдруг, что волк идет с ним неспроста, что хищник видит, насколько обессилел человек, вот-вот упадет, чтобы не встать больше. Тогда он станет его законной добычей.

Свиридов остановился. Волк поглядел на него и присел на задние лапы, для приличия отвернув морду.

Свиридов медленно вытащил пистолет, проговорив при этом: «Ого, тяжелый какой!» — так же медленно поднял его и нажал гашетку. Он не целился, он выстрелил только затем, чтобы испугать волка. И хищник, действительно испуганный, помчался от него во всю мочь и пропал там, в сопках.

Поземка же разыгралась в метель. И хуже всего вышло, что это случилось к концу дня. Надежда увидеть море — было все, чем он жил теперь, но метель била в глаза, метель крутилась около, застилала все кругом, принесла с собой резкий холод.
Свиридов нашел место, где можно было сесть спиной к ветру, и, когда совсем стемнело и потом в миллионах снежинок перед ним переливисто засверкала радуга северного сияния, остро стало жаль ему всего, что он оставит, замерзнув тут.
Очень хотелось спать, и страшно было заснуть. Он знал, как замерзают люди во сне: сначала приходит сон, потом смерть. Он силился убедить себя, что слишком тепло одет для того, чтобы замерзнуть, но в то же время чувствовал озноб, сменивший недавний жар.
Когда он покидал свой истребитель, то думал, что придет к своим и потом прилетит сюда, на озеро, с воентехником Вадиковым и другими; что его «ястребок» будет исправлен и вновь поднимется в воздух, а может быть, исправят и немецкий бомбардировщик. Теперь ему думалось, что на озеро непременно налетят враги.
Боль в разрезанных деснах показалась ему теперь сильнее: все зубы ломило. Каждую небольшую тень впереди или сбоку он принимал за вернувшегося волка: сидит и смотрит, жив ли еще человек или уж можно начать его рвать клыками, такими же огромными, белыми, как у дога.
Представился довольно ярко тот сон, который он видел в последнюю свою ночь в землянке: мечется хохлатый жаворонок с красными от ужаса большими глазами, и слышен его умоляющий голос: «Я — жаворонок… Я умею говорить по-человечески… И вот меня хотят изжарить!» Потом очень непонятно как-то Катя очутилась у него на коленях и все допытывалась, какие бывают жаворонки и как поют… Он прижимался раненой щекой к ее мягким волосам, и от этого боль утихала.
Несколько пар совиных глаз то здесь, то там, то около — видел ли он, или чудились они, не был твердо уверен в этом Свиридов. Но он почти чувствовал, как совы садились тут где-то, прилетая вместе с метелью. Они помнили, должны были помнить о нем с прошлой ночи; они, как и волк, не могли упустить своей добычи.
Метель бушевала всю ночь, и странно было Свиридову увидеть при первых признаках близкого рассвета, как она утихала, как порывы ее все слабели… Когда можно уже было разглядеть стрелку компаса, он пошел снова.
Метель местами намела сугробы, местами обнаружила кочки тундры, отчего идти стало труднее, — так ему казалось, но он просто обессилел: ночной отдых если и подкрепил его, то ненадолго. Непосильной тяжестью лежало на плечах кожаное пальто… Едва передвигая ноги, он думал, что бы такое выбросить на снег, чтобы было легче идти. «Пистолет?.. Нельзя: может опять появиться около волк… Авиакомпас?.. Тоже нельзя: иначе не выйдешь к морю…» Он пошарил в кармане, нашел там карандаш, совершенно ненужный ему теперь, и выкинул.
Он шел, как в бреду, едва переставляя тяжелые ноги, иногда вглядываясь туда, вперед, где должно было показаться море. И когда оно показалось, наконец, к вечеру этого дня, Свиридов был уже до того слаб, что не почувствовал радости. Но почти тут же заметил темный силуэт человека, первого человека за эти несколько дней, и первое, что он сделал, — вытащил свой неимоверно тяжелый пистолет.
Так как последние люди, которых он видел, были фашистские летчики, непременно хотевшие его убить, то и этот, новый, показался его затуманенным глазам тоже врагом. А через минуту он, терявший сознание от усталости, был в заботливых руках матроса Северного флота, на помощь которому подходили трое других матросов.

Старый врач

1

Когда 22 июня врач-хирург, которому было уже под семьдесят, пришел неторопливо, как обычно, в свою больницу, к нему обратились там:
— Иван Петрович! Вы слышали? Война!
Он не слышал про это: у него в квартире не было радио.

С кем война, ему даже и догадаться сразу было трудно, пришлось спросить.
У него начались перебои сердца, и он налил себе воды из графина.
Потом пришла его жена, тоже врач, только терапевт, тоже старый уже человек, с сильной проседью в редких темных волосах. Она взволнованно поглядела на него сквозь очки и сказала:
— Знаешь, что я слышала на улице, Иван Петрович?
— Знаю, Надежда Гавриловна, — ответил он.
В этом обращении их не было никакой торжественности, продиктованной необычайной минутой, — они просто давно уже привыкли так, по имени-отчеству, называть друг друга.
— Я думаю, что это очень, очень скверно! — сказала она, глядя на него пытливо сквозь очки.
Он кивнул головой и отозвался как эхо:
— Скверно!
Потом все пошло совершенно непостижимо для них, пошло изумительно быстро, как никогда и не думалось им.
Город, в котором они жили, был за несколько сот километров от западной границы, но каждый день они убеждались, глядя на карту, как заметно сокращается расстояние между их городом и фронтом.
— Если они будут так идти дальше, Иван Петрович, то… — сказала и не договорила как-то она.
Он же пригладил, стараясь делать это совершенно спокойно, свои серебряные, с зачесом справа налево, профессорские длинные волосы и ответил уверенно:
— Остановят, Надежда Гавриловна, остановят.
Но так как город стоял при море, то с первых же дней войны в нем стали ожидать вражеские десантные отряды. Поэтому на самом берегу начали поспешно воздвигать проволочные заграждения, вбивая виноградные колья в сыпучий голубой гравий на пляже. Когда делали это, был полный штиль, — море лежало, как зеркало, — но дня через два после этого задул норд-ост, начался шторм, волны яростно хлестали в берег, проволочные заграждения в первый же час сорвало прибоем, и кружево колючей проволоки вместе с новенькими веселыми кольями заплясало на гребнях горбатых валов. Потом, когда наигралось ими море, они валялись на берегу, эти проволока и колья, колючими, как ежи, грудами. Купальщики оттаскивали их подальше, чтобы они не мешали раздеваться и входить в море. Потом стали забивать колья за пляжем, куда не дохлестывал прибой.
Все начали рыть щели около своих домов, чтобы укрыться от осколков бомб. Фашистских бомбардировщиков ждали тоже со стороны моря.
Иван Петрович не только нимбом белых волос, но и всей осанкой и манерой глядеть на людей и говорить с ними походил на старого профессора. Живя давно уже в этом городе, где в окрестностях были виноградники и винные подвалы и всюду по ларькам продавалось вино, он не пристрастился к вину, хотя такое пристрастие почему-то часто встречается у хирургов.
— У тебя, Иван Петрович, никогда не бывает головных болей, и ты не теряешь памяти; вообще у тебя нет внешних симптомов склероза мозга, — как-то сказала ему жена.
На это Иван Петрович отозвался так:
— Кстати, склероз мозга… Я сегодня говорил с нашим зубным техником Прилуцким, думает ли он уезжать и куда именно, ввиду того что враги-то приближаются… И представь, что он мне ответил: «Никуда не поеду!» — «А если, — говорю, — все-таки дойдут до нас фашисты?» — «Вот так сюрприз, — говорит, — фашисты! Что же, я не знаю, кто они такие? Небось и у них есть зубы… Не все ли равно, в чьи зубы смотреть?» — «Неужели, — говорю, — останетесь?» — «Непременно, — говорит, — останусь! Мне очень даже интересно будет посмотреть на немцев!» Как ты думаешь, Надежда Гавриловна, это, пожалуй, у него склероз мозга, а?
— Нет, Иван Петрович, — решительно ответила она, — это у него просто подлость, а не склероз!
2
Чем отчетливее чувствует человек, что он уходит из жизни, тем милее становится для него все кругом. Жизнь каждый день подносит ему тогда в давно известном неизведанно новое.

Человек глядит на повседневно-привычное, а это привычное так неожиданно вдруг сверкнет, что глазам становится больно от счастья.
Это бывает в здоровой старости. Это бывало и с Иваном Петровичем, так как он был в общем здоровый старик.
Когда Надежде Гавриловне хотелось убедиться, не сильно ли дряхлеют его сердечные мышцы, и она прикладывала к его груди стетоскоп и внимательно слушала, то говорила потом:
— Ничего, сердце по паспорту… Даже, пожалуй, несколько моложе.
В таких и подобных случаях заботы о нем, как и о других тоже, Иван Петрович и в жене, с которой прожил тридцать шесть лет, видел новое, его умиляющее. Он даже удивлялся, как могло случиться, что он не вполне разглядел это раньше.
Дом, в котором они жили, — и очень долго жили, около двадцати лет, — стоял на горке, к нему нужно было подниматься по каменной лестнице, идущей от улицы, но оба они пока еще не видели в этом неудобства.
— Зато у нас тут, на вышке, воздух — первого получения, как а-на-нас! — говорил часто Иван Петрович.
Это значило, что через их вышку летом тянули то с моря к горам, то с гор к морю бризы — легкие береговые ветры; поэтому воздух тут был гораздо свежее, чем на улицах внизу. Ивану Петровичу казалось даже, что и чайные розы, которые он сам прививал к кустам шиповника около дома, удались ему совершенно исключительно. Он любил «оперировать» их, то есть подрезать весною и осенью, придавая кустам желаемую форму. Они были ремонтантные и цвели вплоть до января.
Как-то пришлось ему оперировать и бродячую собаку — овчарку, попавшую под автомобиль. Собаку только помяло и проволокло по улице, отчего в спину ей вонзился разный уличный сор. Овчарка эта поправилась и осталась у него. Звали ее Ральфом, ласкательно — Ральфишкой, сокращенно — Фишкой и Фишей. Через год Надежда Гавриловна принесла в корзине щенка, сына Фиши, круглого, как мяч, и до такой степени пушистого, что его тут же назвали Пушком, ласкательно — Пушей. Так они и жили при доме вместе — Фиша и Пуша, чистокровная овчарка и помесь, — жили дружно на редкость.
Иногда говорил о Фише Иван Петрович:
— Посмотри-ка, Надежда Гавриловна, что у него за глаза. Совсем человеческие. Даже смотреть в них неловко как-то…
— Умница! — подхватывала Надежда Гавриловна. — И чутье какое! Пробовала прятать от него вот этот камешек в десять мест — везде находит!.. Пуша, конечно, не такой умный, зато он такой симпатяга, что просто прелесть!
Пуша Ивану Петровичу тоже нравился очень, но он делал вид, что раз навсегда поражен его необычайно кудлатой бурой шерстью, и иногда говорил ему, стараясь смотреть при этом строго:
— Нет, брат, ты еще докажи мне, что ты — собака, вот что-с! А то я, брат, хоть зоологию и неплохо знаю, однако не понимаю, что ты за зверь такой!
Лежа около ног Ивана Петровича, Пуша глядел вопросительно в его глаза и урчал виновато.
3
Горы, кудрявые, как овчина; море, ослепляюще голубое, хотя и потерявшее свою безмятежность; веселые по утрам черепичные бледно-красные крыши домов; ленкоранские акации, которые здесь звали мимозами и которые пышно рдели розовыми шапками цветов теперь, в разгар лета; извилистый, мягкий на глаз, пляж и многое множество другого, привычного — ведь все это и без того уже отдалялось, уходило от старого Ивана Петровича, однако уходило исподволь, улыбчиво, как уходит любящая мать из детской, когда засыпают вечером дети, набегавшись днем.
Теперь же все убегало стремительно, все мрачнело, все чужало, и эта новизна во всем была неприятной, тревожащей, как блеск очень близко мелькнувшей молнии, из которой вот-вот, сию секунду, тарарахнет в уши такой оглушительный гром, что поневоле присядешь.
Молния выстрелов и гром канонады приближались неуклонно: линия фронта продвигалась к тихому городу на берегу моря. Песок и гравий с пляжа все время насыпали в мешки для

защиты от бомб и увозили на зеленых грузовиках. Роты истребительного отряда маршировали на площади и проходили по улицам. Стекла окон, заклеенные было в начале войны бумажными полосками, теперь стали усердно заклеивать полосками тряпок, но опытные люди говорили, что это не спасет, что при первой же бомбардировке стекла вылетят.
Как только смеркалось и наступала темнота, так эта темнота и царила до рассвета. В темноте слышнее почему-то становился обыкновенный слабый прибой вдоль берега, и неотвратимей казалось то последнее, что приближалось с запада, как поток.
Когда начали сбор средств в Фонд обороны страны, Иван Петрович горячо выступал на митинге, вспоминая при этом Минина и нижегородцев, и сдал старинные золотые часы, серебряные ложки, все облигации займов и пачку денег. Потом он с Надеждой Гавриловной собрал все медное, что нашлось в его квартире, — самовар, таз для варенья, колокольчик, ступку с пестиком, — и тоже отнес на приемочный пункт.
Каждое утро он справлялся у соседей, где был репродуктор, что передавалось с фронта, и смотрел на карту. Каждый день он читал в газетах о том, как фашисты расстреливали, вешали, пытали, заживо засыпали землей в воронках от снарядов, заживо сжигали в домах и сараях советских людей.
— Что это, а?.. Что это такое, я спрашиваю? — обращался Иван Петрович к жене. — Целое поколение атавистов там, в Германии, или сумасшествие их заправил? Война это? Нет, это не война!.. Войны были, и мы тоже войны имели несчастье видеть, но изобресть такую войну могли только сумасшедшие или гориллы!.. Вероятнее первое! Если от сумасшедших не защищаться, они, конечно, истребят всех. Они ведь открыто говорят, что им нужна территория только, а не население наше. Вон как они думают… и делают! Но погодите, голубчики! Цыплят по осени считают!.. Вы уже и так застряли у нас сверх вашего срока, что-то вы дальше запоете.
4
Между тем подходила осень. Здесь она, впрочем, отличалась от лета только большим изобилием плодов, — этот год выдался необыкновенно урожайным.
Памятливые садоводы, полеводы, огородники говорили, что и тот год, когда началась первая мировая война, был тоже из ряда вон урожайным, и даже пытались сделать из этого какие-то мистические выводы. Не знали, куда девать помидоры, арбузы, дыни… Перестали гонять ворон с ранних груш в садах, так как не видели возможности ни сохранить, ни продать эти груши.
Прежде, когда поспевал виноград, по виноградникам ходили люди с трещотками — пугали дроздов, очень вредных для хозяйства птиц, хотя и хороших певцов ранней весною. Теперь дрозды, черные и серые, безнадежно портили и истребляли поспевающие тяжелые кисти.
В винных подвалах, где выдерживалось вино в тысячах огромных бочек, не знали, что делать с этим вином, а уже подходило время давить новый мускат, аликант, дон Педро, мурвед, саперави. На всякий случай возле бочек клали тяжелые кирки, чтобы успеть вовремя выбить донья и выпустить наземь вино.
Появлялись близко от берега большие стада мелкой кефали-чуларки, а следом за ними стада морских хищников — дельфинов, но охотники на дельфинов не выходили уже в море, они были призваны в армию.
Однажды встретился Ивану Петровичу на улице некий Вальд, лет на десять моложе его, но уже пенсионер. Он весь был какой-то развинченный и всегда нетрезвый. Высокий, бородатый, очень скромно одетый, резких обо всем мнений, ходил он с длинной палкой неторопливо благодаря грыже, но глядел на всех весьма высокомерно.
Он называл себя художником и пробовал доказать это, беря заказы на портреты вождей, но портретов этих у него не принимали. Известно было о нем, что он был одно время нотариусом в Махачкале, попал под суд и отсидел полтора года. Говорили также, что он во время гражданской войны был поставщиком белых, а его брат казнен еще царским правительством как шпион.
В больницу на прием он приходил часто как одержимый страстью находить у себя многие болезни; поэтому Иван Петрович знал даже, что зовут его Федором Васильевичем.
Пр и этой встрече с ним в конце сентября он так и назвал его, но Вальд прищурился вдруг насмешливо, подбросил бороду и выпятил нижнюю губу.

— С вашего позволения, немножко не так: не Федор Васильевич, а Теодор Вильгельмович! — сказал он очень отчетливо и громко и даже поглядел победоносно вправо и влево: слышит ли его кто-нибудь еще, кроме этого докторишки.
И хотя не было сказано слова «докторишка», Иван Петрович всем своим сжавшимся нутром почувствовал, что так именно и подумал о нем этот новоявленный Теодор, который долгое время был Федором.
Голова Вальда под старой соломенной шляпой дрожала, как у привычного пьяницы, но глядел он презрительно, уничтожающе.
Это оскорбило Ивана Петровича. Это заставило его сказать в недоумении:
— Как же это так случилось, что вас отсюда не выслали, хотел бы я знать?
— Выслать?.. Меня?..
Вальд вдруг хрипло захихикал, кашлянул, харкнул наземь и добавил крикливо:
— Я сам кого угодно вышлю отсюда, а не меня вышлют!
Иван Петрович повернулся, ошеломленный, и пошел дальше, повторяя про себя: «Сумасшедший или только подлец?.. Сумасшедший или горилла?.. Или и то и другое вместе?»
А Теодор Вальд, очень отчетливый на фоне голубого моря в своей потрепанной желтой широкополой шляпе и грязно-белой рубахе навыпуск, стоял, обеими руками взявшись за длинный посох, и торжествующе глядел ему вслед, задрав бороду.
5
На город были сброшены первые бомбы с фашистских самолетов, хотя здесь не было никаких заводов. Самолеты эти появились не с моря, откуда ожидались они в начале войны, а с суши. Линия фронта проходила теперь не так уж далеко: по улицам города то и дело катились с грохотом тяжелые военные машины, заставляя дрожать не только стекла, но даже и стены домов.
Как раз в эти дни разыгрался исподволь огромной силы прибой. Пристань тут была старая. Толстые рельсы, на которых она держалась, давно уже проржавели снизу, истончились, но это не было заметно. Прибой, бросавший уже не песок, не гравий, а целые камни на набережную, раскачал пристань так, что она рухнула. Рухнули вместе с ней и надежды многих, что вот пристанет пароход и увезет их куда-нибудь к берегам Кавказа. Грохотало море, грохотала земля…
Теперь из города уходили пешком, если не было на чем уехать. Шли прямо берегом на восток, унося с собой, сколько хватало сил нести, самое нужное из домашнего скарба. Спешили, плакали, тащили детей за руки, несли детей, гнали перед собой коров или пытались впрягать их, испуганных, в самодельные неловкие тележки…
Если бы море вылилось из берегов и хлынуло в эту долину, полную виноградников и садов, от него бежали бы так же поспешно, но не так далеко, — только в горы. Теперь не знали, куда именно бегут, где можно будет остановиться.
Фиша и Пуша при разрывах фугасок, падавших хотя и далеко от их горки, поспешно прятались, как и люди, но не в щель, вырытую во дворе, кое-чем прикрытую сверху и грязную после дождя, а под крыльцо дома, где и залегали потом на всю ночь. Их никто не учил этому, это они придумали сами.
В больницу, что ни день, прибывали новые больные, все хирургические. Уже некуда было и класть их, а не принимать было нельзя. Пришлось выписать почти всех, кто лежал здесь раньше, а иные, кто мог ходить, ушли сами.
Ушли и врачи. Не то чтобы все сразу: один за другим уезжали они. Наконец во всей больнице остались только Иван Петрович, Надежда Гавриловна да три-четыре пожилые сиделки, а тяжело раненных при взрывах бомб, при обвалах домов, при пожарах скопилось несколько десятков человек.
Они стонали, они смотрели воспаленными умоляющими глазами… Им трудно было помочь, но их нельзя было оставить без помощи, — от них невозможно было уйти.
До прибытия этих раненых Надежда Гавриловна пыталась как-то укладывать кое-что, необходимое в дальнюю дорогу, в два старых чемодана, но чем туже она набивала эти чемоданы, тем больше оказывалось совершенно необходимых вещей, для которых нужны были еще чемоданы, или корзины, или узлы. Когда люди сидят на одном месте десятки лет, они обрастают вещами.

Но, помогая мужу делать операции и перевязывать раненых, Надежда Гавриловна забыла о своих планах поездки куда-то, не вполне ясно, куда именно. Люди страдали, людям надо было всеми мерами сохранить жизнь. Это было на первом плане, приближавшиеся враги — на втором.
И когда через город на восток потянулись, отступая, войска, — это было вечером, — а по радио передали всем жителям города, которые еще его не покинули, что утром город будет оставлен и занят немцами, Иван Петрович и Надежда Гавриловна, бывшие в это время в больнице, в ней и остались на ночь.
Они не ложились спать, хотя и устали за день. Они не могли бы заснуть и на минуту: слишком резко ломалась жизнь. В то же время их охватило спокойствие за себя, точно смертный приговор в окончательной форме был им прочитан и никаких изменений его ожидать было нельзя.
Только раз спросила Надежда Гавриловна:
— Что-то будет с нами, Иван Петрович?
Иван Петрович отозвался на это, вздохнув и разведя руками:
— Ну что же, и то сказать: пожили на свете… дай бог и другим пожить столько!
Помолчав, она спросила еще:
— А если будут мучить нас перед смертью, а?
— Мучить?.. Не знаю, право, не знаю; зачем же им нас мучить? — подумав, ответил Иван Петрович. — Наконец, наши, может быть, не сегодня-завтра вернутся сюда.
6
Очень начальственно вошли в больницу гитлеровские офицеры: это прежде всего остро бросилось в глаза. Никто за последние двадцать с лишком лет не входил сюда так начальственно, как эти высокие длинноногие люди с чужим обличьем.
За переводчика у них оказался Теодор Вальд, державшийся нестерпимо важно, так как был назначен помощником бургомистра. Он переменил свою потрепанную соломенную шляпу на черную фетровую, а грязно-белую навыпуск рубаху — на серый в клеточку пиджак.
И офицеры — их было трое — еще только оглядывали палату, в которую вошли; а он, Вальд, уже процедил сквозь зубы Ивану Петровичу, кивая на раненых, лежавших на койках:
— Приказываю вам вышвырнуть отсюда вон эту сволочь! Тут будут помещаться немецкие солдаты.
— Куда же я могу деть людей, не могущих встать с постели? — больше удивился, чем возмутился Иван Петрович.
— Э, это меня не касается, куда именно! — надменно ответил Вальд. — Я вам приказываю, и весь разговор… Можете их отравить, нам калек не надо.
Иван Петрович переглянулся с Надеждой Гавриловной. На ее бледном от волнения лице особенно резкими казались черные ободочки очков.
Старший из офицеров захотел посмотреть операционную комнату. Здесь он спросил, в каком состоянии хирургические инструменты, и даже приказал отпереть шкаф, чтобы их посмотреть.
В окнах больше было выбитых стекол, чем целых, но окна были зашиты марлевыми сетками от мух, которых теперь, осенью, появилось особенно много. На это тоже обратил внимание старший из офицеров, перед которым угодливо изгибался Вальд.
Когда он приказал Вальду позаботиться о том, чтобы завтра же были вставлены все стекла, Иван Петрович понял, что решение обратить больницу в военный госпиталь бесповоротно.
Офицеры пробыли недолго, и Вальд, уходя вместе с ними, повторил свой приказ очистить палаты. Старый врач с женой и сиделки весь остаток дня провели в том, чтобы как-нибудь устроить раненых. Одних забрали домой их семейные, других — соседи, но несколько человек, притом особенно тяжелых, совершенно некуда было девать и нечем кормить, если бы даже перенести их в дровяной сарай, как думал Иван Петрович, и они пока оставались на своих койках.
К вечеру пришел Вальд с двумя стекольщиками, которые притащили два плотно набитых ящика стекол, вынутых откуда-то из окон жилых домов. Иван Петрович думал, что один на один с ним, без немецких офицеров, Вальд будет сговорчивее и отведет где-нибудь место для этих оставшихся. Но Вальд сказал высокомерно:

— Не только они нам не нужны, но и вы тоже! Убирайтесь отсюда вон сию минуту!
Иван Петрович взглянул в последний раз на раненых, покачал головой и вышел из палаты.
Домой к себе шел он, держа под руку Надежду Гавриловну, которая очень ослабела, жаловалась на сердце и с трудом поднялась по каменной лестнице на свою горку.
Фиша и Пуша, не видавшие их больше суток, с такой бурной радостью кинулись им навстречу, что едва не сбили с ног. Подымаясь на задние лапы, визжа, они все пытались лизать их горячими языками, потом безумно кружились около них, притворно кусали один другого и снова подымались на задние лапы и терлись головами о плечи Надежды Гавриловны, а та плакала, глядя на их неразумную радость.

7

Эту ночь, хотя и у себя дома, старый врач и его жена провели не во сне, а в тяжелом кошмаре: поздно вечером к ним пришла одна из сиделок и рассказала, что оставшихся в больнице раненых фашисты «пошвыряли, как бревнышки», на грузовики и увезли куда-то за город «на свалки».
— Подлецы!.. Гориллы!.. — в ужасе отозвалась на это Надежда Гавриловна.
— Больше нечего было от них ждать, — сказал Иван Петрович.
С виду он казался спокойным, но тут же, как ушла сиделка, он начал перебирать лекарства в своей домашней аптечке. От волнения ли или оттого, что в руках его был плохо горевший свечной огарок, он долго не мог найти, что ему хотелось, и бормотал: «Гм… Странно!.. Куда же он мог деваться?» Наконец нашел и отставил один пузырек отдельно, потом, помедлив, сунул его в боковой карман.
Утром к Ивану Петровичу пришел немецкий ефрейтор, которого привел уже не Вальд, а зубной техник Прилуцкий, чернявый, верткий человечек с постоянной ненатуральной улыбкой на тощем лице.
— Ну вот, Иван Петрович, умно сделали, что остались, — очень оживленно начал он с порога. — Будем теперь с вами немецкий хлеб есть! Просят вас в больницу на работу… Я — зубы, вы — остальное… Я тоже приглашен, тоже!
— На работу?.. На какую работу?.. — не понял Иван Петрович.
— Ах, боже мой! На свою, разумеется, на хирургическую, не полы же мыть!
— А я слышал, что оттуда уже вывезли раненых… — начал было Иван Петрович, но Прилуцкий перебил его оживленно:
— Напротив, привезли: несколько офицеров, десятка три солдат… Вообще я вам скажу, у них все делается как по щучьему веленью… Идемте же!
— Хорошо, мы с Надеждой Гавриловной сейчас придем, — твердо сказал Иван Петрович. — Вы идите, туда, а мы — следом.
— Я обещал привести вас!
— Я только выпью стакан чаю, и мы пойдем.
— «Обещал привести»! Странно! — возмущенно сказала Надежда Гавриловна. — Если мы захотим пойти, то и пойдем сами, а если не захотим, то как же именно вы нас приведете? На веревке, что ли?
— Даю вам слово, что мы придем сейчас же, — очень серьезно, глядя на Прилуцкого, подтвердил Иван Петрович.
И Прилуцкий ушел с ефрейтором, ничего не понимавшим по-русски, стоявшим спокойно, даже несколько сонно, то и дело прикрывая мутные глаза белесыми ресницами.
— Я не понимаю! — сказала Надежда Гавриловна. — Тебя вчера этот мерзавец Вальд буквально выгнал из больницы, а ты Прилуцкому, тоже мерзавцу, даешь слово опять туда идти. Неужели ты и в самом деле думаешь у них…
— Что Вальд! — перебил Иван Петрович. — Он только показывал, что он теперь у власти. А хирург всякой армии бывает нужен. В хирургах во время войны всегда недостаток.
Жена смотрела на мужа в недоумении.
— Неужели ты… — начала она снова.
Он не дал ей договорить, обнял ее, поцеловал и прошептал на ухо:
— Придется пойти, потому что у нас нет шприца.
И он вынул из кармана и показал ей пузырек.
Она поняла его. Покрасневшие от второй бессонной ночи веки ее замигали часто и стали влажными, но она кивнула головой, потом спросила вдруг так же, как и он, шепотом:

— А как же Фиша и Пуша?
— Останутся, что ж… Будут бегать по улицам… пропитаются чем-нибудь…
В больницу пошли они, крадучись от собак, как будто никуда далеко не уходят. По улице шли торжественно под руку, очень внимательно вглядывались во все кругом: в море, блистающее, голубое, широкое; в синюю ленту пляжа, на котором теперь неприятно для глаз несколько немецких солдат возились около какой-то машины; в далекий гористый берег и в белые дома на нем, окруженные высокими тополями; в руины бывших домов около и в резко сверкающее битое стекло под ногами…
Они промедлили дома недолго, но Прилуцкий с ефрейтором снова шли от больницы, как видно к ним же, потому что повернули, увидев их, обратно.
— Вот видишь, как нас ждут, — бодро сказал Иван Петрович.
— Ждут… Ну что ж, — беззвучно отозвалась Надежда Гавриловна и повторила слышнее:
— Ну что ж… Пусть ждут!
На дворе больницы их встретил один из вчерашних офицеров, стоявший рядом с услужливо сияющим Прилуцким. Офицер этот, вынув изо рта папиросу, сказал:
— Моэн.
Иван Петрович сделал вид, что не понял этого короткого приветствия.
Войдя туда, куда они входили тысячи раз, муж и жена привычно надели белые халаты.
Шкаф с хирургическими приборами, к которому прежде всего подошел Иван Петрович, был открыт, хотя около него в операционной никого не было.
Считая это большой для себя удачей, но чувствуя, что волнуется, старый врач сразу нашел в нем никелированную коробочку со шприцем и сунул ее в карман, выразительно поглядев на жену. Она понимающе шевельнула бровями.
Когда в операционной появился офицер, теперь уже без Прилуцкого, Иван Петрович имел вид человека, готового с большим подъемом работать в той области, которая ему вполне известна.
8
У медиков есть общий язык, поэтому Иван Петрович, плохо владея немецким, довольно оживленно беседовал с молодым хирургом-немцем, обходя с ним вместе в офицерской палате шестерых тяжело раненных.
Немец-хирург, с простоватым длинным лошадиным лицом, почему-то относился к нему почтительно и даже называл его «герр профессор». Была ли причиной этому профессорская внешность Ивана Петровича, или прибавил ему достоинств Прилуцкий, или просто немец чувствовал себя не особенно сведущим по причине малой еще практики, но он охотно соглашался со всеми прогнозами своего русского коллеги.
Все раненые офицеры нуждались в немедленной операции, — это подтверждала и Надежда Гавриловна, очки которой и седые пряди в волосах внушали тоже некоторое уважение к ней, как к ассистенту «профессора».

Из шести раненых двое были, по мнению Ивана Петровича, почти безнадежны. О них он сказал немцу-хирургу: «Malum!»
[2]
— и тот подтвердил это скорбным выражением глаз. Для четырех других нужно было установить порядок оперирования, и когда это сделали, Иван Петрович спокойно и деловито вынул свой пузырек без сигнатурки и шприц.

Следившая за всеми его движениями Надежда Гавриловна уловила его легкий пригласительный кивок, отошла с ним вместе к окну и протянула ему обнаженную до локтя правую руку.
Наполнив из пузырька шприц, Иван Петрович сделал инъекцию в локтевой сгиб руки той, с которой прожил всю свою сознательную жизнь, дороже которой не было для него никого и ничего в жизни.
Руки его дрожали при этом, но он всячески сдерживал дрожь. Потом передал жене шприц, предварительно наполнив его. Заметив в ней робость, он сделал себе инъекцию сам.
Это отняло у Ивана Петровича всего две, не больше, минуты, но он почувствовал, что силы его слабеют, что ему хочется сесть, даже прилечь. Он видел, что Надежда Гавриловна уже

села на белый больничный табурет, что лицо ее побледнело, что она подняла руку к сердцу и смотрит на него расширенными, почти неподвижными глазами.
Тогда он собрал всю энергию, какая еще теплилась в нем, придвинул к ее табурету другой, сел с нею рядом, положил голову на ее плечо и выпустил из рук опустевший уже пузырек и шприц.
Тут же вошли в палату хирург, офицер и санитары, выходившие перед этим, чтобы перенести в операционную первого из предназначенных к операции вместе с его койкой, и остановились, изумленные. Потом хирург бросился к пузырьку, валявшемуся у ног Ивана Петровича, понюхал его и сказал испуганно;

— Venena!
[3]

Сильно и быстро действующий яд, от которого стоял в палате слабый, но характерный запах, убил уже свалившихся с табуретов на пол старого русского врача и его жену.
В кармане умершего нашли бумажку с несколькими словами: «Лучше смерть, чем подлая жизнь под игом горилл с автоматами!»

Борис Горбатов

Алексей Куликов, боец

1. Алексей Куликов побеждает смерть в своей душе

А зовут его Алексей Куликов, и родом он — пензенский, служит бойцом в батальоне старшего лейтенанта Субботина, тут его знают все.
Его призвали в армию в первый день войны, — родня и поплакать не успела. И когда полз эшелон по украинским степям, Куликов все думал о доме и хозяйстве. И была досада на немца: эк, напал не вовремя! И урожай еще не сняли. И все подсчитывал трудодни и сколько теперь трудодней пропало. А война, казалось ему, будет недолгой и нестрашной, вроде осенних сборов приписного состава. Глядел в окно, считал столбы, удивлялся, до чего здесь земля богатая, и все ехал да ехал по советской стране, и не было ей ни конца ни края.
Когда в первый раз попал Алексей Куликов в бой, он не то чтоб струсил, а просто потерялся. Сперва он даже не понял, что происходит, но рядом упал товарищ, и Куликов увидел кровь, расколотый череп, стеклянные глаза…
— Что ж это такое, братцы, — чуть не закричал он, — ведь это ж так просто и меня убить могут? — и, растерянно моргая глазами, осмотрелся вокруг.
А вокруг были дым, и бой, и смерть. Смерть свистела, смерть выла, смерть ухала, смерть падала с воздуха, ползла по земле, и казалось — никуда от нее не уйти, не спрятаться.
Ничего не видел теперь Алексей Куликов: ни войны, ни поля, ни товарищей, — только смерть глядела ему в глаза, только смерть он и видел. И на всей земле только и было: я и смерть. Смерть — железная, огненная, вездесущая, а я, Алексей Куликов, существо человеческое, с хрупкими костями и мясом. Долго ли кость перебить, ткань порвать, пробить сердце?
И таким беспомощным, жалким, одиноким показался себе Куликов, что он даже заплакал. До жалости был он одинок на этом большом поле, никому до него дела нет, никто не спасет, не выручит, не поплачет рядом.
И он досадовал на себя, что уродился большим и круглым, уязвимым со всех сторон, и в ячейке окопа ему тесно, и пуле его легко найти. Лежал и дрожал — ждал смерти.
Но бой кончился, а Куликов уцелел. Он сам удивился этому. Все ощупывал себя, все потягивался. Ничего! Ни царапины!

— Ишь ты, — смущенно улыбнулся он.
Он пытался рассказать товарищам про это чудо:

> — Вот, понимаешь, история! Ну, чуть-чуть… Кабы
> она
> левее пошла — и крышка…

> Но товарищи слушали плохо, и тогда опять поскучнел Куликов и подумал: «Не
> сегодня, так завтра. Все одно
> должны
> убить. Мысленное ли дело из такого страха живым выйти?»

Все же во второй бой Алексей Куликов пошел с надеждой: авось опять посчастливится. И опять дышала ему смерть в лицо, и опять он дрожал мелкой, осенней, стыдной дрожью, перебегая поле, втягивал голову в плечи и глаза закрывал, от каждого выстрела вздрагивал, каждому снаряду кланялся и все смерти ждал — хорошо б скорой…
И только одиночества не было теперь.
Оно рассеялось сразу и само собой. Немцы бомбили Алексея Куликова у переправы, а он лежал под деревом, у самой воды, и твердо знал: теперь взаправду конец.
Но вдруг прошелестело, зашумело вокруг: «Наши, наши летят!» — и кто-то рядом вздохнул облегченно и радостно.
Куликов не сразу открыл глаза, а когда открыл, увидел над головой небо. Небо было большое, высокое и такое синее, словно его маляры подновили на этот случай. И в этом небе наши били немцев, выручали Куличка.
Странно тихо стало на земле, чуть плескалась волна о берег, чуть скрипели деревья, и все — земля, река, люди, — все смотрело теперь в небо: там кипел бой. Озверело ревели моторы, чиркали красные пули, и Куликов увидел, как над самой его головой разламывается «хейнкель». Разламывается, как спичечная коробка. Полетело одно крыло, потом второе. Вдруг раскрылся белый купол парашюта. «Неужто уйдет, собака?» — заметался Куликов, но парашют вспыхнул, в мгновение на глазах у Алексея съежился, похудел и, как догорающий факел, упал где-то за рекой.
— А-а! — закричал тогда, не помня себя от радости, Куликов. — А! Ага! Ага, гад! — Он даже заплясал на месте, злорадствуя, и все повторял: — Ага, ага! — А когда «хейнкели» трусливо побежали с неба вспять, на запад, он закричал им вдогонку: — Куда, куда? Бей их! Ату!
Теперь Куликов стал присматриваться и прислушиваться к бою. Глаз уже не закрывал и ушей не прятал. Раньше каждый выстрел заставлял его вздрагивать, теперь различал он, когда бьют немцы, когда наши. И чем больше и чаще били наши, тем веселее становилось у Куликова на душе, и страх таял. Больше не был он одиноким на огромном поле: ишь, сколько сил собралось, чтобы выручить Куличка!
Но тут над самой его головой что-то тонко-тонко свистнуло. Он даже не понял — что. Он увидел, как чиркнула о песок пуля… Еще и еще… Так падают дождевые капли в воду — всплеск, и круг по воде. Но капли падали все чаще и чаще, и все вокруг Кулика, и он увидел, как вздрагивают на сосне ветки и иголки хвои сыплются рядом на песок. Все ближе и ближе Падают капли, и спереди, и сзади, и со всех сторон, словно кто-то далекий и невидимый вяжет петлю вокруг Куликовой шеи и некуда выскочить из петли.
И что Куликову с того, что наша артиллерия теперь била часто и густо, — все равно петля вокруг его шеи вязалась неотвратимо, вражеский автоматчик все чиркал и чиркал, подбирался к самому горлу… И вдруг, словно захлебнувшись, смолк.
Перестали вздрагивать ветки, пузырьки исчезли на песке. Куликов робко, осторожно оглянулся вокруг и увидел, как сосед, весело улыбаясь, досылает новый патрон в патронник.
— Это ты его? — удивленно и почтительно спросил Куликов.
— Я, — гордо ответил сосед. — Как, ничего?

И тогда Куликов вспомнил, что у него у самого есть винтовка. Вот она, рядом. До сих пор он и не думал о ней. И во вчерашнем бою не думал. Таскал за собой — это верно, потому что казенную вещь бросать нельзя, но ни разу из нее не выстрелил.
Теперь схватил он ее горячо и жадно, словно в ней от всех бед спасение, и стал стрелять. Он палил не глядя, торопливо и лихорадочно (только руки дрожали), он словно обводил себя огненным кругом, как старуха древняя обводит себя крестом, чтоб оградиться от нечистого. И казалось Куликову, что теперь не прорвется к его горлу смерть, огненной черты не переступит.
Но тут над ним раздался сердитый голос командира:
— Ты чего патроны жгешь? Куда палишь? Кого видишь?
Куликов уронил винтовку. Рядом с ним лежал командир и пристально смотрел на него. А вокруг на песке тут и там валялись стреляные гильзы.
— Страшно тебе? — отрывисто спросил командир.
— Страшно… — сознался Куликов и съежился, подумав: сейчас станет командир ругать.
Но командир помолчал, пожевал губами и сказал тихо:
— В первый раз всем страшно.
И из второго боя Алексей Куликов вышел целым и невредимым. Опять он уцелел! И, уцелев, опять удивился. А вечером подошел к командиру и, переминаясь с ноги на ногу, спросил:
— Как, товарищ лейтенант, ваше мнение: много ль металла потребно, чтоб человека убить?
Командир удивленно посмотрел на него, потом улыбнулся и ответил:
— Для труса — шальной пули хватит. Для смелого — и тонны мало.
Над этими словами Куликов задумался крепко. Кто говорит, что в бою думать не приходится, тот никогда не был в бою. В бою думают, и мысль тут остра и быстра, а глаз приметливый.
Куликов скоро приметил, что трусу действительно погибнуть легче, чем мухе. Полет пули, а стало быть, и полет смерти свой закон имеет, закон этот надо знать. А трус под огнем мечется, трус ничего не видит, его любая пуля найдет. На пристрелянном рубеже он лежит, а под шальным огнем в панике бегает. Трус и с винтовкой безоружный. Он огнем на огонь не отвечает. Он не воин, он мишень.
Алексей видел, как трусы гибнут, и всегда думал при этом: «Хилое существо человек. Как былинка в поле. Ветер подул — и нет его».
Но однажды в медсанбате, где Алексею перевязывали пустяковую царапину, довелось ему увидеть сержанта Чернова, про которого в тот день весь полк шумел. Живого места не было на том сержанте, все его тело было перебито и переколото, а он все дрался с врагом, и немцы никак его убить не могли и не убили.
Куликов с почтением глядел на его раны и удивленно головой крутил. Ему все хотелось посмотреть, пощупать, что за кости у этого человека, что их перебить нельзя.
А Чернов метался на соломе и сквозь стиснутые зубы хрипел:
— Врешь! Врешь! Выживу! Врешь!
«Это он со смертью воюет, — догадался Куликов. — Гордая у человека душа».
Он спросил врача:
— Неужто жить будет?
— Будет! — уверенно ответил врач. — И драться еще будет.
Так этот случай поразил Куликова, что, вернувшись из медсанбата, он долго рассказывал о нем товарищам.
— Понимаешь, хилое существо человек, а смотри, никак его убить нельзя, если в нем дуща гордая. Нет, я так понимаю: если хочешь жить — за жизнь драться надо. Он в тебя смерть шлет, и ты в него смерть шли. А там поглядим, чей козырь крепче!
Тут он заметил, что к словам его прислушивается политрук, и смутился.
— Я это так, товарищ политрук, — сконфуженно сказал он, — рассуждаю своим беспартийным умом. Может, не так?
Но политрук его одобрил:
— Так, товарищ Куликов, так!
Это был новый политрук в роте, товарищ Званцев. Прежнего политрука звали Мирским, и того политрука Куликов не любил. Тот все, бывало, кричал о смерти. Шли ли разведчики в

поиск, он напутствовал их: «Вы идете на смерть, товарищи! Но долг свой выполняйте свято». Шла ли рота в атаку, он кричал нервно, визгливо: «Умрем, товарищи, наше дело правое, все умрем, но врага не пустим». Только и слышно было от него: умрем да умрем. И от этих слов каждому казалось, что смерть все вокруг тебя ходит, тебя ищет.
Про себя Мирский говорил: «Я презираю смерть». Но Куликов усмехнулся в душе: «Нет, товарищ, ежели ты презираешь смерть, так и не думай о ней. Дерись с открытой душой, смерти не боясь, и о смерти не хлопочи. А если все время говорить да кричать о смерти, так и выходит: не ты ее, а она тебя презирает. Всеми твоими мыслями овладела, живого в саван облекла. С такой душой драться худо!»
К дыханию смерти привыкнуть нельзя, но притерпеться можно. И Куликов притерпелся. Он научился хитрить, обманывать смерть, не бояться ее, а потом и вовсе о ней не думать. И когда перестал думать, сразу стало легко и жить и драться, и пули словно обходили его.
Мирского скоро сняли и перевели куда-то — он нервами болел, — а в роту назначили Званцева. Этот о смерти не говорил, а больше о жизни и победе. Был он человек молодой, веселый, непоседливый и красноречивый. И так он складно говорил о жизни, о том, какая жизнь после победы будет — вольная, безоблачная, счастливая, что за эту жизнь и умереть было не жаль!
И об этой жизни любил помечтать Куликов ночью. И понесет его мечта в родное село, за реку, на взгорье подле рощи, где березка вперемежку с молодым дубком.
…А какие хлеба в августе! А какие кони в конюшне! А какие у жены золотые руки, а у дочки какие глаза — синие-синие, такой синевы и не бывает нигде! И вот возвращается домой Куликов, и все село ему навстречу, на колхозном дворе в колокол бьют, под березами столы накрыты… Богатство какое! Что хлеба! Что птицы! Что молока! Жена к нему руки протягивает… Золотые у бабы руки, теплые-теплые…
— Да, — крякнет, размечтавшись, Куликов, — вот оно как… хочешь, Алексей Тихоныч, жить — за жизнь драться надо!

2. Алексей Куликов приходит в ярость

До войны Алексей Куликов был человек мирный, тихий, приверженный к земле. Хоть и молодой он был, а и старики его советом не брезговали. Был у него талант: понимал в земле. Понимал по-своему, по-крестьянски, потому что каждый человек свое понятие о земле имеет. Для инженера земля — руда, уголь, золото, для строителя — грунт, для моряка — берег. А для Куликова земля — пшеница, рожь, корма, пар, огороды.
На войне Куликов долго не мог привыкнуть к тому, что этот пшеничный клин — не клин вовсе, а «огневая позиция», огород — не огород, а «командный пункт комбата». Своего молоденького взводного командира Куликов чуть не в ярость приводил. Бывало, докладывает Куликов:
— Так точно, товарищ младший лейтенант, ваше приказание сполнил. Ходил к капитану на огород, докладал, что пушка из пшаницы переехала в гречку…
Расстроится таким докладом взводный командир: сначала терпеливо, а потом уж волнуясь и сердясь, станет разъяснять Куликову, как по-военному говорить нужно. Выслушает его Куликов и сокрушенно вздохнет. И то огорчительно, что хорошего человека — командира расстроил, и то, что военной премудрости постигнуть не может. А всего более горько то, что пшеницу топчут войска, по гречихе пушки колесами ездят, подсолнухи, как подрезанные, падают. Война.
И навсегда запомнилось Куликову, как отступали наши войска из пшеничного края. Пшеница — ее только и видел Куликов, золотую, рослую, могучую пшеницу. И как шумела она под степным ветром, тоскуя по серпу, и как осыпалась, и как ее сначала топтали, а потом жгли, чтоб не досталась врагу; и горек был дым пшеничного поля, — этого запаха гари Куликову никогда не забыть.
Через многие города и села прошел Алексей Куликов и везде видел: аккуратно, богато, чисто жили здесь до войны люди. За Днестром, в каменец-подольских селах, соломенные крыши точно девки-модницы причесаны: где надо, подстрижено, где надо, в косы заплетено, где надо, завито и кучерявится, — парикмахерская работа! За Бугом — виноградники, баштаны, арбузы пудовые, а тыквам — весу нет; у молдаван хаты каменные; у болгар — над окнами гроздья красного перца на ниточках, как монисто у девчат на шее.
За Днепром степи жирные, черноземные, села огромные, а хатки веселые, во все колера

крашенные — голубые, розовые, кремовые… Украинцы чисто живут. У них в хатах даже дух легкий: травой, что ли, пахнет или сладким сеном. Аккуратно жили люди. Богато. Следы этой вольготной жизни Куликов заставал везде. И плакали люди, глядя, как разоряется эта жизнь, а у Куликова тоской и яростью наливалось сердце.
Низко-низко опустив голову, шел он этим крестным путем, сквозь дым и гарь, и женщины у колодцев провожали его долгим прощальным взглядом. Ничего не говорили женщины, не кричали, не плакали и рук не заламывали над головой, только молча смотрели вслед, но глаза их, сухие и горькие, жгли Куликову душу, словно он был всему виной.
Да, он был всему виной, и на нем была великая вина перед народом, потому что он плохо дрался. И, когда вышла неустойка и часть попала в окружение, он тоже, как некоторые другие, боя не приняв, бросил винтовку и побежал куда глаза глядят. И три ночи после этого пролежал он с товарищем в кукурузе, пока голод не выгнал их на дорогу.
И, когда вышли они из кукурузы, босые, рваные, безоружные, вокруг них и на много верст вперед уже стояли столбы дыма, горели сахарные заводы, мельницы, села; а у дороги висели повешенные колхозники, их синие ноги качались над травой.
Много дней и ночей шел Куликов с товарищем по разоренной земле, выпрашивая хлеб в селах и прячась от немецких патрулей, — и всё не могли выйти к своим. И однажды товарищ, не выдержав, сел на камень у дороги и, показывая на свои окровавленные ноги, сказал:
— Никуда не пойду больше. Все одно — пропала Расея.
Куликов ничего не ответил, постоял немного, подумал и, не оглядываясь, пошел дальше один.
Он не знал, что сталось с Россией, и где теперь наши, и как далеко шагнул немец, но смутно чувствовал он всем существом своим: пропасть Россия не может. И более отчетливо: надо пробираться к своим. И брел.
С большой дороги он давно ушел, брел проселками, лесными тропами, полевыми дорожками промеж высоких подсолнухов, селений избегал и только в сумерки появлялся где-нибудь на хуторах и робко стучал в окошко крайней избы. Только б не нарваться на немцев, а у русского человека всегда найдется для него кусок хлеба с солью да пук соломы.
Так однажды, в полдень, попал он на выселки, и голод загнал его в хату. Он постучал. Выглянула молодайка, красивая, теплая, рослая баба. Она сперва испугалась его: страшен он теперь стал, бородатый и нечесаный, а потом ввела в хату, усадила за стол, а сама заметалась по комнате от печи к столу, от стола к каморке.
И пока он ел — сперва жадно, торопясь, а потом, насытившись и вспомнив деревенский обычай, медленно и степенно, как в гостях, — она рассказала ему, что сюда немцы еще не заглядывали, но у людей страху много; все под страхом ходят, и жизни никакой нет. А он хлебал молоко, слушал ее бабьи жалобы, вдовьи тревоги и сочувственно кивал головой, потому что действительно на войне горше всего от фашистов приходится курице и бабе: курицу — в котел, бабу — на поруганье.
Насытившись, он вытер рот рукавом, глянул в окно — солнце еще было высоко в небе — и сказал, кланяясь:
— Спасибо, хозяюшка. Теперь я пойду.
Но она посмотрела на его окровавленные ноги и покачала головой:
— Куда ты пойдешь? Не дойти тебе, — и, опустив глаза в половицы, тихо, словно самой себя стыдясь, докончила: — Оставайся здесь. Живи. Мужика у меня нет, а без мужчины бабе плохо. Хозяйство валится…
Он потоптался на месте — тепло, хорошо было в избе, еще сытно пахло борщом и спелыми яблоками из каморки, на дощатом полу сладко умирали травы — не то мята, не то чебрец…
— Хорошо, — тихо ответил он.
В сумерки, когда хозяйка пошла доить корову, он вышел из хаты покурить на крыльцо. Свою бороду он теперь расчесал, а белье сменил, — баба дала мужнино. Покуривая, он стоял на крыльце и оглядывал двор. Он заметил, что двор хозяйственный, а огород большой. «Ишь, капуста какая… серебряная!» — умиленно подумал он. И тут же: «А плетень чинить надо». И не было вокруг ни войны, ни смерти, ни крови.
Он пошел по двору, ступал медленно, важно, как хозяин. Трогал рукой вещи, все знакомые, все привычные. «Траву косить надо!» Он потрогал рукой косу. И сразу окружил его

привычный крестьянский мир, и пахнуло теплом из хлева, и сладко заныло сердце, и зачесались руки работника…

Эту ночь он спал на перине, чистый, сытый, в чужом и чистом белье. Сонно и счастливо дышала молодайка и улыбалась во сне своему случайному бабьему счастью. А Алексей не спал. Не спалось ему на подушках — то ли душно в избе, то ли травы на полу умирают беспокойно, чебрец или мята, и запах их бередит душу…

Вспоминались Алексею дом, и жена, и дети, и товарищи, — которые уцелели из них! — и тощие пензенские поля — песок и суглинок, и рыжий старшина роты, как он, бывало, все ворчал: «Едоков в роте много — вояк, погляжу, мало», и виселицы на перекрестке дорог, и синие ноги над травой — «а я тут лежу на чужой перине, прохлаждаюсь», — и дым над полями и селами, как горела земля и становилась черной, сморщенной, горькой… Никогда теперь не уснуть спокойно Алексею Куликову, пока горит родная земля.

Тихо встал он с перины — хозяйку бы не разбудить! — тихо оделся, постоял у двери. Прошептал: «Спасибо, хозяюшка. Не осуди!» — и, махнув рукой, вышел.

И когда вышел на свежий ветер, стало на душе его легко и вольно.

И опять была перед ним дорога в дыму и крови — крестный путь русского народа. И опять он шел через дымящиеся села, мимо пепелищ и виселиц, и горькие слезы женщин падали в его душу, младенческий крик звенел в его ушах, — этого предсмертного крика ему никогда не забыть.

Он был честный и мудрый, справедливый мужик, простой души и чистой совести. Он привык во всем разбираться медленно и осторожно, любил всех выслушать, чтоб всех понять и никого не обидеть. И когда он видел пожары и трупы, он понимал — это война, про это и деды рассказывали. Но детей, детей за что? Он стоял над детским трупиком, над беленькой девочкой, которую так, походя, пристрелил фашист, и не понимал: зачем? за что? И думал: «Вот и мою Анютку, довелись, так же…»

В другой раз он увидел, как грабят немцы кооператив, напихивают в танки ящики, бочки, мануфактуру… И вдруг вспомнилось Куликову, как, бывало, после хлебосдачи приходил он в сельпо и, облокотившись на прилавок, начинал с продавцом Иваном Родионовым серьезный разговор. Иван Родионов надевал на этот случай очки в жестяной оправе и доставал из-под прилавка тетрадь заказов, а Куликов говорил ему, что затеял он к зиме новую шубу построить, а хозяйке понадобится маркизет, а сынишка пойдет в школу, стало быть — валеночки…

— За маркизет не ручаюсь, — озабоченно отвечал Иван Родионов, — но что будет, по силе возможности…

Вот теперь тащат немцы маркизет, сукна, валенки. Они разбили двери, сломали замки, разворотили полки… И опять не понимал Куликов: «По какому праву? Ведь это же наше, мое добро…»

Раз проходил он мимо разбитого немцами родильного дома. Не с руки ему было, а зашел. Словно силой какой потянуло. Были выбиты в доме все стекла, и мебель переломана, и на полу солома, навоз и грязь. Через все палаты прошел Куликов, и лицо его было каменным, а глаза сухими. А в одной палате не выдержал — уронил слезу. Детские кровати тут были. Беленькие, махонькие, кроватки для новорожденных.

И он долго стоял, склонившись над пустой кроваткой, как тогда над трупом девочки в ситцевом платьице с горошинами. И вспомнилось ему, как однажды, ранней весенней зарей, приехал он в район в больницу, — жена рожала первенького. Доктор вышел на крыльцо, поздравил с сыном. Покурили. «Летчик будет?» — пошутил врач. «Нет, — ответил Алексей, — будет, как отец, пахарем». Такая в то утро теплынь была, и вся местность звенела, точно вокруг всё колокола и жаворонки, а у больничного крыльца, застоявшись, нетерпеливо ржали копи, добрые рыжие кони, и в бричке пылала под солнцем гора золотой соломы, — это чтоб новорожденного не растрясти.

И впервые подумал Куликов здесь, у пустой детской кроватки: «До чего ж складно было все у нас устроено на нашей земле! Если жене рожать — больница, сына учить — школа, семена травить — лаборатория, трактор ладить к весне — МТС».

Все разрушил фашист, все, что было любо и дорого Алексею Куликову, все, к чему привык он, чем жил. Весь уклад его жизни растоптал фашист. Нет, это не такая война, про которую

деды рассказывали. Нет, это не такой враг. И все накипало и накипало сердце Куликова яростью… Трудно его рассердить, но горе тому, кто рассердит его!
Однажды он засиделся в хате, куда загнала его непогода. Хозяин, степенный пожилой мужик, оставлял ночевать — дождь на дворе, холодно. Куликову и самому не хотелось уходить — сколько дорог уж он прошел, сколько еще идти! — но деликатничал: «Время неспокойное, может, стесню?» Они беседовали негромко и неторопливо, и все о том же: что времена пришли страшные, беда, разорение.
Вдруг — громкий стук приклада в дверь, звон стекла, и — немцы. Они не вошли, как люди в чужую избу входят, сняв на пороге шапку и поздоровавшись, — ворвались. Один сразу же забегал по избе, другой бросился к столу, третий нетерпеливо закричал хозяину:
— Фить! Фить! — и показал рукой на дверь.
Хозяин не сразу понял, чего хочет от него гитлеровец. Он чуял: стряслась беда, а какая — еще неведомо. Но немец все злее кричал ему: «Фить! Фить!» — и пистолетом показывал на дверь. И только тогда хозяин сообразил, что его просто гонят из хаты на улицу. Он растерялся: как же можно такое? Ведь это его изба. Может, они не знают, что эта изба — его, его собственная? Может, они не верят, что это его хата? Так все соседи подтвердят. Вот и иконы в углу — ими еще при деде освятили новоселье, вот и сундук, купленный в Ромнах на базаре, вот постель, стол, карточки на стене — все его, хозяина, вещи. Он разводил руками, объяснял, тыкал пальцем то в фотографии, то в иконы, но немец уже совсем свирепо крикнул ему: «Фить!» — и вышвырнул его за порог. Просто вышвырнул.
Потом обернулся и встретил взгляд Куликова. Тяжелый был этот взгляд, даже немец опешил.
— Рус? — пробормотал он.
— Да, рус. Русский, — гордо ответил Куликов. — Русский я, — повторил он еще раз.
— Рус — собака… — сказал, наливаясь злобой, гитлеровец и вдруг сорвал с головы Куликова шапку (память о молодайке) и надел на себя. — Рус ничего не надо. Рус — собака, — сказал он, уже хохоча и довольный собой.
— Сам ты собака! — закричал Куликов, но пинок вышвырнул его за дверь.
Он очутился в темноте. Медленно падал дождь. У плетня стоял хозяин и плакал. Не плакал даже, а как-то странно скрипел зубами, и Куликов понял, что это от горькой обиды. Нет той обиды горше, когда тебя из собственной хаты выгнали. А дождь все падал и падал.
Куликов подошел к хозяину и стал рядом у плетня.
— Убивать их надо, — негромко сказал он, — всех убивать.
Но хозяин вдруг яростно обернулся к нему. То ли больше он людям не верил, то ли надо было злобу сорвать, но ответил он с сердцем:
— Тебе-то что? Твоих-то, пензенских, не касается. Твои-то, пензенские, гитлеровца не пробовали…
— Может быть, пензенских не касается, — обиженно согласился Куликов. И вдруг закричал: — А душа? Душа что? Душу ты не считаешь? Что ж, у меня не русская душа?
Никогда раньше не задумывался Алексей Куликов о том, какая у него душа — русская или нерусская. В колхозе у них всякий люд был — и русские, и татары, и мордва. И человека ценили там по тому, как трудится человек. Но сегодня, когда фыркнул ему немец: «Ты, рус, — собака», — остро почувствовал Алексей Куликов, что кипит в нем гордая и вольная русская душа и душу эту ни оплевать, ни растоптать, ни унизить нельзя.
И не было в этой душе сейчас ни сомнений, ни жалости, ни страха — только ненависть. Ненависть душу жгла.
Когда памятным июньским вечером ехал Алексей Куликов служить в армию, казалось ему, будет эта война недолгой и нестрашной, вроде осенних сборов приписного состава.
Но теперь, пройдя крестным путем много километров, не спрашивал себя Алексей Куликов, долго ли, много ли ему воевать. Знал: до тех пор воевать, пока не уничтожим врага.
Немецкие патрули, мимо которых пробирался он, и не знали, что это идет к своим Алексей Куликов, русский солдат, твердо положивший в душе своей биться с врагом, жестоко биться, без страха, без жалости, без пощады. До конца.
3. Алексей Куликов становится воином

Драться! Драться! — вот чего больше жизни желал Алексей Куликов, когда, выйдя из окружения, попал, наконец, с маршевой ротой на фронт. А его в первый же день на фронте горько обидели.
Всему пополнению выдали винтовки новенькие, золотистые, еще жирно, по-складскому, смазанные ружейным маслом, а ему досталась винтовка старая, пообитая, щербатая.
— Ишь ты, блондинка! — восхищенно восклицал молодой паренек и нежно гладил ложу своей золотистой винтовочки. — Наташка…
А Куликов сердито разглядывал свою: на прикладе трещина, на стебле затвора заусеницы, ствольная накладка пожухла и сморщилась. «Шрамоватая какая-то! — неприязненно подумал Куликов. — От начальства за нее беспременно влетать будет, чисть не чисть».
Командир отделения заметил расстройство Куликова.
— Вы что ж, товарищ Куликов, — спросил он обиженно, — оружию не рады?
— Да нет… Чего ж? Ружье как ружье.
— А что ж вы дуетесь на него, как мышь на крупу? А ну, покажите. — Он взял из рук Куликова винтовку, поглядел номер, и лицо его вдруг осветилось тихой, хорошей грустью. — Тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь, — произнес он. — Максима Спирина оружие. Друга. Флорешти… Дубоссары… Еще Прут… Река есть такая…
— Я там был.
— Д-да… — сержант задумчиво вертел в руках винтовку, — вот эта трещина на прикладе — это Максим немцу черепок расколол. А на черепке — каска. Дюже горячий бой был…
— Что ж, погиб… Максим?
— Да… Теперь неживой.
Оба замолчали.
— Ну давайте, — произнес, наконец, сержант, — винтовку себе возьму.
Но Куликов тихо ответил:
— Нет, товарищ сержант, теперь не отдам.
С тех пор не расставался Алексей Куликов со своей шрамоватой. И когда политрук, бывало, рассказывал бойцам о славе русского оружия и вспоминал суворовских орлов, и оружие октябрьских баррикад — пики да самострелы, и деревянную пушечку сибирских партизан, и танки Халхин-Гола, — Куликов все поглаживал свою шрамоватую, словно в ней были и вся слава и все традиции русского оружия. С этой винтовкой нельзя плохо драться, ее опозорить — стыдно, а бросить на поле боя — смертный грех. Он и сам не понимал теперь, как это случилось, что он бросил когда-то свою винтовку и убежал с товарищем в кукурузу. «Ах, подлец, подлец! — ругал сам себя, — подлец-изменщик».
Однажды он сказал сержанту:
— Ежели меня убьют, то мою шрамоватую отдай достойному бойцу.
— Хорошо, — не улыбнувшись, ответил сержант, — отдам достойному.
В эту пору произошел у Куликова крупный разговор с Леонидом Внуковым. Стояли они тогда на отдыхе после жестоких боев, мылись, брились, отъедались. Больше всего Куликов обрадовался речке. Вот и на Днестре он побывал, и на Днепре, и на Буге, а эта речка всех милей. Те реки большие, шумные, пароходные, бог с ними; эта тихонькая, узенькая, родная, в ней и постирать удобно и поплавать — одно удовольствие, словно дома, в детстве…
А Леонид Внуков сидел на берегу скучный, сгорбившийся. Тускло глядел на реку, на плескавшегося там Куликова и то зевал, то вздыхал.
— Что заскучал, товарищ военный? — весело обратился к нему Куликов, вылезая на берег. — Не скучай о бабе, пусть бабы о нас скучают.
Он сел рядом с Внуковым, подставил плечи и шею солнцу. Последние теплые дни, бабье лето.
Внуков и шутке не улыбнулся. Скрипуче стал жаловаться он, что устал, чертовски устал он, здоровье у него нежное, к такой жизни не приученное, а тут бои да походы, бои да походы… Тяжелая война.
— А война легкая не бывает, — отозвался Куликов.
— Я ведь раньше как жил? — скрипел Внуков. — Я замечательно жил. Хорошая у меня была должность…
— А теперь у всех мужиков одна должность: фашиста бить…

— Я ответственный был в районе человек. Управляющий делами рика. Зачем меня на войну?
— Ишь какой у тебя умный чертеж! — усмехнулся Куликов. — Значит, Куликов фашиста бей, а Внуков — бумажки пиши?
— Так если я по этому делу спец? Тебя в учреждение посади, ты и не справишься.
— А я в канцелярию и не сяду. Меня бабы засмеют, здорового…
— Да, — вздохнул Внуков, — ответственный был я человек, а тут рядовой, и все надо мной — начальники. Это мне обидно.
— А я так полагаю, — сказал, сердито нахмурив брови, Куликов, — что нет той чести больше, как на войне бойцом быть.
Но Внуков не слушал его. Он все про свое ныл, жаловался. Просто хотелось ему перед кем-то высказаться, поплакаться.
— Я, бывало, дома чисто ходил. Одних галстуков, знаешь, сколько у меня было? А теперь гляди, в какой я робе? Грязное все. Везде пятна.
И тогда вскочил на ноги Алексей Куликов и заревел не своим голосом:
— Скидай! Скидай, сукин сын!
Внуков испуганно взглянул на него, ничего не понял.
— Гимнастерку скидай. Вот речка. Стирай, сукин сын, свой мундир. Чтоб ни пятнышка не было!
Вот удивился бы политрук Званцев, услышав сейчас Куликова! Полно, тот ли это Алексей Куликов, что еще несколько месяцев назад дрожал под снарядами, ожидая смерти, тот ли, что докладывал, бывало, что «пушка из пшаницы переехала в гречку?» Он ли говорит сейчас о бойцовской славе, о воинском долге, о чести мундира?
Да, не тот стал Алексей Куликов. Теперь это был воин, суровый воин, обстрелянный и обветренный, понимающий свой долг, честь и дисциплину.
Сам Куликов не удивлялся своему превращению.
— На войне и лошадь привыкат, — любил говорить он. — Погляди: ишь, стоит, не моргнет.
Он привык воевать, драться, спокойно ждать боя, спокойно глядеть на смерть и кровь, привык к бесконечным походам и переходам, к кочевой солдатской жизни. И портянка ноги не трет, и армейский сапог не давит. И снаряжение как-то ладно улеглось на нем, все к месту, ничто не гремит, не мешает; полная выкладка, а не тяжко. Потому не тяжко, что все нужно, и ни с чем Куликов расстаться не захочет. И скатка нужна, она бойцу все — и одежа и одеяло; и фляжка нужна (летом с водой, зимой с водкой); и вещевой мешок с НЗ нужен, а плащ-палатка в дождь лучше крыши любой, — как ее бросишь?
Вот разве противогаз… Противогаз как будто ни к чему… Он пока Куликову подушкой служит. Но и его ни за что не бросит Алексей. Злобен враг — противогаз пригодится!
Но больше всего уважал Куликов, берёг и лелеял свою шрамоватую винтовку и саперную лопатку. Про винтовку и говорить нечего, без нее воин — не воин, но и маленькую лопатку, долго болтавшуюся, без особого дела на боку, однажды оценил Куликов. Маленький бруствер — двадцать сантиметров, всего ничего, — а спас Куликову жизнь. Немецкая пуля чиркнула о глину, рикошетом прошла по каске, хоть бы что… С тех пор большой ли был бой или малый, наступал ли Куликов или лежал в обороне, лопатке его всегда находилось дело.
Каждая землянка, блиндаж, окоп, яма сразу становились для Алексея Куликова жилым домом. И все в этом доме было на месте — тут винтовка, тут лопатка, тут противогаз — все его бойцовское хозяйство. И он по-хозяйски, как, бывало, дома в своей усадьбе, устраивался здесь, словно не час, не ночь одну ему тут жить, а века. Копал канавки, чтоб вода не натекала, добывал соломку, а соломки нет — травы. Короток сон бойцовский — значит, надо, чтоб сон был как сон.
Он был теперь исправным, ладным, исполнительным бойцом; молодые учились у него. Он мог многому их научить, — бой в лесу, скажем, не то, что бой в степи, и опять совсем не то, что бой в населенном пункте, а Куликов во всех этих переплетах бывал. Молодые жадно слушали его. Они должны были его и слушать и уважать: вот в скольких боях человек побывал, а цел!
Правда, героизма за Алексеем Куликовым еще не было, слава о нем не гремела по стране и в сводках Информбюро его имя не попадалось. Но если писалось там, что батальон

Субботина отбил сегодня восемь яростных немецких атак, то это и про Куликова писалось. Это он с товарищами принял на себя восемь атак и не дрогнул. А если писалось, что после жестокого боя наши войска овладели населенным пунктом, то можно было быть уверенным, что был там и Алексей Куликов, дрался на улицах, стрелял из-за церковной ограды, докалывал немца на чердаке.
Куликов и сам знал, что нет за ним никакого героизма. Бывало, читая в газетах рассказы о подвигах славных советских воинов, он восхищенно восклицал: «Вот орлы! Вот, право слово, соколы! Помыслить только — какие дела может человек!» А если ему говорили: «Так и ты, Куликов, герой, ведь вот как дерешься!» — он возражал: «Какой это героизм! Это служба». Но службу свою нес достойно.
Ничем не был еще награжден Алексей Куликов, ни орденом, ни часами, — потому что, если наградить его, так надо всю Красную Армию награждать, всех ее бойцов, так же, как и Куликов, достойно несущих свою боевую службу.
— Да мы, брат, не за награды и воюем, — сказал он однажды в землянке, — нам одна награда: немца с нашей земли прогнать да зажить счастливо. Такая это, брат, награда, такая награда — мне и не надо другой.
Но тут все заспорили с ним — и молодые и старые. Особенно молодые.
— А я за орден дерусь! — вскричал кучерявый пулеметчик Митя. — Вот как хочешь меня суди, а я желаю, чтоб мне орден вышел. И чтоб мне его за мою храбрость дали. И чтоб дали немедленно, как заслужу. И чтоб тот орден мне сам генерал вручал. И чтоб об этом мои домашние узнали…
— Домашние — это верно… — задумчиво согласился Куликов.
— И тем орденом, — горя глазами, закончил Митя, — я всю жизнь гордиться буду!
— А у меня гордости нет…
Но это Куликов напрасно про себя сказал. Скоро узнал он, что и у него есть гордость. Пришло и к нему воинское самолюбие.
Как-то рассказал им политрук о снайпере Брыксине, о парне из соседнего взвода, который каждую ночь на охоту ходит и немцев бьет.
— Вот, — укоризненно закончил политрук, — а у вас во взводе такого орла нет.
Вот тогда-то и взыграло в Куликове воинское самолюбие. Загорелось сердце. В тот же день нашел он Брыксина и долго смотрел на него.
— Ты Брыксин? — спросил он наконец.
— Я.
Куликов недоверчиво разглядывал снайпера, — парень как парень, один нос, два уха.
— Врут, что ты еженощно немцев бьешь?
— Нет, правда, — усмехнулся Брыксин.
— И много набил?
— На сегодняшний день в аккурат двести тридцать восемь.
— Та-ак…
Куликов долго молчал, думал, а потом вдруг сказал дрогнувшим голосом:
— Учи! Убедительно тебя прошу: учи врага бить.
И он стал учиться.
Ничего не скажешь: хорошей показала себя шрамоватая винтовка, недаром она самому Максиму Спирину была подругой. Но оказалось, одной винтовки мало. Еще глаза нужны особенные, и руки, и сноровка, и мастерство. Этому мастерству и стал учиться Куликов. Он учился страстно, прилежно, как, бывало, на полеводческих курсах. Все началось с самолюбия, а вышло всерьез. Большое это счастье — видеть, как от твоей пули, от твоей собственной руки падает враг.
До той поры Куликов сам себе цены не знал. Он видел: на этой войне люди воюют массами. Что тут один человек значит? Он даже не винтик в машине, он пешка. Но теперь узнал Алексей Куликов цену умелому человеку на войне. Один человек, а гляди — целую роту немцев уничтожил! Один Брыксин, а для всех немцев — гроза, за его голову награда положена. И Куликов захотел, чтоб и его руку почуяли немцы, чтоб и его, как Брыксина, в своих листовках прокляли, чтоб и его голову оценили. Интересно, во что оценят?
У каждого снайпера в их роте свой характер был, свои обычаи, свои повадки. Для одного — это веселая охота, лихая забава, для другого — азарт, опасный спорт, для третьего — дело

славы. А для Куликова в снайперстве был выход его лютой ненависти к врагу. Большое это счастье — видеть, как от твоей руки падает проклятый враг. Еще один.
Куликов ходил на охоту в паре с Васей Прохоровым. Веселый это, красивый парень был, шахтер. И, когда возвращались они на заре с промысла, Вася, бывало, всегда по дороге нарвет охапку цветов, идет и нюхает, словно он только что из шахты на-гора вылез и девушки ему букет преподнесли. А Куликов шел с каменным лицом. Не забавой, не охотой это было для него, а священным делом мести. За эту девочку в ситцевом платьице. За родимый дом. За хозяина, плачущего у плетня…
И если б сказали ему: «Как же это ты, Алексей Тихоныч, незлобивый, мирный мужик, человека убил?» — он удивился бы этому вопросу и ответил: «Так это ж не люди. Это фашисты».
Не уменьшалась, а все росла и росла его злость на врага. Злость за то, что на нашу землю пришел, и за то, что любимый уклад жизни растоптал, и за то, что он воевать умеет, сызмальства сделал свой народ солдатской нацией и теперь разбойничает на нашей земле. И в этой великой, неукротимой злости была Куликова сила.
Давно уж прошел его страх перед немцем. Это раньше ему казалось, что немец все может: может внезапно окружить, может с тыла ударить, может танками раздавить, и силе его числа нет, и вездесущ он, и всемогущ, словно бог войны.
Но, воюя и каждый день сходясь в бою с врагом, увидал Куликов, что ничего сверхъестественного в нем нет. «Только нахальство сверхъестественное. Нахальством он и берет». Увидал Куликов, что и у фашиста не все железо, есть и фанерка; и нервишки у него тонки, — штыка уклоняется, ночи боится; и пятки у него проворные, — ишь, как бегает, когда мы нажмем!
Куликов первый в роте осенью форменно доказал, что не та теперь стала немецкая армия. Он пришел из разведки и принес документы, снаряжение и оружие с убитого немца.
— А языка, извиняюсь, не привел. Язык был, ног у языка не было, — объяснил он.
Командиры стали разбирать документы, а Куликов все нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Наконец, не выдержал:
— Вы винтовку ихнюю, винтовку поглядите.
— А что?
Куликов, торжествуя, взял винтовку, открыл затвор, все увидели грязь и ржавчину.
— Раньше я этого за немцем не замечал, — объявил Куликов. — Ржа завелась!
Про эту винтовку и про ржу он долго толковал среди своих. А если возражали ему, что все равно немцы воевать мастера и нам у них даже поучиться кое-чему нужно, он отвечал: «Ну что ж! Они нас воевать научат, а мы их воевать отучим. Навеки отучим! Уж это точно».
Видел Куликов и пленных гитлеровцев. Рваные, жалкие, вшивые, они жались к костру, который для них разложили в большом сарае, и Куликову, когда он глядел на них, все казалось, что это не люди, а вши у костра ползают. Комиссар пришел поговорить с пленными. Куликов ему сказал:
— Вы, товарищ комиссар, к ним не соприкасайтесь. Они все вшивые, — и такая брезгливость была в его голосе, что комиссар невольно расхохотался.
Куликову же пришлось и водить их на допрос. По дороге он пытался побеседовать с ними:
— Эй, ты, плюгавенький! Это ты собрался Россию покорить? Завоеватель! Где тебе, гунявому! Не покорить тебе России, понял?
Но немец только заискивающе глядел на него и моргал глазами. Куликов рукой махнул. Что мертвый немец, что пленный немец, они в нем злобы не вызывали. Ненавидел он тех, с автоматами. И ненавидел люто.
Как-то — на рождестве это было — взяли наши село. Куликова вместе с сапером послали «прочесать хаты». Село было пустынное, безлюдное. Полусожженные, побитые хаты стояли уныло, как на похоронах. Но в одной, что в самом центре красовалась и чудом уцелела, Куликов застал остатки недавнего пира. Подле елки, на которой еще висели побрякущки, стоял накрытый стол, а на нем снедь и рюмки, полные золотой влаги — видно, коньяк, — а на самом видном месте лежала гармошка: бери, играй, пей, ешь, веселись.
Бывалый боец, Куликов только усмехнулся глупости немца.

— Ишь ты, — качал он головой, пока сапер разминировал и елку и гармошку, — на шнапс хотел взять? Думал, русский на шнапс польстится? Прогадал! Больно рыбка востера, не изловят и мастера.
И вдруг он услышал тонкое, жалобное мяуканье. Где-то плакала, ну форменно плакала кошка. Он огляделся, прислушался:
— Где ж ты, сердешная?
Осторожно он пошел по комнате и остановился у стены, у сундука. Из сундука доносилось мяуканье.
«Ах ты, бедняга! — подумал Куликов. — Кто ж это тебя в сундук?» Он хотел было поднять крышку и выпустить кошку на свободу, но остановился. Неладно что-то было с этим сундуком.
— Сапер, — позвал он, — ну-ка, обследуй.
— Мина, — показал сапер.
— Мина?
Лицо Куликова исказилось. Страшными стали его глаза. Он взял в руки спасенную кошку и машинально погладил ее.
— Эх, немец, немец! — произнес он сквозь зубы. — Добрый я. Это ты верно угадал. Ко всякому живому существу добрый я человек. Но только ты мне под руку не попадайся. Эй, не попадайся! К тебе у меня доброты нет.
4. Алексеи Куликов убивает предателя
С первых же дней войны, куда ни забрасывала б его солдатская судьба, Алексей Куликов всегда искал земляка. Сперва хотелось ему найти односельчанина, потом хоть из одного с ним района, наконец просто пензенца. До зарезу нужен был ему земляк, чтоб вести с ним бесконечные беседы о родных местах, вспоминать знакомых мужиков и районных начальников, и чтоб знал он и врача, и лесника, и мельника, и на какой лошади агроном ездит, и помнил бы все происшествия, похороны, пиры и свадьбы в районе за двадцать лет. А если убьют Куликова, чтоб отписал земляк жене, душевно, обстоятельно и со слезой, потому что бабе слеза — утешение.
Куда б ни попадал Куликов, первым делом он выкликал: «Эй, пензенские тут есть?» — «Есть! — отвечали ему. — Тут все пензенские. Кто с Дона, кто с Урала. Табачком, земляк, богат?» Куликов, кряхтя, доставал кисет и грустно улыбался: «А я думал, пензенские…»
Так и не нашел Куликов пензенцев. Ну что ж, земляком надо родиться, а приятеля можно приобрести. Скоро приятель сам нашелся.
Никто в роте не понимал, как отличный и бывалый боец Куликов мог сойтись с Афанасием Дубягой.
Был этот Дубяга последним человеком в роте. Видали его люди в бою — трус. Видали и на походе. Жалкой души человек. Жил он ото всех обособленно, угрюмо, лишней коркой с товарищем не поделится, шутке не посмеется, ударь его по плечу — обидится.
Куликов его не сразу и приметил. Привезли почту. Большая почта пришла, долго не было. Все столпились, галдят, радуются, всем письма есть. Только один человек в сторонке стоит, отвернулся, сгорбился.
— Ты что ж, мил человек, почтой не интересуешься? — спросил его Куликов.
Дубяга поднял на него глаза и ответил тихо:
— А мне получать неоткуда.
Он сказал это так грустно, что у Куликова даже защемило на душе.
— Ах ты, бедняга! — только и пробормотал он.
Говорят: друг — это тот, кто с тобой последней щепоткой махорки поделится. Но у Куликова для всех был открыт кисет, и для него в роте все кисеты открыты.
Говорят еще, тот друг, кто тебя в бою выручит. Но Куликова много раз выручали неизвестные ему бойцы-соседи, а он даже имен их в горячке боя узнать не успевал.
Дубяга ни махоркой не поделится, ни в бою не выручит. Отчего ж запал он в душу Куликова? Никто в роте этого объяснить не мог, да и сам Куликов не объяснил бы. Все бойцы в роте были его приятелями, верными, надежными, проверенными в огне. Он чувствовал к ним и уважение, и любовь, и дружбу, но жалость только один Дубяга вызывал. Сам того не сознавая, Алексей Куликов относился к Дубяге, как к той кошке в заминированной хате — жалко сердешную…

На войне боец без женщин живет, без детей, без семьи, — в его душе много нежности остается. Злость расходуется в бою, нежность — только на товарищей.
И всю великую, неизрасходованную нежность своей души отдавал Куликов жалкому человеку — Дубяге. Он ходил за ним, как нянька, заботился о нем, чтоб поел Дубяга, чтоб поспал Дубяга, в бою о себе не думал, все о нем: как там — не убили Дубягу, не ранили ли? А в свободные часы вел с ним бесконечные беседы о доме, о хозяйстве, о том, как жили до войны.
Куликов о хозяйстве мог говорить долго и вкусно. Он не вспоминал, не мечтал — он подсчитывал. Только слышалось — цифры, цифры, цифры. И сколько, бывало, в хороший год трудодень тянул, и сколько потянул бы, коли б не война, и сколько птицы на ферме, и почем мука была… И как раскинет он свою цифирь, округлит, — выходит, замечательно жил до войны Куликов.
А Дубяга охватит колени руками, съежится весь, сгорбится и начнет, раскачиваясь всем телом, рассказывать о своих. Семья его там осталась. У немца. Как они там живут? Живы ли еще? Жена была красавица, теперь небось старуха.
— Д-да… — сочувственно поддакивает Куликов, — горе одного только рака красит.
— Ждут они меня… Небось сынишка каждый день за околицу бегает: не идет ли батька?
— Они не тебя одного ждут. Они всех нас ждут. А один ты им без надобности. Что ты им один? — И Куликов принимается утешать Дубягу: — Погоди! Вот соберемся с силой, немца измотаем, двинем всей громадой, вот ты и дома.
По ночам Дубяга часто плакал. Он плакал тонко-тонко, не по-бабьи даже, а как кошка скулит. Куликов сразу же просыпался, подсаживался, принимался утешать. Не терпел Куликов мужчин, у которых глаза мокрые, слеза не мужское дело, а Дубяге и слезу прощал. Он все ему прощал, как прощает мать незадачливому сыну.
Не раз бывало: придет Куликов с наряда замерзший, голодный, сейчас бы поесть и спать, а ему говорят:
— На тебя обед Дубяга взял.
Пойдет Куликов к Дубяге, тот молчит. Найдет Куликов котелок — пусто в нем.
— Съел!
Опять промолчит Дубяга. Куликов больше ничего не скажет, завернется в шинель и уснет голодный. И это он прощал Дубяге: «У него горе, у него, может, только и радости, что поесть», — оправдывал он его перед товарищами.
В другой раз совсем подло поступил Дубяга. Попали они как-то вдвоем с Куликовым в переделку: нарвались на немецкую засаду. Куликов бой принял. Немцев было семеро, они с Дубягой вдвоем.
— Штыком не успеешь — прикладом бей! — крикнул Куликов Дубяге и тут только заметил, что нет его рядом. Удирает Дубяга…
«Что ж это, друг?» — подумал было Куликов, но думать было некогда, немцы наседали. Из этого боя Куликов вышел целым. Только на шрамоватой винтовке новый шрам появился да правую руку пришлось починять.
— Что же ты, милый? — только и сказал Куликов Дубяге при встрече. — Товарища в бою бросать не годится.
Однако и это он простил Дубяге, как все прощал. «Душа у него робкая, вот и сдрейфил. Все одно не помощник он мне бы был».
В это время и случилось в полку чрезвычайное происшествие, — много о нем и шуму и толков было: боец пропал. Вечером был, вот тут в блиндаже сидел, а к утру хватились — нет его. Пропал.
Одни говорили — немцами убит, но трупа не нашли, хоть искали. Другие гадали — выкрали его немцы. Но многие высказывались иначе: перебежал.
На эту тему и случился разговор между Куликовым и Дубягой.
— Я того бойца знал, — задумчиво сказал Дубяга, — он из наших мест был. Он к своим, видать, перебег. Домой.
— Ну вот! Они его избавителем ждут, а он к ним дезертиром, изменником прибег.
— Так ведь если тоска… — робко вступился Дубяга.
— А что ж он своим семейным — радость принес? Кабы он с армией пришел да врага прогнал — радость. А так… Они, может, надеждой жили. Может, баба ейная детям своим

каждый вечер нашептывала: ничего, мол, деточки, ничего. Вот наш тятька с армией придет, наш тятька немца прогонит… И, может, детки о тятьке мечту имели. Наш, мол, тятька… А он с чем пришел? С чем, а? вы, мол, тут на меня надежду имели, так вот я явился, а надежды нет. Я надежду вашу потерял бегаючи. Сын спросит: «Тять, а где же наши? Ты с нашими пришел?» А тяте-то сказать нечего. Бросил тятя наших. Продал. Я такого подлеца, хоть отцом бы мне родным был, сам своими руками удавил бы…

— Говорить легко… — пробормотал Дубяга и вздохнул. На его лбу пот выступил на морщинах.

— Нет, ты сам рассуди, — продолжал Куликов, — допустим, прошел он через немецкую оборону, допустим, что его пять раз притом не расстреляли и не повесили. Ну, пришел в семью. Что семье делать с ним? Скажи на милость? Без него тошно, а с ним тошней. Перед немцами он за них не заступник, односельчане его как врага лютого встретят. А ему? Куда ему деваться, помыслил он своей глупой башкой? К немцу в кабалу идти? В Германию на каторгу, с голоду дохнуть? Так опять же семья прощай, и свобода, и добрая честь. В полицейские к немцу наняться? Так если партизаны его до той поры сами не пришьют, мы придем — кончим. Я первый. А мы придем, Дубяга, поимей это в виду. Во все места земли русской придем! И на Украину.

— А он, может, к партизанам пойдет. А?

— Партизаны такого не возьмут. Партизаны такому не поверят. Нет ему пути, Дубяга, милый человек. Одна ему путь — в петлю.

Куликов помолчал немного и круто прибавил:

— А Россию он продал. Продал, сукин сын.

— Так ведь Россия-то… Россия Россией и останется… — заметался Дубяга, — вот под татарами была, а все Россия. Ну, пусть под немцами…

— А мне не всякая Россия нужна, — зло оборвал Куликов, — если хочешь знать, я не на всякую Россию согласен. Мне нужна Россия, чтоб был я в ней, как раньше хозяин на своей земле, и чтоб были колхозы, и если жене рожать — больница, а сына учить — школа. Советская мне нужна Россия, слышишь? А другой я не хочу, другой и не будет.

После этого разговора Дубяга долго ходил хмурый, смятенный. От всех прятался. Забился в свою нору в блиндаже, свои думы думал. Куликова он сторонился. Встреч с ним избегал.

— Ты что? — удивленно спросил его раз Куликов. — Может, за что обиделся?

— Да нет… Ничего… — уклончиво ответил Дубяга, но глаза спрятал.

Через несколько дней после этого Куликова и Дубягу назначили в секрет. Они лежали в десяти метрах один от другого, и каждый думал про свое. Кто его знает, о чем думал Дубяга, а Куликов думал, что если б каждый русский человек убил хоть одного вражеского солдата — и войне б конец.

Подымался рассвет. На снегу заиграли косые тени. Куликов подтянулся, он знал: самое это недоброе время — ранний рассвет.

Вдруг он заметил, что Дубяга ползет. Сперва подумалось, что это мерещится. Куда Дубяге ползти? Некуда. Но Куликов всмотрелся и увидел, что Дубяга действительно ползет. Послышалось даже сопенье.

— Ты что это? Зачем? — громким шепотом окликнул его Куликов.

Но Дубяга не отозвался. Он полз молча, судорожно цепляясь руками за голые кустики и тяжело дыша. Пыхтенье его, какое-то прерывистое, трудное, как у загнанной собаки, всполошило Куликова.

— Ты что, обезумел? — крикнул он, обо всем забыв. — Ведь убьют! Пропадешь! — и пополз было на выручку.

Но в это время Дубяга поднялся на ноги и побежал. И Куликов с ужасом увидел, что бежит он с белым платком в руке и размахивает им над головою, а винтовки при нем нет…

— Вот ты что задумал… — тихо протянул тогда Куликов и медленно поднял к плечу свою шрамоватую.

Все прощал Куликов товарищу — и жалкую душу, и мокрые глаза, и плохую дружбу, — этого простить не мог.

По-снайперски взял он своего бывшего приятеля на мушку, как фашиста брал. Хуже фашиста сейчас был этот ненавистный человек, хуже лютого врага…

Грохнул выстрел.

Вернувшись из секрета, Куликов доложил командиру:
— Я Дубягу прикончил… Изменник он…
Жалости в его сердце не было.

5. Алексеи Куликов вступает в партию

Никто в роте — ни товарищи, ни командиры, ни сам политрук понять не могли, отчего Куликов до сих пор не вступил в партию.
Не раз ему говорил парторг:
— Ты, Алексей Тихоныч, мужик умный, башковитый, боец отличный. Что ж ты в партию не идешь?
— Недостойный я… — отвечал Куликов, и больше с ним говорить было нечего.
Он не врал. Он и в самом деле считал себя недостойным. К партии было у него почти религиозное, благоговейное отношение, а коммунистов он считал людьми особого склада.
— Не могу я передом идти, — объяснил он раз парторгу. — Я человек сопутный. Вы, партейные, идите передом, а я уже не отстану. К немцам в лапы попадем, нам на одной осине висеть. Я не откажусь!
Он и до войны был сопутным человеком: коммунисты шли передом, он за ними. Он всегда был человек тихий, работящий, непьющий, приверженный к хозяйству и семье. И в этом — в семье и хозяйстве — был весь его интерес жизни, остальное мало касалось его. Он жил в маленьком мирке и очень был доволен тем, что этот мир мал и знаком до мелочей, и обжит, и устроен. Иного он и не хотел: жить здесь и помереть здесь, на своей постели. Читал он и газеты, интересовало его и международное: как там насчет войны? — и внутреннее: декрета нового насчет колхозов нет ли? — но большую часть того, что писалось в газетах, он пропускал мимо ушей: это нас некасаемо.
Сейчас мир, в котором физически жил Алексей Куликов, был совсем мал, куда меньше колхозного двора: блиндаж, да землянка, да сто метров ходов сообщения — вот и весь мир. Но все, что делалось, что свершалось, что шумело за пределами этого мира, — все теперь касалось Куликова. Все непосредственно касалось его судьбы, и ко всему он жадно прислушивался. Он читал о событиях на Соломоновых островах и гадал: а что от этих островов приключится России, а стало быть, и мне, Куликову, и моей семье? Он слышал, что наши где-то жмут немцев, и думал: а что от этого приключится нашему полку, а стало быть, и мне, Куликову, и моей семье? А что, если нам нажать да подсобить?
Никогда раньше и не слыхал Алексей Куликов про такие города: Дьепп, Эссен, Бремен, а теперь каждое утро спрашивал агитатора: «Ну, как там, дали Эссену жару?»
И про такой народ не слыхал он раньше — канадцы. А сейчас следил за тем, как высаживаются они, как дерутся в пустыне. И, бывало, подолгу обсуждал он с товарищами, каковы эти канадцы лицом и характером, и какова у англичан сила, и армия английская какова, — словно соседнюю МТС.
На две половины раскололся мир. Все человечество воюет, и Куликов осознавал теперь себя солдатом той армии человечества, которая ведет правильную войну.
Он знал: эта армия победит. Он верил в победу и в дни успехов и в горькие дни неудач. На войне всякое бывает. Но твердо верил он: Россия пропасть не может! Он прожил трудную зиму и многое вынес и мог бы еще больше вынести, потому что то, что может русский солдат, никому — ни немцу, ни англичанину, ни итальянцу — не вынести.
Сейчас было тихо на участке, где Куликов. Всю весну пролежали в обороне. Бойцы шутили: «Что главное в обороне? Главное в обороне — харч». И хоть харч был хороший, все ж томился обороною Куликов, словно оборона отодвигала победу.
А от соседа с севера и от соседа с юга шли тревожные вести. Полилась кровь под Изюмом, под Барвенковом, под Керчью. Зашевелились немцы и здесь. Было видно снайперу Куликову их шевеление. В роте ждали больших боев. По ночам спали чутко.
Однажды пришел к ним «с того берега» человек, грязный, оборванный, бородатый. Увидав наших бойцов, закричал:
— Родные мои, родные! — и заплакал.
И спрашивать Куликову не надо было, понял: человек этот пришел из окружения. Значит, где-то неустойка вышла.

А человек думал, что не верит ему Куликов, принимает за шпиона. Дрожащими руками стал он шарить по телу, и откуда-то, из потаенного места, вытащил маленькую, маленькую партийную книжку. И протянул ее Куликову, словно пароль.
Ничего не было на этом человеке — ни оружия, ни часов, ни денег, ни рубахи целой, — все он бросил, а партбилет пронес. И Куликов долго вертел в руках красную книжечку, покоробившуюся от воды, почерневшую от грязи. В этот раз он ничего не сказал. А через несколько дней он пришел к политруку и сказал смущенно:
— Проситься пришел в партию.
Политрук удивленно посмотрел на него и обрадовался:
— Давно бы так! Надумал?
— Надумал.
Куликов хотел объяснить политруку, как случилось это, как думал он, думал и… а слов не было. Только и сказал:
— Больших боев жду. Мне теперь беспартейным быть негоже.
Куликова приняли в партию тут же, в блиндаже, сюда и парткомиссия приехала. В тот день все небо гремело артиллерийским громом, под этот гром его и приняли.
Но он все еще не считал себя партийным.
— Когда ж книжечку дадут? — допытывался он у политрука.
Тот объяснил, что через три дня из дивизии приедет комиссар и лично вручит ему партийную карточку.
И все эти три дня как в дыму жил Куликов. Понимал он, что будет это большой день в его жизни и большой разговор с комиссаром. Надо комиссару все высказать, объяснить, чтоб, давая билет, он не сомневался: достойному человеку дает. И все три дня Куликов подбирал слова, которые надо сказать комиссару: «Не подведу, мол? Нет. Так соседу можно сказать или бабе. А партии так сказать нельзя». И он вспоминал слова, которые от ораторов слышал. Хорошие у них бывают слова.
Вот такими бы словами сказать, необычными, не как каждый день говоришь… «Заверяю — вот как надо сказать! — Заверяю я вас, товарищ комиссар, а через вас большевистскую партию…»
В назначенный день Куликова вызвали на хутор к комиссару. Волнуясь, он пошел. Вот сейчас все произойдет: был беспартийным — стал большевиком. Ведь это как жить теперь, как драться, как вести себя, чтоб не оконфузить? Сейчас произойдет у него с комиссаром большой разговор, комиссар поглядит-поглядит и потом возьмет твою душу и на своей комиссарской ладони взвесит: чистая ли, достойная ли душа?
Но у комиссара в этот день было много народу («Усталые у него глаза, — заметил Куликов, — не спит, бедняга»), и разговор вышел недолгий, и главное — до обидного простой и задушевный, словно дома за чаем: «Ну, как живешь, как воюешь, товарищ Куликов?» — «Ничего». А Куликову хотелось слов больших и значительных. Комиссар все улыбался, глядя на него, даже раза два устало пошутил, а Куликов полагал, что улыбка тут не к месту: тут серьезное дело, жизненное. И никак не мог Куликов свою фразу сказать, ту, которую он придумал.
Потом комиссар встал, протянул ему партийную книжечку, пожал руку, поздравил, и Куликов понял, что он может идти. Он еще секунды три потоптался на месте, потом неуклюже откозырял и пошел к дверям. Но в дверях он остановился. Нет, не мог он так уйти. Он повернулся к комиссару и голосом суровым и торжественным произнес:
— Заверяю вас, товарищ комиссар, а через вас всю партию, что боец Куликов партейной книжечки не опозорит! — И это было как присяга.
Комиссар взглянул на него без улыбки, очень внимательно (не было сейчас усталости в воспаленных зрачках), и все понял. И тогда вышел он из-за стола, подошел к Куликову, положил руку на его плечо и сказал очень тихо и просто:
— А я вам верю…
Эти слова и унес с собой Куликов.
Наутро немцы перешли в наступление. Лавиной танков и огня обрушились они на соседа, и сосед дрогнул, попятился. И тогда, чтобы спасти положение, командование бросило батальон Субботина в контратаку. Все понимали, и Куликов понимал, что вот оно, началось то, чего ждали…

Политрук дрогнувшим от волнения голосом крикнул:
— Коммунисты, вперед!
И, услышав этот клич, Куликов, по привычке, оглянулся. Вот сейчас, как всегда, подымутся Лозовой, Тихонов, Коваленко, Макаров, пойдут передом, а за ними и он.
Но тут его точно обожгло. Ведь теперь он сам, сам коммунист… Вот и партийная книжечка в заветном, специально для этого случая сшитом карманчике. Он нащупал ее.
И тогда поднялся Алексей Куликов во весь рост и зычно, так, что его по всему полю было слышно, крикнул:
— Партейные и беспартейные, за мной!
И первый бросился в огонь.
6. Алексей Куликов дерется на перевале
Когда-нибудь, когда будет Алексей Куликов глубоким стариком и окружат его внучата у завалинки и ласково пригреет солнце бабьего лета, — может, и сумеет он рассказать спокойно и обстоятельно о лете 1942 года, о боях на Дону и Кубани, о том, как лавиной навалил враг, а наши войска дрогнули.
А сейчас не может он спокойно рассказывать об этом. Еще стоят в памяти страшные картины. И степь горит. И горький дым клубится над Ростовом, над Сальском, над Новочеркасском. И кружатся в небе, как ястребы, немецкие бомбардировщики. Бросаются на добычу. Рыщут. И бомбы падают и в степь, и на дорогу, и в Дон, и мертвые рыбы всплывают на поверхность воды, и хлеб горит, и города горят, и с грохотом рушатся элеваторы и водокачки, и нет переправ на Дону.
И мечутся по степным дорогам перепуганные отары овец. Тоскливо мычат стада. Коров доить некому, и пить надоенное некому. И льется по степи молоко, смешиваясь с дорожной пылью.
И день и ночь с отяжелевших деревьев с тяжким стуком падают яблоки. До земли пригнулись ветви, вот надломятся. Падают яблоки, и стук этот бьет в душу, стучит в висках. И какой-то старик станичник в обтрепанных шароварах с лампасами и с Георгиевскими крестами на груди выбегает на дорогу, по которой отступают войска, и кричит, размахивая клюкой:
— Стойте, куда вы, на кого оставляете!
И идут по дорогам сотни безоружных людей. Дети цепляются за мамкин подол. Восьмилетняя сирота несет на руках годовалого брата. Раненые бойцы, закрыв глаза руками, проезжают в фургонах. И сердце полно горечи. Полынь, полынь, полынь… Горько пахнет полынью степь. И пшеничный дым стелется над полями. И стук яблок, падающих, чтобы гнить.
Иные сердца дали в те дни трещину, а другие еще больше — стали скалой. Горсточка бойцов осталась вокруг Куликова: кто убит, кто не выдержал — побежал. Убит политрук. Славной смертью пал он на переправе, и тело его поплыло по Дону в море, но и мертвый не разжал он железных пальцев вокруг горла немца, — так и поплыли вместе.
До самых гор докатился Куликов с товарищами. В горах гневно билась речка, и лейтенант Дубровин, командир роты, горько усмехнувшись, сказал Куликову, что про эту речку много гордых стихов и песен сложено.
— Какие песни про нас с тобой, Куликов, петь будут, раз мы так воюем? — И Куликов увидел на глазах лейтенанта слезы.
И впервые в жизни подумал Куликов, что не бесследно живет на земле человек и умирает не без следа, не так, как снег сходит весной с поля. О каждом человеке останется память хорошая или дурная. Эту память хранят и горы, и камни, и реки, и люди. Когда-нибудь будут стоять на этом перевале в горах люди и вспомнят Куликова. Проклянут или прославят?
Он сказал лейтенанту:
— Что ж, товарищ лейтенант, как будет ваше решение, так и мы будем…
— Не могу я отступать больше, — с мукой в голосе сказал лейтенант и зубами заскрипел, чтоб не заплакать. — Пойми, Куликов, не могу! Не могу я уйти за горы: как буду людям в глаза смотреть? Ведь офицер я, Красной Армии офицер, и есть у меня офицерская честь. Будем стоять насмерть!
Куликов тихо ответил:

— Есть стоять насмерть!
И они остались на перевале.
Легко драться, когда за твоими плечами, как крылья, воинское счастье, военная удача. Тебя самого несет в бой. Но много сил надо, чтобы драться, когда вокруг тебя военная беда, военное горе. И ни в одной армии мира не найти солдат, умеющих стойко драться в дни больших неудач. Так только русский солдат драться может.
Вот и беспечны мы, и добродушны, и неорганизованны, но когда грянула беда и ломит враг, и торжествует, и уж победные реляции шлет, — откуда и силы берутся у русского воина, и злость, и ярость, и умение! Стиснув зубы, говорит он себе: буду стоять насмерть. И стоит. Как скала стоит.
Есть люди, у которых много сил для жизни, а для смерти — сил мало. Неудачливый, побитый невзгодами, исковерканный человек все за жизнь цепляется, все надеется лучше жить, и надежда эта дает ему силы для жизни.
Но когда сказал себе человек: буду стоять насмерть, здесь я умру, но не двинусь — для этого куда больше сил надо. Большая сила души нужна, чтоб драться у своей могилы и знать: за горами — жизнь, но я не уйду за горы.
Когда-нибудь на этот перевал будут приходить люди, чтоб увидеть место боя. И будут показывать друг другу: вот здесь стоял пулемет лейтенанта Дубровина, вот здесь за камнем был окоп Алексея Куликова. Куликов сам отрыл его своей лопаткой. Вот здесь на камне — выбоинка, сюда положил Алексей Куликов свою шрамоватую снайперскую винтовку и бил немцев. Вот здесь истек кровью Митрофан Лозовой, парторг. Вот могила Николая Руденко. Снимите шапки! Он был мальчик и умер как воин.
Вот по этой тропинке ползли немцы.
— Сдавайтесь! — кричали они, а Дубровин и Куликов отвечали им смехом и пулями. И горное эхо многократно повторяло их смех, словно сами горы смеялись над немцами. И сыпались на врага пули, гранаты и камни, словно сами горы дрались за себя.
Кровь окрасила мшистые камни. Поэты сочинят легенду: отчего черны камни в горах? От поганой вражеской крови. А вот камень с розовыми и красными прожилками — это в нем кровь Куликова.
Смотрите на этот камень. На нем следы пуль. Смотрите на эту землю. Она впитала кровь и расцвела чудесными цветами. Смотрите на эти вольные горы. За них дрался пензенский колхозник Алексей Куликов с товарищами.
Они дрались так, словно этот перевал был последним клочком русской земли, а они с лейтенантом Дубровиным — последними русскими воинами.
— Сдавайтесь! — кричали им немцы, а они отвечали смехом. И, умирая, немцы так и не могли понять, почему упорствуют эти двое русских. Не дано фашистам понять величие русской души.
Что там, за горами — так и не знал Алексей Куликов. Может, там и войска нашего нет, может, в самом деле мы окружены и всему конец? Но он сказал себе: буду стоять насмерть, и стоял. Нет, не может пропасть Россия, будем жить на вольной русской земле!
Так держались они день и ночь, а к утру откуда-то пришла рота и сменила их. И тогда почувствовал Куликов, что весь он изранен, и окровавлен, и смертельно устал. Он повис на руках санитара, беспомощный, как ребенок, слабый и телом и духом… И его повезли за горы.
Его повезли на машине по большому прекрасному шоссе, оно само бежало под шинами, ластилось к резине. Вдоль шоссе стояли диковинные деревья, каких никогда и не видал Куликов, а только слышал: кипарисы, пальмы, чинары… Но он не глядел на них и недолго им удивлялся. Он глядел на дорогу: по ней шли на фронт войска. Шли свежие полки с золотистыми автоматами и зелеными пулеметами, а за ними ползли и короткие и длинные пушки, и минометы, похожие на граммофоны, и закрытые серым брезентом «катюши». Шли русские танки, новенькие, еще краска на них не облупилась; шли американские автомобили, лакированные до блеска. Шли горные стрелки в широкополых шляпах со звездами. Шла конница в мохнатых бурках. Шли азербайджанцы, грузины, русские — может, пензенцы…

Куликов жадно всматривался в машины и в лица. Уж и ран своих он не чувствовал, словно их смазали целебной мазью. «Ага! — кричало все в нем. — Что же я-то говорил? Нет числа нашей силе, и никто нас покорить не может!»
И тогда сорвал он со лба кровавую повязку, чтоб не мешала видеть дорогу, и, размахивая ею, закричал проходившим мимо войскам:
— Эй! Ребята! Земляки! Счастливый путь! Дерись, как мы на перевале дрались. Не поддавайся! Бей фашиста! Его свободно можно бить. А я, ребята, скоро вернусь. Средний ремонт пройду и вернусь. До скорого!..
…А зовут его Алексей Куликов, и родом он — пензенский, сейчас служит старшим сержантом в батальоне капитана Рубакина, — тут его знают все.

Рассказы о солдатской душе

После смерти

О жизни лейтенанта Воганова можно рассказать в трех словах: детство, школа, училище. А о смерти его надо писать томы и складывать песни. Бывает так, что в самой долгой жизни есть всего три часа, которые всей жизни стоят. У Воганова это были три последних часа. Было дано ему в эти часы подняться на нечеловеческую высоту подвига, когда нет уже ни жизни, ни смерти, ни рубежей веков, — есть только вечность и бессмертие. В эти часы дотла сгорела жизнь Федора Воганова. Но немецкие танки не прошли!
Весь полк вышел встречать батарею Воганова, когда она возвращалась с огневой. Весь полк почтительно и удивленно глядел на этих людей и эти орудия, так, словно впервые их видел. Отныне это были люди-легенда, люди-песня; эти полусожженные орудия принадлежали уже музеям и истории, но сами артиллеристы ничего не знали об этом: хмуро и молча шли они подле лафета, на котором тихо колыхалось тело их командира.
Федю Воганова похоронили под тополем, за околицей. Отзвучали речи. Отгремели прощальные залпы. Писарь, философски вздохнув, вычеркнул лейтенанта Воганова из списков личного состава, и полк вернулся к обычной боевой жизни.
Но вечером во всех батареях, во всех блиндажах, на кухне, на медпункте только и было разговоров, что о подвиге и смерти Воганова. Расспрашивали очевидцев, сами пытались вспомнить. И те, кто не видал никогда живого Воганова, досадовали на себя:
— Как же! Жил среди нас такой человек, а я прозевал…
А те, кто знал Воганова, старались припомнить все встречи с ним, и его слова, идущие или не идущие к делу, все равно, и его привычки.
— Он любил рысь крупную, — сказал один ездовой.
— Бывало, за гречневую кашу все отдаст! — вспомнил повар.
И хотя многие из этих воспоминаний не объясняли ни подвига, ни величия героя, все горячо продолжали вспоминать, словно хотели из мельчайших осколков коллективно сложить портрет покойного и таким, как сложится, запомнить, чтобы потом, в старости, поведать детям и внукам.
Так оживал и начинал жить новой жизнью герой полка Федор Воганов, может быть не совсем похожий на того кудрявого мальчика, каким он был в жизни, но такой, каким должен быть герой, по мнению артиллеристов полка.
А потом кто-то нашел карточку и показал товарищам:
— Это мы еще в училище снимались. Мы ведь с Вогановым однокурсники…
И все увидели на снимке щеголеватого молоденького командира, с широко раскрытыми на жизнь глазами. Таким щеголем его никогда не видели в полку. Тогда секретарь партбюро показал партбилет Воганова. Маленькая фотография была залита кровью, кровь запеклась как раз на лбу и висках, — и все признали, что вот эта карточка похожа. Артиллерийский разведчик Дорохов долго разглядывал фотографию и потом выпросил ее у секретаря на одну ночь. Всю ночь он трудился над большим портретом Воганова и к утру показал товарищам. И все признали, что портрет похож. Кто-то сказал, правда, что нос не тот, Воганов был курносый, но разведчик обиделся.

— Человек красиво жил и красиво умер, — с горечью сказал он, — а вы хотите некрасивый нос. Нет! Пусть будет во всем красивый.
Портрет напечатали в дивизионной газете, и все, кто видел, решили: «Как живой», — и сохранили номер на память.
После Воганова немного осталось имущества, но остался пистолет ТТ казенного образца, такой, как у всех. И хотя не было на нем ни серебряных насечек, ни просто памятных знаков и был он, вероятно, не лучше других, — все командиры загорелись вдруг страстным желанием получить себе в вечное владение вогановское оружие, словно то был талисман славы.
— Да что у вас, своего пистолета нет, — рассердился подполковник, которого все одолели просьбами.
Но комиссар сказал, что вогановский пистолет по справедливости следует отдать тому командиру, чья батарея будет лучшей. И тогда началось в полку соревнование. Пистолет, которым отражал Воганов последнюю атаку немцев, стал призом.
Батарею, где некогда командовал Воганов, пополнили. В ней появились теперь новые люди, которые никогда Воганова и не видели, но с первого же дня они стали называть себя «вогановцами», потому что все в батарее звали себя так. И новый командир нисколько не обижался этим, а даже чуть-чуть гордился, словно и на него тоже падал отблеск бессмертной славы прежнего командира. Да, он гордился, что командует вогановской батареей, той самой вогановской батареей, которую знают все.
А потом приехали корреспонденты и стали жадно расспрашивать людей о Воганове, собирать малейшие подробности того, что еще недавно — ранним весенним утром — было былью, а теперь уже стало легендой, и по всей стране разнеслись вести о Федоре Воганове, о его короткой жизни — в трех словах ее рассказать можно — и о смерти, о которой надо тома писать и песни складывать.
Эта весть докатилась и до далекой сибирской деревушки, откуда был Федор Воганов родом. Статью о подвиге лейтенанта прочли матери, но из большой статьи, где много говорилось о мужестве и героизме, мать услышала только одно: Федюшка помер. И зарыдала. И упала на руки соседей и долго билась в их теплых руках. И соседи не утешали ее, а говорили просто:
— Плачь, Степановна. Плакать надо, но и гордиться надо!
А в сельской школе старый учитель вдруг прервал урок и голосом, дрогнувшим от волнения, сказал:
— Дети! Вот на этой парте когда-то сидел Федор Воганов, бессмертный герой… кудрявый мальчик…
И вся детвора оглянулась на эту парту, а нынешние обитатели ее — Ванюшка Гладких и Петя Костиков — вспыхнули и застыдились от счастья. А учитель все глядел на парту и слова сказать не мог.
А потом на колхозном собрании граждане постановили назвать село, колхоз и весь район именем Федора Воганова и воздвигнуть памятник на площади. И вскоре из города приехал молодой скульптор и стал выпрашивать у Степановны фотографию сына. Она собрала все, что могла, — и ту, где Федюшка кучерявый школьник, и ту, где он щеголеватый командир, — но все это не устроило скульптора. Ведь не мальчику он приехал памятник ставить, а суровому воину! И он создал памятник таким, каким мечтал: остались Федюшкины глаза, широко открытые на жизнь, и кудри, и лоб, но был это взрослый и суровый воин, словно продолжал Федор Воганов жить, расти, мужать и после своей смерти.
Я хотел бы увидеть этот памятник. Я завидую Воганову. Сколько еще отпущено мне жить? Может быть, час, может быть, месяц, год, тридцать лет. А Федор Воганов будет жить всегда. Вечно будет стоять он на площади у родного дома, во всем красивый и молодой, и потомки будут вспоминать его короткую жизнь и легендарную смерть и рассказывать о ней своим потомкам. Это — бессмертие.

Возвращение

Кровь не успевала замерзнуть на клинках, такая была рубка. Горячий пар шел от белых дубленых полушубков, такая была скачка. Трое суток в седле, трое суток в боях, только снежный прах из-под копыт, да храп коней, да свист шашек, да алые башлыки за спиной, как крылья. И, как во сне, — хутора, пожары, дороги, косматый дым над станицами, кровь

и пепел на снегу, и над всем — острый запах горячего конского пота, гари и дыма, старый, знакомый запах боя.
Победа окрыляет. Люди забыли о сне, об отдыхе. Одубели ноги в стременах, на валенках ледяная корка, обветрились, облупились лица, от победного казацкого гика охрипли глотки. Драться! Гнать и настигать врага, рубить на всем скаку, как лозу, поганой крови не стирая с шашек! И трофеи считать некогда, и трофейный коньяк пить некогда — гнать и гнать, вызволять родную донскую землю.
Еще долго могли без устали драться и нестись сквозь косматую снежную степь люди, да кони выдохлись, кони оказались слабее людей. Седые от инея, измученные, они дрожали всем телом, дышали трудно и хрипло, жадно глотали морозный воздух. И, взглянув на них, майор Дорошенко, командир казачьего полка, с сожалением понял, что и коням, и людям, а вероятно, и ему самому нужна передышка. Он сказал адъютанту кратко:
— В станице людям и коням отдых. До зари.
Казаки вошли в станицу поздним вечером. И все было, как всегда в эти дни. Бабы, смеясь и плача, припадали к стременам, обнимали ноги казаков, заглядывали в глаза и искали среди этих богатырей в мохнатых, покрытых снегом бурках своих мужей и сынов. И каждой казалось, что обязательно должен быть здесь, среди этих родных людей-освободителей, он — самый родной и желанный.
Штаб разместился в теплой просторной хате. Майор Дорошенко, отдав необходимые распоряжения и убедившись, что все в порядке, кратко сказал адъютанту: «Пошли!» — и вышел на улицу. Адъютант тотчас же выскочил вслед за ним, едва успев набросить бурку на плечи.
Адъютанта майора звали Васей Селивановым. Он только недавно с великим нетерпением окончил училище и с великим рвением выпестовал себе усы, полагая, что без усов нет казака. Нынешние бои были его первым огневым крещением. Его первый бой был победным боем. Он не знал горьких дней неудачи. И война представлялась ему такой, как он видел ее в эти три дня. Рубка лозы — вот что такое война. Веселая рубка лозы.
Майора Дорошенко он уважал, даже почитал, но немного побаивался. Побаивался не только как начальника, но и как человека. С веселыми, беспечными, легкими людьми Вася сходился быстро, хмурых же побаивался всегда, а майор Дорошенко был непонятно хмур, и молчалив, и лицом умен. Не таким должен быть казак, по мнению Васи, — казак воюет весело, и гуляет весело, и умирает весело, а у Дорошенко и в бою брови насуплены, губы сжаты и горькие морщинки у рта. Но однажды довелось Васе увидеть, как блестят мрачные глаза майора — страшным огнем горели они, братцы мои, и Вася вдруг почувствовал себя желторотым мальчиком и догадался, что есть в этой войне, и в жизни, и в людях что-то такое, чего еще не дано ему понять и почувствовать. Но об этом некогда было Васе подумать, веселая рубка лозы захватила его целиком. Одно только правило положил себе Вася по отношению к майору: лишних вопросов не задавать, понимать с полуслова, а длинные беседы держать при себе.
И сейчас, на улице, он не стал спрашивать Дорошенко, куда это они идут ночью, молча шел вслед за ним и даже догадок особых не строил. «Верно, караулы поверять идем».
Но Дорошенко вдруг остановился у одной избы и постучал в оконце.
— Куда это мы, товарищ майор? — невольно вырвалось у Васи.
— В гости.
Дверь распахнулась, и на пороге появился старик с лампой. Он удивленно всмотрелся в гостей и, вдруг узнав, радостно заулыбался.
— Господи боже ж мой, — засуетился он, — товарищи, да пожалуйте, пожалуйте ж в хату. Как же так? Боже ж ты мой, радость какая!
Казаки вошли в избу. Было в ней пусто, и холодно, и одиноко, и Вася никак, не мог понять, что им делать тут, в этой хате бобыля.
Майор тяжело опустился на лавку. Он молча следил за тем, как суетится старик, потом протянул к огню руки, сперва левую, на которой не хватало пальца, потом правую, и казалось, что за этим он и пришел сюда, — вот так посидеть у огня, помолчать, обогреться после дороги. Потом он потер руки, пальцы хрустнули, и поднял голову.
— Стало быть, не признал ты меня, дед?
— Ась? — удивленно отозвался старик.

— Не узнал, говорю?
Старик нерешительно подошел к нему и всмотрелся.
— Не взыщи, батюшка, — виновато сказал он, — памятью слаб.
— А мы встречались. И недавно. Целые сутки я у тебя жил.
— А-а, — обрадовался старик, — жил, жил… Много вас тут прошло, жило. Как же… только когда ж это? Запамятовал, не взыщи…
Майор вдруг резким движением сбросил с плеч бурку и, отстегнув от ремня полевую сумку, швырнул ее на стол. Вася следил за ним недоумевающим взглядом. Ничего не мог понять он в этой встрече. Майор что-то достал из сумки, выложил на стол, и Вася увидел, что это были Георгиевские кресты — два серебряных крестика на стареньких, потертых ленточках.
— Возьми свои кресты, дед! — громко произнес майор.
Старик растерянно взглянул на кресты, потом на майора, потом на кресты опять.
Вдруг он испуганно съежился.
— Может, я, — пробормотал он, — может, что обидное я сказал тогда? Может, оскорбил?
— Нет, чего уж, — усмехнулся майор.
— Оскорбить не помышлял. А только на сердце у меня в ту пору горько было. Может, и сказалось что невпопад, тебе в обиду. Так ты, родимый, не осуди.
Вася сидел теперь, широко раскрыв глаза, и глядел на этих непонятных ему людей, и все не мог сообразить, что между ними вышло.
— Дождевая вода и та горькая, потому она и камень долбит, — произнес майор. — Нет, я не обиделся на тебя, дед. Жестокие были твои слова, уж на что я камень — а и меня продолбили.
Старик машинально взял кресты в руки и потер их шершавой ладонью. Тускло блеснуло серебро под огнем лампы.
— У меня за немцев кресты, — дрогнувшим голосом сказал он, — ерманцами мы их тогда звали. Уж рубили, рубили! Ты не вини, родимый, старого человека. Горькое у меня в ту пору сердце на вас было…
— А у меня? — вдруг закричал майор, да так, что Вася даже вздрогнул. — А у меня тогда не горькое было? Думаешь, дед, легко мне было командовать «на конь» и прочь? Легкое, думаешь, дело из родных станиц уходить?
— Большое тогда отступление было, — пробормотал старик.
— Мне, может, каждая слеза станичной бабы в душу падала, душу жгла, — горячо продолжал майор. — Мне, может, каждый младенческий крик сердце на куски разрывал. Ведь и мои где-то так тоже… — Он заскрипел зубами и замолчал.
С минуту длилось молчание, и в тишине было явственно слышно, как хлопает о ставни ветер, словно птица крылом. Майор вдруг подошел к старику и, глядя на него в упор, бросил отрывисто:
— Помнишь, что ты крикнул мне… когда кресты бросал?
— Как не помнить, — пробурчал дед.
— И я помню. «Ироды, — крикнул ты мне, — опозорили вы русскую славу, опозорили!» — и швырнул свои «Георгии» в пыль. Так?
— Так, — хмуро отозвался старик.
— Я те кресты поднял. Черт его знает, всего навидался я на своем веку, не человек стал — камень, а крик твой, дед, до сих пор у меня в ушах звенит. Я ведь все понял, все понял: за кого ты счел меня тогда, что ты обо мне, казаке, думал. Вот твои кресты, дед. Я их три месяца за собой таскал. В сумке были, а словно я их на груди носил. Тяжелые твои кресты, дед. Тяжелые! Возьми их назад. Хочешь — на груди носи, хочешь — в сундук спрячь. Спроси у моего адъютанта, он тебе расскажет, как мы твоих ерманцев лупили. Не хуже вашего, дед. Расскажи ему, Вася.
И он вдруг расхохотался громко и весело, и это было в первый раз, что видел Вася майора смеющимся.
— Признал теперь, дед? Вспомнил? — смеялся майор.
— Признал, — улыбнулся и дед, — как не признать.
Он взял со стола лампу и поднес ее прямо к лицу майора. Огоньки загорелись в мрачных глазах Дорошенко.

— Ну, такой же? — усмехаясь, спросил он:
— Словно бы у тебя на лице рубцов прибавилось. Ась?
— Казаку рубец, что Георгиевский крест, — награда, — снова усмехнулся майор. — А и у тебя, дед, словно бы морщин больше стало!
— Война, сынок, всех метит. Военного человека шрамом, нас, отставных, — морщинкой. — Он поставил лампу на стол и вздохнул: — Как морщинам не быть! Что мы тут без вас пережили… Старики, бывало, ко мне сойдутся. Беседуем шепотком. «Ты, — говорят они мне, — Тимофей, старый казак, воевал, кавалер. Тактику и стратегию понимаешь. Как, мол, по-твоему, что дальше будет?» А какая у меня, товарищи, стратегия? Карт у меня нет, плантов нет, известия и те редко доходят. Видывал я старых немцев — ерманцев, поглядел и на нонешних. По моей стратегии выходит: должны мы фашиста побить, такой я себе план строил. А покуда он по моей хате ходит, моими половицами, как хозяин, скрипит… эх! — он задумался на минуту. — Или еще бабы забегут, то одна, то другая. «Ты б пошел, дед, кудахчут, артиллерию б послушал. Наступают наши аль отступают?» Ну, выйдешь на бугор, обернешь на восток ухо, слушаешь… Ветер шумит в степи, артиллерия бьет… Ухо слышит: уходят наши, удаляются. Ухо слышит, а сердце не верит. Не верит сердце, товарищи, уж такое у меня, у старика, сердце. Не верит оно, что может немец русского человека одолеть. Ну, вернешься к бабам и шепнешь им: «Не сомневайтесь, мол, ждите, вернутся наши, не обманут». Вот вы и вернулись, — он вдруг по-стариковски всхлипнул, затрясся весь, — вернулись, родные. Не обманули!
— Не обманули, дед?
— Не обманули.
— Эх, дед! — майор вдруг пошел к нему и крепко стиснул за плечи. — Эх, казачина!
Даже Васю взволновала эта сцена, чуть не всхлипнул и он. До сих пор земля, на которой он дрался, казалась ему только полем веселой сечи. А сейчас словно края раздвинулись, и увидел он дали, и всю землю под кровью и пеплом, и курганы в степи, и как стоят на них, обернув на восток скорбные лица, наши люди и прислушиваются. Ветер ли то шумит или наши идут? Беда ли то хлопает крыльями или, наконец, свобода?
— Что ж, долго погостите у нас али как? — улыбаясь и вытирая слезы, спросил старик.
— До зари, дед, — ответил майор. — Не одни у меня твои кресты, дед, не один ты ждешь. И за Северным Донцом дела у нас есть. И в Донбассе ждут. А в Запорожье ждут меня мои… — Он запнулся и через силу закончил: — Может, одни могилы меня там ждут, все одно торопиться надо.
— Эх, беда какая, — всплеснул руками старик, — и угостить-то нечем! Все проклятые гитлеровцы вытаскали.
— Найдем! Вася, фляжку! Давай, дед, стаканчики. Да вот есть один.
— Нет, постой, — хитро усмехнулся дед, — этот не годится. Я сейчас.
Он подошел к двери, поднял половицу и нырнул куда-то под пол. Скоро он появился оттуда. В руках у него были три старинные казацкие червленые чарки.
— Дедовские, — торжественно произнес старик, ставя чарки на стол, — уберег от немцев.
Майор стал медленно наливать водку.
На заре полк уходил из станицы. Откуда-то из-за Дона поднималось и растекалось по небу огромное красное солнце, и лучи его, как золотые сабли, замахнулись уж над Северным Донцом, словно солнце перешло в атаку.
Глядя на это солнце, встающее над синей от мороза степью, старик сказал майору:
— Кровавый этот год будет, сынок. Ишь заря какая.
Он стоял, осененный солнцем, седой, худой, без шапки, и голос его звучал пророчески.
— Великая сеча будет, сынок, ох, великая! И в той сечи погибнет, расточится враг. И люди очистятся, и братья соединятся, и мать встретит сына, и жена — мужа, и дети — отца.
Отдохнувший конь бодро взял рысь и вот уже вынес майора на околицу и понес, и понес навстречу новым боям и сече.
А старик остался у околицы. Долго с завистью глядел он, приложив ладонь ко лбу, на гарцующих казаков. И вздыхал, что молодость прошла и не вскочишь теперь на доброго коня, не понесешься в сечу рубить ерманца… Потом повернулся и пошел в станицу. Нынче условились старики собраться в колхозе поглядеть: чем весну встречать, чем пахать, чем сеять.

А над станицей, над степью, над казаками, окутанными снежной пылью, все выше и выше поднималось солнце, кроваво-алое, веселое, молодое солнце сорок третьего года.

Николай Тихонов

Весна

Дом был неимоверно запущен. Он выдержал и бомбежки, от которых кое-где вылетели стекла и рамы, он пережил и попадания снарядов, от которых кое-где на чердаке и в верхнем этаже возникали пожары. Он за зиму был замусорен, трубы лопнули, в ваннах и в умывальниках лежал сизый лед, снег пополам с грязью кучами возвышался на террасах, полы были с выбоинами, так как зимой рубили дрова прямо на паркете, стены закопчены, холодом и сыростью веяло изо всех углов.

Ремонтировали его собственными силами, горячо и неутомимо. Ивана Николаевича к этой черной работе никто не привлекал, да он бы и удивился, если бы его — хирурга — попросили стать вдруг чернорабочим. Дом нужно было привести в такое состояние, чтобы открыть в нем госпиталь, дом был хороший, крепкий, но, чтобы привести его в порядок, требовалось много сил. Все сбились с ног, особенно комиссар, не знавший покоя ни днем, ни ночью.

Дом кишел людьми. Там возились плотники, здесь маляры, но это были не плотники и не маляры. Это персонал госпиталя — врачи, сестры, дружинницы, санитары, — засучив рукава скребли, мыли, строгали, красили, чистили. В открытые окна врывался гул города: треск первых пущенных после зимы трамваев, гудки машин, далекий звук моторов сторожевых самолетов, грохот артиллерийской канонады.

В это утро Иван Николаевич спросил у засыпанной по глаза белой известкой санитарки:

— А где мне найти доктора Катонина?

Она сказала. Он подымался долго по широким лестницам, потом по узкой, с черными холодными перилами, и вышел на крышу. Крыша была плоская, большая, с беседкой в конце. Город был виден хорошо на большое пространство. Над морем красных крыш подымались отдельные шпили. Даль была весенняя, зеленовато-голубая. Вся крыша была завалена грудами ледяного мусора, из которого торчали доски и всякий хлам.

Доктор Катонин колол киркой этот зеленовато-грязный панцирь, льдинки со свистом отскакивали от удара, доктор не оборачивался, и Иван Николаевич молча следил за его могучими движениями. Катонин выпрямился, вонзил кирку в лед, постучал ладонью о ладонь и обернулся. Он, не удивляясь, взглянул на Ивана Николаевича и сказал:

— Вот, коллега, интересная работа, черт ее побери! Но ведь надо же скорее с этим безобразием разделаться. Нам ведь тут жить и работать…

Он плюнул на ладони и снова начал с яростью рудокопа рушить ледяную глыбу. Иван Николаевич, заложив руки за спину, смотрел то на него, то на город, лежавший внизу, смотрел с таким вниманием, точно видел его первый раз. А между тем на этой крыше он не раз бывал в жизни. Когда-то здесь был ресторан, веселый, шумный…

Катонин теперь работал не оглядываясь и не разгибаясь. Иван Николаевич на цыпочках покинул крышу. Морщины на его лбу сдвинулись еще резче, он нервно подергивал плечом.

На другой день он пришел в склад и, неопределенно указывая в дальний угол, где лежали инструменты, сказал заведующему:

— Дайте мне этот… как его, лом, что ли, или лопату, грабли, ну, в общем, вы сами знаете — убирать там, на крыше…

— Но ваши руки, доктор, — сказал заведующий. — Стоит ли вам? Уж как-нибудь без вас справимся.

— Что? — закричал Иван Николаевич. — Не заботьтесь о моих руках. Я сам о них позабочусь. Давайте ваше имущество. Я уже говорил с комиссаром: все в порядке.

С ломом на плече и с лопатой в руке он отправился в дальнее путешествие на крышу. Там он облюбовал себе угол в противоположной от Катонина стороне.
Тут возвышалась какая-то серая груда, куда вмерзли предметы самые неопределенные. Даже ножка сломанного стула торчала, как кость из студня. Он начал потихоньку, примеряясь к лому, и сначала очень болели руки. Он делал какие-то неправильные удары, от чего сильно уставал.
Тогда он перешел к вершине кучи. Он пробил ломом ступеньки, поднялся и начал лопатой сбрасывать вниз мусор, снег и лед. Через два часа работы он толкнул лопатой что-то твердое, и из-под снега, мягко свалившегося набок, показалась голова.
От удивления он присел на корточки и смотрел на мраморную голову, как на чудо. И в самом деле: было диковинно смотреть, что из груды не поддающегося описанию мерзлого вздора смотрело женское красивое лицо с волосами, собранными узлом на затылке, прекрасное и чуть надменное.
— Однако! — сказал он, потерев лоб. — Рассказать — не поверят. Ну что ж, будем продолжать.
Но теперь он уже осторожно снимал снег, колол лед и каменный мусор, в котором утонула статуя. Он спускался вниз, обедал, заседал, разговаривал с товарищами, но, странно, ловил себя на том, что он думает об этой статуе на крыше чаще, чем она того стоила. Каждый день он отправлялся наверх, и когда раз к нему направился на смену санитар с лопатой, он замахал на него ломом и сказал сердито:
— На всех, батенька, работы хватит. Идите к доктору Катонину, а тут уж я один обойдусь.
Но он сам сполз однажды с ледяного холма, подошел к доктору Катонину и осторожно потянул его за рукав.
— Да, что скажете, Иван Николаевич? — спросил тот.
— Хочу вас на консультацию небольшую…
— Да ведь у нас вечером как раз сегодня обсуждение… — начал Катонин.
Но Иван Николаевич перебил его:
— Нет, нет, консультация требуется тут, недалеко, два шага, очень вас прошу…
Катонин пошел с ним по крыше, и, когда они пришли в угол Ивана Николаевича, он увидел возвышающийся из грязного снега великолепный торс, странно белевший на фоне обгоревшей стены.
— Что это, по-вашему, за статуя? — спросил Иван Николаевич. — Я тут, знаете, невзначай археологом стал…
— По-моему, это Венера, Иван Николаевич, — сказал с видом знатока Катонин, и даже отошел на два шага назад, и смотрел, прикрыв глаза ладонью.
— По-моему, тоже, — сказал Иван Николаевич. — Вот всю жизнь по книгам знал, что Венера рождается там из волн, из морской пены, а тут уж бог знает из чего, но рождается, и рождает ее не Зевс какой-нибудь, а старый хирург с ломом в руке, а все-таки, между прочим, рождает. Обратите внимание — скоро кончу работу…
— У вас что-то быстро идет, — сказал завистливо Катонин, — хотя, действительно, у вас Венера, а у меня на участке ничего подобного.
В этот день Иван Николаевич медленно, усталый, но с довольной улыбкой проходил по этажам, где шел самый быстрый ремонт, и все привлекало его внимание. Он останавливался, чтобы потолковать насчет выбоины в полу, и советовал двум раскрасневшимся медицинским сестрам, изобретшим какую-то массу, чтобы ею заполнить трещины в полу, дополнить эту массу мастикой, он брал из рук растерявшейся санитарки большую кисть и красил косяки, говоря:
— Вы не так ведете линию, смотрите, надо сверху и ровно сводить на нет, а у вас вон какие полосы. Надо ровнее, ровнее.
Он кричал в глубину чистой, свежеокрашенной палаты:
— Ничего работа, трогательно, все голубое. Кто это придумал голубое?
Молодая дружинница с пунцовыми щеками звонко отвечала:
— Другой краски не было, товарищ хирург, пришлось голубой.
— Да я не в укор, — говорил он, — наоборот, прекрасно, а главное, чтоб чисто…
Вечером за ужином он говорил в маленькой докторской столовой:

— Удивительно, но весна действует, как курорт. Посмотрите, по улице приятно пройти. Народ повеселел, лица не зеленые, дети резвятся, того и гляди, сшибут тебя с ног своими роликами, девицы улыбаются, и даже развалины не так противны, как зимой, я уже не говорю о воздухе… Давеча у нас там, где было раньше бюро какое-то, что ли, на потолке разная всякая канитель, так взгромоздилась туда под потолок старушка, поставила стол круглый, на него — стол поменьше, на него — стремянку, и вытирает себе тряпкой резьбу, и хоть бы что. Цирковой номер…

С каждым днем дом приводился в порядок все больше. Уже было видно, что очистка удалась. Уже свежевыкрашенные столики стояли у кроватей, уже блистали вымытые до блеска окна, ванны вернулись к своей первоначальной белизне, в умывальниках шипела вода, все ходили довольные, вспоминали, как их испугала сначала вся страшная запущенность доставшегося им дома.

Последнее время хирург страдал бессонницей. Всегда весной он просыпался рано, а тут и совсем лишился сна. Долежав до зари, он встал, оделся, съел корку хлеба, посыпав ее солью, чтоб натощак не курить, свернул папироску и поднялся на крышу.

Он сел на перила и сидел, как школьник, свесив ноги. Он смотрел на Венеру, отрытую им, всю залитую розовым светом зари. Последние остатки мусора он удалил накануне, и теперь статуя стояла на своем пьедестале так же покойно, как до этой страшной зимы, не щадившей ни людей, ни статуй.

Огромный город купался в огненном море прозрачного света, точно какая-то световая энергия рождалась из гигантского скопления зданий, уходивших за горизонт. Город был таким молодым, таким сильным, таким весенним, что Иван Николаевич почувствовал непреодолимую жажду движения, легко соскочил с перил и начал ходить большими шагами по крыше, и все возвращался и останавливался перед статуей, и ему показалось, что она вот-вот засмеется от души над его смешными ощущениями, над его неуклюжестью, над его торопливыми шагами в такой час, когда люди еще спят.

Но утро было такое прекрасное, что он сидел, ходил, курил и думал о жизни, о городе, о войне, о тех, кому он спасал жизнь на столе, залитом кровью, о том, как он столько дней возился в грязи и в мусоре, в снегу с ломом, с лопатой, с киркой.

Он остановился перед статуей и сказал тихо:

— Ты знаешь, до чего человек силен, сильнее его свободной воли нет ничего на свете; и до чего талантлив — сделал такой город, создал такую статую! И какие-то жалкие пошляки хотят это все разрушить, — черта с два, пусть попробуют! Еще посмотрим, чья возьмет!

— Любуетесь трудом своих рук? — раздался сзади знакомый голос комиссара. — Статуя хороша, увлеклись, доктор? Чего так рано вскочили?

Доктор пошел рядом с комиссаром. Ему было неловко, что комиссар застал его врасплох с его мыслями, и он, отбиваясь от добродушных насмешек, сказал:

— Да бросьте, чем тут увлекаться, плечо у нее кривое, да и рука вывихнута…

— Так вы со специальной точки зрения смотрите, Иван Николаевич?

— Конечно, со специальной, — сказал Иван Николаевич и пошел с крыши, взяв под руку комиссара, который был в самом лучшем настроении, так как ему было ясно, что он сдаст новый госпиталь для эксплуатации на две недели раньше срока.

Юрий Слезкин

Старики

I

В переполненном вагоне дачной электрички Казанской железной дороги ехали два старика. Они стояли в проходе, согнувшись под тяжестью рюкзаков, опираясь на лопаты. Изредка они взглядывали друг на друга, и этот беглый, немой разговор изобличал давнюю их

близость и доверие, какие устанавливаются между людьми долголетней привычкой общения. Но в них нельзя было признать двух товарищей по профессии или друзей, связанных общностью интересов, вкусов и образования. Один из них был высок ростом, плечист, широкогруд, бородат и сед той ослепительной сединой здоровой старости, какая так же пленительна, как и дремучая темень юношеских волос. Другой был приземист, кособок, с наголо бритой головой, с жиденькими усами табачного цвета. Оба старика были худы. И на том, и на другом пиджаки, — у высокого из добротного английского сукна, у низкого — из грубошерстного, — висели мешками, как на спинке стула. Подтянутые щеки высокого еще не утратили живого оттенка, острые скулы его спутника казались бескровными. Но странное дело, старики точно бы переменялись глазами. И когда взглядывали они друг на друга, можно было подумать, что глаза высокого только лишь отражают печаль и усталость глаз его спутника, а глаза приземистого — бодрую жизнерадостность высокого. В действительности глаза их выражали только то, что присуще было каждому из них, только то, что сами они чувствовали.

Высокий старик уже много месяцев не расставался с печалью. Она овладела всем его существом, угнездилась так глубоко и прочно, что, казалось, ничто не могло побороть ее. Да с нею, пожалуй, и нельзя было бороться, потому что она уже не доходила до сознания, не давила грудь, даже не мешала работать, как в первые дни. Она только окрашивала все в какой-то странный, тусклый цвет, притущила зоркий блеск глаз, примешала к пище горький вкус полыни. Началось это с того дня, когда немцами был взят Смоленск — родной город высокого старика. В Смоленске он не бывал с детских лет, даже забыл о нем думать, никого из близких у него там не осталось, но когда весть о занятии этого города врагом дошла до старика, она долго и неотступно преследовала его, как весть о смерти далекого, но любимого друга. Упрямо не хотелось ей верить. Еще меньше хотелось говорить о ней даже с женою, от которой у старика не было тайн. И где-то не угасала надежда, что вот не сегодня-завтра случившееся станет не бывшим. Да, именно с того дня он физически ощутил, что такое война. Он смотрел на сообщившего ему эту новость коллегу-профессора недоуменным, растерянным взглядом, а видел перед собою Лопатинский сад и памятник Глинке… Там, у памятника, он обычно сидел перед тем, как идти в гимназию на экзамены, и первые такты «Сусанина» звучали в его ушах… Он, доктор исторических наук, редактор многотомной «Истории культуры», он ли не помнил, не знал о том, через сколько войн прошло человечество в своем долгом пути к культуре и счастью?.. А вот, поди ж ты, надо было пасть Смоленску, чтобы в сознании ученого война стала осязаемой сущностью.

Незваный вошел в дом. Он еще не принял живого образа, но он присутствовал здесь, рядом, в просторном кабинете ученого, среди его книг и рукописей. Во время работы он прерывал закономерное течение мысли. Тогда профессор отрывал глаза от листа бумаги и смотрел перед собою на портрет жены, стоящий на письменном столе. И в глазах все глубже залегала печаль…

В сентябре 1941 года он проводил жену на вокзал. Она уезжала со своим институтом в Ашхабад. Он сам настоял на ее отъезде.
— Но, Володя, почему же ты не хочешь ехать?
— Я — другое дело. Ты нужна институту.
— А ты?
— Я нужен Москве, — шутил он, но шутка не звучала весело, как бывало раньше.

В сущности, трудно было серьезно ответить на вопрос: почему он не едет? Он не мог

ехать. И дело даже не в том, что трудно было увезти с собою тот ворох материалов, который был ему нужен для работы. И уж отнюдь не было жаль бросать привычные вещи и любимое кресло за столом в кабинете. И не так уже важно было обязательно каждое утро проделывать пешком привычный путь со Спиридоновки к университету и Ленинской библиотеке. Из Москвы Владимир Петрович Баженов уехать не мог, вот и все.

— Но, послушай, а если… — у жены перехватило дыхание, — а если в Москву придут немцы?
Профессор резко обрывал ее:
— Они не придут.
— Но говорят…
— Я не хочу знать, что говорят!
Голос его неприятно взвизгивал. Он замолкал сконфуженно: он любил жену, никогда не повышал с нею голоса, они прожили дружно, душа в душу, двадцать два года. Они никогда не расставались. Оба высокие, здоровые, на диво моложавые, с начала вакаций они надевали рюкзаки и отправлялись в далекие экскурсии — на Кавказ, Алтай, Камчатку, Поморье… Бездетные, подвижные, любопытные, как дети, счастливые, как молодая влюбленная пара, они не уставали делиться друг с другом своими впечатлениями, своими мыслями, связывая, сопоставляя настоящее и далекое прошлое, сущее и должное, с той живостью и остротой ума, какие свойственны людям непрестанной, долголетней духовной жизни. Он — историк, она — геолог, он — шестидесятидвухлетний старик, она — сорокашестилетняя цветущая женщина — нашли общий язык и общую цель. Их нельзя было представить порознь и более молодыми, чем они были сейчас. Они ограничили себя тесным кругом друзей и знакомых. Почти все были значительно моложе их годами, но ровесниками по интересам и склонностям.
— Вы где сегодня?
— У Баженовых.
И каждый раз отвечавший, кто бы он ни был, невольно улыбался подобревшей, веселой улыбкой.

И вот вместо Баженовых в Москве остался один Баженов. С ним уже не было так легко и свободно, как с Баженовыми… Профессор пытался быть гостеприимным хозяином, но это не получалось. Он сам сознавал, что выходит плохо, но ничего поделать не мог. Ему мешал
незваный,
присутствие которого с отъездом жены стало особенно ощутимым…

Но почему же, почему Владимир Петрович не уехал вслед за женой?
В одну очень трудную минуту он сам задал себе этот вопрос.
Незваный похаживал по опустевшим комнатам, давал о себе знать в панических разговорах отъезжающих, в холодных калориферах, в суровом мраке обезлюдевших улиц, в всполохах далекого боя, в гудении аэропланов, вое сирен, возвещавших угрозу воздушного нападения, в грохоте разрывающихся фугасок…
Нет, уехать было нельзя. Надо было противиться отъезду всеми силами души. Профессор не признался бы не только жене, но и самому себе — он чувствовал себя виноватым в том, что не был в Смоленске, забыл о нем думать в его страшные часы… Так укоряешь себя в том, что не пришел к изголовью умирающей матери. Может быть, твое присутствие отогнало бы смерть? Это очень наивно и очень серьезно. Этим пренебречь нельзя.
Уехать из Москвы, Москвы студенческих дней, родины его духа и счастья, труда и мечты его, — значит поверить в неизбежность смерти.
— Но ведь все едут…
— Далеко не все!
— Но оставаться с немцами…
Вопрошающий многозначительно подымал брови. Баженов вскакивал с места, вытягивался во весь свой рост, багровел:

— Мне, знаете ли, эти шуточки не нравятся! Уезжайте шутить в другое место. Да! Подальше! Подальше!

Он кричал на такого же старика, как и он сам, на свое начальство в некотором роде, на представителя комитета Высшей школы. Он ушел, хлопнув дверью, и долго после не показывался в университете.

Он бродил по улицам Москвы. Тротуары занесло талым снегом, в лицо сыпало какой-то колкой дрянью, на душе было тошно, и неотвязно в ушах звучали подлые слова: «Остаться с немцами»… Как могло прийти в голову этому мерзавцу?.. Ну а если бы они пришли? Вздор, чепуха, гнусность! Их не пустят! В конце концов, если это свершится, мой рюкзак всегда готов… Зачем рюкзак? Если бы это случилось, все было бы кончено, и никакой рюкзак…»

Профессор поднял плечи, длинные полы его драпового пальто мешали ему идти. Он вспотел, он снял шляпу, старую шляпу, купленную когда-то в Италии… Он оглянулся по сторонам…

Сумерки пали на город. Было так же тихо и тревожно, как в комнате умирающего. Посредине улицы шел вооруженный патруль. В небо медленно подымались заградительные аэростаты. Они всплывали, как гигантские карпы из глубины пруда, — медленно и безмолвно. Владимир Петрович смотрел на них, задрав седую бороду. И внезапно неясная мысль сложилась в простые слова:

— Надо все вытерпеть.

> Это не была покорность судьбе. Нет, это была твердая решимость
> отстоять себя,
> преодолеть смерть, не отрывая своей судьбы от судьбы вот этой тверди, этого города.

Баженов произнес громко:

— Спасаться я не собираюсь. Нет! Авось как-нибудь уж помаленьку… отстоим.

II

Но декабрьской ночью ему все-таки пришлось взять свой рюкзак. В нем был портрет жены, университетский диплом, рукописи, две смены белья и мешок с сухарями, приготовленными женой.

В эту ночь Владимир Петрович хорошо работал. Он заканчивал большую, начатую еще до войны статью о происхождении славян. Он не слышал, как дан был сигнал воздушной тревоги, как забили уже привычные зенитки. Он никогда не спускался вниз, в убежище, со своего шестого этажа высокого нового дома. Он «притерпелся», по его выражению, к «каверзам незваного» и работал.

Внезапно оглушающий грохот, похожий на ливень, стеклянный дребезг и волна ледяного ветра заставили его вскочить на ноги. Невольно он глянул вверх, на потолок. Но потолок, освещенный отраженным светом настольной лампы, был невозмутимо бел, в кабинете все оставалось на своих местах и только двери в соседнюю комнату широко распахнулись…

На пороге никого не было, за порогом — потемки, из потемок разливался, властно овладевал комнатой лютый тридцатиградусный мороз.

Первым движением профессора было закрыть дверь. Он сделал несколько шагов и остановился. В квартире было тихо, стеклянный ливень замер. Его сменил испуганный гул голосов на лестнице, топот ног, крики, хлопанье дверей во всех этажах.

За порогом его встретили хаос, лунные искры на хрустящих под ногами осколках стекла, исковерканные оконные рамы, опрокинутая мебель, груда книг и сорванных со стен картин и платьев, загораживающих проход.

Владимир Петрович не пытался разобраться в этом хаосе. Он стоял в морозном лунном свете, запахнувшись в осеннее пальто, которое было на нем еще до взрыва, так как квартира едва отапливалась. Он глядел перед собою без жалости к погибшим вещам, но со все более возраставшим негодованием. Это была комната его жены. Здесь ом отдыхал от работы, здесь собрано было все, что привозили они из своих далеких экскурсий.

Теперь тут лежали только одни жалкие, никому не нужные обломки. И, негодуя, профессор прошел в спальню, ощупью, привычным движением руки нашел висящий на стене рюкзак

и, не оглядываясь, вернулся в кабинет. Там все еще мирно горела лампа под зеленым абажуром, освещая написанные мелким почерком листки рукописи.
Владимир Петрович, сурово хмурясь, сжав губы, собрал листки, прихлопнул их ладонью и засунул в рюкзак. Движения его были спокойны и уверенны, как у человека, твердо на что-то решившегося. Но Баженов знал только, что он отсюда уходит. Куда? Он себя не спрашивал. Он не забыл сменить осеннее пальто на шубу, надеть шапку и галоши. Он спускался по лестнице медленно, но неуклонно, крепко ставя ноги на ступени, засыпанные осколками. Его останавливали переполошившиеся, не устававшие обсуждать событие жильцы:
— А как у вас, Владимир Петрович? Ведь вы на самом верху! Вас не контузило? А окна разбиты? У нас все, все окна. Это ужас! Домком обещал фанерой… Но как же эту ночь? Вы подумайте… Фугаска разорвалась посредине улицы, и все дома…
— Не фугаска, а осколочная бомба…
— Все равно… по всему переулку выбило окна, говорят, есть жертвы, в доме напротив сорвало крышу…
Владимир Петрович отвечал односложно, жильцы решили, что старик подавлен происшествием, предлагали свои услуги.
— Советуем вам переночевать в убежище — там тепло, можно перенести диван, мы вам поможем…
— Нет, нет, благодарю вас…
Переулок был залит лунным светом, в безоблачном далеком небе гудели наши «ястребки», тревога миновала, народ толпился у неглубокой воронки, разворотившей мостовую. Дома зияли выбитыми стеклами, казались вымершими, стены точно поражены были оспой.
Владимир Петрович шел привычным бодрым шагом, знакомой дорогой. Он ни о чем не думал, испытывал особенную легкость, какая приходит с окончанием долгого тяжелого труда и в предвидении нового, всегда более тяжкого и значительного. Если бы в те минуты короткого своего пути он задумался над ожидающими его бытовыми неудобствами, он бы им только порадовался. Он был в том состоянии отрешения от привычного уклада, всегда радостно-волнующем, какое овладевает человеком, вступающим в новую полосу жизни, переезжающим навсегда в далекие края или призванным на фронт, отдавшим себя целиком велению долга.
В эту декабрьскую ночь профессор Владимир Петрович Баженов перешел «на казарменное положение». Война заглянула ему в глаза. Из вполне осознанной, глубоко продуманной отвлеченности она стала действительностью. Наводить привычный порядок в своей квартире, заново обживать ее казалось ненужным и даже физически неприятным. Но Владимир Петрович не был бездушным существом. Ученый, историк, он привык отдавать себе во всем отчет, анализировать, взвешивать, расценивать людские поступки, находить им объяснение и предвидеть их последствия. И теперь, шагая и сурово глядя вперед, он решал самый важный для себя вопрос — не то, где он ляжет отдохнуть в эту ночь и не простудился ли он на ледяном ветре, и не о том, что, в сущности, он остался почти голым, так как, кроме двух пар белья, лежащих у него в рюкзаке за плечами, все носильное платье разорвано в клочья, выброшено из шкапа и валяется с осколками стекла на полу… Он решал и тотчас же решил твердо, что первое побуждение остаться в Москве — правильное, что рюкзак он взял вовремя, что ноги его ведут по верному пути — в университет.
Там он примостился жить и работать, ничем не связанный и всегда готовый, готовый к тому, что предпишет ему война.
Владимир Петрович взглянул на часы. Было уже за полночь, хождение по улицам запрещено, но после тревоги в его распоряжении было двадцать минут. Не пройдет и десяти, как он будет на месте…
У ворот его встретил Афанасий Анисимович. Один из давних университетских сторожей, он исполнял теперь обязанности коменданта здания и начальника противопожарной команды.
Они обрадовались друг другу, как два закадычных приятеля, хотя до этого, ежедневно встречаясь, ограничивались только коротким приветствием да несколькими деловыми словами.

— Я к вам, Анисимович, — крепко сжимая обеими руками руку сторожа, говорил профессор, — устройте меня в каком-нибудь кабинете, останусь жить… Дома у меня фугаска учинила форменное безобразие!
— Ах ты, боже мой! Как же так, разве ж это можно? — засуетился Афанасий Анисимович, глядя на нежданного гостя любовным взглядом: — Как же ж можно вас пустить в кабинет? Здание у нас стоит в резервации, отапливаются только жилые помещения, а вы, милости прошу… ко мне! Согреетесь, потолкуем, обсудим специально по форме, найдем подходящее решение…
Он провел Владимира Петровича к себе в подвальное помещение. Там, за толщенными, столетними стенами, была жарко натоплена кафельная печь, мирно горела над столом лампа, стояли старинные ампирные кресла, пахло березовым дымком и только что смолотым кофе.
— Вот моя комната в полное ваше распоряжение, я одинокий, — говорил Афанасий Анисимович, быстро и споро доставая из комода чистое полотенце, убирая со стола кофейную мельницу, наливая в электрический чайник воду. — Вы, Владимир Петрович, разденьтесь, помойтесь, а я сбегаю сдам дежурство, пока чайник закипит, вместе кофейку попьем, нынче целых две пачки достал, только что обжарил и смолол, очень люблю этот напиток, ленинградская привычка…
Баженов с успокоенной улыбкой, ничуть не удивленный радушию человека, в сущности ему мало знакомого, повесил рюкзак на вешалку, снял шубу, огладил ладонью бороду и плотно сел в кресло.
Через полчаса, глухой ночью, профессор и сторож сидели за столом друг против друга, пили горячий, крепкий кофе, прикусывали сахар и вели душевный разговор, забыв о времени и усталости.
В те суровые дни люди безошибочно распознавали близкого человека и вплотную подходили друг к другу.
— Я, видите ли, всех этих громких слов не люблю, Афанасий Анисимович, — говорил Владимир Петрович, широко взмахивая широкой кистью левой руки и осторожно придерживая правой рукой стакан с кофе. — И должен вам сознаться, несмотря на свой крупный рост и сильную корпуленцию, никогда никаких физических аргументаций, а попросту драки, не уважал, а потому как-то так всю свою жизнь повел, что далек был от военных дел и в своем кругу обычно все недоразумения оканчивал мирным путем… Вообще улыбку на человеческом лице я ценю всего дороже, и вот, простите, ваше лицо мне потому так и привлекательно… Очень уж у вас, Анисимович, улыбка хорошая.
Баженов откинулся всем корпусом на спинку стула и, прищуривая голубые глаза, ласково оглядел своего хозяина.
— Ну, что вы это! — запротестовал Афанасий Анисимович и невольно заулыбался, но отнюдь не польщенно и заискивающе, а скорее с сочувственной снисходительностью, как улыбаются милой детской шалости. — Я, Владимир Петрович, напротив, человек суровый, суровую то есть прошел школу, и повоевать мне пришлось и в японскую, и в империалистическую, и в гражданскую войну, только теперь в полных инвалидах благодаря контузии…
— Нет! Нет! Это неважно! — замахал на него левой рукой Баженов. — И вы меня прекрасно понимаете! В том-то и штука, я хочу сказать, что мерзавца ударить одно удовольствие! И всего лучше ударит тот, у кого такая вот улыбка добрая, как у вас! Именно так!
Он прихлопнул ладонью по столу.
— Но когда вы будете бить человека за дело, вы никаких громких слов говорить не станете и оправдываться не будете, это побуждение вашего сердца. Так вот, в такие времена, как сейчас, самое главное, по-моему, отдаться велению сердца!..
Владимир Петрович встал из-за стола и со стаканом в руке прошелся по комнате. Афанасий Анисимович следил за ним сочувствующим взглядом.
— Я очень люблю свою жену, Афанасий Анисимович, — после короткого молчания произнес Баженов и остановился перед своим собеседником. — Об этом как-то до сих пор никому не приходилось говорить, и вы мне простите…

Честно сказать, у меня в жизни было только два поглощающих меня чувства — любовь к жене и к моей работе.
Баженов оборвал, точно пытаясь представить себе, как это было хорошо, но тотчас же заговорил снова:
— И скажу вам, так же, как я не думал об этой своей любви, а просто жил этим чувством, так точно я не думал о том, что мне необходима Москва, этот университет, мои слушатели студенты, наконец, русский язык для выражения моих мыслей, а просто обитал в Москве, общался с молодежью и всего лучше изъяснялся с людьми по-русски… Вам понятна моя мысль?
— Очень даже понятна, — готовно отозвался Афанасий Анисимович.
— И мне в голову не приходила бредовая мысль, что кто-нибудь может меня разлучить с женой, выселить из Москвы, лишить меня моих учеников, запретить мне говорить по-русски! Именно не приходило в голову!
Профессор с каким-то недоумением растопырил пальцы левой руки, глянул на них, потом на стакан, зажатый в правой ладони, торопливо глотнул кофе и поставил стакан на стол.
— И вот, когда, началась война… Вы знаете, я историк, я кое в чем разбираюсь, кое-что умею предвидеть, и война с Германией, великая схватка с фашизмом не явилась для меня неожиданностью. Самое существо фашизма мне тоже достаточно известно. Наконец, гитлеровские дела сами говорили за себя… Одним словом, логикой вещей я был подготовлен ко всему…
Владимир Петрович снова взмахнул рукой, растопырив пальцы:
— Я даже записался в ополченцы… На комиссии оказалось, что сердце у меня с каким-то выдыхом! И меня прогнали.
Голубые глаза профессора, с детской доверчивостью обращенные к своему слушателю, потемнели.
— Не будет родины — не будет меня, — очень тихо и глубоко закончил он.
Афанасий Анисимович, в свою очередь, зашевелил стрижеными сивыми усами и произнес одно только слово:
— Да… а…
— И понял я это, когда провожал жену в Ашхабад, — прервал наступившее молчание Баженов, — потому, что это и о ней я так подумал… Отправил ее одну, а сам остался здесь… как делал это всегда во всех наших экскурсиях, совершенно, конечно, бессознательно, — в трудные минуты, в грозу например, прятал за свою спину… Но из Москвы он меня не выселит!
Последнюю фразу Баженов произнес так, как если бы спорил с кем-то. Он даже вскинул голову, седая борода его распушилась. Он был похож в эту минуту на разгневанного буйвола, как известно, очень благодушного животного, но в редкие минуты чрезвычайно свирепого.
— Именно тогда я это твердо почувствовал, — закончил свой монолог Владимир Петрович, — не подумал, а почувствовал и даже не пытался себе объяснить почему…
Он машинально пододвинул свой пустой стакан и смотрел, как в него наливает кофе все еще пошевеливающий усами Афанасий Анисимович.
Они пили кофе молча, но именно в эти минуты всего лучше поняли друг друга. И когда и у того, и у другого стаканы были опорожнены, слово взял Афанасий Анисимович:
— Из Москвы он нас не выселит нипочем! Это безусловно. Потому что выселить нас из Москвы можно только на тот свет, а жизнь свою, как мы ни стары, все-таки защищать будем! И к тому же, Владимир Петрович, я так рассчитал: мне шестьдесят пять лет от роду, смерть я в глаза много раз видел, и все равно скоро увидать придется в окончательный раз… так какой мне толк спину ей показывать? А еще, Владимир Петрович, я вам скажу: для каждого человека есть свой предел отступать и в свой час на своем поставить. И тут нам с вами — наш предел и наш час.
— Да, да! Именно так! — закричал торжествующе Баженов, отодвигаясь от Афанасия Анисимовича и снова разглядывая его любовно и удивленно: — Замечательно вам удалось это выразить! Совершенно точно и глубоко правильно!
С той ночи Владимир Петрович и Афанасий Анисимович стали жить вместе и так дружно, будто бы знали друг друга сызмала. Они больше уже не возвращались к тому разговору,

который открыл им самих себя и их близость. Они попросту занялись каждый своим делом, и дело их спорилось куда лучше именно оттого, что они жили вместе. И не только это — просто оказалось выгодным вести одно хозяйство двум старикам, до войны привыкшим жить совершенно по-разному. Как-то получилось так, что различие и в привычках, и в бюджете профессора и университетского сторожа в военное время почти совсем сгладилось: оба они получали рабочие карточки, оба были прикреплены к одной и той же булочной и ели одинаковый хлеб…

Сердце не обмануло Владимира Петровича. Все, кроме рюкзака с двумя сменами белья и рукописями, оказалось лишним. Ничего, кроме стола и дивана в комнате университетского сторожа, не требовалось профессору, чтобы продолжать работу и жить.

III

Вышло так, что статья о происхождении славян разрослась в обширный труд о славянах, истории их культуры, их связях и отталкиваниях, их значении в общем хоре европейских народов. И само собою, исподволь, отдаваясь течению своих мыслей, углубляясь в изучение источников, Владимир Петрович нашел свое оружие в общей борьбе, и с каждым днем это оружие делалось острее и разило более метко.

Баженов ушел в работу целиком, всеми своими помыслами, но залегшая в глазах его печаль не стиралась. Он тосковал по жене. Он писал ей письма и, долго не получая ответа, томился. И хотя жена его была далеко на Востоке, Владимир Петрович каждый раз, читая о немецких зверствах в оккупированных областях, переживал их как личное оскорбление, как тревогу за жену.

В такие минуты, скомкав газету, он надевал шубу и выбегал на улицу, на мороз, большими шагами отмеривал тротуары, заваленные снегом, взыскательным, строгим взглядом оглядывал противотанковые заграждения на Садовом кольце или железные надолбы в прилегающих к Садовой переулках, заиндевевшие аэростаты, заснувшие в глубине бульваров…

По улицам разъезжала конная милиция, на перекрестках стояли постовые, у подъездов, переминаясь с ноги на ногу, поеживаясь от холода, разгуливали дежурные жильцы. Москва, скованная морозом, по-необычному молчаливая, стояла незыблемо.

И Владимир Петрович, впитывая в себя эту незыблемость, возвращался домой, в подвал к Афанасию Анисимовичу, с запасом сил и нетерпеливым желанием поскорее засесть за работу. «Да, все правильно, — казалось, говорил он себе, придвигая чернильницу и берясь за добрую старую ручку, стертую до блеска его сильными пальцами, — и то, что я остался в Москве, и то, что я живу с Анисимовичем, и то, что именно сейчас пишу о славянах…»

А однажды, поздним вечером, Владимир Петрович, оторвавшись от рукописи, услышал задыхающийся от радостного возбуждения крик Афанасия Анисимовича:

— Скорее… Владимир Петрович! Слушайте… сейчас экстренное сообщение Информбюро!

Баженов выключал радио во время работы. Афанасий Анисимович торопливо включил его. Старики подошли к репродуктору.

Владимир Петрович слушал, прикрыв глаза, ухватившись рукою за бороду, не шевелясь. Афанасий Анисимович, напротив того, непрестанно переминался с ноги на ногу, шевелил усами, подергивал плечами, лукаво и радостно поглядывал на Баженова, нетерпеливо ожидая, что он на все это скажет. Губы его шепотком повторяли названия городов.

— Слышите? Слышите? — наконец, не в силах сдержаться, вскрикнул он.

«Возвращено 400 населенных пунктов, в том числе города: Истра, Михайлов, Епифань, Солнечногорск, Сталиногорск, Клин…»

Радио замолкло. Владимир Петрович поднял глаза. Взгляды стариков встретились. И внезапно, весь полный слов, восклицаний, трепета, Афанасий Анисимович затих. Голубые глаза профессора излучали такое тихое, ровное сияние, какого еще никогда не видел у него его сожитель.

Владимир Петрович сильным движением протянул руку и наклонился. Оба, не ожидая того, поцеловались.

И только поздно ночью, в потемках, лежа на диване, прикрытый шубой, Баженов сказал:

— Большое счастье всегда приходит с болью… — И, помолчав: — Вы спите, Афанасий Анисимович?

— Нет, — тотчас же ответил тот.

— Помнится, лет десять тому назад тяжко заболела Надежда Васильевна. Я очень испугался сперва за нее… потом как-то приноровился к ее болезни в повседневных хлопотах. И вот однажды ночью в полудреме я услышал ее голос. Я вскочил, она звала меня, голос ее был… Я не знаю, как это выразить… точно умытый свежей водой… это после нескольких дней забытья, хрипа и ужасающей температуры… Она смотрела на меня светло и ясно… Я понял всем существом, что кризис миновал, что смерть отошла, и вот тут… у меня так сжалось сердце, такой суеверный ужас охватил меня, что я едва устоял на ногах… и, только сев у ее изголовья, почувствовал всю полноту счастья…
Владимир Петрович смолк. Долго плотная тьма вокруг оставалась безмолвной и нерущимой. Но вот скрипнула кровать и вспыхнул огонек. В его зыбком свете Баженов увидел лицо Афанасия Анисимовича. Тот озабоченно огляделся, держа над головою зажженную спичку, нашел глазами на стуле восковую свечечку и зажег ее.
— Электричество опять не действует, — сказал он и, накинув на плечи овчинный полушубок, зашаркал в глубину комнаты.
— Вы что это? — спросил недоуменно профессор.
— Тут я приберег… — из затемненного угла прозвучал ответ. — А сегодня выдали нам по карточкам рыбным кетовую икру…
Он уже возвращался обратно, плотно прижимая к груди стеклянную банку и прихватив одной рукой тарелку с хлебом и двумя стаканами, а другой бутылку вина.
— Портвейн белый, высший сорт, Армения, — объяснил он деловито и сел на край дивана у ног Владимира Петровича. — Подкрепиться не мешает, как вы находите? Я что-то очень проголодался…
Баженов готовно поднялся на локоть, пододвинул стул, принял из рук старика вино и хлеб.
— Представьте себе, я тоже голоден, только никак понять не мог, чего мне хочется…
— Ну, выпьем, — сказал Афанасий Анисимович и поднял на уровень глаз полный медовой влаги стакан.
— Выпьем, — ответил Баженов.
И они чокнулись.

IV

Надежда Васильевна писала мужу, что у них в Ашхабаде уже весна, цветут абрикосы, на базаре продают редиску и розы-примеры, в полях идет посевная, что в институте развернулась интересная работа по изучению солончаковых подпочв.
«Дело в том, — писала она, — что, как ни парадоксально, бесплодная сама по себе почва может служить, при известной обработке, прекрасным туфом для истощенных земель, повышающим их урожайность… Ты представляешь, какую бодрость вселяют в меня эти исследования, и не только потому, что я люблю подымать целину, а потому, что сейчас особенно животворно сознание всепобеждающей жизни…»
Читая эти письма, Владимир Петрович живо представлял себе жену такой, какой она и поднесь осталась для него: с белозубой улыбкой на круглом, румяном лице, с тяжелым узлом волос цвета спелого каштана, цветущей женщиной, полной здоровья, энергии и неисчерпаемой любознательности.
Но он не верил тому, что она с ним сейчас до конца искренна. Не в своих делах, чувствах, переживаниях и мыслях, а в том, что вокруг нее весна и что торжество этой весны точно заслонило от нее отсветы пожарищ. «Это она меня подбодрить хочет, чудачка, — думал он. — Какая там, к черту, весна, розы-примеры!»
Когда в один солнечный, уже по-настоящему весенний день Афанасий Анисимович объявил ему, что во всех профсоюзных организациях и учреждениях пошел разговор об огородах и о том, что и Владимиру Петровичу следует подумать о получении участка, семян, а главное картошки, Баженов сначала не понял, что от него хотят, потом посмеялся над вздорностью затеи и, наконец, по-настоящему разозлился:
— Ну, что вы, Афанасий Анисимович, в самом деле! Ведь это же анекдот! И преглупейший к тому же! И даже оскорбительный! Какая-то картошка! Я не умею копать землю. Я не мешочник, не скопидом! Мне не нужны, мне противны запасы! Мне хватает того, что дают по карточке.

— И очень прекрасно, — терпеливо и ласково усовещивал его Афанасий Анисимович, — и даже неудивительно ничуть, что вы не мешочник и там еще как! Но ведь картошка нужна! Всем нужна.
Афанасий Анисимович не обижался на резкость. Владимир Петрович отходил быстро. И не успевал багрянец сойти с его щек и лба, как он говорил примиренно:
— Вы правы тысячу раз, и все это вполне разумно… но мне не по душе… ничего не поделаешь. Вы уж как-нибудь без меня обойдитесь — урон невелик… И знаете что: есть у меня по Казанской на 42-м километре дача и участок земли, так вот и валяйте… в полном вашем распоряжении…
— Ну, что же, спасибо, — добродушно соглашался Афанасий Анисимович, — надо будет съездить, взглянуть…
И спустя недолго он объявил:
— Отменный участок, солнечный! Можно вполне обработать лопатой. В воскресенье поедем.
— Но я вам сказал…
— А кто же вас неволит? Помилуйте! Но разве можно копать, не оформив? Вы хозяин участка, вам следует в поселковом Совете заявить обо мне…
— Я не поеду. Доверенность получите в письменной форме.
— Напрасно… погода чудесная, одно удовольствие!
— У меня спешная работа.
Работы у Владимира Петровича, и точно, к весне стало значительно больше. Наладились занятия со студенческой группой, возобновилась подборка и подготовка к печати материала по «Истории культуры», доклады в красноармейских частях, так замечательно излагающие борьбу русского народа с врагами, посягавшими на нашу родную землю.
И это обилие интересной, поглощающей его целиком работы тем более радовало Владимира Петровича, чем меньше оставалось свободного времени для сторонних размышлений. Он уходил от всего, что могло ему напомнить мирные дни, что выбивало его из того «казарменного положения», в какое он сам себя поставил, и никогда не признался бы, что попросту боится снять свой походный рюкзак.
Но Афанасий Анисимович с непонятным для Баженова упорством стоял на своем.
— Вам обязательно надо поехать, — повторял он все чаще, и мягкая улыбка шевелила его усы. — Там же воздух какой — сосновый!
Владимир Петрович уже перестал возражать.
— Скажите мне честно, — наконец, спросил он его, — почему вам нужно тащить меня с собою? Ну, какой я помощник?
Афанасий Анисимович ответил не сразу. Надев очки, он возился с иголкой и ниткой, лицо было сосредоточенно и серьезно.

> — А вот почему, — внезапно раздался его несколько напряженный голос, — потому, что это вам не высокогорная экспедиция какая-нибудь, а жизнь… И надо, как полагается, все делать
> для жизни.

Голос смолк так же неожиданно, как и раздался. Владимир Петрович оглянулся и увидал: сидит Афанасий Анисимович за столом, поднял к свету лампы руки, старательно пытается вдеть нитку в иголку и никак не может.
Тогда Баженов решительным шагом подошел к старику, взял из его рук иголку и нитку и, вдев нитку в игольное ушко, подал ее ему.
— Я, собственно, не совсем ясно понял вашу мысль, — молвил он, — но вы меня переупрямили, — так и быть — едем.
И они поехали.
Когда, вооруженные лопатами, оба старика вынырнули из метро у прохода на Казанский вокзал и, подталкиваемые толпой, протиснулись мимо контроля в застекленный зал ожидания, Владимир Петрович едва не повернул обратно.

— Это что же такое? — крикнул он, остановись у загородки. — Как вы проверяете документы, гражданин милиционер? Вам предъявляют паспорт и справку! Специальную справку на право проезда, а вы ее даже не развернули!
— Да проходите, гражданин, не задерживайте! — закричали сзади возмущенные голоса.
Но Баженов потрясал бумажонкой перед озадаченным контролером, прекрасный в своем наивном гневе, с развеянной копной серебряных волос над покрасневшим лбом.

> — А если я жулик? Мешочник? Спекулянт? А если я еще того хуже — немецкий шпион? Надо читать документы!
> Читать!
> Мы на войне, батенька мой!

Уже за спиною Баженова ругались и толкали в спину локтями, и смущенный Афанасий Анисимович пытался оттащить его в сторону, а Владимир Петрович все не унимался:
— Я не уйду отсюда, пока не прочтете!
И тогда случилось не жданное никем и всех развеселившее: контролер широко улыбнулся и, взяв под козырек, молвил с учтивой готовностью:

> — Мне вашу справку читать незачем, товарищ профессор Баженов! А у кого
> надо
> , мы читаем, уж будьте уверены!

И так сказаны были три этих последних слова, и так многозначительно весело глянули молодые глаза в голубые глаза Владимира Петровича, что тот не мог удержаться и, просияв, схватил подтянутую к козырьку руку милиционера и крепко пожал ее.
V
Вагон был переполнен. Электричка уносила их все дальше от города, в простор весенних полей. Ветер ворвался в приспущенные окна. Воздух казался прозрачно-зеленым, как счастливый камень александрит. Из этого камня Владимир Петрович когда-то в первый год женитьбы подарил жене ожерелье. И, вспомнив об этом, Баженов взгрустнул.
Очарованье ранней весны всегда кажется грустным городскому человеку, впервые попавшему на вольную волю. Свежее дыхание земли и молодых трав пьянит и клонит ко сну, тело наливается сладкой и безвольной истомой. Призакрыв веки, опираясь всем грузом своих шестидесяти лет на рукоятку лопаты, Владимир Петрович следил за мимобегущими строениями пригорода, за уносящимися назад сизыми грядками огородов, ржавыми кучками железного лома, сквозь который уже пробивалась трава.
Три года назад они жили на даче с женой все лето. Почему им пришло в голову построить эту дачу? Им — завзятым бродягам, каждую весну уезжавшим на далекие окраины?.. Тогда все спешили обзавестись дачами, квартирой, — казалось, надолго и прочно вживались в счастливую, тороватую жизнь… И как гром с ясного неба — война… И вот — брошены, обезлюдели или разбиты еще необжитые квартиры и дома, кинуты на произвол судьбы дачи… И в дачном поезде едут в воскресный день не веселые дачники, а горожане, чтобы потрудиться над клочком земли…
Давно уже отстучала убегающая от них электричка. Они медленно шли по широкой лесной просеке. Рыжая хвоя, влажная от росы, приятно пружинила под затекшими ступнями, скипидарный дух щекотал ноздри, какие-то птахи чувикали и суетились в сосновых ветвях.
Они шли мимо заколоченных дач.
— Вот она — моя собственность, — сказал Баженов.
Он остановился у калитки, но не распахнул ее. Он ухватился обеими руками за зубчатые колышки забора и глядел на выкрашенный охрой фасад своей дачи с печальным безразличием. Окна были забиты фанерой, над столом на балконе висел унылый электрический шнур без патрона. К шнуру была привязана и болталась под дуновением ветра какая-то ярко раскрашенная игрушка.
— Видите? Попка! — произнес Владимир Петрович и усмехнулся: — Все, что осталось от былого уюта и мира…

Резким движением он дернул калитку с крючка, тяжелым шагом поднялся на балкон, сорвал со шнура попугая, кинул его далеко прочь от себя и только тогда успокоение опустился на отсыревшее плетеное кресло.

VI

Потом они копали грядки. Впереди шел Афанасий Анисимович, за ним едва поспевал профессор. И казалось странным, что маленький, щуплый, кособокий человечек куда проворнее и сильнее большого, широкоплечего, крепко упирающегося ногами в землю старика.

Со лба Владимира Петровича катился пот, серебряные пряди волос потемнели от влаги на широком лбу, голубые глаза точно выцвели и ослепли, руки механическим движеньем то подымали лопату, то опускали ее, земля не давалась, скрипело тугое сплетенье корней, бурый дерн с нежным зеленым пухом молодой травы, как упругая кожа, упрямо сползал с лопаты. Тяжело дыша, Владимир Петрович молчал, отдавался бездумью. Зато Афанасий Анисимович становился все веселей и говорливей.

— Земля не дается сразу, — объяснял он, — с ней повозись… Чем глубже лопатой, тем легче ее брать… так-то вот…

И, приговаривая, он вкусно, как нож в головку сыра, погружал лезвие лопаты в сырой ком земли и одним уверенным движением выбрасывал лоснящийся, дышащий кусок.

— Без злости нельзя, — внезапно продолжая начатое давеча Владимиром Петровичем, говорил он. — Это вы правильно… жить хочет всякое, а жизни достойно — по строгому выбору. Я всегда уважал огородников или там садоводов вроде Мичурина. Вы только гляньте — год не прошел, как не был здесь человек, а так заросло! Чем подлее трава, тем скорее растет. В ином месте, говорят, от нее только огнем и спасешься.

Он подкинул на лопате, как блин на сковороде, кусок дерну, отряхая с него землю, внимательно разглядывая сплетенье тонких, как нити, корней.

— Ведь как хитро заплели! Попробуй тут, приживись какое-либо доброе семя! Черта с два!

И, откинув дерн, впервые разогнул спину и глянул в упор на Баженова:

— Я вот так и смотрю, Владимир Петрович: если мы взаправду хотим доброму семени жизни, так нам только одно и остается — жечь! Огнем выжигать до последнего!

Нежданная сила, с какой были сказаны эти слова, внезапность гнева, вспыхнувшего в добрейших маленьких глазках Афанасия Анисимовича, поразили Баженова. Он слушал до этого бойкую речь друга краем уха, радуясь усталости, прогнавшей печальные мысли и воспоминанья.

— А вы думаете, лопатой нельзя? — спросил он недоуменно.

Афанасий Анисимович поймал его растерянный взгляд и рассмеялся.

— Да нет, Владимир Петрович, управимся.

И снова взялся за лопату.

Так проработали они до полудня. В полдень Афанасий Анисимович поставил на плиту чайник и достал из рюкзака хлеб, пайковую селедку и головку чесноку, сбереженную им с прошлой осени.

Владимир Петрович пил, обжигаясь, из кружки чай, ел черный хлеб с селедкой, потом лег на балконе, спиною на жесткой садовой скамейке, смотрел вверх на небо, слушал густое пенье аэропланов, все тело его ныло, на ладонях вскочили пузыри, но, пожалуй, это было даже приятно, напоминало высокогорную экскурсию, бездумье далеких стоянок. Он так и не вошел в дачу, не заглянул в свою комнату, не полюбопытствовал, все ли осталось на месте.

Он проснулся, разбитый физически, но легкий духом, помолодевший. Он жмурился на солнце и улыбался.

— Теперь мне совсем не поднять лопаты…

Но не только поднял ее, но и начал копать и копал уже не машинально, как раньше, а с любопытством, с задором, потом разозлился, стиснул зубы и почти что догнал в проворстве Афанасия Анисимовича. На этот раз молчали оба, мысленно отмеривая расстояние до того места, когда можно будет распрямить спину и передохнуть. Отдыхали коротко, строго, выравнивая дыханье, занятые только одним — до вечера кончить, с тем чтобы завтра по росе можно было бы сажать.

С заходом солнца поднялся туман, тучей налетели комары, пришлось уйти в комнаты, не зажигая огня, в темноте ощупью найти кровать и завалиться спать. Спать хотелось смертельно, но сон не пришел.
— Афанасий Анисимович, что вы этим хотели сказать: «Только одно остается — жечь»?
Но Афанасий Анисимович уже легонько посвистывал.
И тотчас забили зенитки. Раз за разом шесть раз, потом тишина и снова — шесть ударов, и еще, и еще… Разрывы, казалось, смыкались над домами, деревянные стены дрожали, звякала где-то в шкафу забытая посуда. Владимир Петрович нашарил под кроватью ботинки и, надев их, вышел в сад.
Он не узнал его. Сад показался сказочным, кусты, деревья и только что вскопанные гряды плыли в лунном тумане, уплывали в зыбкую даль. Над ними в небе метались полосы света, то падая глубоко в лесную чащу, то уходя ввысь, скрещиваясь, ловя кого-то. Ритмичный, короткий звук в октаву все приближался, навстречу ему, как искры потешных огней, взвивались трассирующие пули, и в полосах света белые клубки возникали и гасли, возникали и гасли…
Владимир Петрович неотрывно глядел в небо. Он смотрел жадно, как смотрят дети на пожар, еще не отдавая себе отчета в серьезности происходящего. Но внезапно, молодым движением он подался вперед: там, где скрестились лучи прожектора, сверкнул и забился комарик.
— Есть! — воскрикнул Баженов. — Попался!

Горячая радость прихлынула к сердцу. Вот он —
незваный
, вот! Только бы не упустили!

Если бы кто-нибудь со стороны глянул сейчас на Владимира Петровича, ему показалось бы, что этот большой человек с серебряной гривой танцует. Он припрыгивал, склоняясь то в одну, то в другую сторону вслед за движеньем лучей в небе, точно связанный с ними крепкими нитями.
— Вот, вот! — повторял он, взмахивая руками, полный гнева и торжества.
Лучи неуклонно уводили комарика влево, туда, где всего чаще взметывались цветные искры и гудели разрывы. Порою казалось, что вот — увернулся, пропал… Тогда Владимир Петрович испуганно ахал, перебегая на другое место, потом ликовал снова:
— Нет, не упустили!
Комарик рванулся вверх, накренился, вспыхнул и низринулся в тьму, оставляя огненный хвост…

— Готово! Афанасий Анисимович, готово! — заорал Баженов не своим голосом и, не помня себя, как, бывало, мальчишкой за змеем, бросился в гущину леса. Добежать, найти, своими глазами увидеть
его
— повергнутым, видеть
его
— мертвым. Врага.

Владимиру Петровичу казалось, что он бежит сказочно быстро, но бежал он все медленней, тяжело ступая разбитыми усталостью пятками по сырому валежнику и, наконец, споткнувшись, чуть не упал.
Над ним сомкнулись мохнатые, густо пахнущие смолой ветви, вверху в небе гудели моторы, земля дрожала от их веселого гуда, или, может быть, дрожали колени старого, усталого человека?..
Он оперся о шершавый липнущий ствол сосны обеими ладонями, тяжело переводя дух, сконфуженный, но счастливый.
— Какое мальчишество!.. Воображаю, как посмеется Афанасий Анисимович!
Но Афанасий Анисимович спал мирным сном. Пушки не разбудили его! Владимиру Петровичу даже стало досадно — уж пусть бы посмеялся, а то спать в такую минуту! Он

собрался разбудить его, протянул руку, чтобы нащупать спящего, но наткнулся на собственную кровать, привалился к ней и тотчас же заснул мертвым сном…
— Вставайте!
Владимир Петрович разом сел.
Над ним с полотенцем в руках, с мокрыми височками, с румяным от холодной воды лицом стоял Афанасий Анисимович. В окне была отодрана фанера, створки распахнуты во всю ширь, и росистая зорька глядела в комнаты.
Все было так, как бывало раньше при пробуждении. Тот же письменный стол напротив, с полкой над ним, со стопкою запыленных книг. Та же тахта, обитая цветастым репсом, и кресло с такой же цветастой подушкой, примятой тяжестью тела…
Ничто не ушло! Это не было мыслью, это было как электрический ток, пронизавший радостным трепетом с головы до пят. Все живо и будет жить!
Баженов вскочил на ноги. И тотчас же в прозрачном утреннем небе пронеслось ночное виденье — скрещенные стальные клинки прожекторов и стремительное падение пылающего самолета.
— Эх вы! Такое проспать! — воскликнул Владимир Петрович. — Ночью наши зенитки подбили немецкий аэроплан!
Афанасий Анисимович требовал подробностей. Но какие тут, к черту, подробности! И дело не в них. А в чем же?
Владимир Петрович тер с наслаждением мокрыми ладонями разгоряченное сном, загрубевшее за день работы лицо, торопливо искал нужные слова, но не мог их найти и тотчас решил, что не стоит искать. Если разобраться трезво, случилось то, что случается нынче по нескольку раз на день. И вся эта ночная беготня и волнение выглядят никак не значительно, а глуповато. И лучше оставить это про себя, потому что мы знаем, что знаем.
— Да-с! — многозначительно сказал Владимир Петрович, насухо вытирая лицо и руки. — Я вам доложу!
Он стоял, расставя ноги, на балконе, с засученными рукавами рубашки, с открытой грудью, пошевеливая ноздрями, жадно впитывая запахи земли, травы, сосен, пробуждающейся жизни. Но почему же, почему это утро вернуло прошлое живым и снова в руках нить, еще вчера казавшаяся оборванной?..
— Они его ловко поймали! — добавил после значительной паузы Баженов. — Он, как над лампой комар, — заметался и — хлоп! Однако, где ваша картошка? Давайте приступим…
Влажная разрыхленная земля приятно холодила руки, затылок помаленьку начинало припекать все выше встающее солнце, хлопотливо возились муравьи, тонкие нити теней от веток кустов смородины заплетались в затейливый узор. Сморщенные дольки посиневшего картофеля покорно ложились в бороздку.
— Неужели из них что-нибудь получится? — с недоумением бормотал Владимир Петрович.
«…Я напишу Наде, как мы ее сажали… воображаю, будет смеяться»…
Он пошевелил пальцами с налипшей на них землей.
— Это чувство похоже на гнев, на радостный гнев… как гроза, очищающая воздух…
Голубые его глаза и серебро волос отражали блеск солнца. Афанасий Анисимович отвел внимательный взгляд от борозды и залюбовался им.
— А вы еще ехать не хотели, — сказал он, — я говорил вам — благодарить будете!
И, поднявшись на ноги, удовлетворенно закончил:
— Ну, теперь с богом! Пусть дышит… А мы как раз поспеем к семичасовому.
Лопаты они заперли в комнате, рюкзаки их были пусты и не давили на плечи, над грядками курился чуть видный легкий дымок, казалось, и точно, картофель под жарким гнетом земли дышит…
Владимир Петрович, захлопнув за собою калитку, оглянулся. Дача казалась обжитой и приютной, будила какие-то неясные заботы о будущем.
— Вы идите, я сейчас догоню, — неожиданно крикнул Баженов.
Он что-то увидел в траве за оградой, снова открыл калитку, сделал несколько торопливых шагов и нагнулся.
У ног его лежал попугай. Смущенным движением Владимир Петрович поднял его и спрятал в карман.

Афанасий Анисимович издали приметил это движение и улыбнулся.

Константин Федин

Мальчик из Семлёва

Шел литературный вечер в Доме Красной Армии в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, в конце зала сплывались в легкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта. Их взгляды как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне.
Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском широких глаз.
Это был мальчик, одетый в военную форму, с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше все видеть. Каждая черточка его лица выражала любопытство. Все, происходившее с публикой, происходило с ним в увеличенном размере: посмеявшись, зал становился опять серьезным, а его тонкий рот долго еще сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия.
— Смотри, — сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной. — Смотри во второй ряд, какой там воин.
И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке.
Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку:
«Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей.
Дважды представлен к правительственной награде, привел десять «языков».

Мы перечитали несколько раз эти строки, поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга.
— Надо с ним поговорить, — сказал я.
И как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам.
В смежной с залом комнате мы прождали недолго. Вскоре раздался громкий, отчетливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошел плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь еще выше, спросил:
— Разрешите ввести?
В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, и мы сказали:
— Пожалуйста!
Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на смену ему в ее узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме.
Так же, как лейтенант, он щелкнул каблуками, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза.
Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком, заостренном к подбородку лице. Мы показались ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины. Я думал, он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят.

— Давно ли в армии? — спросил мой товарищ.
— Вот как сошел снег.
— А зимой?
— Был у партизан.
— В каких же местах?
Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта и, хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьезно.
— Места лесные.
Мы засмеялись, и я сказал:
— Смоленские, что ли, леса-то?
Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову.
— Смоленские.
В смехе его было еще столько ребячьей прелести, что я почувствовал волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад.
— Сколько же тебе лет?
— Четырнадцать, пятнадцатый.
— Ого! А с виду ты года на два моложе.
Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятного разговора.
— А откуда ты родом?
— Из Семлёва.
— Вот что! Знаю, знаю Семлёво: по обе стороны железной дороги станция и село, и совсем рядом леса.
— Лес — так вот, подать рукой, — быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей, детской улыбке, замигал часто-часто и вздернул острый носик.
Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на веселых тенистых холмах Смоленщины. Я увидел его, простоволосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с глубокой тенью над приоткрытой верхней губой. Вот он стоит неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжелый лапник ели от прыжка золотисто-луковичной белки. Он смотрит, как белка сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила ее и сердито бросила, пустую, наземь. Вот он слушает свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Вот он остановился рядом с тонкой беленькой березой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве, и сам он тянется своею замершею думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. Кто знает, не станет ли этот мальчик поэтом, русским поэтом, какого дает нам смоленская земля иное счастливое десятилетие?
Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением на лице внезапного воспоминания о родной своей земле, о родине, которой наделяется человек раз в жизни и которую он несет потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать.
— Где же твой отец? — спросил я.
— В Красной Армии.
— А мать?
— Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес.
— А что про тебя рассказывают, будто ты от немцев «языков» приводил?
— Приводил.
— Это когда партизаном был или в армии?
— И у партизан и в армии.
— Сколько же всего привел?
— В общем десять.
— Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, поодиночке доставлял или как?
Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь его улыбка была рассеянной: видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз.
— Когда как, — ответил он врастяжку, — то по одному, а то по двое.

— Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было.
Ом принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренне желая нам помочь:
— Да немцы в разведку чаще пьяные ходят.
— Пьяные?
— Выпьют для храбрости — и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки.
— Сколько же их?
— Двое. Я вижу, пьяные.
— Что же, они качаются?
— Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут. Деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил! Они — раз! — кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял.
— Да как же взял? Ты один, а их двое.
— Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером — стук! — и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели…
Он подождал немного и добавил:
— Еще раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Уперся — никак.
— Ну и что же?
— Ничего. Пристрелил его, а другой пошел.
Развеселившееся лицо его говорило: «Видите, все очень просто, а вы изумляетесь!» И выходило действительно так просто, что уж нечего было больше расспрашивать, и мы молча смотрели на мальчика.
Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил:
— Вот вы сегодня читали рассказ: что это — правда или вы это придумываете?
— Зачем придумывать? — ответил я. — Правда интереснее всякой выдумки.
— Да-а, как бы не так! — протянул он с полным недоверием.
— Разрешите? — сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперед. — Нам пора.
— Вы что же, приставлены к нему? — спросил мой друг, кивнув на мальчика.
— По вечерам, — сказал лейтенант. — Он ведь в Москве первый раз, мало ли: заблудиться может, и движение порядочное…
Они оба — большой и маленький — сделали шумный поворот по-военному и вышли…

Павел Бажов

Иванко Крылатко

Про наших Златоустовских сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолотку наводить. И в книжках будто бы так записано.
Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было, — кто у кого учился.
То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набилось. Так и звались: Большая Немецкая — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой — и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.
Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.
Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.
Вот и выходит — нашим и без навозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута, — немецкая то есть работа на здешнюю.
Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму или Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:
— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.
Только верно — приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько.
— Штоф не чекушка. Вдвоем усидишь, и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.
Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть навыкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф.
Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жилки, цепочки разобрать можно. Одно не поймешь — к чему она тут над коньком пристроилась.
Отделает Фуйко саблю и похваляется:
— Это и есть немецкий рапота.
Начальство ему поддувает:
— О та. Такой тонкий рапота руски понимайт не может.
Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству, — так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит:
— Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимайт не может.
Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся.
Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонка — Иванко, той же фамилии — Бушуев. Смышленый по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.
— Не допущу, — кричит, — чтоб Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят.
Поглядел дедушко Бушуев на Фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:
— Чистая работа!

Потом, мало погодя, похвастался:
— А все-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.
Мастера за эти слова и схватились:
— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.
Ну, старик ни в какую.
Все знали, — старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушел, мастера и переговариваются меж собой:
— Верно, попытать бы!
Другие опять отговаривают:
— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.
Кто опять придумывает:
— Может, хитрость какую в этом деле подвести?
А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошел.
Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало! Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:
— Иванко, айда на завод!
Парень удивился:
— Зачем?
— А затем, — кричит, — что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.
Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился.
— Коли, — говорит, — немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!
У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:
— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу.
Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил, — живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, — так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить, — Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Легкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки.
Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, и из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец знай брюхо поглаживает да приговаривает:
— Это есть немецкий рапота.
Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:
— Пора этот мальшик проба ставить, — а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет.
Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.
Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил, — буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с коронкой? Думал-думал, и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.
Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли.
Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала:
— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он лучше Фуйкина вышел.
Вспомнил это и говорит:

— Э, была не была! Может, так лучше!
Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.
К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил — сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали.
Первым дедушко Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:
— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.
Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.
— Какой глюпость! Кто видел коня с крильом! Пошему корона сбок лежаль? Это есть поношений на коронованный особ!
Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.
— Псы вы, — кричит, — бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете?
Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:
— Такой глюпый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф!
Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:
— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую, — и не препятствую.
Иванко повеселел маленько, да и обмолвился:
— Это она надоумила крылышки-то конькам приделать.
Дедушко удивился:
— Неуж такая смышленая девка?
Потом помолчал малость, да и закричал на всю улицу:
— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не все немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Еще гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово.
Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.
Вскоре после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из кутузовских. Немало он супостатов покрошил и немецкие, сказывают, города брал.
Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит, — у старика заслуг-то на груди небогато.
У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют, — куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.
На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:
— Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую.
Немцы, понятно, спозаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:
— Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.
Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:
— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет.
Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю, — правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому,

видишь, — пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.
С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в сбою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.
Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать.
Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:
— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо ростят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?

Живинка в деле

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.
Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.
На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти шутки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.
По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.
По нашим местам ремесло, известно, разное.
Кто руку добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, так непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.
Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.
Он, этот Тимоха, — то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, — придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:
— В каждом до точки дойду.
Семейные и свои дружки-ровни стали отговаривать:
— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.
Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает.
— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганчиком пофуркивай либо шильцем колупайся.

Старики, понятно, смеются:
— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.
Тимохе неймется.
— На всякое, — кричит, — дерево влезу и за вершинку подержусь.
Старики еще хотели его урезонить: вершинка, дескать, мера ненадежная — была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше. Только видят, — не понимает парень. Отступились:
— Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.
Вот и стал Тимоха ремёсла здешние своей рукой пробовать.
Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому — парень со смекалкой и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.
Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.
Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:
— Ну, как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?
Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:
— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.
В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:
— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?
Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поворачивают:
— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелого самая малость.
Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:
— Недолго, поди-ка, замазанным ходить буду.
Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.
По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.
К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит:
— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.
Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:
— Даю в том крепкое слово.
На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.
Дедушко Нефед — он, видишь, из таких был… обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор.
— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?
Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.
— Не в одном, — отвечает, — топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.
Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать.

Дедушко Нефед все объясняет по совести, да и то видит — правда в Нефедовых словах есть да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть.
Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.
Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердовому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже.
Дедушко Нефед все это объясняет по совести, — да и то вспоминает, у кого чему научился.
— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно. Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться, да и говорит: «С этого боку жарче горит».
— Как, — спрашиваю, — узнала?
— А вот обойди, — говорит, — кругом — сам почуешь.
Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.
Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:
— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел, — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.
Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.
Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.
— А почему так? — спрашивает дедушко Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?
Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил.
Старик посмеивался:
— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.
Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.
— А потому, — объясняет дедушко Нефед, — что ты книзу глядел, — на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!
По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремёсла одолеть, да в углежогах застрял.
— Никак, — говорит, — не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.
А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвучали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.
Как дедушко Нефед умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.
Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут… Тоже которые живинку — всяк на своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.

Васина гора

Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Все у нас горы да ложки, ложки да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.
Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка налегке идет, и та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъему. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.
По самому гребню этой горы проходила грань: кончался наш заводский выгон, и начиналась казенная лесная дача. Тут, ясное дело, загородка была поставлена и проездные ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и, ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью.
Скотину в ту сторону пропустить хуже всего, потому — сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется, — не найдешь ее, а скаты горы не зря звались Волчьими Падями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.
Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Ну, нашли все-таки. Из служивых был, Василием звали, а как по отчеству да по прозванью, — не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался: пришел домой на деревяшке.
Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел. Так и жил бобылем в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по нашему говорится, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь по кроснам налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели, — бьется мужик. Тогда общественники и говорят:
— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе. Приплачивать будем за караул.
— Почему, — отвечает, — миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.
Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: печурку, чтоб похлебку либо кашу сварить, нары для спанья да место под окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши заводские, а и чужедальние, кому часто приходилось ездить либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали:
— Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало.
Дед на это одно говорил:
— Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу.
Проезжающие начинают допрашиваться, почему так, а дед Василий эти разговоры отводил:
— Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай.
Подручных ребятишек у деда Василия перебывало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы, а дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые, в самой поре, а были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна: на работу не боязливы и при трудном случае

руками не разводят. Да еще приметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить, и не от сиротства либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим: моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.
Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились.
Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.
Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось: на большой дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случаю достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно: подобрали приблудного, сам увязался за хлебушком, видно, — отогнать не можем. А отдашь, и вовсе люди вязаться не станут, поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было.
Ну, все-таки сколь ни беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен в службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась — на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка, да и спрашивает у старика:
— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один будто и силы небольшой, и на возрасте, пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой — случается, по виду могутный — вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?
Дед Василий и говорит:
— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.
Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь честью. Только вот диво — ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят:
— Ну, как не поглядеть. Этакую пору одолел, дальше и бояться нечего. Все одолею. Потому и весело мне.
Другие опять стонут:
— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо.
Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.
Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объяснит:
— Вот видишь, — гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну и слабого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма, на подметки не годится.
Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:
— Дедо, я на эту гору ежедень бегом подыматься стану. Вот погляди.
Старик посмеивается:
— Ну, что ж, худого в этом нет. Может, и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет.
Так вот и учил дедушко Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что

парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды либо по грибы, ну и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоет.
Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.
И посейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают:
— Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Все равно как новый широкий путь народу открыла. Коли такое сделал, так и много больше того сделать можешь.

Аметистовое дело

Не про людей, про себя сказывать стану.
В те годы, как народ валом в колхозы пошел, я уж в немолодых годах был. Вместо русых-то кудрей плешину во всю голову отрастил. И старуха моя не молодухой глядела. Раньше, бывало, звал ее песенной машинкой, а теперь вроде точильного станка вышло. Так и точит меня, так и точит; того нет, этого нехватка.
— У людей мужики обо всем позаботятся, а у нас, как приплетется да в бане выпарится, так и на боковую. И ни о чем ему думушки нет!
К той поре мы с ней вдвоем остались. Младших дочерей пристроили, а трое сыновей давно в отделе жили, всяк свое хозяйство завел. Старуха и в том меня винила, что в избе пусто стало.
— Из-за тебя это! Из-за твоего злосчастного ремесла!
— Чем, — спрашиваю, — мое ремесло помешало?
— Известно, — отвечает, — чем. Во всяком доме старики хозяйство ведут, землю пашут, хлебушко сеют, молодым распорядок дают, а ты что? До старости ума не накопил. Бегаешь по каменным ямам. Дома-то гостем бываешь.
Я, понятно, урезониваю ее:
— Живем все-таки. Детей вырастили. По миру никто не хаживал. Не лежебока, поди, я у тебя: зарабатываю сколько-то. Что еще надо?
Старуха знай свое толмит:
— По твоим-то трудам нам бы в каменном доме жить, а мы этот хоть маленько подправить не можем. Стены-то, гляди, насквозь просвечивают, да и печка, того и жди, повалится. Хозяин! А все потому, что хлебушком не занимаешься! В деревне век прожили, а куричешкам овес с купли! Где это слыхано?
— Дура ты! — говорю. — Я, поди, дорогой товар добываю. Это тебе не овес — где посеял, там и вырастет. Искать приходится. Зато попадет, так за три воза твоего овса в кошельке принесешь.
— Не упомню, — отвечает, — такого случая, чтоб ты по три воза овса в кошельке приносил. Не при мне, видно, такое было. Чаще с пустым приходил. Помнишь — жаловался: «Не пофартило мне, Марьюшка, на этой неделе. Ничего, почитай, не добыл». А я-то сдуру ему наговаривала: «Не тужи, Иванушка! Не всяк день солнышко, бывает и слякиша». Забыл про это?
— А помнишь, — опять спрашиваю, — ту щеточку камешков, на которую мы корову купили? А тот камешек, что на Васильеву женитьбу хватило? Да мало ли у меня веселых находок бывало!..
— Не забыла, — говорит, — и это. Как найдешь, что повеселее, так и уберешься в город сбывать, да и шатаешься там невесть сколько, а я тут бьюсь-колочусь с ребятами да о тебе думаю, не убили бы. Нет, одна мука твое ремесло!
Одним словом, не сговоришь с ней. А бить ее, как иные-прочие делали, у меня в заведенье не было, да и не такой мы судьбы, чтоб об этом даже подумать. Знал я, что она одна-разъединая на всем белом свете меня жалела, да и теперь жалеет по-настоящему. Ворчит-ворчит, а баньку про меня, небось, спозаранок натопит, перемывку наготовит, кусок

посытнее найдет, а когда и словом утешит. Помню ее-то присловье: «Не тужи, Иванушка, не все солнышко, бывает и слякиша!» Другая на ее-то месте давно бы от меня ушла, а мы с ней троих сыновей да двух дочерей вырастили, и все они не на смеху у людей. Живут. Признаться, и то было, что сам за собой вину чуял. Старуха моя правду говорила. Ремесло мое — и верно — не по месту пришлось.

Деревня наша, по-старому считать, в Ирбитском уезде приходилась. Народ тут сплошь хлебушком занимался да коноплей маленько. И скот тоже разводили. Родители мои, от коих мне этот дом в наследство перешел, были природные пахари да оба, на мою беду, в молодых годах померли, оставили меня несмысленышем на горькое сиротское житье. Про хозяйство, конечно, и разговаривать нечего: его живо растащили те благодетели, у которых я сперва кормился, а потом работать стал. Ворочать на чужого дядю, известно, нигде не сладко, а все лучше, как не в своей деревне. Я и убрался на прииски, где золото да камешки добывали. Недалеко от нас это место. На приисках я и получил эту каменную заразу.

Из всех камней мне больше аметист полюбился. Камень не больно дорогой, из самых ходовых, а чем-то взял меня. Да и как взял! Бывало, добудешь щеточку и знаешь, что красная цена ей рублевка, а любуешься на полную десятку да еще жалеешь, что сдавать придется.

Как в полный возраст пришел, домой потянуло. Дай, думаю, покажусь своим деревенским, чтоб знали, что не загиб. Да и на дом родительский поглядеть охота, — совсем его растащили мои благодетели али сколько оставили. Пришел в самый весенний праздник. Родительский дом оказался в сохранности. Благодетели, видишь, все на него нацелились, один другому не давали растаскивать, — дом и уцелел. Оглядел я, вижу: не больно корыстно, а жить можно. Пошел потом на гульбище, за деревню, где хороводы водили. Деревенские ребята меня за чужака приняли, отшибить хотели, да подступить боялись. Видишь, каков уродился. На днях вон Колютка, внучонок мой от старшей дочери, говорил: «Дедушка! У тебя рука-то в полном развороте, как аэропланово крыло». Так и есть. На ходу ненароком могу человека с ног сбить. Недаром в потемках сторонятся. Думают, не колокольня ли по земле пошла. Вот ребята и не знали, как подступить. Ну, я не стал до драки доводить, сказался, что за человек. По этому случаю выпили, конечно. Так, самую малость, потому я приверженности к этому не имею. На празднике когда для веселости выпью стакан-два, а чтоб допьяна напиваться, — этого у меня не бывало.

В тот же вечер я со своей нынешней старухой встретился. Ее-то доля горше моей оказалась. Мать с ней проходом по нашей деревне шла да в одночасье и умерла, а ее оставила годочков трех либо четырех. Только и знали, что звать Машей, а чья, из какого места, так и осталось неведомо. При покойнице никаких бумаг не оказалось. Чтоб суд да полиция не наехали и деревню не разорили, захоронили эту проходящую потихоньку, а девчушечку богатому мужику в дочери отдали. Дальше и пошло по посказульке.

Росла Настя — колотили часто, выросла Настасья — пошла по напастям да без передышки. От одной отобьется, другая навалится. Думала-думала, решилась с белым светом проститься, да на дороге кудряш попался. Поглядела девка на незнакомого парня, а он и говорит: «Не торопись, красавица, к тому, постой с этим. Не покаешься! Головой ручаюсь, а она, видишь, кудрявая. В пустой игре такую не поставят». Девка и остановилась. Посудачили малость, на другой день опять встретились. Так и пошло, а вскоре, глядишь, и свадьбу сыграли.

У нас с Марьюшкой из точки в точку по этой сказке и вышло. Сразу почуяли, что наша судьба по одной дороге пошла. Раздумывать долго не стали, пошли в церковь: обвенчаться желаем. Нам сперва отказали: нельзя, потому невестины годы неведомы. «Как, — говорю, — неведомы, коли она в этой деревне выросла, на глазах у всех?» — «Это, — отвечают, — мало значит, что на глазах росла. Бумага нужна, в какой день она родилась и каких родителей дочь». Ну, вижу: словами тут ничего не добьешься. Отдал им два камешка позанятнее. Тогда нашли ходок, записали на того богатого мужика, которому сперва она в дочери была отдана. И стала моя Марьюшка Афанасьевной, даром что этот Афанасий самым лютым ворогом ей оказался. Ну, в этом важности нет.

Обвенчали нас, и стала в деревне новая пара: Иван Долган да Марья с Голого поля. Силы да здоровья нам обоим у людей не занимать. Хотели сперва хозяйствовать, как другие наши деревенские. Коровенку купили, пару овечек завели, куричешек сколько-то. При

родительском доме огород был обширный. Городьбу поправили, засадили вовремя. Места у нас не тесные. Накосить травы не то что для одной коровенки, а и для двух-трех при моих-то руках, прямо сказать, плевое дело. Все бы ладно, да на лошадке спотычка вышла. По времени, может, лошаденку и огоревали бы, да прибавок к ней большой требуется: телега да сани, сбруя да снасть разная. Без благодетелей никак не обойдешься, а они, эти благодетели, нам с Марьюшкой солоно пришлись. Так у нас полного хозяйства и не вышло. Убежал я опять на прииски работать. Правду сказать, и камень тянул меня. Не умею тебе объяснить, в чем тут сила, а тянул. Вроде не жадный я, на большое богатство никогда не льстился, а добыть новый камешек охота. Ну, и народ приисковый как-то ближе деревенского стал.
Так мы с Марьюшкой и жили. Помогал я ей при посадке огорода да в сенокосную пору. Зимами тоже маленько, а больше на приисках колотился. В гражданскую войну ушел с приисковыми в полк «Красных Орлов». За войну меня ранили в ногу при перебежке в цепи. По мякоти пришлось. Сквозная рана, пустяшная. Через месяц опять под ружье встал.
Как покончили с Колчаком, домой воротился, и тот же порядок у нас повелся: в деревенские дела не вникал, все на приисках да на приисках. Как колхозы стали строить, мы с Марьюшкой и оказались ни при чем. Не браковали меня, конечно, потому хозяйство трудовое, безлошадное, и сам на войне добровольцем был. Звали даже, да как пойдешь, коли ты не плотник, не каменщик, не чеботарь, не шорник, а из всех сельских работ одно знаешь — косить да стога метать. Марьюшка больше понавыкла. Она и телят растила, и за птицей ходила, и капусту выращивала хорошую. Такую работницу с радостью бы приняли, да разве она без меня пойдет?
Сперва в колхозе-то здешнем немало сумятицы было. Кулаки всякую пакость подстраивали. Ко мне даже один подбегал с разговором, да я этих благодетелей с малых лет понял. Так на него цыкнул, что больше ни один из таких ко мне не сунулся. Потом, как кулаков выселили, дело пошло гораздо лучше. Все наши ребята, конечно, с первых лет в колхоз записались. Меньшак-то — он успел подучиться маленько — полеводом стал; большак — он у меня в гражданскую войну кавалеристом был, — так его конным двором ведать определили; средний при машинах находился, потому он раньше в кузнице работал; обе дочери тоже при деле. Только мы со старухой, как две галки на прясле в непогожий день осенью: самим обидно, и со стороны на нас глядеть тоскливо.
Тут вот старуха и принялась точить меня. Ребята тоже уговаривали. Особо меньшак Петруха старался:
— Брось ты, тятя, своими камешками заниматься! Узенькое это дело, мелкое, когда и вовсе напустую сходит.
— Как, — говорю, — так?
— Очень, — отвечает, — просто. Много ли народа твой камешек увидят? Да и всяк ли разберет, что тут красота есть? Вот и выходит, по узкой тропочке твой камешек идет. Мало кому радость приносит. А напустую чаще выходит. Один понимающий найдет — полюбуется, другой понимающий огранит — тоже полюбуется, а достанется тот камешек дураку, которому ни до чего нет дела, лишь бы блестело. Крашеную бумажку подложить под стекло — ему и то ладно.
— Это, — соглашаюсь, — бывает, да не в том сила, и камень сам меня тянет.
Объясняю ему, а он по-своему разумеет:
— Это же струя из сортировки бежит. Чем она гуше да зерно полнее, тем краше. Глядел бы, не отошел!
Втолковываю ему, что в нашем деле главное — особина камня. В одном синего больше, в другом — красного, третий желтит сильнее, а разница есть. От одной щетки отломи, и то, на привычный глаз, отличить можно.
— Если приглядеться, — отвечает Петруха, — и в зерне это найдешь. Одно в одно никогда не сойдется. На том и сортовое дело поставлено. А если тебе уж так полюбилось на сине-алое с желтым смотреть, так и это найдем.
— Где, — говорю, — такое в вашем колхозном деле?
— А вот недавно посылали меня на красноуфимскую семенную станцию за клевером. Видел я там, как из-под «кускуты» — машина такая есть — сине-алая струйка бежала. Куда твоему аметисту! Ох, только и клевер у них! По нашим местам таких семян добиться не

могут. У нас больше бурые с краснинкой семечки выходят, а у них синего много. Потому и называется — красноуфимский фиолетовый. Из сортов сорт! На всю страну славится.
Тут и начал Петруха про клевер рассказывать. Любил он про это говорить. Ну, грамотный, слова подбирать научился, послушать любо, да и от души сказывал про свое живое. В конце похвалился:
— Будут и у нас аметистовые семена! Тогда и увидишь, лучше или хуже живая семенная струя против твоего сине-алого камешка.
Потом спохватился:
— Постой! Мне ведь опять скоро ехать на семенную. Поедем со мной. Поглядишь.
И что ты думаешь? Съездил ведь я, видел эту самую «кускуту». Машина как машина. Сита да валики. Умно придумано, чтоб куколь и другие сорняки отгонять. Да не в этом дело. Не приучен я в машинах разбираться. А вот как пошла по корытцу сине-алая с желтинкой струя, тут уж я глаз оторвать не мог. Вроде самого лучшего камня, да еще в таких переливах, каких мне видать не приводилось.
Ну, а кончилось это тем, что нас со старухой приняли в колхоз. Не на отшибе от людей теперь живем, а специальность моя называется — клеверное семеноводство.
Добился-таки я фиолетовых-то семян! Мы ведь, горщики, приметливы. Без этого нам нельзя. А клевер что! Та же кашка. В наших местах по-дикому растет, и белая и красная. Бывало, на передышке лежишь на травке, разомнешь у поспелого цветка головку и видишь, что семена разные: одни полнее, другие потощее. Начинаешь разбирать, почему такое? Еще сломишь одну-две головки с других кустов. Оно и видно станет: на котором кусте головок меньше, там и семена полнее. Вот я и стал потом, как в колхозе к этому делу подошел, лишние головки обрывать. Сперва, понятно, на малом месте, на одной грядке. Вижу: хорошо пошло, расширяться с этим стал, а тут и отборные вручную семена сказываться начали. Теперь у нас как клеверная струя при очистке бежит — залюбуешься. Нарочно люди приходят, чтоб на нее поглядеть. Про меня и говорить нечего. Как маленький, жду этих дней. А ведь дело-то какое!
На днях вон новый полевод — наш-то Петруха погиб на войне с проклятыми фашистами — вычитывал на собрании, что к концу пятилетки по нашей стране под укос должно пойти что-то свыше двадцати миллионов гектаров многолетних трав. Подумай, сколько семян потребуется. А ведь клеверок — он всем травам трава. Не только сверху богатство дает, а больше того в земле накопляет. Семечко дорогое! А наше и того дороже, потому не бурое, не красник, а сине-алое, аметистовое.
Вот и выходит, что я при аметистовом деле остался, только теперь моя старуха не ворчит, а похваливает:
— В самую точку, Иванушка, придумал! Это и Петрухе нашему память, как он всегда о клевере хлопотал, да и дело самой широкой руки. Не чета твоим камешкам!
Это она, конечно, зря про камешки-то судит. Не понимает, старая, да и Петрухе покойному не умел я втолковать, что камень никогда себя не потеряет и сила тут не в одной красоте. Война вон, сказывают, показала, что даже каменные отходы, которые в огранку не брали, на большое дело пригодились. Ну, я об этом помалкиваю. Не ворошу старого. В одном старуха права — уж очень это широкое дело и вглубь далеко идет. Прямо сказать, землю молодит. И глазам утешно на живую аметистовую струю поглядеть. Будто все аметисты, какие добыл за свою жизнь, перед тобой проходят, да и те видишь, какие в горах остались.

Андрей Платонов

Одухотворенные люди
Рассказ о небольшом сражении под Севастополем

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.
А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.
Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.
Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу. Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него?» — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легче, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.
Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженный Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку.
Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперед.
Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых? — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их…

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар рвущего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, — решил Поликарпов, — но нам пора вперед», — и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!
Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.
Поликарпов поглядел им вслед довольными, побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.
Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.
Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.
— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.
— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!
— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько.
Одинцов смотрел наружу.
— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.
Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.
— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эваку пойдешь иль так обойдешься, под огнем отдышишься?
— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой входишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.
Но дышалось Красносельскому тяжко, и пот шел по его лицу.
— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.
Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.
Стало уже вечереть, — стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.
— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.
— Ночью уберем его с поля… — сказал Одинцов. — Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.
— Это точно! — произнес Цибулько. — «Вперед, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.
— Он кровью истек? — спросил Красносельский.
— Точно, — сказал Цибулько.
На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.
Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха.
Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним

или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова — и вдовы есть ничего.
А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас; и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготовляя красивый плат на одеяло…
В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до погибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.
Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?
Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.
Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.
На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.
— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. Еще рой, еще, побольше и поглубже — я тебе что говорю!
Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.
Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.
Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.
— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.
— Тут копать твердо, — сказал брат.
— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.
Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них открошились.
— Они плохие, такие не бывают, — с грустью сказал мальчик.
— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.
Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, — подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые… Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.
Одинцов перестал работать.
— Комиссар говорил, что мы для него — все, что мы для него — Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.
Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.
— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!
Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножия насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.
После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, сразу уснули.
Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет Брага, и до утренней зари было еще далеко.
Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защитить добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной…»
И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.
Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.
Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.
Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цибулько и Паршин; спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле; не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах…
К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.
— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.
Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул; он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.
Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловища. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:
— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.
Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать, и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.
Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.
Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.
По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, — и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец, Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а, наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.
Цибулько обо всем любил соображать своей, особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.
Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! — сказал тогда Цибулько. — Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия!» Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты, темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной, — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало, и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью — он должен был свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил многих своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб, и протянул ей руку на прощание. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке.

«Оставайтесь со мной!» — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.
Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.
Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в Парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.
На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством, и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.
Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.
Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.
— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, где могут рождаться люди…
Фильченко представлял себе родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой; поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его…
Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции, мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.
Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.
— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.
Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.
Старший батальонный комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.
— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар.
Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.
— Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?
— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.
— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — вся наша большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские, — до последнего человека, а последний человек — до последней капли крови и до последнего дыхания!
Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.
— Еда — великое дело для солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощание и уехал, забрав две старые смененные винтовки.
Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.
— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Целину можно легко поднять, и не уморишься!
— Щей не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.
— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.
— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.
— Ишь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!
— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают…
— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин.
После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:
— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши — только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.
— Есть, таранить тирана! — крикнул Паршин.
Фильченко прислушался.
— Приготовиться! — приказал политрук. — По местам!
Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.
По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.
— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько.
— Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты… Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг иль на хитрость рассчитывают.
Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.
— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..
Фильченко резко окоротил бойца:
— Ложись в щель скорей и помирай от страха!
— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал — может, тут новая техника какая-нибудь… Техника не виновата: она наука!
— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково, — сказал свое мнение Паршин.
— Без ответа помирать нельзя, — сказал Красносельский. — Не приходится!
— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окружения…

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

— Есть, пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть, винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полынном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса; их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать:

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу! — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук. — Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с хода из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный, прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы; они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там, теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.
— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.
— Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.
— Какой это бой! — вздохнул Паршин. — Это ничто.
— Кури помалу, — разрешил Фильченко.
Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.
Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.
Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.
Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:
— Ну что ж. Это их боевая разведка была. Бой будет позже.
Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.
— Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки.
Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.
Шоссе и его откосы выпахивались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу. Левый склон высоты запылил у подножия, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.
Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть, — подумал он, — сейчас артиллерия смолкнет».
Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.
— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулько. — Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, — бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!
Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.
— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.
Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струею, всей ощутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.
Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей.
Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.
Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.
Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.
— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!
Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.
Четыре уцелевших танка молча пошли в отход; они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю, и огнем с танков можно уложить своих.
Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, — Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.
Немцы, однако, тоже соображали кое-что: они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.
Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.
Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.
Через полчаса над полынным полем и над шоссейной дорогой низко пронеслись немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить: день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.
После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.
Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.
— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук!
— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.
— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!
— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.
— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок. — Вы же тут поспеваете овец заготовлять, о вас уж половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну — точно!
— Да откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.
— А на фронте ж, как в деревне на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо, — так, гляди, и забыли! — сказал кок.
Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.
Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.
— Это ты что за кафе такое на войне устроил? — строго сказал Фильченко.
— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не помешает, нисколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!
Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.
— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!
— Врешь! — сказал Цибулько. — Не бреши!
— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!
— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.
— Ну, так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль: я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?
— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет право на две вещи сразу!
— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.
— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!
Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.
Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.
— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.
— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.
— Этот кок далеко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талант и нахальство есть.
После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.
Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.
— Фу-ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то…
И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.
— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.
— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!
Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.
— Уважают нас, — сказал Цибулько, сосчитав машины. — Ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!
Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно несерьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.
Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.
Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я — Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»
Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!
Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.
— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей…
— И костями можно биться, — произнес Паршин. — Рванул из скелета — и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..
— Товарищи! — говорил Фильченко. — Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!
Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.
С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее; лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.
На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою полбатальона.
Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.
Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.
На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.
И тогда Цибулько начал битву; он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка, теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.
Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтобы она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.
Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем: прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат.

Раздался жесткий, клокочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.
Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.
Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрашая, с ходу из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горючая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу своего труда.
Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед, низкий, упорный и мощный.
— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку. Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.
На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бившего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.
В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутомленное ожесточение боем.
— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.
— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!
Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.
— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!
— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял с себя винтовку.
Одинцов дрожал от горя и ярости.
— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.
Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.
Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.
Фильченко тоже волновался: он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета и он умрет, как глупая кроткая тварь, — на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машины по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении, все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов — там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.
Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.
Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно свергалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.
Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели.
И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. Из него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти, как жизни.
Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.
Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.
— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам тоже пора.
Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.
Двое моряков поднялись.
— Даниил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.
Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.
— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.
Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом в грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.
Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.
Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через полынное ноле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели.
Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.
И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.
На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько: он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе в стороне от места боя танков со своими товарищами и видел почти все, что было там совершено.
Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет и он забывался.
Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несущему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

Неодушевленный враг

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, — но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.
Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из

сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.
Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при самой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу.
Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно, — им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии, — значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.
Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне, — я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти.
Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.
— Вы свой автомат ищете? — спросил я у немца.
— Да, — ответил Вальц. — Где он?
— Не знаю, здесь темно, — сказал я, — и мы засыпаны землею.
Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов. Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая и кто из нас будет спасен и кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточился и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению.
Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов.
Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.
— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.
— Для войны с тобою, — сказал мне Вальц. — А где твоя винтовка?
— Фугасом вырвало из рук, — ответил я. — Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки.
Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.
Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня.
Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если б он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, — и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки, — и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.
Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.
— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца. — Зачем лежишь в нашей земле?
— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, — с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.
— А мы где будем? — спросил я.
Вальц сейчас же ответил мне.
— Русский народ будет убит, — убежденно сказал он. — А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет; а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.
Все это было мне приблизительно известно; в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха… Это я видел сам не однажды.
— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца.
И он с готовностью сообщил мне:
— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.
— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.
Помолчав, он ответил:
— Это знает один фюрер.
— А ты? — спросил я у лежащего человека.
— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет.
Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.
Я спросил его еще:
— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?
Немец ответил:
— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — что жить, что не жить, — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.
Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.
Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем.
Артиллерийская пальба снаружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки. Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, — только ударом будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец; я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему:
— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?
Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:
— Я не знаю…
— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори, — нас обоих, может, убьет и завалит здесь, — я хочу знать!
Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощупывая одна другую для сокрушительного удара.
— Я не знаю, — повторил Вальц. — Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.
— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца. — Ты у меня в плену!
— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц. — Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.
— Говори, — приказал я немцу, — говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.
— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц: но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром.
В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, — на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.
— Это все Гитлер тебя напугал и научил, — сказал я противнику. — А какой же ты сам по себе?
Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.
— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отрапортовал мне Рудольф Вальц.
— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу. — И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.
— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.
Я не согласился:
— Стало быть, ты что же, — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!
— Не человек! — охотно согласился Вальц. — Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот, кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.
Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.
— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу. — Мне некогда тут быть с тобой!
Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.
— Ты зачем так нахально действуешь! — заявил я врагу. — Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, — значит, ты не уйдешь и не царапайся!
— Я обер-лейтенанта боюсь, — прошептал неприятель. — Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.
Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.
— А если ты не убьешь русского?
— Убью, — говорил Вальц. — Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.
— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся, — сказал я Рудольфу Вальцу.
— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец. — Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.
Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.
— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага, — Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?
Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.
— Долго, — сказал он. — Фюрер знает все, он все сосчитал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.
— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу. — Тогда ты как обойдешься?
— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц. — Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям — хоть по сто граммов на один рот.
— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?
— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить, — сказал лежачий немец.
— Дурак ты, идиот и холуй, — сообщил я неприятелю. — Ты и детей своих согласен обречь на голод и смерть ради Гитлера.
— Я вполне согласен, — охотно и четко сказал Рудольф Вальц. — Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.
— Ты совсем дурной, — сказал я немцу. — Неужели целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?
— Да, — сказал Вальц, — он будет кружиться, потому что он будет бояться.
— Тебя, что ль? — спросил я врага.
— Меня, — уверенно ответил Вальц.
— Не будет он тебя бояться, — сказал я противнику. — Отчего ты такой мерзкий?
— Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А так как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.
Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне, — говорил мне Вальц. — Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен, и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я окончил школу, я его берегу… Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты все равно никогда домой не вернешься…

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц. — Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь!

— Не будет нам смерти! — сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, — у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его сушества пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

Афродита

«Жива ли была его Афродита?» — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты, — но к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу, — жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и он хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смышленая, уживчивая, и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего народа. Допустим, конечно, несчастие на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в

людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете. Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое с неподвижностью вечного остановленного счастья…
Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон, Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой и так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство его не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил, как муж с женой, двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их; а теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений, и у всех добрых тварей земли и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных в Бугуруслан, с тем чтобы эти письма были вручены адресату по нахождении его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро, — иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней, но еще ни разу он не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников.
Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином.
* * *
Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды. Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были

взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и срытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней, — трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти, — плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.
Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисли книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь, как материал для постройки обороны.
Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стушуется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное большое любимое тело Афродиты, и его снедают трупные твари, оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.
Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.
Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Онемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.
Фомин пошел в степь; там в двух верстах от города он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром… Земляная плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.
Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья. Она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем доме они жили тогда вдвоем в одной комнате с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир, еще не устроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков, — этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодалая, оголенная бедствиями первой мировой войны, лежала перед ним.
Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.
* * *
Наверное, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его бы не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную

участь, но не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами… Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу — и одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светлозолотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени.

Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травою; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные, каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека; он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества, и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле — рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, — не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового мира, они, так же как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества, — ради того, чтобы началось наконец на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении…

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе — это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования, и он смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь

крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле, — черепица была тогда его чувством и переживанием, она заменяла ему книгу и друга — человека; позже он понял, что никакой предмет не может заместить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он смирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца, — тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и изможадающее, но кроткое, как тихое добро. Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового Совета; по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замащивал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость — район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, изможадающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия…

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поверженного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполитпросвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки, и Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои

сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной Армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда, — крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, изо всего своего уменья строили новый мир на земле. Их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной, благодатной работе; их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единоличнодворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо было найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же:

«Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что Советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно в гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович, — утроба, каземат да могила — и одно беспамятство, — и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где, Советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще; хотя — едва ли, уж много прошло времени…

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили туда о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. От жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте, как потоки слез, подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял тогда возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями своих выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной гнетущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился

к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как ее надо беречь.
Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин — каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства. Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и его слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом — можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.
Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.
Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка, — ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто, — одно приданое в огне прожила, другое суешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»
Обсудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько остается добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию первоначально во второй раз. «Электричество потухло, — сказал кустарь по бочарному делу Евтухов, — а мы и впредь будем жить неугасимо! А тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.
И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты он почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание; пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко

владеть человеком и радоваться лишь возле него — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответствие, но они равно жестоко разрушали его жизнь, и противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой, — ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая доброе, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После пожара и после утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути; и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда, вместе со своим поколением, находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение, или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился.

«Успокойся, — с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ, — ты успокойся! Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире… Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций… Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами, — что тебе, все тепло от одной домашней печки да от жены, что ли! Ты сам умный, ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь! Другое время теперь наступило!»

Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»… Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося

навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после двух с лишним лет разлуки поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему.
Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или в унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.
* * *
— До свиданья, Афродита! — вслух сказал Назар Фомин.
Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног в земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев, здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела, — ведь в мире нет бесследного уничтожения.
— До свидания, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..
Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего существования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду, а надежду — в успех и в победу.

Возвращение

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.
Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.
Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.
Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, — по крайней

мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась.
Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной. Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.
В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.
Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.
Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость, — и тем выходил из своего уныния.
Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.
— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.
— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.
Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он, хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.
Иванов повторил свою просьбу.
— Я осторожно, я поверхностно, Маша… Вообразите, что я вам дядя.
— Я вообразила уже… Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.
— Вон как… Так вы позволите…
— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.
Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть… Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.
Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.
Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у

Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.
Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидали жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.
Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.
Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.
Маша улыбнулась в ответ и сказала:
— Зачем меня помнить вечно. Этого не надо, и вы все равно забудете… Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.
— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?
— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было…
Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.
Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.
Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.
Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.
— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец!
— Отец… Здравствуй, Петр Алексеевич!
— Здравствуй… Чего ехал долго? Мы ждали-ждали…
— Это поезд, Петя, тихо шел… Как мать и Настя: живы-здоровы?
— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?
— Два, Петя, и три медали.
— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали… Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?
— Мне больше не нужно.
— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.
— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.
— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.
Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.
Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти

на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.
Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тело любимого человека.
Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами, обождав немного, он сказал:
— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.
Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.
— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..
В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.
Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь… Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплым от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней…
Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать, и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.
— Настька, опорожни кружку от картотечной шкурки, мне посуда нужна…
Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешенный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.
— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!
— Сейчас, Петрушка, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.
— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят… Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке… Одним пирогом семью не укормишь!
Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли… А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь — по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает… Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!
— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть… К нам отец приехал, а ты все серчаешь!
— Я не серчаю, я по делу… Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите… У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало? Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали… Видали, что было бы, а вы не понимаете!
Иванов не знал, что у него вырос такой сын, а теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.
— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь, — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..
Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста; она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.
— Ничего, Алеша… Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их… Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко…
— Где работаешь? — не понял Иванов.
— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни… Видишь — какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю…
— Там видно будет, Люба… Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо…
— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить…
Иванов встал и прошелся по горнице.
— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?
— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие…
Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.
Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.
Отец склонился к ней:
— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?
Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.
— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну.
Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.
— Ты что, Настенька моя?
— А мама плачет, и я буду.
Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.
— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст. По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось, — поленьев десять, и то одна осина… Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.
Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.
За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.
Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.
— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел… Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.
— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.
— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.
— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтобы вам больше досталось.
Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.
— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой…
— Я выросла большая, — сказала Настя.
Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.
— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?
— Не хочу, я сытая стала…
— Ну, ешь так… Зачем пирог отодвинула?
— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет…
Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.
Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.
— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.
Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:
— Не знаю, кто такой… Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.
— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?
Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца: мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.
— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.
— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка…
Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет…
Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.
Закрыв вьюшку, он сказал отцу:
— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет…
Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.
— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету… Ишь положение какое!..
Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:
— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам по двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.
Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.
— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с с хлебом будем есть, — указал всем Петрушка. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.
— Я схожу, — покорно согласился отец.
— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.
— Нет, я не забуду, — пообещал отец.
Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.
Потом Иванов спросил у жены:
— Как у вас, Люба, с одеждой, — наверно, пообносились?
— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас иг было, а детей надо одевать…
— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалей.
— Я не жалела и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.
— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценялся, там есть подходящие…
— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.
После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе.
Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:
— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..
— А я через очки гляжу, я не в них.
— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, — я тебе говорю! И брось варежки

штопать, мать сама заштопает, или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, забыла уж, когда занималась!
— А Настя что — учится? — спросил отец.
Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.
Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.
Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтя, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке.
Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит: пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.
— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил…
— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей. Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще… Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила…
Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.
— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные…
— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.
Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».
— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.
— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — серчал отец.
— Он добрый человек.
— Ты его любишь, что ль?
— Алеша, я мать твоих детей…
— Ну дальше! Отвечай прямо!
— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.
Отец молчал и курил трубку в темноте.
— Я по тебе скучала, Алеша… Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.
— А кто он по должности, где работает?
— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.
— Понятно. Жулик.
— Он не жулик. Я не знаю… А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.
— Неважно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.
— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь… Они спрашивали у него: а почему? А он отвечал им, потому что ты добрый…
Отец засмеялся и выбил жар из трубки.
— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!
— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.
— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?
— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, — поэтому он такой. А почему же?
— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.
— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь…
— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня… Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.
— Живи с нами, Алеша…
— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?
— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.
— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.
— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая… Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был… И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один, «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает; «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас… Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!
— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.
— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.
— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.
Но мать попросила отца:
— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.
«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».
— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.
— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.
Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:
— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь, надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец.
— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.
— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?
— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.
— А он на меня тоже похож?
— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.
— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.
— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.
— Это все равно — куда.
— Нет не все равно, Алеша… Что ты понимаешь в нашей жизни?
— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя…
— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.
Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.
— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети… Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно…
— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.
— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный…
— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?
Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.
Мать сказала отцу в ответ:
— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей… Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!
Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.
— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.
Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?
— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно…
— Это правда, Алеша…
— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?
— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла… Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..
— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась.
— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.
— Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?
— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.
— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.
Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня… Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка…
Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.
— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.
Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.
— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня.
Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел.
«Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — а стекол нету нигде».
— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.
— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу… Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!
Настя вскрикнула от испуга и проснулась.
— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?
Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.
Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем:
— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?
— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.
— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.
— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!
— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.
— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.
— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.
— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!
— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.
— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие…
Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.
— Большую волю ты дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина…
Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:
— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был… Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, а он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают…
— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.
— А вы мне тоже спать не давали… Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругался, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один безрукий был, ты дура баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась: Харитон еще хороший, лучше

нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинки на добавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал…» Ложись спать, отец, потуши свет, что огонь коптит без стекла…
Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас…»
Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.
Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.
Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.
— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?
— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.
— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?
— Он взял свой мешок, — сказала Настя.
— А что он тебе говорил?
— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.
— Так-так, — сказал Петрушка и задумался.
— Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем…
Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!
Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».
Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети… Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.
Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке; одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса: пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его.
Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога: лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.
Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.
Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.
Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.
Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.
Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.
Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

Всеволод Иванов

Близ старой смоленской дороги

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.
Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню.
— Горки?

— Горки, — недовольным голосом отозвался кучер. «Ахти, батюшки, — думает он. — Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император небось уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темно-бронзовая, блестящая, похожая на садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.
Тарантасы, туго набитые купечеством. Скрипучке дрожки, пахнушие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые солнцем до дна толстые офицерские баулы со спящими на них неимоверно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и надменных конях. Уланы на «стёпистых» — колесом шеи… Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не зарезанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей… Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи… И надо всем этим пыль, пахнущая ванилью, — должно быть, оттого, что по дороге, перед проездом государя, разбросали множество еловых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет стопятидесятитысячная масса войск, бывших при открытии Бородинского обелиска.
Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Псарево и проселком выехать к холмам, на Старую Смоленскую дорогу, в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли в ожидании боя полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.
Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а более того — еще раз увидать былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть… И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем под мышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело…»
Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему за жнивьем представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих… Земля содрогалась и была шершава, как шагреневая кожа. Ах какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит по-прежнему.
Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов», поелику «защитой бо града единый был Гектор». Здесь — защищая Москву — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России. Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие беспредельную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью…
Длинный кухонный обоз, видимо принадлежащий какому-то генералу, важному и родовитому, громыхая, выходил на проселок из кустов. А там, в кустах на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, широкие, растоптанные, с отдельно торчащими пальцами, так что они походили на птичьи лапы. Василий Андреевич видел и пляску, и лакеев, и даже кусок гусиного крыла во рту лакея — и не видел ничего.
Ему представлялась его семья, мать… дивная, какая-то вся прозрачная, турчанка с длинными, заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися глазами. Как она попала сюда с лучезарного Босфора в прохладно душистую Тульскую губернию? Ах, не нужно думать! Жизнь — это пропасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика, — все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось иззябшим, стоя выслушивал приказания жизни:

Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел…

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белёве. Поседелые от пыли и равнодушные окна, за которыми даже лазурь неба кажется серой; и мечтательная Маша Протасова с росистыми, мерцающими глазами. Он преподает ей русский язык — такой лунно-нежной и ласковой. В 1812 он у Е. А. Протасовой — крутой и незыблемой женщины с мрачными буклями над кремнистым и презрительным лбом — просит руки старшей дочери Маши. Гордо сжав губы, ему отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане…» и жаркий тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море… Еще раз он просит руки Маши. Еще раз ему отказывают… Маша выходит за профессора Мейера, а любовь по-прежнему наполняет его, так что никакие тряски дорог, никакие придворные ступени — а он поднимался по лестницам дворцов не только России, но и всей Европы, — не вытеснили его любви.
…Он услышал тягучий голос кучера:
— Василий Андреич, прикажешь у кустов ждать али на дорогу выехать да стегануть, покамест войско-то не догнало? Вон их сколько! Ведь их пропускать — к утру в Можайске не будешь!
На западе в сизоватых тенях вечера колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг пехоты. Трепетно скользил беглый блеск штыков. Обрывисто замирала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской… Василию Андреевичу приятно было ощущать рукой узорчатую ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой голубовато-зеленоватой дымке поднимающееся по косогору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно тоскующим. Он хотел сказать: «Постоим, пропустим войско», — да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:
— Барин, батюшка! А то не тучковский полк идет?
— Какой — тучковский? Нет в армии такого!
В мохнатом малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зипун с широкого, должно быть чужого, плеча, сильно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запахивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был испуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была богомолка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим прихожим… Не нравились эти серые лица Василию Андреевичу.
— Иди, иди, старуха, — сказал безжизненным голосом кучер. — Иди, вот тебе кусок… Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть?
— Иду, иду, батюшка, — торопливо отозвалась старуха, — и не надобно мне твоего куска, иду. А только сделай божеску милость… уныло у меня на душе… Земля вон и та сотряслась, да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты идут? Тьма-тьмущая войска идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так быдто под колоколом, такой шум… весь день тучковский полк ищу…
«Какой тучковский? — подумал Василий Андреевич, глядя на мутно-мраморное лицо старухи. — Ах, да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине? Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали инокиню Марию — вдову Тучкова, что постриглась после смерти мужа… Как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. И полк Тучкова — какой же! Путает что-то старуха».
Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то стерновски трогательное. А его коляска — разве не коляска в Кале, и он сам не Йорк, и эта старуха не напоминает отца Лоренцо? Ему захотелось поговорить со старухой. Указывая на стадо, он сказал:
— Хороший скот, матушка. Тучковых?
— Не-не, батюшка, — торопливо заговорила старуха. — Зворыкиных будет скот, Зворыкиных, Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка… да вот хожу весь день, и все народ попадается жоской, будто кора на нем медная, прости господи… А стадо, батюшка, зворыкинское, они крупный скот держат, у них, сказывают, бык пятьдесят пудов весу…
— Эка, бабка, хватила! — сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца коляску. — В пятьдесят пудов каркадил

бывает, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, ты — полсотни. Откормила, ха!

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня раным-рано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на небо — каков-то нонче день? Вчера Илья, второй ее сын, — старший жил в Москве — отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлеба, несмотря на долговременную засуху, густы, большеколосны; сжать их сжали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, близко. Илья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урожай, урожай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай: полегли на том Бородинском отец его Марк Иваныч и брат Степан, но ведь было это двадцать семь лет тому назад! «Панакидку» отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты от работы в липком поту, как в меду? Вот отвезем тяжелые возы с зерном, засыплем его… привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги, — вот тогда можно и «панакидку»! Непонятно было Илье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости — и недужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и свечечку-то о здравии внучка, что кашляет, надо поставить…

И вот перед нею тонкое и сырое жнивье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полы зипуна, опустив пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краюха хлеба, заветные два рубля — «на полную панакидку», старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце у старухи и легко и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит «панакидку», даст попу и дьякону установленное, услышит благодарность, и ей сразу легче станет. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как служил много лет в «Ревельском» Марк Иваныч, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто понеугомонней, чтобы направить их в тот же «Ревельский», против французов. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвощевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьки! Он сам сказал: «Лоб! Иду, матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набежит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце — мать! И пошла она провожать его, как вечно водится, за околицу, как провожали на татарина, на печенега, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед; прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылся за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу… Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — надо, а на душе холодно и немо…

Выслушают ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапанные воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, понеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее поп выспрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой любила плясать, как ела на петровках мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и недодала творогу в «пасхальное»… И скажет поп: «Прощаются, мать, тебе грехи твои!» — и станет у ней на душе легко-легко…

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасскому. Привратница, с неподвижно мягким лицом и искристыми глазами, сказала ей, что весь причт и все монахини уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от орудийных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей обязательно надо уговориться с отцом Николаем насчет «панакидки», на том самом, на Бородинском, по убиенным воинам: Марку и сыну ее Степану. Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные, шелковисто холодные бумажки и показала привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась, и так как разговаривать ей с привратницей было некогда, то, положив на скамью четыре яйца рядом с привратницей, от которой шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где же инокиня Мария?» Инокиня Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-четвертого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, раным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, приказав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножья обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжкая, огненно-неодолимая жара стлалась над нею. Серая пыль поднималась на дороге, люто загораживая от нее людей. Старуха в мертвящей тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Полы зипуна бились по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантасам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «панакидку». Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом.

А солнце поднималось все выше и выше. Томителен и зловещ был для старухи всюду проникающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец она увидела Бородино. Испугала ее строгая линия солдат в томительно торжественном блеске штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром солдату испросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать — не найдешь, так как попы сюда съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колючий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «отставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржаво-красными кругами задок телеги, неистово толстый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла неподвижно.

В телеге спал какой-то парень с глупым лицом, похожий на тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник несся возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножия которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчовым покровом. Не видела императора в яркой одежде; не видела ни разноцветных посланников, ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом, ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они поют перед царем и полуторастотысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сияющих белоснежной одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, пухлый и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн войск, амфитеатром поднимающихся одна над другой. Не видела инвалидов бородинских, и не видела она инокини Марии, которая действительно стояла неподалеку от гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловещими темными пятнами приближающейся смерти. Не видела и отца Николая, — да и где увидеть его среди тысячи монахов и священников!

— Великой державе российской… — провозглашает первосвятитель.

— Ура-а!.. — отвечает полуторастотысячное войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканием штыков, хоругвей, знамен — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после залпов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-помалу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «панакидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане…

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, ан уже подскочил ка «кой-нибудь

купец или чиновник и заказывает сразу несколько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а подле того стоит важный степной барин и утробистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает заказать «вечную память». Нет старухе попа. От беготни и суеты скисло молоко в узкошеей крынке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, но еле успела наполнить крынку, как подъехали молодые чиновники и отогнали старуху. Шум, грохот, крики… нет места старухе, некому рассказать о своем горе!..
И вот, к вечеру уже, вышла она к Старой Смоленской дороге, где неподалеку, говорят, пал генерал Тучков-четвертый и с ним воины русские, а среди тех воинов пали ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный, с нежным лицом, — Степушка. Стоит старуха в кустах. Ноги усталые дрожат, хочется пить. Достала она крынку с водой, заткнутую мокрой тряпкой, отдающей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледно-зеленой коже сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Попало в голову старухе: не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? И не остановятся ли возвращающиеся с праздника солдаты? И она расскажет, как умерли и как жили ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный Степушка. Да разве для нее, для старухи, остановятся солдаты. А он небось сильный барин…
Вот и спросила у барина старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних — скотовод, что ли? Смотрел он на стадо и спросил: не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать… все ему расскажу, все…» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятипудового быка, что есть у Зворыкиных:
— И, батюшка, ведь барский скот особый. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова. Бурешкой звали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.
— Такие коровы бывают, — сказал кучер. — А про быка…
— Подожди ты насчет быка, — быстро заговорила старуха. — Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иваныч, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковой… и сын, Степушка, направился к нему. А перед самым тем уходом Бурешка-то и пади. Ох и парень был Степушка, десятерых один кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут Бурешка и пади… Господи, горя-то было!..

Василий Андреевич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминая капители коринфского ордера. Он уже забыл о стаде, которое скрылось за косогором, и разговор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и сын стояли на Бородинском поле, может быть, их даже ранило, а она — из всего Бородина помнит только, что незадолго перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Гроб Багратиона?.. Но что-то ей понятно, — продолжал думать Василий Андреевич, чувствовавший, что духота уменьшилась и ему легче, — иначе разве бы стала она искать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять
ее?»

Однако он попробовал. Он стал расспрашивать ее о корове, для того чтобы старуха рассказала ему другое — как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, найдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательнее стала вспоминать уже совсем скучные подробности о Бурешке, подробности, которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила к тому же она торопясь и оттого повторялась.

Василий Андреевич стоял перед ней растерянно. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и надо ли ее разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андреевич достал было кошелек, да спросил:
— Что с твоими-то сталось при Бородинском, бабушка?
— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разъединяя губы. — С моим-то, батюшка, о-о-ох! — Она всхлипнула, сначала тихо, затем громче и наконец опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешна она, ох как грешна.
И, понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андреевич тихо влез в экипаж и шепотом приказал ехать. Кони, словно понимая его шепот, как бы на цыпочках спустили экипаж к Старой Смолянке. Экипаж неслышно скрылся в пухлой и нежной мгле вечера.
Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя по-прежнему шли от всей глубины сердца.
От дороги послышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.
— Ну и жарища! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому же. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка?
Старуха сказала, что речка далеко, и, хотя ей самой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узким горлышком. Солдат жадно схватил крынку и припал к ней. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась крынка в руках солдата, тем сильнее ей хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выспрашивать про тучковский полк. Зачем? Она только что высказалась, выплакалась до дна… И она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.
Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву, теплую и так жаждущую дождя, поправил сапоги и сказал:
— Вот и спасибо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..
Она ответила:
— Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал.
И они разошлись. Солдат пустился догонять свой полк, а старуха вышла на Старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отсвечивала. Росы не было, — а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взлете, до мочажины — верст, пожалуй, пять, да и то небось пересохло. Устало, вязко ступая по дорожной пыли, старуха шла домой.

Александр Серафимович

Веселый день

Последнее время на этом участке фронта в верховьях Дона стояло затишье. И вдруг на рассвете после тяжелой темной ночи раздался залп фашистской артиллерии. Второй, третий, — и пошла потрясающая пальба.
Что это! Наступление?.. По нашей линии все напряглось в ожидании, в приготовлении к отпору. Всех — и бойцов, и командиров, и артиллеристов, и минометчиков, — всех, кто ни находился на линии фронта в окопах, в дотах и дзотах, и в тылу, поражала ничем не объяснимая вещь: фашистская артиллерия бьет не по нашим укреплениям, не по нашим огневым точкам, а по чистому полю, бьет по голому полю, которое раскинулось между нашей и вражеской линиями. Поле — пустынное. Кое-где темнеют голые кустики да виднеются небольшие ложбинки, а в них и котенок не спрячется. Но с потрясающей силой бьет фашистская артиллерия в чистое поле, как в копеечку. Гигантские глыбы черной земли

страшной тяжестью взлетают в черных облаках дыма и пыли, и после них зловеще дымятся глубокие провалы. Поле разворочено, как будто плуг нечеловеческой громады прошел по нему.

Бойцы безбоязненно высовывались из окопов, с изумлением оглядывались друг на друга.

— Да что за черт!

— В чистое поле, как в копеечку…

— Это же денег стоит…

— Фриц сбесился!..

— Без ума жил, с ума сошел.

— Рехнулся…

Бойцы ничего не понимали.

Долго враг бил по пустому месту, разворачивая все новые места на чистом поле, долго глядели и удивлялись бойцы.

…Прошлая ночь была черна и туманна. В этой тьме стоит тишина одинаково над нашими и немецкими окопами. И одинаково прислушиваются в тех и других невидимые часовые. Да вдруг посыплется во тьме пулеметная очередь или высоко вскинется ракета, осветив мертвенно-голубоватым светом дымчатый туман. И опять — мутная тьма; ни звука.

В глухом, не выделяющемся во тьме блиндаже судорожно шныряют по стенам уродливо дрожащие тени от коптилки. Командир говорит:

— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Кто-то из них с автоматом в руке открыл люк, видимо, хотел стрелять по немцам. В открытый люк влетела граната подобравшегося врага. Наши товарищи все от взрыва погибли. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня. Нужно послать человек десять, пятнадцать. Надо вызвать добровольцев.

— Товарищ Якименко, поговорите с бойцами. Да чтоб не курили…

Якименко вышел, осторожно притворив дверь. Тени судорожно бродили по стенам. Командир, опершись подбородком на руки, глядел красно набрякшими от бессонницы глазами, не мигая, на разложенную по грубо сколоченному столу карту. Минут через десять бойцы толпой осторожно протиснулись в дверь.

— Ну, подобрались?

— Вот пятнадцать человек бойцов пойдут.

Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец. По лицу бегали тени.

— Товарищ командир, разрешите доложить?

— Ну?

— Я доставлю танк. Мне не нужно этих пятнадцати. Куда такую ораву! Все равно катить такую махину не сдюжаем, а суматоху наделаем на всю округу.

— Так чего же тебе? Один, что ли?

— Двух товарищей, шоферов, разрешите, товарищ командир, взять.

Командир поднял отягченные веки, тяжело посмотрел на него:

— Как только заведете, заревет — немецкая артиллерия, сейчас же разобьет, — под самым носом ведь у них, и пристрелялись.

— Нет, товарищ командир, тишина будет нерушимая.

— Как же это?

— Разрешите доложить, когда выполню задание.

Командир подумал:

— Ладно, ступай. Ответственность на тебе.

— Есть ответственность на мне.

Трое вышли и потонули в недвижимой мгле. Человеческого дыхания не было слышно. Не зашелестит помятая трава, — все тот же непроницаемый мрак. Трое осторожно, по-кошачьи, ступали согнувшись или ползли на брюхе, останавливаясь и прислушиваясь — беспредельный мрак, океан молчания. Но пробиравшиеся бойцы знали: в этой беспредельности — напряженное внимание. И вдруг вспыхнет мертвенно-голубоватым

светом ракета, посыплется короткая пулеметная очередь. Трое бросаются на землю и лежат не шелохнувшись. И опять тьма…
Они скорее почувствовали, чем увидели, черный сгусток среди ночи. Ощупали: да, танк. Сдерживая дыхание, один влез в танк. Пахнуло могильным холодом. Вывернул в моторе свечи. Теперь компрессии не будет, мотор не заведется, не заревет. Потом включил задний ход — невидимой пушкой танк глядел на невидимые вражьи окопы. Потом вылез и вдвоем взялись за заводной ключ, стали тихо и напряженно проворачивать вал мотора. И танк неосязаемо двинулся задом от окопов, но так неуловимо, как будто, не слушаясь ключа, стоял на месте в молчавшей темноте. А те все так же медленно и напряженно крутили, задерживая дыхание, и горячий пот бисером проступил на лбу. Когда сердце больно стало стучать, один переменился, и так же беззвучно медленно стали крутить. Если бы посмотреть на танк днем, его движение было бы так же неуловимо, как движение минутной стрелки часов, которая, кажется, стоит на месте. И все покрывала ночь своей непроницаемостью.
Как ни незаметно, ни неуловимо двигался танк, к рассвету, когда едва обозначились края черных туч, он дополз до нашей позиции. Юнец с озорными глазами явился к командиру:
— Разрешите, товарищ командир, доложить?
— Ну, говори, говори. Как?
— Задание выполнено. Танк доставлен целым и невредимым.
— Как же это вы ухитрились?!
Боец рассказал.
— Молодцы ребята! Будете представлены к награде.
Только он это сказал, на вражеской позиции грянул артиллерийский залп. Потом еще, еще. Все засуетились.
— Наступают, что ли?
Прибежал запыхавшийся боец:
— Дозвольте доложить, товарищ командир. Артиллерия ихняя бьет не по окопам нашим, а по пустому месту, где стоял танк. Все место изрыли.
Командир вышел, стал смотреть в бинокль. Залпы сотрясали поле.
— А ведь сбесились!..

На другой день наша разведка привела двух языков. На допросе они согласно показали: когда утром совсем рассвело, немцы глянули, ахнули: танк исчез. Немецкое начальство сейчас же арестовало часовых. Стали ломать голову, куда же делся танк. Уехать на нем не могли, мотор бы ревел, гусеницы бы лязгали, поднялась бы тревога. Откатить на руках не могли: такую махину не сдвинешь. Взять на буксир тоже не могли, буксир поднял бы рев. Долго ломали головы. Один из офицеров сделал предположение, единственно приемлемое: русские — хитрый народ… они просто замаскировали танк. Поле местами покрыто кустарником, кочковатое, в ложбинах. Русские подкопали танк, он опустился. Сверху накидали земли, натыкали кустов, и танк исчез. Начальство немецкое приказало обстрелять из орудий поле, где можно было предположить замаскированный танк, чтобы обнаружить его. Заревели орудия.
Когда наши бойцы узнали, как опростоволосились немцы, грянул такой ядреный хохот, что поле опять задрожало: хохотала пехота, хохотали артиллеристы, хохотали минометчики, улыбались командиры. Веселый был день.

Юная армия

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.
Большак круто перегибается в глубокий овраг, на мост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса посматривая на него. Вокруг в

беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам — от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчики и девочки.
После некоторой паузы один сказал:
— Думал, думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя — услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а…
— Да где ты пистолет возьмешь! — с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.
— Фу, да у дяди Вани скрал бы! Да слыхать выстрел, и на морозе порохом воняет.
— Как же ты сделал?
— Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец востро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва — старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота… ну, я…
— Знаем, знаем! — закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам разрумянившееся на морозе лицо.
— Знаем! Ну? — дружно откликнулись мальчишки и девочки.
Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали, как новую.
— …а возле вербы тропочка — к колодезю в овраг фрицы за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай, по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило…
— Знаем, знаем! — опять радостно закричал маленький.
— Ты-то чего кричишь! Глухие, что ль?.. Ну, рассказывай!
— Ну, я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет — кто-то лез. Зачнут стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва да с обрыва и сиганул в овраг. А в овраге ветром намело снегу — лошадь утонет. А я по дну под снегом-то поперек оврага ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну, руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фрицы, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру — фриц идет в маминой кацавейке да в соломенной обуви.
— Эрцац называется.
— …а на голове мамин платок…
— Ни мужик, ни баба!
Все захохотали.
— Ну?
— Ну, я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву…
Охнули все…
— Промахнулся?..
— Ды он, сатана, как раз повернул голову, высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.
Хотя и в двадцатый раз слышали все это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.
— Прибежал фриц назад, а за ним пять фрицев с автоматами. Глянули, а на энтой стороне, где я из кустов сиганул в снег — весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на тот край оврага, и только я слышу: «Партизан!», «Партизан!» А у энтого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.
Все опять радостно захохотали, захлопали в ладоши. Потом замолчали.
Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.
К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:
— Ты куда идешь, гражданин?
Ребята толпой обступили.
— А тебе что?
— А то, неизвестных надо ловить и доставлять.
— А тебя кто уполномочил?
— Документы у тебя есть?
— Есть.
— Покажи!

— Вот приду в деревню, кому следует — покажу.
— А ты в какую деревню идешь?
— В Овражную.
— Да это наша деревня!..
— Вот и хорошо.
— Ну, пойдем, гражданин.
Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.
«Вот странное положение, — радостно подумал Курмаяров, — ребятишки меня арестовали, никогда бы этого себе не представил», — и так же радостно прятал улыбку в усы.
— Вы, что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?
— Зачем всех? — сказал старший. — По дороге ходят из нашей же деревни либо из соседских, а мы всех их знаем. А как незнакомый, да чужой, да еще ночью, — тут уж держи ухо востро.
Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребятишки все так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.
— Ну, как же вы караулите? Чай, храпите ночью — ходи кто хочет!
— Ишь ты, на-кась выкуси! — протянул старший кукиш. — Караулы ставим. Ночью — возле нашей деревни, в овраге, на мосту, — его не обойдешь, а днем — в лесу, возле поляны.
— Почему такая разница ночью и днем?
— Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково черно и над лесом, и над поляной. Сядешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высоченные и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь — убьешься. Вот они только днем…
Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:
— Они спустились, а мы их поймали.
— Да били дубинками, — звонким голосом закричал торопливо маленький, боясь, что его перебьют. — Одному голову разбили, а другому глаз.
— А он скривел! — закричали девочки.
— А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.
— Куда же вы их дели? — спросил Курмаяров.
Ребята опять дружно закричали:
— А мы их связали и в сельсовет представили. А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.
— А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.
Дети вдруг замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и оттого, что слабо, мрачно чернели остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.
— Вот наша деревня, — тихо сказал самый маленький.
И Курмаяров спросил то, о чем не решался спросить раньше:
— Дом против школы уцелел?
Ребятишки дружно ответили:
— Это Марфы Петровны-то? Нет… И печей не осталось.
— Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.
Курмаяров шагал опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.
Один из них показал на огонек:
— Вот наша школа.
Среди кладбищенского покоя сгоревших жилищ вдруг приветливо мигнул огонек.
Курмаяров вздохнул.
— Пойдем туда, — сказал старший. — Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!
И, помолчав, опять сказал:
— У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа и сельсовет, остальное все сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

— Как же вы живете? — спросил Курмаяров. — Холодно же…
— Так строится народ, шибко строится — двенадцатый дом кончаем, — всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой — их немцы не занимали, — трех коров пригнали и помогают строить… ну, вот и пришли…
Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход внизу. Курмаяров подумал: «Молодцы ребятишки, боятся, как бы их «гражданин» не смылся за угол».
Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребятишки привалились к столу, а двое остались у двери, притянув ее потуже.
— Ну, что? — сказал человек в ушанке, не поднимая головы.
Ребята гурьбой прокричали:
— Вот гражданина на мосту словили, по дорогам ночью блукает…
— Документы? — сказал человек, все так же не поднимая головы.
— Да то-то вот, не хочет показывать документов! — закричали ребята.
— Документы! — сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.
В вонючем махорочном дыму — молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке наконец поднял голову и остолбенел. Запинаясь, сказал:
— Да… это… вы! А мы вас ждали на машине, все прислушивались, нам по телефону сказали со станции.
Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:
— Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.
Курмаяров сел и увидел, что у человека в ушанке одна нога, а вместо другой — деревяшка.
— Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.
— Ой! — всплеснула руками девочка. — А я думала: известные писатели — молодые.
Ребята испуганно загалдели:
— А мы его арестовали! Смотрим, своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайтить, повалить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет палить в нас из пистолета.
— Вот еще растрепы-то! — сердито сказал в ушанке.
— Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой, — конфузливо оправдывались ребята.
Курмаяров слегка улыбнулся:
— Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел…
Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.
Ну, вот что, — сказал человек в ушанке, — гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.
Ребят как ветром сдунуло.
— Ну, я в суматохе забыл вам представиться: я — новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председатель колхоза — ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так на бумажке пишет.
Через двадцать минут большой школьный зал был до отказа набит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики и инвалиды.
Молоденькая комсомолка, с милыми конопатинками, открыла собрание:
— Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам…
— Пришел своими ногами, — дружно поправили ребята.
— Он еще мальчиком в царское время уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных местах, а теперь приехал… навестить родину…
— Пришел своими ногами… — опять упрямо зашумела ребятишки и девчата.

— Не хулиганить! — заревел председатель сельсовета.
— Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.
Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами и обычным голосом сказал:
— Читали вы, товарищи, Тургенева «Бежин луг»?
Все удивленно молчали, переглядываясь.
— Помните ребят в ночном: они стерегли лошадей, а Тургенев подошел, — на охоте был, — подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.
Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:
— Да мы на все поля вывезли на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалии, устраивали снегозадержание. Урожай во какой будет!
Пожилая женщина подала голос:
— Да как им, ребятам, не быть нынешними! Замучил зверь-немец! У ме…ня сы…сы-нок…
— Мама, мама!.. Постой!.. Я им лучше прочту.
Тоненькая школьница шестого класса поднялась в президиум, достала измятое письмо и стала читать:
— «…Мамочка, дорогая моя. Я тут много работаю, а ем меньше, чем даже в Курске, когда там с тобой под немцем были. Нас двое: Ване тоже четырнадцать лет, он с Украины. Один преподаватель собрался отсюда бежать, он отлично знает немецкий язык. Я отдал ему это письмо, не знаю, дойдет ли. Мамочка, я теперь тебе уже не кормилец. Хозяйка фермы, когда узнала, что ее муж убит на Восточном фронте, схватила топор и отрубила Ване руку, потом кинулась ко мне и выколола вилкой правый глаз…»

Девочка захлебнулась, слезы бисером покатились по ватнику. Пожилую женщину понесли на воздух.
— Да ведь что же это такое! — охнул зал, задыхаясь. — Силосную яму у нас немцы всю набили мертвяками.
Курмаяров опустил голову. У всех одно большое горе, — горя реченька бездонная! Глухо сказал:
— Спешил сюда… Матушку, сестренку обнять… — И чуть слышно добавил: — Обеих нет…
Из зала донесся голос:
— Матушку вашу, Марфу Петровну, замучили, а Нюшу увезли, ироды.
— И у меня мать загубили…
— И у меня…
— А у меня сы-ы-ночка…
— Доченьку мою…
— У меня брата…
И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос мести и страстной, исступленной веры в победу.
— Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай, мы тут одни женщины и ребята — мужики на войну ушли, — но мы все сделаем! Мы перервем глотку врагу!
…Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов, и среди них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

Михаил Пришвин

Голубая стрекоза

В ту первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара и скоро попал в сражение на западе в Августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня совершалось.
Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью: то падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала, я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее.
— Вы с ума сошли, — сказал мне строгий голос из-под земли.
Я глянул и увидел голову Максима Максимыча: бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне:
— Да как же вам, писатель вы такой-рассякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?
— Что же мне делать? — спросил я, очень обрадованный его решительным тоном.
— Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых…
Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком, и мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель.
В это время один умирающий шептал мне:
— Вот бы водицы!..
Я по первому слову раненого побежал за водой.
Но он не пил и повторял мне:
— Водицы, водицы, ручья!..
С изумлением поглядел я на него и вдруг все понял: это был почти мальчик с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души.
Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья.
В косых лучах вечернего солнца особенным, зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретики хвощей, листки телореза, водяных лилий, над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку.
Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу.
И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза.
— Спасибо, — прошептал он.
Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал «спасибо» и снова закрыл глаза.
Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились, возникла новая борьба, и я услышал:
— А что, она еще летает?
Голубая стрекоза еще кружилась.
— Летает, — ответил я, — и еще как!
Он опять улыбнулся и впал в забытье.
Между тем мало-помалу смеркалось, и я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся.
Как вдруг слышу, он спрашивает:
— Все еще летает?
— Летает, — сказал я, не глядя, не думая.
— Почему же я не вижу? — спросил он, с трудом открывая глаза.
Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут: глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел.
Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза.

Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода — эти глаза земли — остается светлой, когда и стемнеет: эти глаза как будто видят во тьме.
— Летает, летает! — воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза.
И я ему показал отражение. И он улыбнулся.
Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого, — по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогли песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.

Соловей

Рассказы о ленинградских детях

Ботик

На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переславля-Залесского, на красивом холме расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра Первого. В летние тихие дни в тихих водах виднеются спокойные отражения древних церквей, холмов с городищами, собор XI века и много такого, на что и сам Петр, со своим Санкт-Петербургом, смотрел, как на древности.
Мало найдется под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять верст стелется озеро, совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем; направо, часто из дымки, выступает древний город, как невидимый град, налево — леса, не дачные, а дикие, с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север.
Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединенно, в белом дворце, среди старинных берез, будто бы екатерининского времени. Только один раз в году, в петров день, когда расцветают все травы, сюда во множестве собирались переславльские граждане почтить память Петра. В другое время редким, случайным посетителям усадьбы мы показывали памятник, поставленный в 1852 году владимирским дворянством Петру Великому. На этом памятнике золотыми буквами по серому мрамору был написан грозный указ царя о неминуемом возмездии потомкам ярославских воевод, если они не будут беречь остатки его потешного флота. После чтения грозного указа всегда оставлял на нас тяжелое впечатление вид жалкого ботика с перепревшими канатами, единственного уцелевшего суденышка от многих петровских галер и фрегатов. Каждому посетителю должно было приходить в голову при виде ботика, что не поздно ли хватилось переславльское дворянство, что, пожалуй, не миновать уже потомкам воевод петровского возмездия.
Характерным для натуры Петра было непрерывное стремительное движение вперед, и это так было прекрасно понято Фальконе и Пушкиным, давшими нам образ гиганта на бронзовом коне. Трудно себе вообразить после этих памятников что-нибудь более жалкое, чем то мраморное пресс-папье, что стоит на Ботике. В пределах сил наших мы решили устроить из Ботика памятник чисто в духе Петра: устроили в прекрасном белом каменном доме географическую станцию.
После географической станции на короткое время здесь мелькнула станция биологическая, потом здесь был дом отдыха, потом техническая школа и другие учреждения, вытеснявшие друг друга.
Во время блокады Ленинграда сюда эвакуировали детей, чьи матери погибли в Ленинграде. Дети были очень истощены — косточки да мешочки, — но наша простая и сильная природа пришла им на помощь, и к тому времени, когда запел соловей, детишки оправились, забегали, запели, защебетали.
Вот тогда прошлое потешного флота Петра и наличие самого детского ботика — все вместе связалось, как будто сам Петр обрадовался детям и отменил свой суровый указ о возмездии. Дети

Двадцать лет тому назад мы пришли на Ботик и, прикоснувшись к местной природе, в себе самих открыли детей, способных радоваться при добывании себе пищи ружьем в лесу и сетью в озере. С нами был пожилой художник, совершенный ребенок душой, и, глядя на него, нам приходило в голову, что, может быть, каждый настоящий художник хранит в себе ребенка своего, как нежная мать, и воспитывает его, как разумный отец. Мы сами тогда благодаря художнику настроились, как дети, и восхищались природой.
Какие были тогда над Ботиком звезды!
Теперь мы пришли сюда измученные не своим личным горем, а ужасным бедствием всего человечества на земле, общим горем, ломающим личную жизнь.
И вот они опять над Ботиком, те же самые большие, блестящие лучистые звезды. Какие они теперь стали холодные, какие стойко-равнодушные к человеческому горю! Очень больно было при виде этих пустых звезд расставаться со всем лучшим в своем прошлом: никаких сказок мы больше не видели за этими благополучно неизменными украшениями небесного свода. Но, конечно, это были только сокровенные поэтические чувствования, мы не могли к звездам предъявить какие-то требования: все разочарование было только от того, что мы сами больше уже не были просты, как дети. Но когда потом прибежали к нам дети, в их глазах мы узнали сказки детства, теперь как будто сошедшие со звезд. Мы очень обрадовались этому чувству, как будто вдруг нашли свое лучшее распределенным в этих карих, и синих, и черных, и голубых детских чистых глазах.
Мы брали их за руки и на руки, мы позволяли каждому прикоснуться к нашей одежде и очень внимательно слушали их щебет и лепет.
Ленинградские дети, никогда еще не имевшие тесной близости с живой природой, рассказали прежде всего о сером быстро бегающем зайце.
— С огромным хвостом! — выкрикнул голос из толпы.
— Неправда, — ответили мы, — у зайца хвост — небольшая белая пуховочка, и у охотников называется не хвостом, а цветком.
— Неправда! — выкрикнул тот же голос. — У всех зайцев, может быть, и цветок, а у нашего, все мы видели, вот какой огромный хвостище!
Еще рассказали нам о котенке, который забрался к вороне в гнездо, и ворона выклевала ему глаз.
— Глядите, вон он идет, одноглазый!
— Ах, бедный!
— Нет, он не бедный, так ему и надо: зачем он лез в чужое гнездо!
Еще рассказали о лягушке: она прыгала, ее поймали, пожали немного, чтобы удержать, а она после того прыгать больше не стала.
— Ах вы, безобразники! Вы замучили лягушку, а это, может быть, и была сама лягушка-царевна!
И рассказали им по-своему, как выйдет, о лягушке-царевне. Вероятно, вышло неплохо: все дети были растроганы, все жалели лягушку-царевну и обещались никогда лягушек не душить.
— Пусть себе прыгают!
— Лягушек не будем душить, — сказал один маленький бутузик, — но если медведь придет?
— Медведей тут близко нет, медведь не придет.
— Как же так? Вчера ночью к нам медведь приходил. Ночью я сам слышу: стук-стук! — отворяется дверь, и входит огромный медведь, и прямо ко мне, а я во весь голос орать. Прибежали скоро няни, а медведь убежал.
— Медведей, — сказали мы, — не бойся: они очень человека боятся.
И рассказали им действительный случай с нами на севере, когда мы целый месяц в тайге искали встречи с медведем и не могли встретиться. Но когда сели в лодку и поплыли, то медведь вышел из леса и долго смотрел нам вслед, как мы плыли вниз по реке.
— Чего же вы его не били?
— А не видели.
— А как же узнали, что он глядел?
— После один охотник рассказал: он видел с другого берега из своего шалаша.

И еще этот охотник рассказал, будто бы, когда река повернула и мы скрылись из виду, медведь залез на высокое дерево и оттуда опять долго глядел. А под конец помахал нам лапой, язык нам показал, слез с дерева и убежал в лес.
Рассказывая о медведе, мы сидели на широком пне, а дети плотно прижались к нам, как, бывает, многочисленные отпрыски обступают тесно пень материнского дерева. Все дети были чистенько и заботливо убраны, вполне здоровые, с розовыми и загорелыми личиками. Но только как-то уж очень плотно они к нам прижимались, слишком тянулись к нам. Так бывает в лесу, когда срежут дерево и корневая сила выбрасывает пуки свежих отпрысков, и листики на них как-то очень уж зелены, кора слишком нежная, стволики чересчур частые кругом обнимают пустое место: дерева-матери нет, а внизу пень.
Маленькая девочка Мария Тереза, дочь испанской комсомолки, умершей в Ленинграде, гордая, нелюдимая, робко-застенчиво опустив глаза, спросила: не позволим ли мы ей называть нас папой и мамой? Вслед за Терезой все начали просить нас об этом.
Так мы были на месте умершего дерева-матери, и бедные человеческие отпрыски спрашивали нас:
— Не вы ли пришли, наши папа и мама?
Что нам было сказать!.. Когда видишь крошечные существа четырех, пяти лет, тянущиеся к нам с вопросом: «Не вы ли папа и мама?» — это потрясает.
Жизнь возле пня
Нигде не найдешь в лесу жизни более обильной и страстной, как возле старого пня. И мы тут сидели на пне, радуясь, что ребятишки так жадно слушают нас. Мы спросили одного мальчугана:
— Скажи, милый, кого ты больше любишь: папу или маму.
— Папу, — ответил мальчик, — я, конечно, больше люблю: папа с нами играл, наш папа был, как мы.
— А мама?
— Мама готовила на кухне, стирала белье.
Это значило у мальчика, что папа мог играть с ним, а маме было трудно. И еще это значило: мама умерла, но это страшно, об этом лучше молчать, а папа жив.
— Твой папа на фронте? Что он там делает?
— Пишет письма.
Значит, есть надежда, что он вернется и опять будет играть. Короче говоря, мальчик ответил, как ответил бы любой из побегов, обступающих старый пень:
— Мне хочется жить, и это я «больше люблю».
Бедный мальчуган! Сколько весен еще надо петь соловью свою песенку, чтобы ребячьему сердцу победить пережитое, чтобы снова вошла в это испуганное сердечко и навсегда там осталась прекрасная мама его первого детства!
Папа-доктор
Доктор в колонии — чуть ли не единственный мужчина в женском царстве, обслуживающем семейку человек в триста. Приводят к нему мальчика Мишу с накожной болезнью, последствием ленинградского голоданья. Приходится сделать небольшую операцию.
Доктор готовит инструменты. Мальчик бледнеет.
— Не бойся, мальчик, я хочу тебе помочь. Не будешь бояться?
— Не буду.
— Начинаю, держись.
— Держусь.
— Больно?
— Не хочу больно, держусь.
— Молодец. Вот и все.
Миша счастлив. Миша очарован добрым доктором, возбудившим в нем мужество, преодолевающее боль. И вот тогда из безобманной, целомудренной, застенчивой природы сердечной поднимается чувство благодарности.
Неуверенно, робко, вспыхнув, Миша говорит:
— Доктор, разреши мне звать тебя папой?
— А разве нет у тебя папы?

— Папа на фронте, далеко, тот папа мой, а ты будешь здесь нашим папой.
Доктор согласился при обещании мальчика держать договор в тайне.
Вечером, при обходе, в спальне все дети разом закричали доктору:
— Наш папа идет!
Доктор не обрадовался этому назначению своему — быть общим папой. Он человек деловой, должен блюсти дисциплину, он им доктор, а не папа. Да так и запретил, и тому мальчику Мише запретил за то, что он не сохранил тайны.
— Болтун! — сказал он строго.
И проворчал в нашу сторону:
— Извольте понимать эту мудрость: «будьте как дети», если дети эти — плуты и разбойники.
После занятий доктор, однако, своим перочинным ножом сделал змей для детей, запустил его вместе с ними, и тут дети забыли запрещение и опять сделали доктора папой. И видно было, что сам доктор радовался, как ребенок.
Тогда мы подошли к доктору, запускавшему змея, и повторили его слова:
— Извольте понимать эту мудрость: «будьте как дети»!
Булочка
Один из старших мальчиков внес на руках рыженькую девочку, всю в ямочках-улыбках: улыбки были на щеках и даже на локотках.
— Это у нас, — сказала мама-директор, — самая счастливая, ведь ей всего только три года, и благодаря этому она живет в полном забвении горя. Звать ее Зина, но мы попросту зовем ее Булочкой.
— Правда, булочка, — сказали мы, — к этим ямкам-улыбкам не хватает только коринки и тмину.
— Нет, — ответила директорша, — мы ее не за то зовем Булочкой. Я ее действительно нашла у дверей булочной на снегу. От слабости она уже не открывала глаза. А в кармане ее шубки была записка от матери: она прощалась с дочкой Зиночкой, фамилии в записке вовсе не было. Спросите теперь ее, кто ее мама, где ее мама взяла?
— Булочка, где твоя мама? — спросили мы.
— Вот моя мама, — ответила Зиночка.
И обняла директоршу, как настоящую маму, и прижималась к груди ее, как настоящая маленькая дочка.
— Смотрите, как поправилась, — говорила нам с настоящей материнской гордостью счастливая мать, подбрасывая Булочку, как мячик, к потолку.
— А где тебя мама нашла? — спросили мы.
Булочка, не моргнув глазом, с полной детской уверенностью ответила:
— Мама купила меня в булочной.
Папа-генерал
Однажды приехал на своей машине знатный военный в генеральском чине и в больших орденах. Он вышел к детям с кулечком конфет и поровну всем сам разделил. Когда кончилась суета разбора конфет, все дети начали молча жевать, и только один Ваня преодолел страсть к конфетке и предпочел сначала поблагодарить генерала.
— Разрешите мне, — сказал он генералу, — называть вас своим папой?
— А у тебя разве нет своего?
— Был у меня папа, — ответил сирота, — а теперь нет папы.
Генерал взял мальчика за руку, пошел к маме-директору. Там они долго о чем-то говорили и что-то записывали. После того военный посадил мальчика в машину свою и увез.
Через месяц от мальчика получилось известие: генерал увез его на Дальний Восток.
Где это такая страна — Дальний Восток? Какая это страна, что там? Стали допытываться и узнали, что там Тихий океан, что вороны там не серые, а черные, что сороки там голубые и много прекрасного, чего у нас нет. И всем захотелось попасть в эту чудесную страну с голубыми сороками, но ведь без папы не попасть туда, может быть, потому-то он и папа, что он увозит детей на Дальний Восток.
— Почему же он, — спрашивали мальчики с завистью, — одного только Ваню выбрал себе?

Воспитательница не нашлась, как объяснить детям, что есть во всякой любви минута личной встречи, и объяснила простым «потому», все сведя к скучному уроку.
— Вы же сами знаете, — отвечала она, — прежде чем класть конфетку в рот, Ваня поблагодарил генерала, и потому тот согласился сделаться папой. Вот бы и вам так поблагодарить, и был бы Дальний Восток, а вы, глупенькие, съели по конфетке — с вас и довольно.

Мыши

Была в Ленинграде одна малодушная мать. Она оставила на улице свою девочку с обманной запиской о том, что с собой решила покончить и просит приютить ее ребенка. Такая была мать, что даже забыла упомянуть в записке имя своей девочки, и ее стали звать Зиной, хотя она была Сашей. Бросив дочь — развязав себе руки, эта мать сама как-то ухитрилась устроиться на больничный паек и потом благополучно выбраться из Ленинграда в безопасные от голода края Ярославской области.
Мало того, когда почти через год девочку выходили и она очень полюбила свою новую прекрасную маму, старая ведьма явилась в колонию со своими родовыми материнскими правами.
Прекрасная мама вовсе не была от природы прекрасной. У нее было простое рязанское лицо, но она сама себя по необходимости сделала для всей своей семьи в триста человек детей прекрасной. Она знала, что дети красоту не принимают целиком и сразу, как мы, а складывают ее, подобно тому, как складывают из кубиков разные интересные фигуры. Вот почему она, педагог по призванию, постаралась спасти из Ленинграда свои наряды, всякие цветистые кофточки, среди которых одна была золотистая крепдешиновая. Создавая детям образ прекрасной мамы, она старалась им показываться в разных кофточках, а по праздникам — в золотистой крепдешиновой. А какие у мамы туфельки, какой платочек дивный с цветочком на уголку, как чудесно от нее пахнет душистым мылом! И, может быть, даже алые губки на пудре ребенок встречал, как мы встречаем полоску зари.
Какое дело маленьким детям до того, что эта их прекрасная мама с рязанским лицом в поисках продовольствия для семейки в триста душ под дождем, по десятку километров пешком месит грязь по району, что грачом торчит на грузовике, путешествуя в область. Дети ничего этого пока знать не должны, прекрасная мама, входя к ним, все это должна забывать, все отбрасывать: ей необходимо быть мамой прекрасной.
Теперь пришла прежняя мама, небольшая женщина в мышиного цвета платке, с хитрыми, пронзительными, кругло муравьиными глазками, с невозможным сплетеньем на лице своем хитрейших мышиных ходов. После прекрасной мамы к Зиночке как будто какая-то мышиная королева пришла и шепелявила ей какие-то мышиные непонятные слова.
Зиночка так понимала ее:
— Тише, мыши! Шаша-шаша!
— Что она говорит? — спросила Зиночка, широко открывая глаза.
— Шаша-шаша, — шепелявила мышиная королева.
— Да не Саша она, — отвечала начальница, — она у нас Зина.
И тут оказалось, что Зина — по-настоящему была Сашей.
— Здравствуй, Шаша.
Зина ничего не ответила.
— Поди ко мне, моя Шаша.
— Не пойду, — ответила Зина. — Вот еще!
— Что вы с ней сделали? — допрашивала мышиная королева. — Какая она стала у вас невеселая, грубая и старую маму свою забыла.
— Мы думали, — ответила начальница, — старая мама ее умерла: в записке так было. Но уж если настоящая мама нашлась — девочка скоро привыкнет к вам, и вы обе будете счастливы. И она у нас вовсе не грубая. Вот, посмотрите.
И предложила ей поглядеть в замочную скважинку. Сама вышла в соседнюю комнату и через некоторое время кликнула к себе Зиночку.
Мышиная королева стала на колени перед скважинкой и видела, как вбежала радостно-солнечная девочка и бросилась на колени к своей новой маме и как она щебетала ей о своем всем детском: и о зайце с огромным хвостом, и о медведе, путешествующем по ночам к

детям из спальни в спальню, и о какой-то золотой куколке в клевере, и, с ужасом, вся сжавшись, о серой мышиной королеве, и с широко открытыми глазами повторяла:
— Шаша, тише, шиши-мыши…
Старая мама смирилась и даже пожелала остаться в детдоме кладовщицей. Одно было заключено с нею условие, что дочку ее теперь звать только Зиной.
Так незаметной кладовщицей мышиная королева спряталась в тень. Так бывает в темном бору, когда врывается в него солнечный луч: светолюбивые существа собираются на траве в лучах, а темные блошки и все такое спешит спрятаться в тень, падающую от деревьев, и их там бывает не видно. И так целый день по движенью солнца перемещаются падающие тени на светлых полянах, и с ними перемещаются темные блошки, хитрые паучки и вся лесная нечистая тварь.
Мало-помалу Зиночка чаще и чаще стала скрываться куда-то вниз, в подвальную кладовую к мышиной королеве и ясных глаз своей прекрасной мамы больше не встречала своими прежними большими глазами, прятала их, косилась, выглядывала из щелок, постепенно делалась замкнутой, угрюмой и грубой.
Однажды, когда Зиночка исчезла, прекрасная мама тихонечко по ступенькам стала спускаться туда, в подвальную жизнь мышиной королевы, невольно с улыбкой повторяла про себя: «Шаша, тише, шиши-мыши!» В самом низу она остановилась. Светилась одна только замочная скважина.
— Тише, мыши!
И прекрасная мама, — чего только не приходилось ей выносить за детей! — она не постеснялась в своей небесного цвета юбке и крепдешиновой золотистой кофточке опуститься на колени на грязный каменный пол перед замочной скважиной мышиной королевы. Там в сводчатом подвале за столиком у окна сидела мышиная королева, а Зиночка против нее чайной ложечкой кушала какую-то золотистого цвета прелесть.
— Кушай, Шаша, кушай! — повторяла мышиная королева.
Прекрасная мама скоро догадалась: Зина ела ростовское морковное повидло, за которое в области была такая борьбами так она берегла его для детских праздников. Мыши нашли к нему лазейку, и Зиночка кушала сворованное мышами добро.
— Кушай, Шаша, — повторяла королева, подкладывая еще и еще из банки на блюдечко.
А после того появился кулечек с изюмом, с черносливом, с пряниками на меду — тоже все знакомое, тоже все помнится: какая борьба была и какая победа, и сколько потом, пока из области дошло до района и из района в детдом, разные мыши из детских прелестей растащили себе в норки.
Прекрасная мама встала с колен, открыла дверь и вошла, словно свет ворвался в темный бор.
— Ты ли это, Зиночка? — сказала она. — Но только не бойся, ничего не пугайся, как мыши. Ты больше не будешь ходить сюда?
— Не буду, — прошептала Зиночка.
И по-прежнему открыла большие глаза.
— Иди за мной.
И Зиночка пошла за новой мамой по лесенке.
— Шаша, Шаша, — шепелявила мышиная королева.
Зиночка не оглядывалась. Зиночка ушла от нее, страшно думать! — может быть, навсегда. Так бывает в пасмурный день, когда в травах смешивается жизнь светолюбивых и темных существ, — вдруг ворвется солнце, и все разделится: светолюбивые остаются в лучах, а темные ползут в тень…
Козочка
Из Берендеева на Ботик стала ходить повариха, хорошая, ласковая женщина, Аграфена Ивановна: никогда к детям она не придет с пустыми руками и одевается всегда чистенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим, бывало, ходила как за ребенком, но муж пропал без вести на фронте. Поплакала, люди утешили: не одна ведь она такая осталась на свете, а на людях и смерть красна.
Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя — маленькая, тонкая, в струнку, личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама

утешалась ею, конечно, как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли и вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде: и где там жила, и какая там у нее была мама, и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого.
— Вы только посмотрите, — говорили они, — на ее личико: не то она чему-то удивляется, не то вслушивается, не то вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы.
— То-то вот и боюсь, — отвечала Аграфена Ивановна, — что она удивленная и как будто силится что-то вспомнить. Возьму я ее, а она вдруг вспомнит, — что ж тогда?
Крепко подумав, все взвесив, совсем было решилась вдова взять себе в утешение Валю, но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб — об этом говорили и прибывшие с фронта бойцы: погиб у них на глазах, — но справки о смерти не было, значит, по закону нельзя было отдать на сторону девочку.
— Возьмите, — говорили ей, — условно, придет отец — возвратите.
— Будет вам шутить! — отвечала Аграфена Ивановна. — Дочку так брать страшно, все будет думаться: придет час, и отберут. Нет уж, что уж тут, брать так брать, а так уж — что уж тут!
После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно, дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала, а девочка тоже не могла утешиться ничем: мама ее бросила! А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими гостинцами, — вот была встреча! И опять все уговаривали взять условно, и опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое:
— Брать так брать, а то уж, что уж так-то брать!
Так длилось месяца два. В августе пришла бумага о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево.
Кого прельстит рыженький блеклый домик в три окошка, обращенных в туманы Берендеева болота! Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого. Все ведь тут сделано руками своих близких людей; тут они рождались, жили, помирали и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом, и то, бывает, пузатый кутенок озирается вокруг мутно-голубыми глазами, хочет что-то узнать, поскулит. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик, к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна и, чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела патефон. Сейчас и на Ботике есть патефон, а в то время, когда Валю брали, дети там патефона вовсе не слышали, и Валя не могла помнить патефон вовсе. Но патефон заиграл, и девочка широко открыла глаза.
«Соловей мой, соловей, — пел патефон, — голосистый соловей…»
Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом озираться, что-то узнавать, вспоминать…
— А где же клеточка? — вдруг спросила она.
— Какая клеточка?
— С маленькой птичкой. Вот она тут висела.
Не успела ответить, а Валя опять:
— Вот тут столик был, и на нем куколки мои…
— Погоди, — вспомнила Аграфена Ивановна, — сейчас я их достану.
Достала свою хорошую куклу из сундука.
— Это не та, не моя!!
И вдруг у маленькой Козочки что-то сверкнуло в глазах: в этот миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское.
— Мама, — закричала она, — это не ты!
И залилась… А патефон все пел:

Соловей мой, соловей…

Когда пластинка кончилась и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна свое что-то вспомнила, закричала, заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она то поднимет со стола голову, то опять уронит, и стонет, и всхлипывает. Эта беда пересилила Валино горе, девочка обнимает ее, теребит и повторяет:
— Мамочка, милая, перестань! Я все вспомнила, я тебя тоже люблю, ты же теперь моя настоящая мама.
И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга, как равные.
Роман
Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно, в полном сознании, все рассказал о гибели своей матери, и этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом, и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна. Эта обыкновенная женщина, с обыкновенными слабостями, в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией и, когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни.
Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом и после «чуда» — делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во время борьбы его за жизнь. Но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний, и мало-помалу Вовочка, выздоравливая, выходил из старой жизни в новую с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады. Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник, осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного: каждая мать во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь…
Стороной, от людей, узнал, наконец, отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое.
«Вовочка, мальчик мой милый, — писал он, — как же ты не помнишь белую дорожку в траве и как мы с тобой по этой дорожке гоним лошадку на колесах, как ты захотел на нее взобраться и упал, а на дорожке этой были муравьи, и ты их испугался и закричал, и мы с муравьиной тропинки перешли на чистую…»
Конечно, Анна Михайловна скрыла от Вовочки это письмо и сама написала отцу, чтобы для жизни Вовочки он постарался забыть свое прошлое.
«Боюсь вам сказать, — писала она, — как это «забыть». Может быть, вы возьмете, большой Вовочка, пример с вашего маленького: он болел и со мной выздоравливал и теперь живет и любит меня не меньше, чем старую маму. Я осмелюсь напомнить вам, что для большого Вовочки наша родина, как для маленького, — тоже ведь как мать и что вы так много для нее делаете. Простите, мне трудно выразить то, что я чувствую: сейчас у нас поют соловьи, и мне кажется, что они в пении своем тоже трудятся. Вот я сейчас вижу перед окном одного: дождик начинается, на него уже каплет, а он все поет, и одна капелька уже висит на носике, и он ее стряхнул и поет. Трудится он и не для себя поет, и будет петь на другой год пусть другой соловей, но песенка все та же. И так вот и я тоже вместо старой мамы тружусь, и песенка моя Вовочке все та же, и вы тоже свою жизнь отдаете. И все это вместе складывается — и выходит родина, для которой мы все живем: кажется — для себя, а выходит — для родины».
Так писала Анна Михайловна, сама того не зная, что делает для Вовочки-отца то же самое, что и для сына его. И письма с фронта в детдоме получались все чаще и чаще.
В последнем своем письме он писал:
«Соловьи и у нас тут на фронте поют, только я до сих пор не обращал на них никакого внимания. Но теперь, после ваших писем, слышу: поют и даже не очень считаются с грохотом нашей артиллерии.
Теперь мне видится далеко за нашим фронтом и за нашим рабочим тылом вот эта благословенная страна, где, как вы мило пишете, трудятся для нас соловьи. Я это понимаю и не благодарю вас: за такое хорошее не благодарят».

На этом письме переписка надолго обрывается. Кажется, Вовочка-отец вышел из строя бойцов… Но Анна Михайловна не оставляла его, как и маленького Вовочку, когда тот был и для докторов безнадежным. Она все писала на фронт по прежнему адресу и все ждала письма, все ждала и ждала.

Он был тяжело ранен. Когда же выздоровел, то опять возвратился в строй. Однажды под вечер он вернулся в свою часть из опасной разведки, и ему вручили целую пачку давно искавших его писем. После многих бессонных ночей он еле мог держаться на ногах, теперь бы только спать и спать. Но при взгляде на почерк он встряхнулся, и сон прошел.

Вечерело, мелко-убористые строчки невозможно стало разбирать на воздухе, и не хотелось идти в тесноту к товарищам и там при всех читать.

Тогда недалеко от наших батарей он увидел яркий огонь: это горел ковыль в степи, вечерний ветерок его раздувал, и костер, кем-то разведенный, быстро становился степным пожаром, ползушим в безопасную сторону. Он подошел к огню, взял первое письмо и, читая его, пошел невольно вслед за пожаром.

Может быть, и видел его кто-нибудь так, идущим с письмом из далекой страны соловьев вслед за пожаром? А может быть, и не один боец, исполнив свое обычное дело, тоже шел с письмом за огоньком…

Рассвет остановил этих странников и вернул их из страны соловьев к обычному делу.

Рассказывая об этих странствиях вслед за степным пожаром, Вовочка-отец писал:

«Милый друг, я кончаю письмо: слышу, опять взялась наша артиллерия. И знаете, я не забочусь о снарядах, о силах, — этого хватит у нас, я думаю лишь о том, чтобы хватило ваших материнских сил для победы».

Так он выздоравливал. И еще он сделал в этом письме на уголке маленькую приписочку: «Милый друг, если я вернусь, не согласитесь ли вы…»

Прочитав эту приписочку, Анна Михайловна улыбнулась и, сильно помолодев, посмотрела на себя в зеркало.

Бабушка и внучка

При детдоме на Ботике живет одна бабушка, Евдокия Ивановна, ей нужно бывает три раза в день спускаться вниз по крутой лестнице покормить своих цыплят. Трудно ей, старой, недужной, спускаться, но зато уж как достигнет своей лавочки, придет в себя, то непременно что-нибудь увидит свое, удивится как-нибудь, по-своему отзовется и примет участие.

Может быть, даже всеми замечаемый семейный характер этой детской колонии исходит больше всего от этой как будто никому не нужной бабушки.

Всю свою жизнь она прожила в Ленинграде на службе у хороших людей и так верно служила, что о себе-то, пожалуй что, и забыла, и вот теперь только, на Ботике, вспомнила и всему на старости лет удивилась. И первое, что удивило ее, — это соловей.

Всю свою жизнь она безвыездно прожила в Ленинграде и не удосужилась даже хотя бы раз весной попасть на острова и там послушать соловья. Так вся жизнь прошла без соловья, и оказалось, что хорошие-то люди, пожалуй, вяжут крепче дурных: от хороших не убежишь.

И вот, после небывалой катастрофы, после опасной эвакуации под бомбами по Ладожскому озеру, после страха замерзнуть на том же Ботике, если бы повторились прошлогодние морозы, пришла весна, и, наконец-то, для нашей бабушки запел соловей.

— Бабушка, — сказали ей, — откройте окно, вечер прекрасный!

— Что вы, милые, гроза еще не прошла!

— Смело открывайте, гроза прошла, радуга.

Открыли окно в парк. Теплая сырость после грозы собралась в тесной ароматной чаще акаций, сирени, черемухи и ясеней.

— Ну вот, слушайте же, бабушка, вот это поет соловей.

— Где соловей?

— А вот и слушайте: вот свистит.

— Слышу.

— Вот колено выводит, а вот покатился…

— Дивно как! — шепчет бабушка.

И села у подоконника. Да так всю ночь, как молоденькая, и просидела. И была ей песня соловья, наверно, мила и прекрасна больше, чем нам: мы слушали с детства без понимания

и, может быть, своего-то соловья, предназначенного, чтобы самому, вот такому-то, еще один раз услыхать, — и пропустили.
— Озорник-то какой! — повторяла, радуясь, бабушка.
И мы, завидуя ей, говорили друг другу:
— Зачем живем мы не как надо, зачем спешим и все смешиваем? Своего соловья надо дожидаться, своего соловья надо заслужить, как заслужила его эта бабушка!
Теперь уже почти целый месяц прошел с тех пор, как запел этот первый бабушкин соловей. Теперь их уже сотни поют кругом в кустах, уже цветет шиповник, и слышно — бьет в полях перепел, и в сырых лугах горло дерет дергач.
Маленькие дети выспались, позавтракали, свеженькие, чистенькие выходят группами из дому и направляются — какие к огородам, какие просто в траву и цветы между старыми березами.
Каждую группу, как ягнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась от стада какая-нибудь овечка.
Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую, совсем маленькую, и скоро узнала: это Мария Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизни. Во время испанских событий прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова, погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо, Марию Терезу. Ну вот она теперь идет, испанка, в русской траве, в цветах, видна только ее головка со вздернутым носиком.
Тереза идет к бабушке не просто, она даже и не идет, и группу свою не бросает. Она сделает один только самый маленький шаг в сторону бабушки и остановится, и потом через какое-то время еще один, и чем дальше от группы, чем ближе к бабушке, тем обильнее текут из глазок ее слезинки. В случае теперь ее бы поймали, она бы сказала, может быть, что заблудилась в высокой траве и не знает, как из нее выйти, и по слезам поняли бы, что она говорит правду. Но никто на нее, такую маленькую, не обращает никакого внимания, следит за ней одна только бабушка и замечает, как мало-помалу сокращается расстояние между нею и девочкой.
— Вот уж хитрая-то, — бормочет она и улыбается.
Но бледное личико и горючие слезки испаночки между березами смутили даже и бабушку.
— Чего ты плачешь?
— Головка болит.
— А может быть, и животик?
— И животик тоже болит.
Бабушка все поняла, и, делать нечего: приходится Терезу лечить. С трудом, опираясь на костыль, поднимается бабушка, за ней медленно движется Тереза, за Терезой — большая курица, за курицей бегут чистенькие цыплятки.
Вот добрались наверх, в комнату бабушки.
Бабушка ничего не спрашивает, а только одно:
— Так у тебя головка болит?
— Болит, бабушка.
— На-ко, вот тебе от головки.
И дает ей ложечку вкусного повидла. А потом:
— Что у тебя еще, кажется, животик болит?
— Да, и животик.
— Ну вот, на тебе и от животика.
И дает ей еще ложечку повидла.
Тереза повеселела, улыбнулась и говорит бабушке:
— Ну вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло.
— Вот и хорошо, дитятко, иди с богом! — благословляет русская бабушка испанскую внучку.

Соловей

С цветущей веткой дикой яблони и с пучком ландышей по разным лесным тропинкам идут люди, потерявшие друг друга во время войны.

Сколько воды пронес лесной ручей с тех пор, как они потеряли друг друга! Раненые свои души они уже начали лечить прекрасными цветами весны и слушают радостно-утешительное пение птиц.
И вдруг на перекрестке тропинок эти люди встречаются, узнаются и, обнимая друг друга, топчут ногами в забытьи брошенные цветы и не слушают ни соловьев, ни зябликов.
Но у соловьев свой закон: они должны трудиться — петь, несмотря на то, слушают их эти люди или не слушают: петь навсегда и на всех.
Вот и они, эти двое с веткой дикой яблони и пучком ландышей, когда обнялись и порадовались, опять поднимают брошенные цветы и слушают опять зябликов и соловьев.
И эти бедные детишки, спасенные от холода и голода, в какой радости они снова бегают среди цветов, летающих птиц, жуков и бабочек! У них у всех нет родной мамы: она умерла, и ее никем не заменишь! Но соловей поет свою вечную песню радости. Маленький человечек хватается за песенку и по песенке, как по лесенке, поднимается выше и создает себе новый, прекрасный мир: ему помогают лучшие силы страны и природы.

Старый гриб

I
Была у нас революция тысяча девятьсот пятого года. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом.
— Скажи, брат, — спросят его, — где…
Назовут улицу, и «брат» ответит, где эта улица.
Пришла первая мировая война тысяча девятьсот четырнадцатого года, и, слышу, ему говорят:
— Отец, скажи…
Стали не братом звать, а отцом.
Пришла последняя большая революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые, серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на бело-серебряные волосы и говорили:
— Ты что же, отец, стал мукой торговать?
— Нет, — отвечал он, — серебром. Но дело не в этом.
Его настоящее дело было — служить обществу, и еще он был врач и лечил людей, и еще он был очень добрый человек и всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра и до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при Советской власти.
Слышу, однажды на улице кто-то его останавливает:
— Дедушка, а дедушка, скажи…
И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой.
Так вот время проходит, просто летит время, оглянуться не успеешь.
Ну хорошо, я продолжаю о друге. Белеет и белеет наш дедушка, и так наступает, наконец, день великого праздника нашей победы над немцами. И дедушка, получив почетный пригласительный билет на Красную площадь, идет под зонтиком и дождя не боится. Так проходим мы к площади Свердлова и видим там за цепью милиционеров вокруг всей площади войска — молодец к молодцу. Сырость вокруг от дождя, а глянешь на них, как они стоят, и сделается, будто погода стоит очень хорошая.
Стали мы предъявлять свои пропуска, и тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то, озорник, наверно, задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть. Увидел этот озорник моего старого друга под зонтиком и говорит ему:
— А ты зачем идешь, старый гриб?
Обидно мне стало, признаюсь, очень я тут рассердился и цап этого мальчишку за шиворот. Он же вырвался, прыгнул, как заяц, на прыжке оглянулся и удрал.
II

Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти и мальчишку и «старый гриб». Но когда я пришел домой и прилег отдохнуть, «старый гриб» мне опять вспомнился. И я так сказал невидимому озорнику:
— Чем же молодой-то гриб лучше старого? Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других, новых грибов.
И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю. Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки.
День был теплый и даже паркий, когда грибы лезут из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все дочиста выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же, с того самого места, опять собирает, ты берешь, а грибы всё лезут и лезут.
Вот такой и был теперь грибной, паркий день. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь: сыроежки, красноголовики, подберезники, — а белых грибов нашлось только два. Будь бы боровики, настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом! Но что делать, по нужде поклонишься и сыроежке. Очень парко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри и до смерти пить захотелось. Но не идти же в такой день домой с одними черными грибами! Времени было впереди довольно поискать белых.
Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежинки или просто даже потные места. До того мне пить хотелось, что, пожалуй бы, даже и мокрой землицы попробовал. Но ручей был очень далеко, а дождевая туча еще дальше: до ручья ноги не доведут, до тучи не хватит рук.
И слышу я, где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит:
«Пить, пить!»
Это, бывает, перед дождиком серенькая птичка — дождевик — пить просит:
«Пить, пить!»
— Дурочка, — сказал я, — так вот тебя тучка-то и послушается.
Поглядел на небо, и где тут дождаться дождя: чистое небо над нами, и от земли пар, как в бане.
Что тут делать, как быть?
А птичка тоже по-своему все пищит:
«Пить, пить!»
Усмехнулся я тут сам себе, что вот какой я старый человек, столько жил, столько видел всего на свете, столько узнал, а тут просто птичка, и у нас с ней одно желание.
— Дай-ка, — сказал я себе, — погляжу на товарища.
Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике, приподнял одну веточку: ну, вот и здравствуйте!
Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу, посредине ее две березы, под березами пень и рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка, такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх.
И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой.
Повеселело у меня на душе.
Вдруг вижу: слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком — тюк! — в воду. И головку вверх, чтобы капля в горло прошла.
«Пить, пить!» — пищит ей другая птичка с березы.
Листик там был на воде в тарелке — маленький, сухой, желтый. Вот птичка клюнет, вода дрогнет, и листик загуляет. А я-то из оконца вижу все и радуюсь и не спешу: много ли птичке надо, пусть себе напьется, нам хватит!
Одна напилась, полетела на березу. Другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей:
«Пить, пить!»
Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую.

Но пищать они стали не спокойно, как раньше, а с тревогой, и я их так понимал, что одна спрашивала:
«Выпьет?»
Другая отвечала?
«Не выпьет!»
Я так понимал, что они обо мне говорили и о тарелке с лесной водой: одна загадывала — «выпьет», другая спорила — «не выпьет».
— Выпью, выпью! — сказал я им вслух.
Они еще чаще запищали свое: «выпьет-выпьет».
Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды.
Конечно, можно бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба шмякнул бы тут же о дерево.
Удаль какая!
А по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички, и мало ли кто пил без меня, и вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь, а после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. А там дальше созреют в грибе семена — споры, ветер подхватит их, рассеет по лесу для будущего…
Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке.
А птички-то! Птички играют свое:
«Выпьет — не выпьет?»
— Нет уж, товарищи, — сказал я им, — теперь больше не спорьте: теперь я добрался и выпью.
Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть, вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в гибкое блюдце паучок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо напиться.
— Сколько же вас тут, желающих! — сказал я ему. — Ну тебя…
И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.
Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил о старом грибе и вам рассказал. Но рассказ о старом грибе — это только начало моего большого рассказа о лесе. Дальше будет о том, что случилось со мною, когда я напился живой воды.
Это будут чудеса не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши — не слышим.

Николай Асанов

Человек из Минска

Константина Сергеевича Мещанинова немцы расстреляли в двенадцать часов ночи. Мещанинов — советский человек из Минска, почти два года был хозяином всех железных дорог в области. И дороги во многих местах заросли дурной травой, рельсы, согнутые взрывами, проржавели, мосты упали в воду, будто пришедшие к водопою огромные животные. Только магистраль на Минск еще работала, и то немцы охраняли каждый метр этого пути; вместо путевых будок стояли бетонные и дерево-земляные укрепления, а поезда двигались только днем. Впрочем, и днем они также исправно подрывались на минах Мещанинова. Тогда охрана начинала круговой обстрел из пулеметов, а солдаты из команды

Тодта копали могилы для убитых при крушении немцев и снова монтировали путь. А Мещанинов, бывший машинист этой магистрали, уже готовил новый взрыв где-нибудь верстах в пяти — десяти от места крушения.
И столько железа наломал этот сорокалетний человек, что, даже поймав его, комендант не мог торжествовать свою победу. Поэтому, получив приказ из Минска, комендант немедленно отправил Мещанинова со всеми подозрительными, захваченными при облаве, на расстрел. Уходя, Мещанинов напряг связанные руки и тихо сказал человеку, который опознал его во время облавы и выдал немцам:
— Ничего, еще увидимся!
Человек побелел от страха, комендант, понимавший русский язык, тоже не мог удержать какой-то странной дрожи. Он вскочил на ноги и злобно ударил уходящего рукояткой пистолета. Мещанинов только пригнулся еще ниже и спокойно сказал:
— Это вам, господин комендант, тоже зачтется!
Конвоиры звякнули оружием, партизана увели. Но и комендант, и предатель запомнили этого огромного человека в изодранной во время побоев и допросов одежде, его сутулую спину, которая, казалось, могла выдержать любую тяжесть, так она была широка и мощна. Недаром говорили, что Мещанинов один устраивал свои диверсии, сам носил тяжелые ящики со взрывчаткой, инструмент и оружие, передвигаясь с неизъяснимой скоростью по лесам и болотам края, иногда взрывая по два-три поезда в разных местах чуть ли не одновременно. Таким они запомнили Мещанинова, эти двое, а затем взвод автоматчиков расстрелял его недалеко от полотна железной дороги, которую Мещанинов любил всю жизнь и которую он уничтожал вот уже два года. Потом согнанные на ремонт дороги жители станционного поселка забросали могилу ржавым красным песком.
Вот уже два года имя большевика Мещанинова помогало этим людям жить и переносить весь ужас оккупации. О нем рассказывали по вечерам легенды, к нему ходили иные железнодорожники на свидание в потайные места, но об этом не говорили даже женам, через него передавали секретные сведения в армию, а от него получали листовки и газеты, что потом шли из дома в дом по цепочке, все звенья которой были сто раз проверены и испытаны. А ведь нашелся предатель, который выдал Мещанинова немцам, когда партизан пришел на станцию в очередную разведку — узнать о новых эшелонах, отправляющихся к фронту. Во многих домах деповского поселка не спали в эту ночь, многие женщины крестились и шептали молитвы, а старики и дети слушали в тысячный раз рассказы о Мещанинове.
И только немцы спали в эту ночь более или менее спокойно, спали в домах и казармах, спали в поездах и охранных укреплениях. Комендант сам дал телеграмму о расстреле страшного партизана.
* * *
Поезд, на котором ехал человек, выдавший Мещанинова, подорвался в шесть часов утра уже недалеко от Минска. Поездная охрана была перебита из пулеметов раньше, чем немцы успели взяться за оружие. Исковерканные танки пылали огромными черными кострами, когда бронированная дрезина коменданта приехала на место происшествия. В стороне от груды немецких солдат, убитых в коротком бою, валялся труп мешочника с приколотой на груди запиской: «Я выдал Мещанинова». Больше этот человек ничем не мог помочь коменданту, он не мог рассказать, кого увидел перед смертью, но лицо его было искажено ужасом. Поезд был взорван так, как это обычно делал Мещанинов. Мимы были заложены на крутом повороте, там, где высота профиля была не меньше десяти метров, так что вагоны ринулись с откоса испуганным стадом, рушась один за другим, перевертываясь на ходу, — их уже нельзя было ремонтировать. Гамбургские, берлинские, варшавские вагоны превратились в груду железного лома, это хорошо умел делать машинист, который перестал водить поезда, для того чтобы взрывать их. И комендант с посеревшим лицом прошел мимо согнанных из соседних деревень белорусов, молча сел в свою дрезину и укатил обратно.
А через день подорвался поезд специального назначения, в котором ехал важный генерал для инспектирования фронта. И мало того что генерал был убит, из поезда исчезли секретные документы и приказы, которые генерал не мог доверить даже шифрованной почте. И опять немцы, ставшие экспертами по взрывам, узнали почерк Мещанинова в этой

катастрофе. Партизаны — стрелки, пулеметчики, — которые, как было всегда, добивали своим огнем спасшихся от крушения, располагались точным полукругом, чтобы никто не мог уйти. Только на этот раз, понимая, что поезд с генералом немцы будут выручать немедленно, подрывник повторно заложил мины и подорвал ремонтный состав, прибывший на место катастрофы. И опять партизаны исчезли, унося с собой раненых и убитых, если только они у них были, в чем комендант сомневался — слишком опытные люди устраивали крушения на этом участке. А белорусы, согнанные на ремонт пути и разборку поезда, усмехались угрюмо и повторяли, уже не таясь:
— Мещанинов работал. То он дал немцам прикурить!
Лето уже вступало в полную силу, липы шумели над могилой, густая трава прорвалась через красный песок, насыпанный угловатым холмом. Среди полуистлевших трупов, которые вытаскивали один за другим из могилы и выкладывали на поляне, комендант, закрыв нос надушенным платком, искал убитого партизана. Он запомнил число убитых в ту ночь, хотя ему приходилось убивать многих. И когда все трупы были вынуты из могилы, он закричал:
— Там был еще один! Еще!
Пуста была пахнущая тлением могила. Комендант подошел к краю, ударил носком сапога по красной земле и пошел к поселку, опустив плечи. С того дня он перестал появляться на людях; даже в офицерском клубе, где работали русские судомойки, его не видели позже заката солнца. А на ночь к зданию комендатуры, где была его квартира, высылали усиленный наряд автоматчиков, и мимо здания нельзя было пройти даже с пропуском, потому что автоматчики по особому приказу коменданта открывали огонь без предупреждения.
Но смерть бродила в ночи. Она по-прежнему караулила поезда. Она взяла в свои руки шоссейные дороги, потому что немцы все чаще стали пользоваться ими, не доверяя поездам. И уже не один Мещанинов властвовал над путями сообщения, а тысячи Мещаниновых преградили их, потому что в участившихся схватках все раненые партизаны, русские и белорусы, прежде чем умереть, гордо произносили, что Мещанинов жив! Он отомстит за них! И в шпионских донесениях все чаще встречалось имя Мещанинова, причем оказывалось, что в один и тот же день Мещанинов подрывал поезд под Нагорным и автоколонну возле Несвята, был на собрании в селе Казары и раздавал хлеб жителям Дзержинского района. И когда немцам удавалось окружить отряд Мещанинова около Казар, из Несвята другие немецкие батальоны просили подмогу, потому что их окружил. Мещанинов со своими партизанами.
Болота почти совсем пересохли, междуречья и поймы поросли травой в рост человека, даже крестьянская лошадь могла спрятаться в травах. И в этих травах, болотах, лесах все чаще встречались одиночки и группы людей, искавшие дороги и тайные тропы к партизанским отрядам. И среди этих людей шел воскресший к новой жизни Константин Сергеевич Мещанинов.
Был он худ и бледен. Он часто останавливался, поднимал обросшее длинной бородой лицо к небу, медленно вдыхал пахучий воздух, слушал голос травы и деревьев, ветра и воды. Три долгих месяца пролежал он в подвале в станционном поселке, леча свои раны. Только воля к жизни да щедрая удаль друзей спасли его. Когда он, еще раз перехитрив немцев, упал в могилу одновременно с выстрелами, он думал, что спасен. Но офицер, закончив расстрел, подошел к краю могилы и разрядил свой пистолет в мертвецов. Две пули из этих случайных попали в Мещанинова, одна пробила грудь, другая — ногу. Партизан ничем не выдал себя, однако теперь он уже не мог, как надеялся при своей богатырской силе, отрыть могилу и выйти из нее. Как ни слабо набросали землю, но она была тяжела, один из трупов упал поперек его тела. И он, разрывая землю, передвигая труп, лежащий на нем, понял, что на этот раз ему не спастись. Но вот он услышал скрежет лопат по песку. Он боялся стонать даже в тот миг, когда лопата ударила его в раненую грудь, только услышав голоса — все эти страшные часы он был в сознании — Мещанинов застонал, он узнал людей. И, застонав, потерял сознание. Люди, пришедшие за трупом партизана, чтобы достойно похоронить, унесли его живым, но в каком состоянии! И вот теперь он возвращается к своим товарищам.

И до него, в темный подпол, где он лежал эти месяцы, доходили слухи, что жив Мещанинов и еще злее мстит немцам за все горе-злосчастье, которое они принесли людям. Константин Сергеевич добродушно улыбался.
И вот он шел по зарослям таволожника, переходя болотные речки, питаясь подаянием по деревням, где не было немцев, обходя те села, где немцы имели комендатуры, пробираясь к знакомому лесу, где когда-то была одна из его баз. Здесь он надеялся встретить товарищей из своего отряда, которые считали его погибшим…
Мещанинов услышал тихий оклик и с большим недовольством, но достаточно быстро поднял руки, увидев ствол наведенного автомата.
Пришли в штаб. Начальник караула громко сказал:
— Товарищ командир, привел старика, говорит, что ищет вас, а себя называет Мещаниновым.
От стола поднялся высокий человек, повернулся, вдруг вскрикнул и обнял Мещанинова:
— Константин Сергеевич!
Мещанинов вгляделся в его лицо, отступил на шаг, высвобождаясь из его рук, и воскликнул:
— Так это ты Мещаниновым назвался?
— И не только я, — радостно сказал человек, — теперь уже по краю восемь отрядов ходят, и во всех отрядах командиры — Мещаниновы. Мы же не знали, что вы живы, Константин Сергеевич!
Начальник караула обалдело смотрел на своего командира и на гостя.
— Садитесь, Константин Сергеевич, — сказал хозяин, подвигая свой стул. — Вчера еще один состав подорвали, а нынче поймали коменданта, что вас расстрелял… То есть не расстрелял…
— Расстрелял, расстрелял, подлец, — сказал Мещанинов. — Где он?
— Судить хотели сегодня, да вы прибыли, так уж вам придется…
Через несколько минут привели коменданта.
Мещанинов увидел тусклые глаза немца, его трясушиеся губы и сказал:
— Вот и пришлось свидеться…
Комендант затрясся и упал на колени, что-то вопя. В это время подошел дежурный.
— Товарищ командир отряда, — доложил он, — получено сообщение о том, что один из наших минских отрядов соединился с Красной Армией, а советские танкисты подходят к Минску.
Как бы в подтверждение рапорта дежурного послышался гул артиллерии, и небо озарилось вспышками разрывов.

Вячеслав Шишков

Дед Андрей

У деда Андрея два сына, да внук, да пять внучек-девушек. Внук и младший сын на фронте, а старший в тайге на золотых приисках. Девушки-погодки, работящие, сильные — толкнет плечом, держись! Старшей двадцать три года.
Да и сам старик, этакий кряжистый сибирский кедр, еще в полной силе. Глаза, как у филина, круглые, большие, нос крючком, конопатая борода лопатой. Из ушей и ноздрей волос прет, все лицо в шерсти, щекам места нет, щеки как малые среди густой тайги полянки. Он семью держит в своевластных руках, он и до войны верховодил всем крепким своим хозяйством.
Их колхоз «Широкий путь» был один из богатых в районе. Земля не меряна, паши, сколько хочешь, почва — плодородная, хлеб, травы, овощ родятся в изобилии. Живи, не тужи!

Большая дружная семья Андрея денег трудоднями выгоняла много. Зимой тоже без дела не сидели: кто на лесозаготовках, кто в тайге с ружьем за лисицами, за белками. Дед был прижимист, скуп. Про него и по селу слава шла: сквалыга. Но он к насмешкам относился без обиды, как старый, видавший виды лесной мудрец. У него была своя заветная дума, он в нее верил, ею жил, в ней видел оправданье своей скупости.
«Пускай зовут меня сквалыгой, пускай, — бубнил он, поплевывая направо и налево, — а вот умирать стану, возьму да и удивлю всех». Но о том, чем Андрей хотел всех удивить, никто не знал, даже и его домашние.
Денег у него невпроворот, лежали они в кованом железном сундуке несчитанные; он говорил:
— Времечко придет — подведу расчет.
Старик получил с оказией письмо от внука танкиста Павла. Он, между прочим, писал: «Недавно, милые мои родные, был у нас на фронте великий праздник: колхозники Московской области подарили Красной Армии много танков, на свои денежки построили их. Вот бы и вам, дорогие семейные мои и все наши уважаемые колхозники, не ударить лицом в грязь и тоже постараться для отечества. Чем больше будет у нас вооружения, тем скорей прикончим немца, тогда и войне конец…»
Письмо было обстоятельное, длинное. Дед кряхтел, старуха плакала.
Не прошло и недели, как радио известило из Москвы, что от колхозов и лично от колхозников стали поступать пожертвования на постройку танков и самолетов.
В колхозе «Широкий путь» зашевелились. Председатель с двумя комсомольцами ходили из избы в избу, вели беседы с хозяевами, прощупывали почву. Хозяева, не раздумывая, отвечали:
— Да уж… чего тут толковать… Дело ясное. Назначай, председатель, собрание… А мы завсегда рады. Ежели всем миром навалимся на немца, он хрястнет, как орех под каблуком. Одно слово — коллектив.
Явилась делегация и к деду Андрею Мохову. Дед на пришедших руками замахал:
— Идите, идите, откуль пришли… Проваливайте. Нет у меня для вас ничего, ядрена каша. Это самое, как его… У меня свое намеренье… Рублей сто дам, от силы полтораста.
Вскоре состоялся в Народном доме митинг. Деда привели на митинг внучки.
Вечер был голубой, нарядный, тихий. В небе замигали звезды. Через промерзшие окна в избах светились огоньки электрических лампочек. Под ногами поскрипывал раскаленный морозом снег. Дед ни на что не обращал внимания, сердито смотрел в землю, отплевываясь и бубня. В обширном помещении Народного дома светло, угревно. Андрей, ни на кого не глядя, сел, хмурый и озлобленный, свесил на грудь волосатую голову и притворился, что дремлет.
Высокий пожилой учитель произносил складную речь. Голос учителя был задушевен, а слова были образны и просты, они доходили до самого сердца. Когда он стал говорить о знаменитом нижегородском патриоте, простом человеке Кузьме Минине, о том, как тот призывал нижегородцев к жертве на спасение отечества, Андрей широко открыл глаза, откинул нависшие на уши лохмы волос и, покряхтывая, стал слушать учителя с великим вниманием. Учитель столь красноречиво, столь убедительно говорил об ужасных страданиях тогдашней Руси, что дед Андрей, прошептав: «Ах, несчастная наша Расеюшка», даже прослезился. Затем, озлившись на себя и на учителя, густо сплюнул возле ног соседа и, вздохнув с горечью, подумал: «Чегой-то жалостлив я стал, должно быть, перед смертью».
— Дорогие друзья колхозники! — взывал учитель, покашливая и поблескивая очками. — Наше отечество тоже испытывает времена еще более тяжелые, более лютые, чем в то злопамятное лихолетье. Не дадим же вероломному врагу насмеяться над нами! Мы не примем позора на наши головы, мы отдадим на спасение матери-родины все, что имеем.
Он перечислил имена колхозников-патриотов: один пожертвовал сто тысяч, другой перекрыл его, внес наличными сто пять тысяч рублей, а такой-то отдал полтораста тысяч.
— Не дам, все равно не дам, — упрямо шептал Андрей, с неприязнью косясь на соблазнителя. — Тебе, краснобаю, легко турусы-то на колесах подпускать. А у меня, может, свои заветные гусли-мысли. Я, может, хочу благодетелем своему колхозу быть. И буду! — продолжал злобиться старый Андрей, однако в его мужицкой душе уже закрутились какие-то добрые колесики.

Домой пришел он придирчивый, угрюмый, домашние страшились к нему и подступиться. Поужинав, обругал старуху, поддел ногой кота… Лег спать, но не спалось. Одолевали мысли. Они текли то плавно, то как бурная речонка по камням, то вспархивали и, словно птицы, улетали. Тогда в голове и на сердце деда становилось пусто, он лежал с открытыми глазами, ему было все противно, кряхтел, постанывал, начинала ныть поясница, как зубная боль. А в уши чей-то голос, может, голос совести, назойливо шептал: «Наипаче своего душевного покоя люби родину, жертвуй для родины всем состоянием своим и даже своей жизнью». Дед отмахивался, перевертывался на бок, крепко смежал истомленные глаза, но душевного успокоения не наступало.
«Да-а-а, вот оно… смерть подходит, восемьдесят пять годиков отмаялся, — рассуждал он сам с собой. — Не-ет, я не сквалыга, врешь… Я денежки не зря коплю. Не ради себя, не ради своего семейства, — они гладкие и без меня сыты будут, — а коплю деньги для общества. Чтоб вспоминали обо мне, о сквалыге. Вот придет час душе с телом расставаться, призову всех колхозников и скажу: жертвую вам все свои денежки на построение читальной избы, либо больницы, чего хотите, на ваше усмотренье. Нет, братцы, не сквалыга я… Другие ране-то, бывало, на монастыри жертвовали во спасение своей души. Свою-то душу всякий дурак от погибели спасет, а ты вот других спасай, рассукин ты сын, а не себя. Это богу-то поугодней будет».
Дед вспомнил, как он в семьдесят седьмом году с турками на Шипке воевал. Даже тогдашняя песенка на ум пришла:

Вспомним, братцы, как стояли
Мы на Шипке в облаках:
Турки нас атаковали,
Да остались в дураках.

Ох, и насмотрелся он там всяких ужасов. «А все же мы турок-то одолели: пушек у нас было больше, и пушки наши много лучше насупротив бусурманских. Вот и внук Пашка пишет: танками да самолетами можно сокрушить врага. Правильно, паршивец, пишет, даром что щенок. Ну, и я так полагаю. Чем скорее сломим хребтину немца, тем больше своих людей спасем. Нешто не жаль мне нашей русской, нашей родной кровушки-то? Ого!.. Полторы тысячи на танки пожертвую, ядрена каша, а то и все две».
Утром дед сказал старухе:
— Ну-ка, бабка, понесем сундук в баню, деньги сосчитать надо, сколько их у нас.
Заперлись со старухой в бане, открыли сундук: беспорядочная гора кредиток. Стали вдвоем считать; Андрей, двигая лохматыми бровями, прищелкивал на самодельных счетах. Подслеповатый старик считал плохо, да к тому же и память поослабла у Него, а старуха и вовсе считать не умела: «Девяносто девять, девяносто десять, полтораста».
— Митинги идут по всем деревням, — сказал Андрей. — К жертве призывают. Доведется пожертвовать тыщонки три на танки.
— Брось, старик. Танек-то у нас своих — пять девок.
— Молчи, полудурок… — прохрипел Андрей. — То Таньки, а то танки, из пушек палят, немцев давят. Нешто не видала картинку-то — в канцелярии висит? Прямой ты полудурок.
Бабка обиделась, приготовилась заплакать. Но старик сказал:
— Пойдем обедать.
После обеда и разных хозяйственных делишек они вернулись в баню потемну. Старик уронил на пол счеты и заорал на старуху:
— Ну вот, все сбил! Тьфу ты! Сколько насчитали-то?
Старуха ответила, что почем она знает, ведь он сам на счеты клал… То ли шесть тысяч, то ли девять.
— Не девять, а все тринадцать! — опять закричал Андрей. — Округовел я считавши-то… Ох, и зловредная ты, бабка. Давай снова!
При свете самодельного огарка опять принялись считать. Но их клонило ко сну, да и плоховато было видно. Сбивались, пересчитывали снова.

Старик всю ночь не спал: думал. И думы его были то светлые, то темные.
Митинг в Народном доме был многолюден и торжествен. Колхоз отчислил из запасных средств миллион двести сорок тысяч. Все встали, закричали «ура», запели «Интернационал». Затем начали выходить отдельные колхозники, клали на стол президиума деньги, золотые кольца, пушнину, один старик положил двух лисиц и соболя.
— Для родной Красной Армии жертвую с радостью сто пудов муки, — говорил один.
— Не отступимся! — кричал другой, потрясая кулаками. — Не отступимся! Не бывать немцу над нами… Я не умею много говорить… Бей их, окаянных! Дави нашими танками! Ур-ра-а-а!
Хозяева хлопали в ладоши, выкрикивали с мест:
— Это не последняя наша жертва! Мы завсегда рады. Сейчас только начинается…
Вот, опираясь на клюшку, направилась к столу маленькая согбенная старушка в белом платке. Она поклонилась народу, как в церкви, на три стороны и душевно заговорила:
— Милые мои трудники, дорогие мои. Как про войну вспомню, сердце мое стонет человечьим голосом. Внучек там у меня во флоте, по морям-киянам ходит третий год. Да не о нем одном печаль, а обо всех солдатушках наших сердечушко ноет. А я старуха бедная, одинокая, сами же вы меня миром кормите, спасибо. Денег у меня нет, достатку нетути, а вот чулки шерстяные да рукавицы связала я, это пошлите солдатушкам на войну при поклоне. Кланяется, мол, всему воинству старуха Дарья, родная бабка краснофлотца Демина.
Она положила жертву на стол, поклонилась народу и пошла на место.
Колхозники проводили Дарью ласковыми взорами и, озираясь по сторонам, стали отыскивать деда Андрея. Но его нигде не было.
— Андрей Иваныч Мохов? Где ты? — прокричала звеньевая Анна Репина.
— Нету его. Не видать. Смылся!
— Здеся, здеся Андрей Иваныч Мохов! В наличности, — неожиданно отозвался из самого темного угла старик с льняной бородой и густыми волосами.
Все повернули к нему головы. Румянолицый дед твердой поступью прошел через весь зал, поднялся на возвышение и, положив на стол президиума кумачную наволочку, набитую деньгами, взволнованно сказал:
— Вот говорят — сквалыга да сквалыга… А я вот… как его… Порешил я все деньги отдать на нашу дорогую Красну Армию. Пусть и моя копейка не щербата. Намеренье такое! А себе, так… поскребыши оставил. Тут денег, надо полагать, ядрена каша, тысяч с сорок, а то и все пятьдесят… Пес их ведает, считали-считали со старухой, аж ослепли.
Все поднялись, закричали:
— Ур-ра! Спасибо, Андрей Иваныч! Поддержал наш колхоз. Ура, ура!..
Старик вскинул лохматую голову, глянул разом в знакомые лица близких своих односельчан, родившихся, выросших и состарившихся на его глазах, и щеки его задрожали. Давясь слезами, он говорил:
— Я ведь, братцы, рад-радешенек… Я ведь, братцы мои… крепкое намеренье такое… это самое… как его… На танк! Я, братцы, ночи не спал, все думал да думал. Этово, как его… две мысли у меня было на уме, ну, одна мысличка другую повалила. Как помирать буду, скажу вам о ней, братцы. Я денег на нее еще скоплю. Это дальняя дорога. А танки дело неотложное, дело скороспешное. Я так и порешил… это, как его… И вы, братцы, не скупитесь, жертвуйте на Красну Армию. Я… как его, это самое… Поди, и в нас русская-то кровь течет, не хуже, как у Минина, ядрена каша с маслом.
Деду зааплодировали. Митинг продолжался. Комсомольцы в пять рук пересчитывали стариковы деньги, каждый записывал свой подсчет отдельно. К концу митинга проверили итоги, подали общую сводку председателю. Во все лицо заулыбался председатель. Позвонив в колокольчик, он встал и произнес:
— Товарищи! Андрей Иваныч Мохов пожертвовал на постройку танков не сорок и не пятьдесят тысяч, как заявлял, а все шестьдесят девять тысяч триста сорок семь рубликов.
Весь зал по-особому, по-праздничному, ликующе захохотал.
— Качать, качать Андрея Иваныча! Где он? — раздавались голоса.

Но деда Андрея в зале не оказалось. Он торопился домой. «Господь сподобил… доброе дело, самое добрецкое», — выборматывал он сам себе, и на обычно хмуром лице его светилась улыбка.
С этой улыбкой вошел он и в дом.

Буря

Разведчик сержант Пантюхин к сумеркам был уже на месте. Он залег в оголенных кустах на берегу неширокой, метров в полтораста, реки. Одет он был на славу: добротный полушубок, длинные сибирские пимы, рукавицы из собачины, по-сибирски — «мохнатки». А сверх всего — белый маскировочный халат. Мохнатки да жилетка из беличьих лапок — подарок с родины, от милой сердцу далекой Сибири.
Глаз сибиряка зорок. Чрез падающий снег и вечернюю муть Пантюхин все, что ему было надобно, подметил. Противоположный берег довольно высок: пожалуй, метров двадцать с гаком. На берегу — сарайчик, бани, амбарушки. А дальше — большое село, опорный пункт неприятеля. Двое немецких часовых: один сидит на чурке, другой, вдалеке от него, ходит взад-вперед с винтовкой за плечами. Пантюхин рассматривает их в бинокль. В нем вдруг заговорило чувство охотника. Он тихонько подтянул к себе винтовку и сладостно взял на прицел того и другого. Но… стрелять нельзя!
Как раз против Пантюхина за рекой каменная церковь.
Купол поврежден снарядом, стекла выбиты. Церковь на самом обрыве. Обрыв крут, почти отвесен и — что за чертовщина такая! — обледенел. Очевидно, немцы обильно поливали его водой и превратили весь обрыв высотой метров шестьдесят в труднoодолимую преграду. Поэтому двойной ряд проволочных заграждений, идущий поверху, вдоль бровки берега, заканчивался возле ледяного обрыва, упираясь слева в колокольню, справа в каменную церковную ограду. Пространство с ледяным откосом немцами не окарауливалось, они считали это место неприступным.
«Вот тут-то ты, немец, и просчитался, — сказал себе Пантюхин. — Для тебя твердыня, а для нас дако-с наплевать… Здесь залезать! Ногти обломаем, зубы об лед расшибем, а взберемся. Займем церковь, натворим делов…»
Только за что бы зацепить петлю? Среди надмогильных крестов возле церкви чернеет большой каменный памятник. Нет, не выдержит, пожалуй, сковырнешь. А вот торчит невысокий ствол срезанной снарядом березы. И как раз против колокольни. Место заметное. На нее-то, на эту березу, Пантюхин и забросит среди ночи петлю.
Возвратившись в свою часть, Пантюхин сделал обстоятельный доклад о произведенных им розысках.
— Одобряю, — сказал начальник. — Только смотри, трудновато будет по ледяной стенке-то лезть.
— Слов нет, трудно, товарищ начальник, — ответил Пантюхин. — Ну, да ведь мы, сибиряки, как никто, справимся, мы привычны. Ежели дозволите доложить, я сам родом-то с Алтаю, и, почитай, все наше село зверя промышляет в белках. Ну нам зимой доводится и по ледяным скалам лазить.
— Ну, хорошо, — перебил его начальник, — а чтобы тебе было все ясно, слушай. Наш фронт на днях переходит в наступление. Чтобы обезопасить себе правый фланг, нам надо в первую голову взять это село. Но силы нашей части, сам знаешь, невелики. Маловато… Однако погода нам как будто покровительствует, барометр стоит низко и идет на снижение. Надо ждать снежной бури… И, понимаешь ли, Пантюхин, этим обстоятельством необходимо воспользоваться. Ну, ладно… Займешь ты с отрядом церковь. А как же дальше будешь действовать? Давай-ка смекнем.
— Да уж положитесь на нас, товарищ начальник, — проговорил Пантюхин. Он был рослый парень с открытым добродушным лицом, обрамленным белокурыми волосами. — Заранее сказать трудно, товарищ начальник. Само дело покажет.

Сержант Пантюхин был человек испытанный, имел боевой орден и пользовался большим доверием. Получив ряд практических указаний от начальника, Пантюхин поспешил в кузню, собственноручно выковал два больших острых крюка на манер орлиных когтей.
И вот двадцать молодых сибиряков под началом сержанта Пантюхина двинулись в поход. Идти было до села верст пять, но это не расстояние, к полуночи придут. А вот беда — сильный ветер начинается и снег густо повалил, того гляди буран хватит, как в Сибири.
— А что буран — хорошо, — сказал, шагая рядом с Пантюхиным, самый молодой из отряда скуластый черноглазый Смекалов Колька. — По крайности никто не приметит нас, подойдем как миленькие.
— Подойти-то подойдем, — возразил ему Пантюхин, — а вот как петлю-то забросим, вот ты что толкуй…
— За-а-бросим, — самонадеянно протянул Смекалов, — лиха беда подойти!
— Нет, брат Коля, у тебя еще мысль-понятие плохое. Нешто не видишь, как ветром-то снег метет?
Где-то далеко-далеко прогудел едва слышный пушечный выстрел. А вот и река с селом. Снег валил все гуще и гуще. Ветер крепчал. Вьюга усиливалась.
Над низкими тучами блуждала луна. Хотя ее и не было видно, однако она давала кой-какой свет. Поэтому чрез крутящуюся сеть снега можно было различить темное очертание колокольни, значит, можно в точности знать, где наверху торчит ствол сломанной березы.
Расставив дозоры, Пантюхин подвел красноармейцев к ледяному откосу, снял с себя халат, сложил аркан кольцами и швырнул петлю наверх, по направлению к березе. Но ветер подхватил петлю на лету, как паутину, и сбросил на землю. Сержант подтянул аркан, опять сложил его кольцами и снова швырнул вверх, покруче. Однако и на этот раз ветер не дал петле взлететь на обрыв. Пантюхин, злясь на непогодь, привязал к петле камень. Уж теперь-то долетит аркан… Не тут-то было. Ветер издевался над привязанным к петле камнем, над опечаленным сержантом, ветер как бы играл в руку немцам. Сержант еще несколько раз безрезультатно швырнул петлю и, упарившись, с неприязнью посмотрел в скуластое лицо стоявшего возле него низкорослого Смекалова.
— Дай-кось мне, — сказал Смекалов и трижды подряд тоже пробовал закинуть петлю.
Ветер проносился между берегами, как в трубе. Он крутился, завихоривал, вздымая буруны летучего снега. Ветер шел толчками: то на мгновенье стихнет, то ударит и ринется вперед, как сорвавшийся с цепи неукротимый зверь. Деревья наверху, у церкви, качались и гудели. Был шум, сумятица, белая липкая кутерьма, светопреставление. Началась снеговая буря, по-сибирски — буран. Горе тому, кого застигнет буран в чистом поле.
Сквозь шум, вой и треск слышались справа и слева крикливые придушенные голоса. Это немцы проверяли в ночное время свои караульные дозоры.
Раздумывать некогда. Надо действовать. Надо по-иному брать в лоб эту неприступную ледяную стену. Пантюхин на высоте полутора метров от земли быстро прорубил во льду приступку, залез на нее и стал врубаться выше. При помощи острого крюка, этого орлиного когтя, он уцепился за ледяную крутизну выше головы и, прорубив третью ступеньку, залез на нее. И когда с огромным трудом он добрался до половины высоты, упругий взмах ветра сбросил его вниз, как таракана. Он поднялся. В груди его кипела злоба.
— Видали мы такие бураны… Врешь, не поддамся! — бубнил он, стискивая зубы.
Пантюхин сорвал с себя полушубок, сбросил пимы, остался в меховой жилетке, в толстых шерстяных носках и снова устремился на борьбу. Рядом с ним, тоже вооруженный киркой и крюком, взбирался по ледяному откосу маленький и подвижный Смекалов.
Едва долез Пантюхин до третьей своей зарубки и стал долбить четвертую, как его с прежней силой смахнуло наземь. Вслед за ним закувыркался и Смекалов.
— Ну как, помогает буран? — с сердитой ухмылкой бросил Пантюхин своему товарищу.
— Язви его в печенку, в селезенку… — растерянно ругался Смекалов, растирая ушибленную коленку. — Смотри, парень, замерзнешь… чего ты разделся-то?
— Так сподручней, — ответил Пантюхин.
И вот они, разгоряченные борьбой, с новым рвением устремились на ледяную твердыню. Налетевший шквал ветра опять опрокинул Смекалова в глубокий сугроб. А Пантюхин, весь впившись в откос, кой-как удержался. Полуразутыми ногами он твердо стоял на зарубке, правой рукой крепко держался за крюк, вбитый над головой в глыбу льда, а левой —

судорожно вцепился в торчавшую из откоса обледенелую чурку. Осторожно, чтобы не потерять равновесия, он поднял голову и, весь сотрясаясь под ударами бури, приметил, что до верха осталось всего метра четыре. Еще одно-другое усилие — и твердыня взята.

Тем временем бойцы внизу зашевелились, забегали, сгрудились. Смекалов, выпроставшись из сугроба, увидел, что кем-то брошенная наугад петля зацепилась вверху. Смекалов, позабыв все на свете, в дикой радости было заорал: «Ура!» — но ему тотчас заткнули рот рукавицей. Опамятовавшись, он сказал:

— Я самый легкий, давай я полезу.

И вот он с большим проворством и ловкостью стал быстро забираться по аркану вверх. Пантюхин, видя это чрез белую мглу бурана, затаился, ждал, что будет дальше. Вдруг аркан Смекалова стал сдавать-сдавать, и, к ужасу всех, Смекалов с полдороги закувыркался. Следом за ним кувыркался вперевёрт большой деревянный крест, вывороченный с чьей-то могилы.

— Фу-ты, черт! — озлобленно, сквозь стиснутые зубы забурчали разведчики.

Пантюхин, смачно выругавшись и ловя момент между ударами бури, стал долбить киркой предпоследнюю ступеньку. Упорная надежда на скорый конец схватки и в то же время черный страх за неудачу боролись в нем. Ветер насквозь пронзал его тело, но он этого не замечал; он благополучно поднялся еще выше и теперь ясно почувствовал, что наконец-то он одолеет бурю. Оставалось последнее усилие. Ох, этот проклятый ветер! «Держись!» — мысленно сам себе скомандовал Пантюхин и весь влип в ледяной покров. Яростный порыв ветра, крутя буруны снега, с маху хлестнул его и с воем умчался дальше. Привычный глаз бойца приметил свисавший над головой жгут древесного корня. Вот оно, спасение! Он, боясь сделать неловкое движение, наспех прорубил еще последнюю ступеньку, кой-как укрепился на ней закоченевшими ногами, схватился за корень и, напрягая силы, потянулся железным крюком к небольшому пню над головой, чтобы зацепиться за него и выскочить на самый верх.

Но в этот миг налетел такой неимоверной силы шквал ветра, что все на земле и в небесах загудело, промерзший сучок в руке Пантюхина треснул, как лучина ноги соскользнули с зарубины, и он сам, оберегая голову, стремительно заскользил по откосу вниз.

Пантюхин упал в сугроб, уткнулся лицом в пригоршни и чуть не заплакал от злобного отчаяния, охватившего его душу. Но это были лишь недолгие мгновения. К нему подбежали товарищи. Он поднялся, бодрый и негнущийся. Прилив несокрушимой воли снова сверкал в его глазах. Ему подали пимы и полушубок. Он оделся и начал взад-вперед бегать, чтобы согреться. И тут только заметил, до какой степени ему было холодно. У каждого бойца стоял в мыслях один и тот же вопрос: так неужели же им не суждено выполнить задание? Лишь у Пантюхина была непреложная уверенность, что весь его отряд скоро будет в церкви. Он собрал бойцов в кучу и сказал им:

— Когда я лазал наверх, то заметил вправо от себя небольшую площадку на откосе, примерно в середине высоты. Мы ее сейчас возьмем.

Пантюхин подвел бойцов к намеченному месту и четверых, самых крупных и высоких, поставил вплотную спиной к откосу. Трое следующих встали им на плечи, двое — на плечи тем, потом залез на плечи этих двух один. И, наконец, с шуткой, прибауткой покарабкался вверх по живой стене щупленький Смекалов. Когда, с риском обрушиться, он забрался на плечи последнего бойца лицом к откосу, действительно обнаружил на уровне своей груди площадку. Это был небольшой выступ каменистой скалы, покрытый толстым слоем льда. Желанное слово «площадка» стало передаваться негромко сверху вниз.

Смекалов суетливо вырубил киркой лед, залез на площадку, укрепил конец аркана за камень и сбросил аркан вниз. Один по одному, цепляясь за аркан, поднялись к Смекалову четверо, среди них Пантюхин.

Буран стал стихать, но все еще пошаливал. Серая снежная муть, крутясь, пролетала мимо разогревшихся движением бойцов. До верха оставалось значительно меньше половины. И снова тот же способ, как внизу, но с большей осмотрительностью, чтобы не сорваться: трое, двое, один и на плечи ему еще один — Смекалов.

«Ура!» Сердце его часто забилось… Он протянул вперед крюк на длинном шесте, зацепил им за какую-то неровность и, проворно подтянувшись по шесту, выскочил на самый верх. Он выскочил наверх и стал в радости приплясывать, крутиться, как алтайский кам-шаман.

Все поднялись с двумя ручными пулеметами, автоматами, запасом гранат и патронов. Кладбище возле церкви было тщательно осмотрено. Пантюхин пересчитал бойцов:
— Восемнадцать… Я девятнадцатый! А где же Бородатых Иван?
Снова где-то очень далеко едва слышно зевнула пушка. Ветер почти стих, но снег продолжал обильно падать. Из мутной сутемени вдруг выплыл Иван Бородатых. Широкоплечий, но небольшого роста, он тащил — спина на спине — долговязого немца, пятки которого волочились по земле. Иван Бородатых, сбросив немца на землю, разогнулся и сказал:
— Фу, упарился… Сволочь, возле самой церкви на карауле уснул.
Бойцы залезли в церковь через окно. Связисты протянули телефонный провод. Работали с ручным фонариком. Пантюхин стал опрашивать пленника, предупредив его: на рассвете село будет взято русскими; ежели окажется, что немец в своих показаниях врал, его стукнут. Вскоре Пантюхин кричал в аппарат:
— Алло! Незабудка! Незабудка! Говорит Незабудка…
Он дал начальнику части нужные сведения. В конце переговора начальник сообщил: «Через час выступаю».
Пантюхин собрал бойцов и сказал:
— Вот что, друзья… Через полтора часа наша часть будет здесь, на месте. А немцев тут пятьсот штыков, да три танка, да две малокалиберных пушчонки. Значит, сами понимаете, товарищи, каждому из нас, разведчиков, надобно работать за десятерых. Помните, враг силен… А теперь, ребята, шпарь пулеметы на колокольню. Снайперы, выбери себе места!..
Еще не совсем рассвело, как возле села загрохотали пушки и минометы русской воинской части, подошедшей под прикрытием густого снегопада. Первые снаряды удачно ударили в дом, где находился штаб. Дом загорелся. Еще вспыхнули соломенные крыши на трех избах. Среди немцев, не ожидавших наступленья, поднялась невиданная паника. С дикими лицами они выскакивали из жилищ, на бегу одевались и, ослепленные пожаром, как очумелые бросались во все стороны. Бой был недолог. Бежать удалось немногим. Среди большого количества пленных был начальник штаба барон Муфель. Отряд Пантюхина, заваливший немецкими трупами всю улицу, ведущую к церкви, потерь не имел.

Федор Гладков

Маша из Заполья

Вот я сейчас — председатель колхоза, а раньше, до войны, простой была колхозницей, за своим мужем жила.
До войны мой Максим — я про мужа говорю — до того активист был, что и о своем хозяйстве, и о родном своем семействе забывал. Он и раньше, молодым, за колхозы головы не жалел — очень даже много трудностей претерпел. Оба были мы веселые, сошлись по любви, и всё нам казалось трын-трава. Потом отслужил в Красной Армии и вернулся молодым командиром. Я и сейчас в грязь лицом не ударю, а девушкой была красивая — певунья, плясунья, озорница, за словом в карман не лезла. И, как там ни говори, умная была. С дурой-то Максим не подружился бы: он очень даже разборчивый. Он и с родителями своими так не советовался, как со мной. Всегда этак погладит по голове, улыбнется и скажет: «Ну и советчица ты у меня! Скажешь — как в рамку врежешь».
Я грамотная, книжки любила читать. Пушкина стихи и сейчас на память знаю, Лермонтова — о купце Калашникове, а Некрасова слезами обливала и на голос пела: «Что так жадно глядишь на дорогу?..» Поешь, бывало: «Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь, будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть…» — поешь, а слезы в три ручья. Мамыньку вспомнишь, как она горе всю жизнь мыкала и умерла, бессчастная, свету не видавши.

Когда колхоз строили, мы с Максимом очень даже рьяные были. Об этом можно целую книгу написать. Все было: всякие беды мы с ним испытали — и смерть по пятам ходила, и охотились за ним по ночам…
Ну да об этом нет надобности вспоминать: было да прошло, было да быльем поросло. Не об этом разговор.
А вот как этот год вихрем налетел и закрутил меня перышком, — вот об этом мне и охота рассказать.
Как война-то разразилась, наша деревня словно задрожала вся. Не знаю, как там землетрясения бывают, а мне почудилось, будто и земля, и избы, и лес на косогорах ходуном заходили. Может, это у меня сердце застонало, только почуялся мне гул страшенный, а потом — пустота. Помню, утром это было. Окошки все были отворены, на улице — солнышко, благодать, крапивой пахнет и коноплей. Выбежала я на крыльцо — глазам больно от солнца: все горит и играет, куры гуляют и разговаривают. А соседка наша — старушка Агафья, злая такая староверка, качает зыбку у завалинки под ветлой и угрюмо поет: «По грехам нашим господь посылат велику беду на нашу страну». Бабы где-то заголосили, потом крик, шум, и опять будто все оглохло…
А тут влетает в комнату сломя голову Дунярка, дочурка моя, — в лавку за керосином бегала, — размахивает банкой и визжит:
— Маманька, война с немцами!.. Лавочку захлопнули, всех вытурили… Папанька наказывал: сейчас, — говорит, — приду, пускай мать не беспокоится…
А потом все как во сне случилось. Очнулась я, когда за околицей Максю провожала. Вся деревня, как на демонстрацию, повалила с красными флагами, с знаменами. По дороге — подводы с сундучками, с чемоданами, а по сторонам, по траве и впереди — толпища. Макся шел со мной под ручку и все улыбался и говорил мне:
— Вот и воевать пришлось, Машенька. Бить буду фашистскую сволочь… Ворвались, гады, срывают всю нашу работу… Бить и гнать их надо, — иначе — конец нашей жизни… Я даже горжусь, Маша, что родина меня призвала. А тебе спасибо, что не плачешь и меня и себя не срамишь. Ухожу, Маша, и знаю, что себя ты оправдаешь и меня заменишь.
Поднял Дунярку на руки и засмеялся.
— Ну, Дунярка, на тебя — надежда: матери плакать не давай!
— А она, папанька, ни разу не плакала. Она сама говорит: пускай наш папка веселый на войну пойдет.
— Ну и молодец мамка! А ты расти. И с мамкой крепче вожжи держите. Все заботы на вас свалились.
Дунярка-то маленькая, одиннадцатый годок пошел, а как большая с ним:
— Ты, папанька, о нас не думай: только воюй, а мы здесь все на своих плечах вывезем.
Потом обняла его и заплакала.
А когда я прощалась, думала, не выдержу: сердце оборвалось, все кругом завертелось. И только одно запомнила — ласковые и строгие слова Макси:
— Я на тебя, Маша, как на каменную гору надеюсь. Писать буду часто. Ни от чего не отказывайся, сама будь впереди всех. Вы, бабы, народ хороший. Пуще глаза охраняйте колхозное добро, себя не жалейте, а колхоз держите высоко. Я иду воевать, и ты, Маша, воюй храбро…
А я лепечу ему без ума:
— Ты, Макся, и думать не думай. Обо мне не болей. Ни тебя, ни себя не обесславлю.
Ну и стали жить без наших мужей. В правлении колхоза остались только трое из старых работников, да и то вскорости одного призвали. А остались-то: старик Митрий Калягин, седобородый и весь какой-то заспанный всегда, неразговорчивый и ворчун неистовый. И все-то приговаривает: «Эх, народ, народ! Федот, да не тот. Ни прясла, ни свясла не свяжут. Все пропадет недуром. У доброго хозяина — по-другому было». А другой, Нефёд Тихоедов, тоже в седых летах, все больше цифрами увлекался: сидит со счетоводом, и оба бормочут, до огней колдуют.
В первый-то год кое-как справились: и хлеб собрали, и посеялись. А на другой год, когда мужики поредели, очень даже затруднительно стало.
Председсельсовета у нас был мужик хороший — Павел Петрович. Сухонький, с бородкой реденькой, голосочек тоненький, такой хлопотун, такой гамаюн, что любо-дорого глядеть

на него. Он и сейчас у нас председателем. Ух и знающий! И декреты все и решения партийные помнит и никогда не закричит, не оборвет, а добренько так, чистоплотно, честно и пожурит, и поучит, и шуточкой поиграет.
Правда, были еще мужики, да особой активности ждать от них не приходилось: они и раньше больше помалкивали да за спины прятались.
Рабочая пора настала — хлебоуборка, молотьба, а тракторы на гумне пустить некому, жатку, к случаю, починить — руки не найдешь. Работали в ремонтной мастерской два старика — кузнец да плотник, а толку от них было мало. А тут надо пахать, осенний сев провести. Я еще с начала войны активно в колхозные дела включилась; наказ-то Максима всегда помнила. Бегу к Павлу Петровичу.
Встретил он меня улыбочкой и подле себя усадил.
— Я, — говорит, — заботу твою и тревогу очень даже хорошо понимаю, Маша. Кому, — говорит, — как не тебе наших женщин организовать. Был, — говорит, — я в райкоме партии, и поручили мне выдвинуть тебя в правление колхоза. Ты, — говорит, — и энергичная, и сознательная, и хозяйство знаешь. Женщина сейчас — решающая сила в деревне. Принимайся, — говорит, — за дело, Маша. Пока до выборов введем тебя в правление. Оно не по темпам работает.
Стань я на дыбы, он меня тогда и припер бы:
— А кто дал Максиму обещанье: не обесславлю?..
Дрожу вся, сама не своя.
— Хорошо, Павел Петрович… Только где я силы-то да уменья возьму?.. Надо для этого, Павел Петрович, характер иметь да политику знать…
А Павел Петрович смеется и бородку свою доит:
— Ничего, ничего, Маша, справишься. Ты женщин наших хорошо знаешь и сумеешь их за душу взять. А ежели что — помогу. И район поддержит.
Село наше большое, и хозяйство богатое. До войны наш колхоз миллионером сделался. Поля наши на несколько километров тянутся. Конечно, лесов много, а в лесах — озера, да все рыбные. Работаешь на поле и не нарадуешься: речки звенят, и жаворонки ручейками заливаются. Лес-то у нас все сосновый — стоят сосны махровые, стволы — как свечи восковые, и такой аромат плывет, что буквально вся как во хмелю.
У нас — и школа-семилетка, и библиотека, и кино наезжает, а нынче на уборочной поэты из области были — стихи свои читали. Поэтов я необыкновенными считала — по Лермонтову да Некрасову. А приехали они — девушка одна рыженькая да конопатенькая была, — так, поверите, даже обидно как-то стало: необыкновенности-то в них никакой и не было. Всё картошку ели да молоко пили. Пьют, едят и приговаривают: «Рай земной у вас!..» Жалко их было, ну а стихи читали хорошо и культурную работу вели благородно. Они про нас в газеты писали красиво, — спасибо им.
Я еще при Максе бригадирство вела. Бригада у меня была молодежная: больше девчата да мои старые подружки, Артельные были бабенки, и все грамотные. Озорные, веселые — на подбор. А работали-то как! Все горело в руках, само солнышко радовалось.
Страшно мне, конечно, было к руководству подходить. Как-никак, а я ведь все-таки за спиной Максима моего была. Ну, ясное дело, с ним, бывало, и советуешься, и всякие деревенские дела обсуждаешь. Хоть он наших женщин очень отлично знал, ну а политику свою все-таки через меня проводил. Скажет: «Маша, ты с своими товарками возглавь соревнование — поведи всех за собой. У тебя сбитое ядро — чудеса можно сделать». А мне было приятно: верит в меня, уважает, не только я жена для него! Заиграет сердце, как голубь, и не ведаешь, откуда сила да огонь берутся… Ох и время было прекрасное! В эти годы я словно на пять голов выросла.
Дунярка, девчушка моя, еще маленькая была, уход да глаз за ней нужен был, а время и для нее и для работы находила. Ловкая я всегда была да находчивая: на поле с собой ее берешь, на собранье — тоже. А потом мы с учительницами детский сад и площадку устроили. На ясли и детские учреждения я много труда положила: сама во все детали входила. Не столь время тратила на эти дела, сколь на наших матерей, будь они неладные.
Ну, так вот, о правлении колхоза пришла очередь сказать. Явилась я туда — народу пропасть. Сидят правленцы: один со счетоводом, на счетах щелкает и бормочет не поймешь что. Другой, Митрий, ворчит, ругается, корит кого-то и выдает на руки какие-то бумажки.

Вижу — пришли и мужики и бабы неспроста. Глаз у меня — прямо скажу, не хвастаясь, — зоркий: сразу вижу, какой черт играет в человеке. В деревне всякого знаешь, и норов его — на виду. Ну, думаю, ежели Маланья Дедова здесь, значит, болтушка — вовсю. Упорная это была баба, непослушная, злая, до конца свою линию вела. Всех нас охаяла и на улице и на поле, а Максю до смерти возненавидела. Перед Павлом Петровичем, как монашка, пела, в пояс ему кланялась, а лицо желтое, глаза лицемерные, как у кошки. И не то чтобы она самосильное хозяйство в былые годы имела или там самовластную жизнь прожила. Плакать ей о прошлом житье-бытье нужды не было. Я еще девчонкой была и не раз плакала от жалости, когда муж ее — такой неудачный мужичишка, пьянчужка, табачник, бездельник — смертным боем бил ее. Баба она была сильная, рослая, ворочала по хозяйству не в пример здоровому мужчине: и косит, и жнет, и пашет, и пятипудовые мешки на плече таскает. Да такого мозгляка, как ее мужичишка, одним бы щелчком она могла сковырнуть. А вот поди ж ты! Бабья душа и сейчас — поперешная, а тогда она была — потемки, недаром такая поговорка в народе веками жила. Терзает ее мужнишка-то, а она будто сама ловит его кулаки да пинки, кровью обливается, коровой ревет и хоть бы ладошкой закрылась. Отольем ее, бывало, водой, подымем под руки, а она расшвыряет нас и на всю-то деревню лается: «Не ваше дело, не ваша беда…» Вот какая баба! Ну а когда мужнишка в трезвом виде был — в кулаке держала. Орет на него, туркает и туда и сюда его. Семенит он, носом шмыгает, сутулится, будто боится, как бы она его по башке не нагвоздила. Правду сказать, такой работницы да рачительницы, как Маланья, и по округе не сыскать. Все хозяйство на ней держалось. Гляжу, бывало, на нее и думаю: эх, ежели бы тебя, Маланья, в активную жизнь вовлечь — цены бы тебе не было!.. Не любила она колхозного нашего дела. И хоть в колхозе состояла, а на работы выходила словно из-под палки, чтобы только-только трудодни им засчитали. Он-то был бросовый, бракованный, ни на какую работу не годился — больше навредит, чем выполнит. А она — пускай с рывка, со злобы, ненавистно — ворочала за двоих.

Так вот эта самая Маланья в правленье, в толпеже этом табачном, как у себя на дворе, развоевалась. Руки в боки, глазищи как у ведьмы, стекла дребезжат от горлана.

Увидала меня, тычет в меня пальцем и хохочет:

— Уж не эта ли активистка обротать нас хочет? Да она и лошадь-то охомутать не способна.

Я, конечное дело, ничего ей не ответствовала. Подошла к деду Митрию и заявила:

— Я, — говорю, — райкомом в правление послана. Павел Петрович мне объявил.

— Добро, — говорит, — садись на мое место, а я по хозяйству пройдусь.

— Нет, — говорю, — дедушка Митя, скажи-ка мне: какие ты бумажки людям выдаешь?

— А это, — говорит, — по тяжелому времю, освобождаю на декаду для своего индивидуального хозяйства.

— Как это для индивидуального? А на колхозное наплевать? Да ты, — говорю, — обалдел на старости лет? Кто тебе позволил? От кого директивы получил?

И так меня эта его халатность возмутила, что ходуном все заходило. Куда и робость моя девалась!

— Слушайте меня, граждане колхозники! Бумажки эти самые никакой силы не имеют. Самоуправство Митрия Калягина считаю преступным в наши тяжелые военные дни. Возвращайте-ка их опять на стол. Вы чего это задумали? Куда это годится? На чью руку играете? Сейчас хлебоуборка настала, а вы — по своим логовам? Врагу Гитлеру хотите помогать? А не скажут ли нам партия и бойцы наши: «Вот колхоз «Светлый путь» на темный переходит: работу бросил, хлеб на полях погноил и своих воинов на голод обрек, фронт ослабил, дорогу немцам очистил…» Этого вы, граждане колхозники, хотите? Признавайтесь, кто совесть и честь не потерял!

Вижу, народ как будто засовестился: присмирел, приумолк. Человека два бросили бумажки на стол и продрались обратно, подальше, в самый зад. А Маланья грудь выставила, зубы оскалила, зеленая вся — и ко мне:

— Ишь ты, куда пристяжная повернула! Чего ты забрыкалась-то? Да какая ты для нас распорядительница? У меня тоже муж мобилизованный. Не стращай, — не из пугливых ворон. Ты еще из комсомолок не вылупилась, а нас уму-разуму учишь.

И тут я не сробела, — уж очень нервы у меня разволновались, душа стрункой натянулась.

— А что ты, — говорю, — Малаша, скажешь после этих твоих поступков, ежели мужа убьют? Не опалит ли тебя совесть? Так-то ты мужу своему помогла? Да ведь из нашего села молодой цвет с врагами сражается… и за тебя и за всех нас. Бумажечку-то ты вынудила, да и других в смуту ввела… Ну что ж, валяй, валяй!.. А там, уж извини, пожалуйста, — пеняй на себя, Маланья Кирилловна. И у нас не без хороших, честных людей — у нас и без тебя совестливые найдутся. Смуты мы никак не потерпим… метлой выметем…
Тут она опять было орать начала, да я ее осадила:
— Ты свое слово сказала — можешь уходить с своей фальшивой бумажкой.
На нее прикрикнули, а она только фыркнула.
— Что же я, — говорит, — хуже тебя, что ли, Машка? Чего ты нос задираешь?
— Я тебе — не Машка, — говорю, — и строго стучу рукой по столу. — Меня партия и Советская власть сюда поставили. Хуже ты здесь аль лучше — время покажет, а сейчас покамест ты — верная себе: антиобщественный элемент.
Повернулась она и стала через толпу пробираться: вижу, не вышла, а в углу, у двери, остановилась. Лицо злое, мстительное, а по глазам замечаю, как пьяная: за живое ее захватила. Глядит и ничего не видит. Обидно ей — нашла коса на камень, не ждала, не гадала, что такой ей активный отпор будет. Задумалась. Ну, думаю, я знаю, за какое тебя место прищемить.
И тут же с места в карьер обратилась к Митрию Калягину:
— А ты, дед Митрий, не уполномочен порядок в колхозе нарушать: твоя доброта хуже воровства. Ты бы подумал, как силу сколотить в это трудное время, а ты ее по ветру развеял.
И сразу же — благо народ толчется — объявила собранье. Наметили повестку дня: об организации сельских работ, и назначили разных ответственных людей — бригадиров, заведующих фермами и других прочих.
Народ-то у нас неплохой, совестливый, работящий. Землю любит, труд на земле исстари святым почитает. Ну, конечное дело, своя болячка еще дает себя знать: нет-нет — и заноет. Мамона-то единоличная, как старый домовой, в дедовской избе живет: и коровкой мычит, и свинушкой хрюкает, и по усадьбе гуляет. Привычки-то да вековечный уклад, как сор из избы, не выкинешь: с молоком матери впитались. Тут нужно воспитанье да воспитанье, неустанная работа. Не одно поколенье надо воспитывать. Ну да ведь на то и социализм: это трудная, великая работа, это не фокусы. Нам рай, как в библии, боженька не даст, а строится он с борьбой, с муками, с верой. Ну а ежели создали да почувствовали, что свое, — сами гордятся, очень даже дорожат, видят, что хорошо, и радуются. Чего там говорить! Нашего человека очень даже знать надо, уметь взять его за сердце да подойти к нему. Власть — дело мудрое, а без души, без сердца власть — это самовластье. Очень даже горько и обидно, что в нашем языке такое слово в обиход вошло.
И вот с того часа я и стала работать изо дня в день. В правлении сидеть мне было без надобности. Нужно было дело делать, а работа не ждала — забот по горло. Первая статья — хлеб надо было косить, молотить да государству сдавать. А массив у нас был огромадный. Потом пахать, к осеннему севу готовиться, а он уж на пороге.
Вторая статья: надо было сено возить, о кормах да поголовье позаботиться. А там — птицеферма и молочное хозяйство. Опытных работников почти что не осталось. А ядро наше женское было маленькое, хоть и крепкое. Я о своих подругах говорю, о бригаде своей. Хоть колхозниц и порядочно было, да многие о торговлишке думали: глядишь — каждая пятая чуть свет летит со жбаном молока, с картошкой, с маслом. Хватаешься за голову и думаешь: как быть, что делать? Горячее время — справимся ли? Что я должна предпринять?
Очень я голову ломала, как красиво дело повести, а время требовало своего, — дня нельзя было терять. Собрала я всех наших женщин, открыли мы совещание. Наши, мол, мужья ушли воевать, а нам наказывали: «На вас, дорогие женщины, надежда: не подкачайте, с делами справляйтесь, помогайте нам своим трудом. Провалите работу, подведете государство — нас под удар поставите, и стыдно нам будет в глаза товарищам глядеть. А ежели погибнем здесь от пули немецкой, вы прежде всего в ответе будете: не накормили, не напоили, рабочих на оборонных заводах заставили голодать, — значит, сорвали производство оружия и боеприпасов».

Две у меня старых подружки были: Варя Коноплева и Анфиса Теплых. Варя, высокая бабочка, статная, по-городски ходила, опрятная, грамотная, ни перед кем не робела, правду-матку в глаза резала. Глаза — большие, задорные, посмотрит — рублем подарит. Характерная была бабеночка. Муж у нее, Терентий, близкий товарищ был Макси с молодости. Оба были в Красной Армии, оба младшие командиры были, и оба за колхоз дрались. Терентий тоже был в правлении и очень даже увлекался молочной фермой: сам ее организовал. Ну, первым делом я Варю приставила хозяйствовать на этой ферме и передала ей всех коров и телят. А другой — Анфисе, скромной, маленькой и робкой по виду, поручила наш птичник: очень уж она птицу любила — только о курах да о гусях и говорила. Кажется, что даже во сне их каждую ночь видела. У ней у самой куры на загляденье были — всякие разные породы: и леггорны и плимутроки. Птицеферма у нас богатая — залюбуешься: прямо земля цветет и кипит.

Ну и вот, созвала я собрание, гляжу и диву даюсь: и Маланья здесь! Сидит позади всех — хмурая, ехидная, почернела вся. Ну, думаю, устроит она нам тарарам. Посоветовались мы с Варей да Анфисой и решили: ежели озорничать будет, демагогией заниматься, обрежем ее, чтобы она больше — ни лбом, ни задом. А ежели в молчанку играть будет, — наша, мол, хата с краю, — выделим ее полевым бригадиром. Ведь, правду сказать, слово-то разит тех, кто слушать умеет, а дело любого рано аль поздно охомутает. Выступает Варя и так это веско и убедительно говорит:

— Хлебоуборка у нас теперьча — самое горячее дело. Провалим это дело — позор нам на всю область. А проведем хорошо — уберемся, выполним наш долг перед Красной Армией, поможем нашим воинам фашистов побить, — слава нам и хвала. Для этой ответственной работы я выдвигаю Маланью Кирилловну. Женщина она — хозяйственная, умная, заботливая, всю свою жизнь в труде прожила, всякую мелочь учтет. На нее очень даже можно положиться.

Смотрит на нее Варя своими большими, хорошими глазами, лицо высоко подняла, а Маланья так и застыла вся: озирается, даже как будто осунулась. Женщины наши переглядываются, от такой неожиданности буквально онемели. И вдруг как закричат в один голос:

— Верно, верно!.. Малашу надо… Все голосовать будем…

— Ну, что ж, — говорю, — Маланья Кирилловна не отказывается. Давайте проголосуем…

Только я сказала, Маланья выскочила и сломя голову — вперед, к столу.

— Не желаю! — говорит. — Нет моего согласия. У меня у самой своих делов по горло: и дети и хозяйство…

Дала я ей прокричаться, перегореть, а потом тихонько и спрашиваю:

— Как же это так, Маланья Кирилловна? По-твоему, значит, фашисты пускай наших бьют, пускай наши кладут свои головы, пускай на растерзанье идут? Так, что ли? Пускай люди с голоду умирают, пускай заводы останавливаются? Ты это хочешь высказать?

— Совсем даже не это, — кричит. — Там свое дело знают, а я — свое. Я не воюю. А своих детей и хозяйство по ветру пускать не хочу.

— Вот так раз, — говорю. — Да ежели все женщины у нас в стране закричат, как ты, да все плюнут, что же тогда получится? Подумай-ка. Ведь нас, Маланья Кирилловна, всех на войну мобилизовали, и тебя наравне с нами. Мужей наших призвали, а нам приказали: заменяйте их. Они — на фронте, а мы — в тылу. И разъяснили: и фронт и тыл — это одно. Как будет в тылу — так и на фронте. А женщина сейчас — решающая сила. Каждая женщина сейчас — в ответе. Не желаешь работать, родине помочь, значит, супостата вооружаешь и отдаешь ему наших людей на растерзанье. Разве ты не слышала, как они издеваются и зверствуют в захваченных местах: и расстреливают, и вешают, и пытают, и глаза пленным выкалывают, животы распарывают, наших девушек и женщин бесчестят и всех на голодную смерть обрекают? Значит, ты хочешь, чтобы Гитлер и к нам пришел и здесь такие же зверства натворил? Ведь он на весь мир заявил: всех русских истреблю до одного человека, а которые в живых останутся — рабами сделаю. Вот и скажи ты нам, Маланья Кирилловна: ты этого хочешь? Как же это у нас называется?

Горячо я говорила, без хвастовства скажу, а ежели волнуюсь, так прямо огнем горю. И вот, когда я о муках наших людей сказала, от слез голос у меня оборвался. Вижу, некоторые

женщины тоже разволновались. Некие ахают, вздыхают, качают головами, отмахиваются и бормочут:
— И как ей не стыдно! В это время-то… Как это у ней язык ворочается?.. И откуда у нее, поперешной, злость такая?..
А Маланья стоит, как к месту приросла, глаза красные, руки дрожат.
— Ну, что ж, — говорю, — Маланья Кирилловна, можешь уходить. Мы к тебе всей душой обратились, с верой к тебе… а ты вот как повернула!.. Считали, что придет такое время — одумаешься… Время это пришло — тяжелое для нас время, — а ты, однако, не одумалась. Хуже: ведешь себя буквально как предательница. Ведь не знаю, как бы ты себя с врагами повела. Может, и нас бы всех на виселицу отправила?
И как только я это сказала, задрожала она вся, платок с головы сорвала, прижала его к груди, хочет крикнуть и не может: дух захватило.
Как раз в эту минуту вошел Павел Петрович, остановился у двери и прислонился к косяку. Жду, сердце у меня голубем бьется: боюсь, как бы скандала не вышло. И вдруг — батюшки! — Маланья тихо, как больная, с хрипотой и говорит:
— Зачем же это вы так, бабочки?.. Я не злодейка какая-нибудь… не вражина. Ну, сбрехнешь когда от тоски… У меня ведь в нутре-то живого места нет… Знаете, как я жила — светлого дня не было… С молодости — в работище, детищи замаяли, муж пил без просыпу… Больная я… бессчастная…
И заплакала.
— Посылайте… буду… Я от работы не отказываюсь…
И пошла, как побитая, на место — так, с платком в руке, простоволосая, и пошла. А мы все смотрим на нее, словно громом нас оглушило. Павел Петрович подошел к столу и с улыбочкой проговорил:
— Я Малашу давненько знаю: еще вот этакенькая она была (и рукой от полу на аршин показывает). Женщина она честная, труженица. Ее надо понять. Жизнь-то у ней неудачная сложилась. Помочь ей надо.
Собраньем этим я очень осталась довольная. И только уж перед самой моей избой сердце у меня заныло. Слышу, соседка старуха воет под ветлой у зыбки: «По грехам нашим господь посылает велику беду на нашу страну…» Это — стих староверский, заунывный, скорбящий такой, до слез за душу хватает…
И тоскливо стало: вспомнила, как Макся, бывало, приходил домой в это время, веселый, радостный, озабоченный, как хозяин, который все знает, во все вникает, все любит, и ему хорошо, потому что с пользой, с удовольствием день провел. А вот теперь его нет, и где он — неизвестно: сначала писал, а потом ни весточки, ни привета ни ответа на мои письма. Больно стало, что я — одна, что на земле рекой льется кровь, что гибнут страшной смертью на виселицах, под пулей, в пожарах такие простые люди, как я, как эта старуха соседка. Уж ночь наступила, и избы были какие-то угрюмые и жуткие, и огоньки мутненько мелькали в окошках. На небе — ни звездочки. А старуха тихо так да угрюмо вопит, словно рыдает про себя.
В избу свою я вошла кое-как, и ноги отяжелели, и сердце замирало от предчувствия, будто и на меня наплывает какая-то беда. Только Дунярка душу мою осветила. Вошла я, а на столе — посуда, хлеб и цветочки в стакане. Ждала меня и все приготовила.
— Мама, — кричит, — мама! Заждалась я тебя, мамуленька!
— Аль любишь, дочка?
— Страсть, — говорит, — люблю. Так люблю, так люблю, индо плакать хочется… Вот и на стол собрала, все приготовила, чтоб ты обрадовалась, О папаньке думала: птичкой бы к нему улетела…
И так она растревожила меня, что никак слез сдержать не могла: смеюсь и плачу, прижимаю ее к себе, целую и смеюсь… смеюсь и плачу…
Дни были горячие. Ни минуты нельзя было терять: хлеба ждали уборки дружной, а рук было мало. На эмтеэс осталось только двое трактористов да два комбайнера. На жатки у нас девчата сели, а на комбайн стал на первое время сам Павел Петрович. Старик старик, а никак не унывал, все с улыбочкой, с шуточкой.
— Зарежемся мы, — говорю, — с этой хлебоуборкой, Павел Петрович, а с пахотой и осенним севом — того хуже…

А он подмигнет, усмехнется и ласковенько скажет:
— Зарежемся, говоришь? А я верю, что нет: и хлеб уберем и посеемся… Давай поспорим: колоска не оставим, и вспашем, и посеем. И выходит, что я больше верю в вашу бабью силу, чем вы. Нехорошо, Машенька, не верить в свои силы: сама себя разоружаешь. А надо так: сделаем! На войне-то, ты думаешь, легче? На смерть идут люди… Кажется, невозможно взять укрепления противника, а дух и уменье невозможное делают возможным.
— Дух-то, — говорю, — может, у нас и есть, да уменье-то где?
— И опять тоже нехорошо ты говоришь, Маша: уменье — от хотенья. Уменью люди учатся. Лишь бы высокий дух был, а уменье — дело наживное. Пока что жатки погремят, — лошади-то кой-какие есть, — тут мы двух зайцев и убьем: тракторные курсы для девчат да подростков устроим. И поедут, заработают, — да еще как!
Не стану рассказывать, как день ото дня мы все хозяйство в свои руки брали. У нас, женщин, сердце не на месте было от заботы и беспокойства. Видишь, хлеба желтые, волны идут по ним, словно к тебе торопятся: жать пора! А сердце им навстречу бьется. Я с детства любила и сенокос и жнитво. Золотая пора, красивая, веселая, хоть работа и трудная. Кажется, по полям-то само солнышко пылает и поет жаворонками.
Дед Митрий, страшное дело, недовольный был, что мы в правленье новые порядки стали заводить: толкучку изничтожили, людей всех по бригадам закрепили, а наряды еще накануне на работах давали дня на два. Деду Митрию и другому, цифролюбу, строгую ответственность поручили: одному — поле, другому — доставку зерна на ссыпной пункт. Им уже не время было сидеть в правлении да сосать самосад. У деда Митрия глаза стали волчьи, а седая борода да брови так и прыгают.
Смехота была глядеть на него. Ворчит, меня как бы не замечает, к Нефеду обращается, а тот сидит сычом, щелкает на счетах и хмыкает — не поймешь, что думает. Особливо смешно было, когда Митрий из себя выходил, потому что никто его не слушал. Нефед-то, бывало, целый день как уткнется в ведомости да цифры свои, так ни одного слова не выдавит из себя.
— Хоть кол им на голове теши… — ворчит Митрий. Борода у него трясется, ноги подгибаются, а ноги-то у него вогнуты были друг к дружке в коленках, будто крест-накрест выросли.
В этот самый момент я спокойно, заботливо и строгонько говорю ему:
— Митрий Егорыч, тебе пора на поле идти. Дело не ждет. Ты ведь у нас на поле — голова.
— Поговори там: без тебя не знают.
— А что ж, — говорю, — Митрий Егорыч, и я поеду доглядеть. На то мы и поставлены.
И нарочно торопливо собираюсь.
Надоело это мне до смерти. Кинулась к Павлу Петровичу. Встретил он с испугом, — должно быть, лицо у меня было особенное.
— Ты чего, Маша? Аль что нехорошее случилось?
— Моготы, — говорю, — нет, Павел Петрович. Богадельня у нас, что ли? Звони, — говорю, — в район: надо новое правление выбирать.
Смеется, подмигивает.
— Ну, вот, — говорит, — растерялась, «караул» закричала. Разве так можно! Разве, — говорит, — это трудности? Трудности еще впереди. Это — не трудности, а комедия. Выборы выборами, а ты веди свою линию, собери около себя способных людей — и жарь себе на всех парах.
А я, верно это, очень даже нервная и горячая. Слезы даже, бывает, брызнут из глаз — только не от слабости, а от упрямого сердца.
Вбегаю после этого разговора в правление, а старики бормочут и к месту приросли: ясное дело, сговорились измором меня выжить. Ну, я их как кипятком ошпарила.
— Я, — говорю, — с вами по-доброму, с почтеньем к вашей старости обходилась. А теперь не посмотрю, что вы седые, да лысые, да членами правления колхоза находитесь. Ежели, — говорю, — свои обязанности не будете выполнять, с вас взыщется!
Тут дед Митрий — на меня: весь трясется — и борода, и брови, и портки.
— Ты кто такая, чтобы над нами распоряжаться? Грамотная какая… образованная!.. Нас народ выбирал…

— Вас народ выбирал, потому что верил, что вы этому народу служить будете, не щадя сил. А вы баклуши бьете. Старики! Хозяева! Выбирают не для почета, а для работы. Не место красит человека, а человек — место. А вы это ответственное место позорите. Нам бы у вас учиться надо, а вы только кряхтите да мух гоняете. Меня в правление-то партия послала… партия и война… грозное время… поняли? Выполним хлебозаготовку и осенний сев — не ваша это будет заслуга, а наша…
Должно быть, я страшная была: помню, сила во мне клокотала, гнев большой, и они передо мною ужасно были маленькие. Опамятовалась я, гляжу, а их уж нет: как дым растаяли. И до чего смешно мне стало: стою и хохочу, удержаться не могу!..
Деньки стояли сухие, солнечные, синие. Я с зорькой вставала и сейчас же — в правление: там бригадиры и звеньевые собирались. Столпимся на крыльце и говорим, как вчера люди работали, кто старался, кто кого перегнал, кто не вышел на работу да почему не вышел. И тут же, конечно, не без злого язычка: кто на какие хитрости пускался, чтобы отлынуть от работы и домой удрать. А вот Параха всех за пояс заткнула: сжала или связала снопов больше раза в два, а Оленка села на жатку и лучше любого мужика косила, и все — как под гребеночку… Я, конечно, похваливала их от сердца и нарочно спрашивала всех, как Параху и Олену наградить, какую премию выдать. А потом намекала, что, ежели так наши женщины отличаться будут, район заинтересуется. Напишем, мол, в армию — уведомим наших бойцов, как и кто у нас за рекорды держится, чтобы и там порадовались. И тут же обязательно похвалим и Маланью. Стоит она в сторонке, угрюмая, нелюдимая, молчаливая, ни на кого не смотрит: все о чем-то думает и словно замышляет что-то.
А однажды эдак пригласила я нашу воспитательницу — старую учительницу, которая детские ясли да площадки организовала, чтобы рассказала, как о детях заботятся, как их кормят и забавляют. Очень это всем понравилось. А другую учительницу заставила рассказать нам, какие дела происходят на фронте. Наши тогда отступали, город за городом сдавали: очень было тяжело, сердце чернело, душа стонала. Ну, учительница, комсомолка, кудрявенькая, из колхозниц вышла, ловко умела все объяснить и доказать, что захватить много земли — не значит победить. Расскажет, как враги наших крестьян мучают, как детишек и стариков истребляют, как из своих домов выгоняют. Ежели бы не сражались наши бойцы, фашисты и сюда бы к нам ворвались и то же самое понаделали бы… не миновать бы и нам горя и беды. Комсомолка Анна Ивановна увлекательно рассказывала: все слушали затаив дыхание. А она кудри рукой откидывает, глаза блестят, и вся душа у ней клокочет. Мы ее и на поля приглашали, и там она в обед газету прочитывала. А в газетах писалось, как рабочие и инженеры на заводах танки, да самолеты, да оружие выделывают, как тысячники появились, как все помогают фронту. Ну а когда она о деревне читала, как называла знакомые колхозы и как там отлично работают, всем завидно становилось. Начинались разговоры: и мы, мол, не хуже других, и мы, мол, можем достижение давать. Тут, явное дело, дразнить начинаешь: у нас, мол, пожалуй, некому и объявиться… Господи, сколько крику бывало! Обижаться начнут, волнуются. А мне этого только и надо. С этого времени начали вызываться: мы столько-то дадим, да нас на кривой не объедешь… и пошло, и пошло…
Только Маланья по-прежнему молчала и чем-то мучилась. Со мной она ни разу больше не разговаривала и наряд брала молча. Только лицо у нее было темное, высушенное, а глаза недобрые. Правда, у всех лица-то были загорелые, обветренные, кожа, как лакированная, но у нее черное какое-то лицо было. Видно, что и сердце у нее обуглилось. Мне было тяжело смотреть на нее, тревога беспокоила: как бы чего она не выкинула. Копится у ней внутри какой-то чад, а накопится — обязательно прорвется. И верно: прорвалось.
У ней было трое ребятишек — от двух до шести годков. В детский сад она их не отдала. Пришла к ней учительница, а она ее вытурила.
— Пускай лучше дома подохнут, а в ваш сад не отдам. Проваливай, чтоб больше я тебя не видела, а придешь — помелом вытурю…
И вот она нет-нет да с поля и убежит. Хватятся — нет ее.
— Ну, наша Маланья опять домой умчалась… — смеялись девчата. — Хвост-то дверью прищемило.
А работала — на зависть: не угонишься за ней. Издали любо-дорого глядеть, но женщины жаловались:

— Ведьмища какая-то — рвет и мечет, злобой вся изошла. Мочи нет. Духота с ней. Часу с ней не проработаешь — до смерти измотаешься. И песня на ум не идет.

Может, это по глупости нашей случилось, а хотели мы насильно добро ей сделать — заботой о детишках ее умягчить. Пришли к ней в избу воспитательницы, забрали ребятишек, привели в детский сад, вымыли их, накормили-напоили, приласкали. И рады они были до невозможности. Развеселились, раскричались, личишки засветились.

Прибежала Маланья с поля домой — пусто. Туда-сюда, зовет, кричит, мечется. Примчалась на площадку у школы и орет:

— Сейчас же домой, чтоб духу вашего здесь не было!

Детишки — в рев. К одному, к другому, к третьему — шлепки, тумаки.

Учительница к ней:

— Как вам, Малаша, не стыдно!

А она, как безумная, бросилась на нее и хотела в волосы ей вцепиться, да подбежали другие учительницы, схватили за руки. Кое-как угомонили ее, а детишек отбить не смогли: притащила она их домой и больше на работу не вышла.

Обсудили мы тут же на поле, как с ней быть, и решили: аванс ей не выдавать, считать ее дезертиром и вне колхоза: насильно, мол, мил не будешь.

Прихожу я как-то на нашу молочную ферму, вижу: стоит с доярками Маланья и шушукается. Заметила меня — отвернулась. А тут — Варя Коноплева с бумажкой в руках. Брови нахмурены, смотрит в сторону Маланьи сердито. В своем хозяйстве Варя была строгая: каждой корове учет вела, паспорт точный составляла и доярок способных, заботливых да нежных подбирала. И всегда-то с радостью докладывает: такая-то корова на столько-то литров больше молока дала, такая-то доярка так-то да эдак за коровой ухаживает. А тут протягивает мне бумажку и нетерпеливо говорит:

— Известно тебе, что дед Митрий разрешение дает, — и уж не первый раз, заметь! — чтобы отпустить масла и молока вот таким женщинам, как Маланья? Как хочешь, Маша, а я эти бумажки складываю и никому не отпускаю. Митрий и для себя и для Нефеда тоже требует. Маланья мне сейчас скандал сделала: прямо нахально требует кило масла. Я ей отказала, а она раскричалась: грозит жаловаться, что не заботимся о семьях красноармейцев. Ну, да ведь ты сама, Маша, знаешь, что на испуг меня не возьмешь, а на нахальство я сама нахальная.

— Правильно, — говорю, — поступила, Варя. Сейчас пойду в правление, — говорю, — и приведу в правление нашего старика.

Прихожу в правление, а там опять не продохнешь от самосада. И старички разные, и старушки клянчат чего-то. А Митрий сидит, ворчит и этакого богатого хозяйчика изображает. Увидел меня — съежился.

— Ты чего это, — говорю, — Митрий Егорыч, колхозным добром распоряжаешься? Опять бумажки раздаешь? Кто тебе позволил? Вместо того чтобы на поле быть, ты здесь баклуши бьешь да еще маслицем себя с Нефедом ублажаешь?

Ух, как он скапустился! Испугался.

— Что ты, что ты, Маша! Я ведь по закону: о красноармейках и о родителях забочусь. Велено внимание им оказывать…

— Ишь, — говорю, — какие вы добрые на общественный счет! Заботой о женах и родителях красноармейцев хотел меня обезоружить! Я тебя, Митрий Егорыч, сама обезоружу.

И еще больше взяла его на испуг:

— А известно тебе, как идет хлебоуборка и хлебозаготовка? Известно, как готовимся к осеннему севу? На днях приедут секретарь райкома и предрайисполкома, от тебя, как от заместителя предколхоза, доклад и отчет потребуют. Готов ты к этому или нет?

— Да ведь это ты должна… тебя сюда на это дело послали… А я чего? Я и слова-то сказать не могу… Сроду оратором не был…

— Нужда заставит — и оратором будешь.

И злость у меня и радость на сердце.

Ну и работали мы! До солнышка начинаешь — затемно кончаешь. Видим, до осени с хлебом не управимся и сев проваливаем. Правда, девчата да подростки и на косилки и на тракторы сели. Сверх всяких там норм выполняли, — как сейчас говорится. А все же кое-

кто из баб на работу не выходил. В ясли, на площадку детей своих несут — выгодно! — а сами — фыр! — с мешками да жбанами на станцию. Страшное дело, как зло нас разбирало. И агитацию вели, и стыдили — нет, ничего не берет. Да еще завизжат на всю улицу. И все с демагогией: обижаем-де несчастных, прижимаем-де жен фронтовиков. Да я сама, говорю, жена фронтовика, все фронтовички, а сознают, помогают армии — работают, не щадя сил. И не говори! Такой шум и гвалт — в ушах свербит.
А Павел Петрович, когда жалуешься ему, все, милый человек, улыбается, словно ты ребенок перед ним.
— Не обращай, — говорит, — внимания, Маша. Все утрясется и придет к знаменателю. Работать да работать с ними надо. Не будет у них трудодней — вот и закричат «караул». Предупреди их. Не послушают — покаются. А пока придется в район обратиться: пускай по раскладке и нам пришлют мобилизованных служащих да студентов.
Я прямо-таки испугалась этих слов. Ведь этак мы, думаю, только развал в дисциплину внесем. Бездельники на смех поднимут и уж совсем распояшутся.
— Не подождать ли, — говорю, — Павел Петрович? Насчет своих-то надо бы в первую очередь какие-нибудь меры принять. Стыдно ведь.
— Ждать, — говорит, — нельзя: поздно уж будет.
И, как нарочно, в эти самые горячие дни приезжает на машине секретарь райкома с начрайзо. Я на поле была в этот час. А на поле бываешь, всегда руки чешутся: то к одной, то к другой бригаде прибежишь. Больно уж хмельной запах ржи и пшеницы сердце поднимает. Словно золото вокруг волнуется, плещет по косогорьям, огнем горит. А далеко лес сосновый синеет и дымится. И будто кругом море кипит на солнце, а лес — темные берега. Шумят на горячем ветерке колосья и солома, а в небесах жаворонки заливаются. Господи, что есть еще прекраснее? Собираешь скошенный хлеб в охапку, туго подпоясываешь свяслом, а он, сноп-то, как живой, смотрит на тебя и смеется… Честное слово, не шучу: так и чудится, что смеется и шепчет тебе что-то на ухо. В работе этой я очень всегда была жестокая: никогда, бывало, переднего места не уступлю. Бес у меня в крови играет. Вся потом изольешься, сердце колотится, а под ногами земля искрами переливается. Ну, за мной, конечно, женщины и девчата торопятся, смеются, друг дружку подзуживают. А недалеко косилки жужжат, позванивают и грабельцами машут.
Так вот в такой момент прискакал верхом парнишка — Васятка, рассыльный, беловолосый, обгорелый весь, и кричит еще издали:
— Тетя Маша, из райкома на авто приехали, тебя зовут… чтобы сейчас явилась…
Не знаю, почему — сердце у меня екнуло и заныло. Ну, думаю, не иначе прорабатывать будут, что уборку провалили. Бегу со всех ног к табору, сажусь верхом на лошадь — запрягать некогда — и галопом в деревню.
Поднимаюсь на крылечко, — у нас сельсовет и правление в одном здании, — а дальше шагу шагнуть не могу: сердце птицей бьется, дышать трудно, ноги подкашиваются. Собралась немножко с духом, вхожу в сени. Из-за двери громкие голоса, веселые такие. Отворяю дверь, хочу показать, что ничего не боюсь, что я смелая и такая же веселая, как они, и с этаким задором:
— Здравствуйте, товарищи! С приездом! Очень даже вам рады.
А Павел Петрович кивает на меня седой своей головой и ласково улыбается.
— Вот она, — говорит, — наша Марья Антоновна Травкина… — И ладошкой этак к себе загребает: — Ну-ка, Маша… Иди-ка сюда на расправу.
Мне-то страшно немного, а храбрюсь, плечо вперед держу. А как услышала это слово «на расправу», опять духом упала. Но виду не показываю. Подхожу к одному, к другому, ручку им пожимаю.
Секретарь был такой коренастенький, черняувенький, волосы торчком, лицо как спелый желудь, глаза вприщурочку, пристальные, хитренькие. В гимнастерке. А начрайзо — высокий, тоже в гимнастерке, белобрысый, длинноносый, ходит по комнате, скучный, ни на кого не глядит. Сапоги на нем аккуратные, со скрипчиком.
Посидели маленько, чуток помолчали, а я дышу шибко, успокоить сердце не могу. Секретарь смотрит на меня, улыбается и говорит:
— Ну, Марья Антоновна, как твои дела?

— Мои, — говорю, — дела, товарищ секретарь, не суть для вас важные. А вот с хлебоуборкой затруднительно.
— С хлебоуборкой, — говорит, — везде затруднительно, не только у вас. Ежели жаловаться хочешь — жалуйся, только не плачь.
Я — в обиду.
— Ежели, — говорю, — плакать захочу, так втихомолку поплачу. А плакать да жаловаться не в моем характере.
Павел Петрович строгонько поглядел на меня, брови серенькие вскинул и прикрикнул:
— Ну, ты, Маша, потише себя держи… Что это за крик, скажи, пожалуйста?
А у самого в лукавых его глазках так чертенята и кувыркаются.
Секретарь перелистывает какую-то ведомость и смеется. А начрайзо уставился мне в глаза и сердито этак:
— Тебе, брат, пальца в рот не клади, — откусишь.
— А что же, — говорю, — и откушу…
— Задорная.
— От задора, — говорю, — не отказываюсь. Рохлей будешь — охомутают.
Тут секретарь стал очень серьезный и выступил вежливо:
— Вот что, Марья Антоновна. Мы о тебе знаем кое-что хорошее. Очень даже ценим твоего мужа, товарища Травкина. Решили мы выдвинуть тебя председателем колхоза. Рекомендовать тебя людям.
Я так и обомлела.
— Да разве это возможно? Товарищи! У меня и силы на такое дело нет. Тут мужикам и то невмоготу иной раз приходилось… А как же я-то?..
И — в слезы. Реву, а самой стыдно.
А начрайзо в ухо мне ехидно издевается:
— Вот тебе и задорная!.. Задор-то у тебя — в слезах, как видно.
Страсть я его в ту минуту возненавидела. Плачу и огрызаюсь:
— Вы меня, товарищ, не тревожьте. И сядьте подальше, чтоб не вышло неприятности.
Они все даже оглушили меня своим хохотом. А секретарь спрашивает этак ехидненько:
— А скажи-ка, Марья Антоновна, что тебе Максим наказывал при расставанье?
— Наказывать-то, — говорю, — наказывал, а писем уже больше не шлет…
— Ну, не шлет, — значит, есть причина. Пришлет. А все-таки, что он тебе наказывал? Припомни-ка. Ты вот артачишься, робеешь, плачешь, — разве в этом исполнение его наказа? А ведь ты ответила ему: ни тебя, ни себя не обесславлю… Так?
— Это вам Павел Петрович рассказал…
— Кто бы ни рассказал, а вот знаю. Так вот мы и приехали, чтобы собрание созвать. Кандидатуру твою обсудим и собранию предложим.
Павел Петрович, милый человек, ласково и ответь за меня:
— Она, конечно, согласна. Понятно: волнуется. А ведь по сути дела она и сейчас фактически несет обязанности предколхоза.
— И хорошо несет. А мы ей поможем. Ну, как же, Марья Антоновна?
— Хорошо, — говорю, — согласна. Только ежели не справлюсь…
Тут начрайзо опять резанул меня по сердцу, язва:
— А не справишься — взгреем до седьмого пота. Взыщем по всем статьям.
Разозлилась я и огрызнулась:
— Посмотрим еще, как вы-то помогать будете.
А он даже засмеялся.
— Вот с этого бы и начинала… а не с мокрого места…
Я тоже засмеялась и успокоилась. А потом все им по порядку рассказала, в чем у нас трудности: как правление рассыпалось, как машины плохо работают, как рабочих рук не хватает, как к пахоте мало годных людей и прочее такое. Старичков наших добреньких расписала, не пощадила и Павла Петровича: в такое, мол, горячее время сельсовет пропуска выдает нашим колхозникам на железную дорогу. У нас, мол, кой-какие женщины не к работе интерес имеют, а к торговлишке: старая закваска еще сильно действует. Павел Петрович страшное лицо сделал, а потом засмеялся:

— И меня высекла, а я думал, что не решится нападать на власть. Верно, был грех, а теперь эту волынку аннулировали…
— Как это аннулировали? — разгорячилась я. — А бабы все-таки гурьбой тянутся чуть свет на станцию да еще лошадей требуют. Я это ликвидировала, но у нас есть сердобольные конюхи, которые исподтишка и подводишки снаряжают. Плохо мы боремся. Вы все хорошие, Павел Петрович, а меня собаками травят. У этих мешочниц таких агитаторов, как Маланья, сколько угодно. Сплетни плетут, как кружева, а сплетня — самая заразная агитация.
Секретарь переглянулся с Павлом Петровичем и с начрайзо, а когда на меня посмотрел, лицо у него стало строгое, а глаза хитро поддеть меня хотят.
В этот день я словно большой праздник переживала. Сначала мы все вместе на фермы наши ходили, в конюшню, на скотный двор, а потом поехали в машине на поля. Долго ходили мы от бригады к бригаде, а озорник начрайзо все девчат задирал, и они ему не спускали — зубасто, дерзко отвечали. Он все время восхищался:
— Замечательный народ наши женщины! Да с таким народом чудеса можно делать…
Вечером устроили собрание. Секретарь речь держал — о помощи фронту говорил.
Ну, потом я выступила, Павел Петрович и еще кто-то. Очень даже хороший был вечер: всколыхнулись все, здорово волновались. Маланья назло не пришла на собранье. Заметила я это и решила про себя: ну, я ж тебя сумею взнуздать, упрямство твое, как пыль, выбью…
Выбрали новое правление колхоза: я — председатель, а членами — Варя, Анфиса, учительница-комсомолка… один конюх, заботливый такой мужик, скромный… Счетовода — секретарем. Все так и ахнули, когда я предложила кандидатуру Маланьи. Павел Петрович мне сердито шипит в ухо:
— Да ты с ума сошла, Маша! Разве можно такую женщину в члены?
А я упрямо настаиваю:
— Маланья Кирилловна будет работать — ручаюсь. Как почувствует она ответственность, так другим человеком станет.
Слышу со всех сторон:
— Маланья — беглянка… бросила бригаду — удрала…
Тут я и насчет Павла Петровича проехалась:
— Вспомните, ведь сам Павел Петрович ее поддерживал… Помочь ей советовал. А чем мы ей помогли?.. Даю слово: на ноги ее поставим.
Спорили долго, я не сдавалась. Правда, большинством в два голоса, а все-таки выбрали ее. И эта моя победа очень даже меня обрадовала, себя почуяла, свой характер: захочу — так и я не последняя сила. Не слово родит человека, а дело. Без крепкой ответственности любой человек с панталыку сбивается. Надо, чтобы у человека всегда сердце от совести ныло. Совесть-то самое главное в человеке и есть. Я это буквально на себе испытываю.
Ну и стали мы с новой силой работать. В правлении, можно сказать, — бабье царство. Как что, как заминка какая на поле, сейчас же крик, волнение — все ко мне. Ежели что на ходу можно поправить иль толкнуть, бежишь туда, где тонко, чтоб не рвалось. А чаще соберешь женщин, посоветуешься с ними: наперебой стараются — предлагают то одно, то другое улучшение. И вот каждую женщину и мобилизуешь это ее улучшение провести. А им лестно: никогда они не чувствовали такой общественной запряжки.
Детишкам мы хорошее питание устроили и брали в ясли и на площадку только у тех матерей, которые работали. Вызвали мы всех «путешественниц» в правление и сказали: ежели вам, мол, на ваше колхозное добро наплевать, а увлекает вас больше интерес спекулировать, объявляем вас саботажницами. Детей, мол, ваших оставляйте при себе — сами о них заботьтесь. И имейте, мол, в виду, что трудодней вам никаких не будет засчитано и ни маковой росинки не получите. Вот и считайте, что вам выгодно: или торговлишка, или честный общественный труд. Будете вместе с нами делить общие трудности и радости — хорошо, не будете — пеняйте на себя!
Батюшки, сколько крику и злобности было! Кой-кто из них сдался, с обидой, с ненавистью, будто их палкой в стойло загоняют. Другие обохалили нас и ушли.
И вот что я заметила. На этот раз Маланья вместе с нами заседала. Сидела в сторонке, как в столбняке: ни слова не проронила, темная вся, как ядом налитая. И по всему видно было, что все эти саботажницы на нее только и поглядывали, и этой своей ядовитой чернотой она

их словно еще сильнее отравляла. И вот, подумайте, встает она, как туча, мнет пальцами губы, и глаза так и жгут. Помолчала, потопталась и говорит:
— Я вот спросить хочу: кто меня в правление выбирал? Я, — говорит, — не к членам обращаюсь, а вот к собранью, к женщинам, которые здесь сидят.
Ну, наши торговки рады, орут ей:
— Мы не выбирали и даже на собранье не были. А ежели были бы, так, явное дело, за тебя бы кричали.
— То-то, что кричали бы… Кричать мы ой какие лихие! А почто кричали бы?
И ответить им не дала — горой на них свалилась;
— Не вы, — говорит, — мне душу перевернули, не вам спасибо скажу, а вот Маше и всем ее помощницам. На меня у вас надёжа была, знаю. Да чести мне в этом мало. А я со зла сколь им горя да неприятности причинила. И мне же они, умницы, добром заплатили: зла не помнили, а хорошее во мне, как угольки из загнетки, выбирали и на своих ладошках раздували. Не по злобе я на собранье-то не была, а совести не хватило. Ну, как узнала, что меня выбрали, в доверие ввели, я целые сутки ревмя ревела, все сердце себе изгрызла… Так вот, бабочки, скажу вам, как душа велит: ежели хоть одна из вас выйдет с торбой из села, на себе же самой и ездить будет. Ни зернышка не получит и дорогу к колхозу забудет. Собакой бродячей будет шататься. А мужьям в армию распишем: вот, мол, они какие, ваши жены-мироносицы!..
И ко мне обращается:
— Я, Маша, сама с этими барахольщицами хочу рассчитаться: у меня с ними свои счеты есть.
Вот тут-то наши спекулянтки и начали паниковать: одни скисли, а другие по домам разбежались.
Встала я, не утерпела — обняла Малашу и со слезами в губы ее расцеловала. И у ней слезы по щекам катились.
Никогда еще в нашем колхозе так не работали, как мы своим женским коллективом. Женщины всегда хозяйственные были: они и домашность справляли, и детей растили-воспитывали, и всех-то обшивали, и за всеми-то ухаживали. Все на своем горбу несли… Вот сейчас многие из нас общественные обязанности несут, а разве дело-то по домашности изменилось?
Заверяю вас от всего сердца: все от нас зависит, буквально от нас самих. Захочешь — все сделаешь. Не для красного словца говорю, подлинно по себе сужу. По охоте да по хорошей воле всякие у нас чудеса можно делать. Взять хоть бы наше Заполье.
Поля-то у нас — неоглядные: солнышко и всходит и закатывается на нашей земле. И озимый и яровой клин большой, паров и зяби поднимаем немало. И все, бывало, машинами работали. А вот война началась — то того, то другого нет: наша эмтеэс оказалась неподкованной — без горючего, без ремонта, а тягло наше поредело: лошадки-то тоже воевать пошли. Куда ни ткнись — везде прорехи да огрехи. А засев был огромный — и озимых и яровых. Надо было успеть скосить, сжать да обмолотить, а тут время не ждет: надо было о парах заботиться, осенний сев проводить. Время быстрой речкой текло. Тут и у опытного хозяина сердце-то зашлось бы и в глазах бы помутилось. А нам и подавно: хоть волосы на себе дери. Ну а положенье было такое — раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. На это мой Макся любил поговоркой отшучиваться: не тот дюж, кто взялся за гуж, а тот дюж, кто горит за сто душ. А горели-то мы жарко. Сначала-то было очень страшно: ну-ка, этакая махинища свалилась на нашу голову! Перед секретарем-то я поплакала не по бабьей слабости, а от робости: ведь ответственность какая!
Вот мы и решили: раз на наши плечи свалилась вся тягота, надо душу, как костер, зажечь. Напомнила всем слова Макси: тот дюж, кто горит за сто душ. Малашу я замещать себя поставила. А когда она почувствовала свою ответственность, так словно бы заново родилась. Оно завсегда так бывает: настоящая-то ответственность для честного человека — всенародное испытание: она под удар его ставит и до гордости честь его возносит.
Поставили мы вопрос: надо ли нам из города людей требовать? Справимся ли мы своими силами? И без прениев решили: не надо. Не успели, мол, хозяйство в свои руки взять, а уж «караул» закричали. Павел Петрович усмехался и головой качал: смотрите, мол, не очень-то на себя надейтесь, как бы впросак не попасть… Малаша первая голос подала:

— Пустые мы будем балаболки, ежели городских звать будем. Да нас весь народ на смех поднимет. Стариков, старух, подростков собьем…
Как пошла по деревне из избы в избу, как начала по сердцу, по совести стегать — боже мой! — все от мала до велика валом повалили. И никого-то с глаз своих не спускает. Видит, что кто-то из барахольщиц турусы на колесах разводит, тут она как из-под земли:
— Ты что же это, матушка, зерно-то свое сквозь пальцы пропускаешь? Другие, милая, подберут, не побрезгают. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Гляди, как бы не наревелась после времени: пенять будет не на кого…
Твердую линию взяла: ни себе, ни другим никакого снисхождения не допускала. Старички-то наши, правленцы бывшие, а особенно плотник да кузнец в ремонтной мастерской, оба такие же седые да чванные, так возгордились, такими себя заслуженными да незаменимыми считали, что в обычай себе взяли погуливать и тайком самогонишко гнать. Один раз прогуляли два дня, другой раз — три дня, а когда учитывать их стали, потребовали прогулы их оплачивать. Конечное дело, отказали им, а они возьми да сразу на четыре дня забастовали: пускай других на наше место поищут, — мастеров-то нет, без нас завоют бабенки-то… А бывшие правленцы — дед Митрий и Нефед-цифролюб — попривыкли распоряжаться, к трудной работе не способны, подчиниться бабам не хочется — зазорно. Тут Малаша-то и показала себя. Врывается в мастерскую — никого, бежит по домам — никого. Пробегает мимо пожарного сарая, видит: сидят там наши старички и самогончик распивают, в шашки дуются. Без всякой опаски вихрем она туда влетает и кричит:
— Ах, вы, — говорит, — бездельники! Ах, дармоеды! Да я, — говорит, — ни одного часа в своей черной жизни без труда да без забот не провела, а вы привыкли только на бабьих плечах ездить… Вот как вы здесь горячее время проводите! Самогон глохтаете да в нужники играете!..
Стали было они перед людьми бунтовать и Малашу охалить, а их первых же на смех подняли. Да и себе все на носу зарубили: с ней шуток не шути, и себе — убыток и на все село — бесславье.
Так мы и лето закончили, так и осень начали: уборку хлеба, по правде сказать, малость затянули, а план все ж таки выполнили. Зато вспахали да посеяли вовремя, хоть эмтеэс тракторами нас очень даже не побаловала: больше на лошадках и даже на коровках вспашку проводили.
Старики и старушки да разные там обозленные ябедники вслух каркали:
— От шабра не жди добра, а от баб — только одни блохи, да и те плохи. Разве можно без мужика хозяйство вести? А сейчас, когда земля-то не в личных интересах, без мужика да старика все вразлад пойдет. Где это видано, чтобы бабенки распоряжались! Они как куры: переклюются и разбредутся в разные стороны. Дай срок, и лядащему петуху будут рады.
Эти сплетни да пересуды нас не дюже расстраивали: пускай дуботолки языки почешут. Боялись-то мы больше смуты да подпольщины. А после расправы Малаши пошла все-таки подозрительная канитель. Начали нам пакости делать. Утречком, как только придешь в правление, и на крыльцо нельзя подняться; какая-то шваль все ступеньки обгадит. Потолковали мы с Варей да Малашей об этих ночных происшествиях, посмеялись и плюнули: уймутся злыдни!
Ну, мой рассказ к концу подходит.
Зимой вызывают меня с Павлом Петровичем в район. Секретарь еще издали засмеялся и сам из-за стола навстречу нам вышел:
— А-а, вот она, наша Маша из Заполья!
Поздоровался и около себя посадил.
— Ну, — говорит, — Маша, спасибо: работала ты не в пример хорошо. Скажи, чем тебя обрадовать?
— А вы, — говорю, — и так меня обрадовали.
— Это чем же, — говорит, — я тебя обрадовал?
— А лаской да приветом.
— Ну, — говорит, — из этого шубы не сошьешь. — И смеется. — Тебе, — говорит, — лично должен я вручить Почетную грамоту обкома партии да отрез крепдешина. Сшей себе роскошное платье и носи.

— Вы, — говорю, — так меня ужасно взволновали, что я даже с сердцем не совладаю. Зачем, — говорю, — мне ваш крепдешин-то? В нашей работе не до крепдешину. Вот уж лучше этот крепдешин какой-нибудь наградой замените для наших активных женщин — для Малаши, для Вари… да вот, мол, и Павла Петровича нашего не забудьте.
— Да ты, — говорит, — о них не беспокойся: о них уже побеспокоились.
И все радуется, все смеется да с Павлом Петровичем перемигивается. Заметила я это и на Павла Петровича:
— Да ты-то, Павел Петрович, знал, что ли, об этом?
— А как же, — говорит, — доподлинно знал.
— Так почему же ты мне-то не сказал?
— Потому, — говорит, — что дорого яичко к светлому дню. Тем-то и подарок дорог, что он нежданный-негаданный.
И вот в это-то время я вдруг и ослабла. Терпела, терпела, да в один день и подкосило меня. Варя-то от Терентия нет-нет да и получит весточку. И Анфиса тоже. Даже мужнишко Малашин кой-что ей нацарапает. Терентий с первых дней с Максей разлучился и сам в письмах просил прислать ему номер полевой его почты. А от Макси давным-то давно — ни единой строчки. Стала я нервничать: сердце кипело, кровью обливалось. Получит Варя письмо, прибежит, счастливая, разговорчивая, читает — захлебывается, а мне это ее письмо — нож острый. Не выдержала я однажды и разрыдалась. Варя испугалась даже, захлопотала около меня, а я и свету не вижу. И так я затосковала, что сама не своя стала. Одна меня дума гложет: нет моего Макси, убили моего Максю, не увижу я его больше никогда. Побежала я к Павлу Петровичу, упала перед ним на стол и навзрыд плачу, а он, как отец, гладит меня по голове и журит:
— Нельзя так распускать себя, Маша: ты общественная работница, ты сила. Ты должна пример крепости показывать: ведь по тебе все равняются. Что же будет, ежели ты слабость души покажешь? В том-то, — говорит, — и сила наша, что мы в лихую годину духом непреклонны и твердо шагаем через личное наше горе. Не забывай, — говорит, — что враг-то здорово расчеты свои строит на нашей растерянности. Так еще ничего не известно. Может, Максиму-то и писать-то тебе нельзя. Подумала ты над этим?
Все же начал Павел Петрович справки наводить, а к Новому году извещение пришло: Макся в строю не числится, среди убитых нет, и где он, неизвестно: пропал без вести. Сказал мне об этом Павел Петрович и так закончил!
— Тут только может быть такой ответ, Маша: или он — в плену, или в окружении, или у партизан. Надо не убиваться, а ждать.
Не помню уж, как я до дому добралась, не помню, что со мной было. Когда немножко прояснилось у меня в голове, вижу — рядом со мной у кровати сидит Дунярка и на голову мне полотенце кладет. И бледненькая, глаза большие. Заметила, что я в себя пришла, бросилась ко мне на грудь, засмеялась, заплакала.
— Маманя, маманя моя! Как я испугалась-то!.. Уж я думала, что ты умирать собралась… Да разве это можно!.. А как бы я без тебя жить-то стала?.. Папаня вернется да спросит: как же это так?..
Прижала я к себе Дунярку и заплакала:
— Как же нам, Дунюшка, быть-то? Папаня-то наш пропал… без вести… Может, злодеи его истерзали, а может, в плену — под палками, под прикладами…
А она этак исподлобья глядит на меня, а слезы-то на щеках, как горошины. Да вдруг крикнет, как большая:
— Ну, чего это ты, мамка! Да разве папаня-то в руки злодеям дастся? Да в жизнь этого не будет!
И этим своим гневным криком Дунярка меня на ноги поставила. Целую ее, обнимаю, смеюсь, а мне стыдно ей в глазенки глядеть. Ишь как расквасилась, что даже дочка тебя хлестать начинает!..
Встряхнулась я, приободрилась, схватила в охапку Дунярку и давай ее мять да целовать.
— Ах ты моя утешительница!.. Умница моя, радость моя!..
Побежала я в правление: надо дело делать, надо людям себя показать, чтобы увидели, что горе меня не подкосило. На крыльце и в комнатах — народу не в проход. Все глаза на меня уставили: одни — заплакать не прочь, другие — с любопытством, как я поведу себя. А я

иду, голову высоко держу, хозяйским глазом всех проверяю. И чувствую я, что как-то даже сильнее прежнего стала, будто горе мое, как огнем, меня обожгло. Все даже примолкли и сразу характер мой почуяли. А в комнате правления встретили меня и Варя, и Малаша, и Павел Петрович — встретили растревоженные и обрадованные. Так все и бросились ко мне.

— Ну, вот и наша Маша пришла!.. Все — в порядке.

Малаша кинулась ко мне со слезами.

— Только, — говорит, — сейчас, Машенька, я цену тебе узнала. Теперь, — говорит, — я с тобой и в огонь и в воду…

А Варя мне ничего не сказала, а только хорошо так улыбнулась.

Вот как мы дружбу повели, вот как сердцем и душой зрели, вот как в этой дружбе нашей и силу ковали.

Галина Николаева

Гибель командарма

I

Когда с парохода выгрузили последнего раненого, врач Катерина Ивановна сразу ослабела от усталости. Цепляясь каблуками за обитые металлическими полосками края ступеней, она поднялась в свою каюту; не снимая халата, села на стул и с наслаждением сбросила туфли.

Узкая каюта была освещена оранжевым светом вечернего солнца. На второй полке золотисто поблескивал длинный ряд тарелок — завтрак, обед и ужин, поставленные санитарками.

Катерина Ивановна взяла одну из тарелок и попробовала гуляш с кашей. Каша липла к нёбу и пахла мазутом. Скинув халат, Катерина Ивановна легла в постель. Все тело ее гудело, в каждой мышце пульсировала застоявшаяся кровь, но, несмотря на усталость, на тяжелый рейс и выгрузку, ее не покидало чувство облегчения. Муж написал ей, что на полгода отозван с передовой в тыл, на учебу в родной город. За год войны и разлуки Катерина Ивановна привыкла к тревоге за мужа, казалось, даже перестала ощущать ее и, только прочитав письмо, по охватившему ее чувству радости поняла всю тяжесть гнета, под которым жила этот год.

Катерина Ивановна закрыла глаза, и сейчас же перед ней поплыли повязки. Перевязанные руки, ноги, головы, повязки шинные, гипсовые, простые с необыкновенной ясностью и отчетливостью плыли перед ее глазами.

Когда-то в детстве, после того как она ходила за грибами, грибы появлялись перед ней так же сами по себе, стоило только ей смежить веки.

Повязки плыли длинной вереницей, потом стали быстро разматываться, и сквозь головокружение пришел сон. Она спала недолго: ее разбудил голод.

Пароход вздрагивал и покачивался. Совсем рядом, у окна, голос, одновременно и усталый и возбужденный, говорил:

— Я гляжу, он, черт конопатый, мне на комбижир тару навешивает.

Другой голос самодовольно и авторитетно сказал:

— Это у них не документ. Штамп — не печать. Подбавь вишневого.

Это начпрод с бухгалтером пили чай на палубе.

Катерина Ивановна села и увидела неясные в сумерках, уплывающие дебаркадеры Казани и суетню маленьких черных людей, которая издали, с парохода, всегда казалась неоправданной и мелочной. На палубе у перил стояли сестры и санитарки, прощаясь с Казанью. Они еще не окончили уборку, у них были подоткнуты юбки, из-под юбок виднелись босые грязные ноги. Пустой пароход слегка кренило на сторону.

— С палубы разойдись! — донесся сверху властный и безразличный голос капитана. И сейчас же вслед за ним заверещало старческое сопрано капитанши, прозванной командой «Мы с капитаном»:
— Капитан говорит: с палубы разойдись. Не видите, палубу перекосило? И чего глядеть? Казань как Казань, который раз едем! Бомбило ее или она горела, чтобы на нее смотреть? Разойдись с палубы, — капитан говорит! Нет у вас никакого понятия! Мы с капитаном тридцать лет по воде ходим, а таких безобразиев не видали. Это разве команда? Женчины!.. — заключила «Мы с капитаном» с таким глубоким презрением, как будто сама она была по меньшей мере мужчиной.

Это презрение относилось не ко всем женщинам вообще, но в частности к начальнику СТС
[4]
Евдокии Петровне. «Мы с капитаном» никак не могла примириться с тем, что здесь, на пароходе, над ее мужем есть начальник, а то, что начальник этот женщина, казалось капитанше личным оскорблением.

Евдокия Петровна — красавица с добрым и честным лицом — стояла тут же. Она прекрасно понимала, к кому относятся сентенции капитанши, и неслышно, добродушно посмеивалась. Катерина Ивановна представила себе обрюзгшее лицо капитанши на ее боевом посту — в окне капитанской каюты, — тихонько засмеялась и стала есть. Теперь каша ничем не пахла и показалась ей даже сладкой.
Она съела гуляш, борщ, колбасу, компот и удивилась, зачем люди подогревают пищу, когда холодное гораздо вкуснее. Потом она разделась и уже окончательно легла спать. Но сон не приходил.
Ей вспомнился юноша-боец, у которого были выжжены оба глаза и сорвана нижняя челюсть так, что обрывок языка свободно лежал на изорванных мышцах. У юноши не было лица, но тем выразительнее были его руки. Красивые бледные кисти то тихо лежали вдоль тела, то слегка приподнимались зовущим движением, словно просили помощи. Длинные пальцы пытались ухватиться за воздух. Руки звали и кричали без звуков. И, точно отчаявшись, падали на одеяло. Воспоминание было так ужасно, что Катерина Ивановна застонала. С таким воспоминанием нельзя было жить — можно было только убивать или умирать. Убивать от ненависти или умирать от жалости. А сейчас, когда она бессильна и помочь и отомстить, — нельзя было помнить.
Чтобы прогнать мучительный образ, она стала вспоминать последнюю сводку. Враг неуклонно шел к Сталинграду. И на миг ее охватило чувство страшной безнадежности. Усталость, тяжелая атмосфера крови и муки, в которой она жила, жестокие слова сводок — все это словно душило ее, и она почувствовала близкие слезы. Надо было найти силы, чтобы не плакать, чтобы надеяться, чтобы жить. Источником этих сил, как всегда, было прошлое. Она позвала на помощь мысли о муже. Муж был красивый, смуглый, веселый. Он звал ее дочкой и любил укладывать спать. Для этого он стаскивал ей в кровать подушки со всех диванов и кушеток, укрывал ее двумя одеялами и сверху придавливал тяжелой медвежьей полстью. Упаковав ее так, что она едва дышала, он удовлетворенно оглядывал свою работу и со счастливым лицом садился заниматься. Он любил заниматься в той комнате, где она спала. Он был инженер и прораб, он не любил кабинетной работы и мог дышать только в атмосфере стройки. Кроме того, он был ругатель и плут. Первое она знала по рассказам, а во втором с горечью убедилась из личных наблюдений. Он не мог переносить вида плохо лежащих стройматериалов. Ему ничего не стоило погрузить и увезти какие-нибудь чужие трубы, оставленные без охраны. Когда она упрекала его, он утверждал, что забрать эти трубы ему «сам бог велел» и что таким образом он борется с разгильдяями. Она пыталась внушить ему, что при социализме нет чужих строек, что все стройки одинаково свои. Но, несмотря на привычку во всем соглашаться с ней, он категорически отказывался считать чужие стройки своими. «Своя» была только одна стройка, и она должна была быть самой лучшей.
Он слушал ее нравоучения, склонив голову набок, и поглядывал на нее добродушно и недоверчиво, как большой пес смотрит на щенят, потом, вздохнув, он говорил:

— Дочка, я же перевоспитался — не пью, не курю, ноги вытираю. Больше не надо меня перевоспитывать, ладно?

По его виду ей становилось ясно, что человеческое совершенство имеет свои пределы, и она со смехом начинала целовать смуглые прохладные щеки. При этом его мужское, грубоватое и красивое лицо приобретало такое младенческое счастливое выражение, что она готова была простить ему еще тысячу «пережитков капитализма» в его сознании.

Когда она уезжала в командировки, он писал ей длинные письма, полные строительных терминов, наивных нежностей и непритязательных шуток.

Когда она приезжала, он встречал ее на вокзале, и всегда он был самым большим и красивым мужчиной с самым большим и красивым букетом цветов на всем перроне. Он шагал по перрону, улыбаясь ей во всю ширину своего великолепного рта, и размахивал как придется букетом, который держал так, как держат веник — головками вниз. Цветы вылезали из букета и падали на перрон. Потом они ехали домой, и, осыпая ее вопросами и поцелуями, он то и дело говорил шоферу: «Ну-ка, Вася, подрули к грузовичку!» — и, поравнявшись с грузовиком, кричал: «Эй, борода, кому железо везешь?» — «На девяносто третий, Иван Петрович». — «Это все железо или еще есть?» Откинувшись на сиденье, он соображал: «Дочка, придется сообразить литра на полтора горючего. Иван Петрович крепкий мужик, его по-сухому не обойдешь». Она, вздохнув, кротко соглашалась. Она не любила этих выпивок с малокультурными, грубоватыми людьми, но он утверждал, что в строительстве «без горючего» нельзя, и она кротко терпела. Совсем разные люди, они были необходимы друг другу, как воздух. На первый взгляд любовь их могла показаться ребячливой и поверхностной. Но в действительности их привязанность была глубока, верность друг другу — абсолютна, взаимное понимание — совершенно, и связь их друг с другом была так же органична и нерушима, как связь матери и ребенка. И сейчас, как всегда, воспоминания о счастливом прошлом были для Катерины Ивановны тем живым родником, который возвращал силы. Освеженная ими, она вздохнула и неожиданно подумала: «Нет, мне не страшно умереть. Счастья, которое было у меня, другим хватило бы на сто лет». Она заснула легким сном. Пароход быстро и мерно шел к Горькому. Ночью она часто просыпалась. Каждый раз быстро съедала что-нибудь. К утру все тарелки были пусты.

Утром она проснулась от яркого света. Бесчисленные солнечные зайчики играли на стенах и на потолке каюты — это Волга лучилась за окном и наполняла каюту отблесками живых волн.

Катерина Ивановна заботливо посмотрела на себя в зеркало, глазами мужа, — понравилось ли бы ему ее лицо. Лицо было заспанное, бледное, но смешное и милое. Верхняя губа маленького рта слегка находила на нижнюю. Эта пухлая верхняя губа и слегка поджатая нижняя придавали ее лицу выражение детской серьезности и наивности, и это было особенностью ее лица, которое любил ее муж. Накинув халат, Катерина Ивановна пошла в душевую. Дверь из коридора на противоположную сторону палубы была распахнута, за дверью толпились девушки. Катерина Ивановна подошла к двери. Мимо проплывали дома и дебаркадеры, удивительно похожие на казанские.

«Ей-богу, Казань!» — подумала Катерина Ивановна и, вытаращив сонные глаза, ткнула пальцем по направлению к берегу и спросила:

— Это что?

— Казань, — ответили ей девушки со странным, нарочитым смехом.

«С ума сошла, из Казани выехали, всю ночь ехали, в Казань приехали», — подумала Катерина Ивановна и, растерянно хлопая заспанными веками, совсем уже глупо спросила:

— А вчера что было?

— Рио-де-Жанейро, — ответили ей с тем же нарочитым смехом.

— Кончили курорт! — резко, даже зло сказала черная Вера, а спокойная, синеглазая Лена посмотрела на нее с жалостью и объяснила:

— Ночью на катере привезли приказ поворачивать и без остановок идти на Сталинград.

II

Танк трясло и качало на ухабах, но качка была мягкой, и беспокоила тишина. Деревья, дома, люди, отчетливо видимые, мелькали мимо, не оставляя следа в сознании.

Потом он снова оказался на Вороньей горе, и немецкие танки выползли из-за холма и пошли по шоссе к мосту. Тупорылые, они шли бесконечной вереницей. Ясно было, что здесь сосредоточены главные танковые силы немцев.
Сердце гулко ударило, и он подумал: «Вот оно!» Он глубоко вздохнул и почувствовал вкус речного воздуха и легкий освежающий запах тины. Не только умом и сердцем, но и всем телом он ощутил счастье с его внезапным холодом, с легким головокружением высоты, с желанием вдруг расхохотаться, гикнуть, закричать. Он испытывал властную потребность действия, подъем и сосредоточенность всех сил. Он открыл огонь. Танки вспыхивали один за другим, горели сразу, объятые белым праздничным пламенем. Вся равнина внизу была опоясана их огненной цепью. Их белый огонь отражался в реке, в отражении становясь красным, и река плавилась и текла, похожая на раскаленный металл…
— Ваша история болезни! Ваша история болезни! — настойчиво сказал в упор чей-то голос. Что-то пронеслось мимо него, и сразу все стало другим. Он увидел серые сходни, а под ними воду, покрытую перламутровой пленкой нефти.
В воде, остро блестя на солнце, покачивалась пустая консервная банка.
Это было случайно, не нужно, он не понял, что было сном, что явью, и снова захотел вернуться к тому ощущению счастья, которое испытал только что, но снова голос с навязчивой отчетливостью сказал:
— Больной не транспортабелен.
И кто-то ответил с ноткой отчаяния и усталости в голосе:
— Все равно!
Потом было что-то длинное и темное, вроде коридора. С одной стороны были двери, а с другой дыра, отгороженная металлическими поручнями. На краю дыры сидела с ног до головы выпачканная во что-то черное и маслянистое девушка в комбинезоне и ела яблоко, блекло-зеленое, странно чистое в ее черных руках. Одна из дверей противоположной стороны открылась, и там оказался повар с молодым длинным лицом и с бровями, черными и большими, как усы. Потом повеяло покоем и радостью, он увидел белые занавеси на окнах, а за ними Волгу — голубую, лучистую и, казалось, твердую. Пришла сестра и дала ему пить.
— Куда везут? — спросил он.
— До Казани. Вам удобно лежать?
Он не видел ее лица, но у нее была белая-белая, до блеска отутюженная косынка, и вид этой косынки приносил ему облегчение. Теперь он вспомнил все так, как оно было. Он подбил три танка. Это, конечно, не решило исхода сражения. Правда, танки больше не пошли на мост, они повернули к броду и пошли в том направлении, на котором их ожидали с вечера. Ему захотелось узнать результат боя, и это желание было так нетерпеливо, что он приподнял голову и стал осматриваться.
— Что ты? Пить? — спросил сиплый голос, и толстое бабье лицо, блестя сплошным рядом металлических зубов, наклонилось над ним.
— Нет, — ответил он, откидываясь на подушку, и оглядел каюту с тем привычно-хозяйским интересом, который был ему свойствен всегда.
Человек с бабьим лицом был мужчиной. Лицо у него было неприятное. Маленький бесформенный нос, неестественно растянутые губы, металлические зубы — какая-то уродливая неподвижность всех черт, казавшихся дегенеративными, но из-под выпуклого лба маленькие глазки смотрели таким прямым, живым и пристальным взглядом, что Антон сразу поместил этого человека в разряд тех, кого он характеризовал одним словом: «годится».
Рядом сидел молодой, сделанный из одних сухожилий парень. У него была та свободная, размашистая и в то же время сдержанная повадка, какой не бывает ни у танкистов, ни у пехотинцев, ни у летчиков и которая свойственна только кавалеристам-кадровикам. Кавалеристы всегда привлекали Антона. Не только в их внешнем облике, но и во всем строе их характера было что-то, что радовало его. И сейчас, как всегда, ему было приятно соседство кавалериста.
Четвертым в каюте был румяный лейтенант, который лежал на верхней полке. У него были высокие, круглые, надменные брови и маленький, пухлый, как у женщины, рот.

Антон почувствовал усталость и снова закрыл глаза. То, что было рядом, казалось ему далеким и чужим. Его жизнь была не здесь. Его жизнь во всей ее полноте, во всей ее кипучей напряженности осталась там, у Вороньей горы, у развороченных бомбой элеваторов, в том скоплении и движении людей и металла, каждая деталь которого была ему близка и понятна. И, закрыв глаза, он снова зажил этой назначенной ему жизнью.
Он вспомнил вчерашний вечер, когда, закончив необходимые приготовления к бою, танкисты легли спать, а он, обдумывая план боя, вышел из ложбины и пошел по дороге.
Он был всего только командиром танка, недавно окончившим танковую школу, но в нем всегда жило ощущение боя в целом и всегда у него было чувство его непосредственной ответственности за исход битвы.
Еще школьником, едва войдя в класс, он уже видел все неполадки в жизни класса.
— Чего гудите, ребята? Бином не поняли? — весело спрашивал он, переступая порог класса, и его звучный голос легко покрывал голоса одноклассников.
— А ну, садитесь по местам — объяснять буду. Быстро! У меня чтобы по-военному. Закройте двери! Дали тишину!
— Есть тишина! — отвечали ему смеющиеся голоса, и класс замирал. Быстро и отчетливо он объяснял непонятное и заканчивал объяснение:
— Еще вопросы есть? Вопросов нет? Все ясно? Еще десять минут наши. — И он первый выбегал на школьный двор и затевал такую буйную мальчишечью возню, на которую девочки и учителя смотрели с внешним превосходством и с внутренней завистью.
Везде, где бы Антон ни появлялся, люди подчинялись ему весело и охотно, и с такой же веселой естественностью он руководил ими.
Антону доставляли неизменную радость обостренность внимания и отчетливость мыслей, нужные для руководства людьми.
В танковой школе, куда он попал с первых дней войны, товарищи шутя звали его «командармом» и всерьез верили в его большое будущее.
Чувство ответственности за происходящие события и захватывающий интерес к ним и помешали ему спать в тот вечер. Он пошел бродить. Ему хотелось своими глазами увидеть ложбину, высоты и перелески, обозначенные на карте. Он бродил долго, но ничего интересного не увидел. На обратном пути он встретил десятилетнюю девочку, она побежала за ним, догнала, оробела и остановилась, переступая босыми ногами по росистой траве.
— Ты что? — спросил он ее.
— Гарбуз… — ответила она шепотом, вынула из мешка арбуз и протянула ему.
Они сели рядом и закусили арбузом.
— Где твой дом? — спросил он ее.
— Тамотка! — сказала она, указывая на запад маленьким грязным пальцем.
— А матка где?
— А матка тамотка, — указала она в противоположном направлении, — на бахчах. А хату немцы подпалили. И Дунька сгорела.
— Какая Дунька?
— Свинья. Поросая ходила. А мы с Вороньей горы глядели — там далеко видно.
Из разговора он выяснил, что Воронья гора стоит за мостом, что подход к ней возможен только с одной стороны, что по краю ее растет кустарник и идет каменный вал. По всем данным, пункт был очень удобен, но находился в тылу и гораздо восточнее предполагаемого удара.
С ночи танки ушли в указанном им направлении. Антон остался в резерве, а утром выяснилось, что немцы зашли в тыл и идут с юго-востока. Антон на своем танке был послан наперерез, прорвался к Вороньей горе и взял под обстрел мост. Ему удалось подбить три танка и заставить всю колонну повернуть к обрыву. Все люди экипажа его танка были тяжело ранены, а он сам потерял сознание и не помнил, что было дальше…
Он неподвижно лежал на койке, продолжая жить жизнью своей дивизии, и все время ощущал какую-то помеху. Сделав над собой усилие, он понял, что этой неустранимой на его пути помехой является его тело. Тяжелое, пронзенное болью, оно жило отдельной от него жизнью и мешало ему. Минутами он терял сознание, и ему казалось, что оно

множилось, что у него было бесконечное количество тел, что они наполняли каюту, и все они болели, и всем им было неловко.
— Я один, и койка одна! — шептал он тогда, пытаясь убедить себя, что устроить одного человека на одной койке не так уж трудно.
Стараясь улечься поудобнее, он сделал резкое движение, и сейчас же нестерпимая боль рванула его. И сразу стало легче, пришло забытье. И снова он летел куда-то на своем танке, сумасшедше быстро и бесшумно. Он прорвался на высокую гору, внизу была необозримая синева, снова сердце дрогнуло от счастья, и он сказал: «Вот оно!»
Но сухой отчетливый голос произнес сильно и горько:
— Танки! Да что танки без самолетов! Самолетов у нас мало. Самолетов!..
Эта фраза хлестнула его, сразу вернув ему сознание.
Она говорила о том, что было для него болью и горем все последние месяцы.
В танковой школе он влюбился в танк. Он вступал в свой первый бой с ощущением радости, гордости и веры в себя и в свою машину.
А через день немецкие бомбардировщики разгромили танковую колонну. Исковерканные машины, беспомощные и неуклюжие, как перевернутые черепахи, громоздились на изрытом поле, а он лежал, уткнувшись лицом в землю, в бессильной злобе.
И день за днем при сигнале «воздух» он с безнадежной жаждой смотрел в небо: «Хотя бы один свой самолет! Хотя бы один!» Но свои самолеты появлялись редко — их было мало. А без них так бесполезно было все то, чем он обладал и гордился! Его охватывало чувство унижения. Из-за отсутствия самолетов снижались его собственные качества, ограничивались возможности и судьба становилась маленькой и ничтожной.
Но даже в самые горькие минуты он знал, что скоро все будет иначе. Его вера в будущее была непоколебима. Этой верой он жил, и, когда ему становилось очень тяжело, он закрывал глаза и начинал думать о том, какими будут сражения через пять-шесть месяцев…
— У вас первое ранение? Мне кажется, я вас где-то видела, — спросил женский голос, такой свежий и мягкий, что казалось, обладательница его должна быть обязательно с мокрыми волосами и с полотенцем за плечом.
Антон открыл глаза и увидел молодую женщину в халате и в белой шапочке. У нее было смугло-бледное полудетское лицо с коричневыми тенями под темными влажными глазами. В лице, в голосе, в позе этой женщины было что-то удивительно мирное и домашнее. Она утомлена без нервозности, внимательна без напряжения. Она говорила с капитаном, у которого было бабье лицо.
— Я вас где-то видела, мне ваше лицо знакомо, — говорила она.
— Нет, вы меня не видели, — ответил тот, улыбаясь. — Это у меня не мое лицо. И нос не мой, и подбородок не мой, и зубы не мои. Я свое лицо в лепешку расшиб, а это мне доктора сделали. — Он улыбался, и уродливая улыбка человека с чужим лицом показалась Антону прекрасной.
— У него нос из бараньего хвоста сделан, — весело сказал кавалерист. — Ему сперва хотели из человечьего хряща делать, — не подошло. Не приживает. Взяли птичью кость — опять не подходит… Взяли бараний хвост, приставили — как раз подошло. Он носом и шевелить может, как баран хвостом.
Человек с чужим лицом засмеялся и пошевелил носом, что и на самом деле напоминало движение бараньего хвоста.
Все засмеялись, и Антон тоже улыбнулся.
— Проснулись, родной! Ну, как вы себя чувствуете? — спросила женщина. Антон хотел повернуться, но повернулись только голова и плечи, нижняя часть тела была тяжелой и неподвижной.
— Двинуться не могу! — сказал он с удивлением и вдруг почувствовал на спине что-то мокрое и горячее, и по простыне с краю поползло влажное пятно.
Он не понял, в чем дело, и растерянно оглядывался.
— Вот и хорошо, — ласково сказала женщина. — Сейчас простыни переменим. Вы не волнуйтесь, при ранениях позвоночника это бывает.
Он с трудом сообразил, в чем дело.

По особой нежности во взгляде женщины, по напряженным лицам своих соседей, по их вдруг остро блеснувшим и уклонившимся зрачкам Антон впервые понял глубину своего несчастья.

III

— Шесть, семь, восемь… девять! — сказал кто-то из раненых.

— Считать их еще! Давайте ногу! — раздраженно отозвалась Вера.

Катерина Ивановна была занята больным и не уловила смысла разговора. Только покончив с перевязкой, она заметила напряженные позы раненых, находившихся в перевязочной, и то острое любопытство, с которым они смотрели в окно. Взглянув по направлению их взглядов, она увидела группу немецких самолетов, летевших над Волгой.

Сейчас судьба людей, находящихся на беззащитном пароходе, зависела от прихоти немецких летчиков.

Много раз уже судно было под обстрелом и под бомбежкой и много раз плыло мимо обгорелых полузатонувших судов. Этот рейс был особенно трудным. Три дня назад отвалили от Сталинграда, но шли в общей сложности всего восемь — десять часов. Остальное время путь был закрыт то минами, то десантами, и судно, замаскировавшись, стояло у берега.

Опасность уже стала привычной, и, глядя на самолеты, Катерина Ивановна утомленно думала: «Все равно. Скорее бы только!»

Она окинула взглядом перевязочную. Бросалось в глаза несоответствие между напряженными, побледневшими лицами мужчин и презрительно-спокойными лицами женщин. Мужчины впервые были безоружными и ничем не защищенными перед лицом опасности, а женщины шли в свой пятый сталинградский рейс. Самолеты приближались, и шум их усиливался.

— Почему в перевязочной нет спасательных поясов? Безобразие! — сказал розовощекий лейтенант, и щеки его стали медленно бледнеть.

— Держите ногу как полагается! — одернула его Вера.

Девушки работали спокойно.

Команда уже переболела страхом. Им переболели все, как все болеют корью, но у каждого эта болезнь протекала по-своему.

После того как пароход впервые попал под обстрел, «Мы с капитаном» сдала кастелянную (она работала кастеляншей судна) и со слезами и поцелуями, словно навек, простилась с командой. Плача и умоляя всех смотреть за капитаном, так как «он поврежденный от воды человек», она спускалась по сходням, рядом с ней шел худой, молчаливый капитан, а за ними матросы несли необъятную капитанскую укладку.

Укладка регулярно застревала во всех дверях, и матросы каждый раз при этом вспоминали родителей, что отлично помогало. Когда укладку, наконец, выгрузили на пристань, «Мы с капитаном» села на нее и зарыдала так бурно, что на пристань с берега повалил народ. Внезапно она стихла, объявила, что поедет еще в один рейс, после чего разом успокоилась и пошла обратно. Вслед за ней прежним способом двинулась укладка. История со злополучной укладкой в различных вариантах повторялась после каждой бомбежки.

После того как на глазах у команды затонуло, подорвавшись на мине, встречное судно, неожиданно напились непьющие повара. Всегда очень исполнительный и тихий повар Яша, напившись, сел на горячую плиту и запел с выражением: «Я на бочке сижу, а под бочкой фрицы!» Яшу припекало, он подпрыгивал на плите, но упорно не покидал своей позиции. В таком виде застала его начальник судна Евдокия Петровна, вызванная в кухню специально по этому поводу. Она пришла, метнула на повара молниеносный взор своих прекрасных синих глаз и приказала увести пьяных поваров на гауптвахту. На гауптвахте повара, обнявшись и притопывая, горько запели: «Девки-бабы дрянь, дрянь!» — в адрес Евдокии Петровны.

Катерина Ивановна тоже болела страхом. После острого начала наступил хронический период этого заболевания, выразившийся у нее в том, что она еще сильнее ушла мыслями в прошлое. Она добросовестно работала, но ни на минуту не переставала мысленно жить своей прежней домашней жизнью.

Она жила, раздваиваясь между работой и мыслями о доме, между страхом перед катастрофой и желанием скорее пережить ее и попасть домой.

Один из самолетов отделился от девятки и полетел к пароходу. Все яснее становилась его лягушиная окраска и тупое рыло. На миг все замерли. Потом розовощекий лейтенант, забыв о раненой ноге, рванулся к двери, но, прежде чем он добежал до нее, раздался сухой треск — самолет дал пулеметную очередь. Пуля разбила склянку на столе, и остро запахло йодом. Лейтенант выхватил подушку из-под головы лежавшего на перевязочном столе Антона, накрыл ею голову и присел у двери.
— Идите в тот простенок — там матрацы, — спокойно сказал Антон.
Все вспомнили о том, что за простенком на палубе сложены новые матрацы, и, собравшись у этого простенка, присели на корточки. Самолет дал вторую очередь. Звякнуло оконное стекло. Сбившись в кучу, прижавшись друг к другу в углу перевязочной, сидели полуголые раненые и женщины, одетые в белые халаты. Каждый из них старался сжаться в комок, тело другого являлось защитой, иной защиты не было. А над этими сбившимися в кучку людьми, над тазами, наполненными кровавыми и гнойными бинтами, на высоком перевязочном столе лежал юноша с запрокинутой назад головой и с плотно сжатыми губами, со спокойной линией длинных бровей.
«Ему уже нечего бояться. То, что с ним случилось, хуже смерти, — думала Катерина Ивановна. — Понимает ли он это?»
У него было еще совсем молодое лицо, серые глаза иногда смотрели по-детски открыто и вопросительно, но углы красивого длинного рта были плотно сжаты, и в них выражение какой-то навсегда принятой в себя скорби.
Ему было неудобно лежать.
— Дайте подушку, — сказала Катерина Ивановна лейтенанту, взяла ее, подошла к Антону и положила подушку ему под голову. — Вам так будет удобнее, — сказала она для того, чтобы сказать что-нибудь. — Может быть, положить вас на пол?
— Какая разница? — сказал он сухо. — Не стойте здесь. Сядьте.
Ей трудно было отойти от него, но стоять над ним было бессмысленно, и, отойдя к простенку, она послушно присела.
За три дня пути она второй раз послушалась этого раненого юношу. В первый раз это произошло так. Его ежедневно брали в перевязочную. В том, как он переносил унизительные и болезненные процедуры, была какая-то особая красота.
— Положите меня лицом к окну, — просил он и, отвернувшись от своего тела, пристально смотрел в окно, напряженно думая о чем-то, и ни звуком, ни движением не реагировал на те манипуляции, которые с ним производили. В сестрах он вызывал восхищение, а санитарка Фрося говорила:
— Да из чего же он сделан? Железо ковырять — и то скрипит!
Но однажды ему перевязку делала не Лена, а неуклюжая Ксеня. Он долго молча терпел, но потом сказал посеревшими губами:
— Уйдите отсюда, позовите Лену.
— Не капризничайте, больной, я знаю, что делаю, — ответила Ксеня.
— Уйдите отсюда, я вам говорю! — повторил он с ненавистью.
— А я вам говорю, чтобы вы здесь не командовали. Много тут командиров.
— Уйди, ты… — хрипло сказал он и выругался.
— Я сама перевяжу вас, — быстро сказала Катерина Ивановна. Она сделала ему перевязку, которую он перенес с прежней окаменелостью.
Когда его выносили, он строго сказал Катерине Ивановне:
— Чтобы ее здесь больше не было.
Его поведение было недопустимым, но Катерина Ивановна не только не осудила его, но сама устыдилась, что поставила в перевязочную неловкую, неумелую сестру, и в тот же день сняла ее с перевязок.
Снова послышался неприятный нарастающий гул самолета, — сделав круг, он опять шел к пароходу. Снова в окне показался его силуэт.
Антону вдруг вспомнилась голубятня и детские мечты о том, чтобы держать на голубятне орлов. Большая серо-зеленая птица летела прямо на него и несла что-то в когтистых лапах. Ему захотелось рвануть на себе рубашку и подставить грудь, но он преодолел это желание. В душе он уже умер для себя. Он безошибочно знал, что его, прежнего, с прежним характером, с прежней судьбой, уже нет. А для того чтобы сделать себя нового, надо было

сломить свою непреодолимую гордость, надо было смириться с новой, жалкой долей. Это было очень трудно. Он отгонял тяжелые мысли и боролся с желанием смерти. Сейчас гневно сказал себе: «Что трусишь? Закалка не та? Нет, жить будешь, никуда не денешься, жить будешь!»

Самолет дал еще одну очередь и ушел в сторону.

Женщина-врач, присев на корточки, неотрывно смотрела на Антона большими карими глазами. Она раздражала его. Когда ему становилось очень плохо, теряя сознание, он звал именно ее, а когда ему делалось лучше, ее присутствие было ему тяжело.

Сейчас, сидя на корточках, с выбившимися из-под шапочки черными кудрями, с полураскрытым в забывчивости ртом, с этим пристальным горячим и нежным взглядом, она была так привлекательна, что он невольно подумал: «Ах, хороша! Милая, смуглая, та самая… Да нет! Такая, наверное, как и все. Здорового ждет, с орденами». И ему стало тяжело от этих мыслей. Он уже замечал в себе странно злобное отношение к людям. Это унижало его.

И в этой борьбе ему неоткуда было ждать помощи. Несколько лет назад он потерял отца и мать; ни братьев, ни сестер, ни жены у него не было.

В его жизни была только одна женщина — красивая и умная студентка консерватории. Однажды она долго играла ему на рояле, а потом обняла его и сказала:

— Ну, Тоша, понимай меня как знаешь, а я тебя люблю. И ничего мне от тебя не надо, а вот люблю я тебя одного, и все тут.

Он был счастлив с ней, считал ее замечательной женщиной. Даже теперь, когда она была женой другого, он думал о ней с благодарностью и уважением. Но никогда, даже в самые лучшие их часы, его не покидало ощущение, что это «не то», что все не так, как надо. «Не те» были поступки, слова, жесты.

А в этой чужой и незнакомой женщине все казалось ему именно таким, как надо, поэтому в ее присутствии он с особой остротой ощущал свою неполноценность и раздражался.

Стих шум самолетов, и женщина подошла к нему.

— Сейчас я все вам сделаю, — сказала она виновато. — Вы, наверное, устали здесь лежать?

А в перевязочную уже вносили бойцов, только что пострадавших от обстрела.

IV

К вечеру у Антона обычно поднималась температура, и сквозь лихорадочное полузабытье все краски казались ему особенно яркими, голоса — особенно звучными. Он слышал, как розовощекий лейтенант говорил тонким вибрирующим голосом:

— У нас не хватает грелок — это безобразие! У меня опять кошмарные боли. Я страдаю гипоацидным катаром желудка, а меня здесь кормят черным хлебом. Я и в окружении не ел такого хлеба.

— Да, — отозвался кавалерист, прищуривая глаза, — мы тоже были в окружении. Мы тоже там такого хлеба не ели. Мы там такой хлеб коням отдавали.

Он внезапно перестал щуриться и закончил другим тоном:

— У нас вместо хлеба махорка была, а у коней вместо овса — что? Коню вместо овса самокрутку в морду не всунешь.

— Мы с вашими ребятами две ночи рядом ночевали, — сказал капитан с чужим лицом. — Хорошие попались ребята.

— У них плохих не бывает, — с веселым возбуждением вступил в беседу захмелевший от боли и лихорадки Антон. — В кавалерии плохому человеку нельзя. Плохого кони не носят. Конь человека чует. Жена мужа так не понимает, как конь седока.

— Да, — подтвердил кавалерист. — Коня не проведешь. Это тебе не танк. У коня — душа! И сколько я раз замечал: как попадается к нам барахляный человечишка, так до первой атаки. Плохого седока конь не бережет.

Утомившись, Антон задремал. Внезапно рядом ударили орудия, кавалерист повалился на бок, а из горла у него высоким фонтаном брызнула кровь.

— Доктора! — закричал капитан и, не дожидаясь ответа, схватил кавалериста на руки и понес его в операционную.

Розовощекий лейтенант моментально спрыгнул с верхней полки и присел на пол, стягивая матрац с постели себе на голову.

— Где шлюпка для тяжелораненых? — спросил он пробегавшую мимо их каюты сестру.

— Обе шлюпки разбило, комиссара разорвало, — ответила она на бегу.
Антон с трудом приподнял голову и увидел совсем рядом на берегу ясно различимые в буйно-зеленых кустах жерла орудий.
— Немецкий десант на берегу, — сказал он. Фарватер проходил у самого берега, и орудия били в упор.
Пароход стал круто заворачивать и остановился на полповороте. На палубе метались люди. Белокурая санитарка выбежала на палубу и сразу упала…
— Почему остановились? — спросил кто-то в коридоре.
Ответили отчетливо и спокойно:
— Повреждена машина, и перебита цепь рулевого управления.
А фашисты словно только и ждали остановки парохода. Едва он стал неподвижен, они хлестнули по бортам огнем утроенной силы. Каюту пробило сразу в нескольких местах, Лейтенанту оцарапало щеку, и он, тихо взвизгнув, бросился к умывальнику, сорвал с него фарфоровую в цветах раковину, надел ее себе на голову и с раковиной на голове заметался по каюте.
— Пояс надень, дурак! — с отвращением крикнул ему Антон. Лейтенант очнулся, бросил раковину, схватил сперва один спасательный пояс, потом другой и с двумя поясами выбежал из каюты.
Поясов не хватало, и люди бросали в воду столы, скамьи, двери и доски от перегородок. Грохот орудий смешивался с криком раненых и с треском отдираемого дерева.
— Комиссар приказал тяжелораненых грузить в шлюпку. Ох, господи боже мой, что же это?! Давай носилки! — донесся плачущий голос сестры Веры, и через несколько минут она с санитарками прошла мимо, неся на носилках раненого. Они пронесли еще нескольких раненых и направились к Антону, когда кто-то позвал их:
— Сюда, сюда, сестрица, возьмите меня…
Они ушли и надолго исчезли.
Из соседней каюты вышел начальник судна. Евдокия Петровна шла, прижав обе руки к груди, лицо у нее было бескровным, а губы в забывчивости твердили:
— Что же теперь делать? Леночка, Леночка!
Антон не знал, что это было имя ее дочери.
— Товарищ начальник! — позвал он ее. Она подошла к нему и посмотрела на него невидящими глазами.
— Товарищ начальник, где у вас то оружие, которое вы отобрали у комсостава? — спросил ее Антон, стараясь говорить отчетливее и громче, как говорят с бредящим человеком.
— В несгораемом шкафу.
Надо раздать оружие тяжелораненым, тем, которые не могут плыть.
— Зачем раздавать оружие? — спросила она, словно просыпаясь.
— Когда пароход опустеет, мы будем отстреливаться.
— Ключи от несгораемого шкафа у комиссара. Сейчас я принесу.
Она ушла быстро, казалось, ее обрадовала возможность каких-то разумных действий.
Она вернулась очень скоро, и при взгляде на нее он подумал, что она смертельно ранена.
— В верхних карманах ключей нет, а нижняя половина тела упала за борт, — сказала она, словно отрапортовала. Она смотрела на него вопросительно и все время глотала и не могла проглотить клубка, который катался у нее в горле.
— Доктора! — закричали рядом, и она быстро ушла на зов.
Прикованный к койке и забытый всеми, Антон лежал один и, не отрываясь, смотрел в окно. На палубе уже не было людей. Антон видел серое низкое небо, густую зелень прибрежных кустов и спокойную плотную воду.
Он столько раз звал смерть, а сейчас, когда она была близка и неизбежна, он вдруг понял, что вот эта зелень, это небо и вода и есть счастье и что это удивительное счастье, исчезнув, уже не возвратится никогда. И он согласен был на любые страдания, лишь бы не утратить этого куска неба, зелени и воды.
Капитан с чужим лицом быстро вошел в каюту, снял с полки два пояса, один надел сам, а другой стал надевать Антону.
— Поплывем, друг, — быстро говорил он. — Пароход и горит и тонет, спасаться надо!

— Оставь… Не дотянешь, у тебя рука ранена! — сказал Антон, с жадностью и надеждой глядя в лицо капитану.
— А пояса на что? — возразил тот. — Была бы у меня рука цела, я бы тебя и без пояса вытянул.
Он застегивал пояс на груди Антона, когда осколок мины вошел ему в плечо. Вторая рука его повисла плетью, лицо приняло беспомощное выражение, и, покачнувшись, он вышел из каюты.
Антон остался один.
Приподняв голову, он мог видеть, как немцы бегали по берегу. Они махали руками и кричали:
— Рус! Рус! Плыви сюда! Сюда стрелять не буду, туда буду!
Орудия били неторопливо сверху вниз, слева направо.
«Вот она, смерть!» — думал Антон. Он редко думал о смерти, но когда думал, ему казалось, что он умрет либо на поле боя под грохот атаки, либо еще очень не скоро, седовласым старцем, в кругу печальных родственников и друзей. Но не было ни радостного грохота наступления, ни торжественной печали родных. Была невзрачная каюта, неприбранные постели, скомканные одеяла из серой байки, брошенная на пол раковина от умывальника да жуткая пустота оставленного людьми парохода.
Умереть безоружному, в одиночестве, без человеческого участия, без славы, без памяти, без могилы… И, не в силах совладать с собой, он застонал и, собрав все свои силы, попробовал приподняться. Его руки искали оружие, глаза искали человеческих глаз. Но пусто было на исковерканном пароходе, только орудия все ленивее щелкали по бортам и откуда-то снизу тянуло гарью.
V
Когда начался обстрел, Катерина Ивановна работала в перевязочной. Узнав, что стреляет береговой десант, она подумала: «Слава богу, не бомба, не самолет, не мина». Ей казалось, что стоит отплыть немного — и опасность останется позади. Но пароход не двигался с места. Снаряды то и дело рвались рядом, раненые переполняли перевязочную, а на палубе шла небывалая суматоха. Потом палуба опустела, раненых стало меньше, пришла Вера и сказала, что и начальник и комиссар убиты.
Перевязав последнего раненого, Катерина Ивановна взяла санитарную сумку и спустилась вниз. Там несколько минут назад, в начале обстрела, раненые из III и IV классов и из трюмов, оборудованных под палаты, бросились к пролетам парохода, стремясь прыгнуть в воду. В пролетах образовалась пробка из сотен людей, и на них сосредоточили огонь немецкие орудия.
Когда Катерина Ивановна спустилась, она увидела кучу окровавленных человеческих тел. Горела кухня, и короткие языки пламени лениво лизали стены. Около машинного отделения, вытянувшись, закинув голову и как-то хитро опустив ресницы, лежал капитан, а на его груди, словно закрывая его собой, лежала «Мы с капитаном». Оба были мертвы.
Из глубины III класса прямо к Катерине Ивановне шел повар Яша. Устремив неподвижный, пристальный взор на Катерину Ивановну, он пробирался к ней, ступая в лужи крови, равнодушный к свистящим вокруг него осколкам и ко всему окружающему. Подойдя к Катерине Ивановне, он остановился, посмотрел на нее блестящим жадно-тоскующим взглядом и сказал:
— А Фросю-то мою сейчас миной убило.
Фрося была его женой и работала санитаркой.
Катерина Ивановна перевязывала раненого и ничего не ответила Яше.
Он молча постоял над ней несколько мгновений, потом повернулся и медленно побрел дальше.
Еще несколько раз она видела его одинокую фигуру. Он безучастно бродил по опустевшему пароходу, но стоило ему где-нибудь увидеть человека, как лицо Яши освещалось надеждой, и, не замечая ни огня, ни крови, он устремлялся туда, для того чтобы взглянуть тем же тоскующим взглядом и повторить ту же фразу: «А Фросю мою сейчас миной убило».
Он жаждал хотя бы слова участия, хотя бы одного из тех вежливых и пустых слов, которые люди так охотно расточают друг другу. Но люди едва смотрели на него непонимающими

дикими глазами, каждый был занят собой, и никто не сказал ему того слова, которое было ему нужнее жизни. И, постояв в бесплодном ожидании, Яша медленно отходил и бесцельно брел дальше.
Кто-то схватил Катерину Ивановну за ногу.
— Доктор, сделайте милость, — попросил ее человек с развороченным животом. И она сделала то, что запрещали законы и этика, — она ввела ему большую дозу морфия. Она сделала еще несколько перевязок.
Пароход медленно тонул, трюмы уже были залиты водой, пламя из кухни перебросилось в соседнее помещение. Пожар на пароходе всегда казался Екатерине Ивановне страшным бедствием, но теперь, среди ужасов этого часа, он был самым незначительным из них, и люди входили в горящие двери, перешагивали через огненные пороги, не обращая внимания на пламя. Несколько раз Катерина Ивановна думала о том, чтобы взять пояс и прыгнуть в воду, но какое-то непонятное чувство удерживало ее и приказывало ей оставаться здесь до конца. И только оглянувшись и не увидев ни одного человека, Катерина Ивановна неторопливо, хотя перила лестницы уже горели, поднялась наверх и направилась в каюту за спасательным поясом. Но дверь в ее каюту была сорвана, и пояса там не было. Катерина Ивановна почти не умела плавать, но она так отупела от всего виденного и пережитого, что ее не испугало отсутствие пояса. Она посидела немного в каюте, вслушиваясь в странную тишину, — убедившись в том, что пароход пуст, немцы перестали стрелять. Потом она пошла по коридору, рассчитывая найти что-нибудь, что помогло бы ей держаться на воде.
— Доктор, доктор! — прозвучал знакомый голос. Из ближней каюты на нее смотрели блестящие, напряженные и одновременно очень спокойные глаза раненого танкиста. Казалось, он смотрел издалека, было в его взгляде непередаваемое спокойствие уже все решившего человека. Она подошла к нему.
— У вас нет пояса! Возьмите мой.
Он с трудом вытянул из-за спины пробковый пояс, подал ей и приказал:
— Плывите!
Она смотрела на его бледное лицо с плотно сжатыми углами длинного рта, широко открытыми блестящими глазами, и ей казалось, что никто в мире не был ей роднее, чем этот юноша.
— Я не поплыву одна. Мы поплывем вместе на одном поясе, — сказала она с отчаянием, не веря своим словам.
Его лицо озарилось такой благодарностью, таким светом радости и гордости за нее, словно он ждал этих слов и боялся не услышать их. Но голос его звучал ровно:
— Мне не доплыть, доктор, я не могу шевелиться. Не стойте здесь. Прощайте.
Он протянул большую, розовую от вечернего света, теплую и такую живую руку. Она взяла ее и, вместо того чтобы уйти, села к нему на постель и с силой сжала его пальцы.
Тишина, сорванные двери, брошенная на пол раковина, невытертая кровь, стянутые с полки матрацы — все уже было мертво здесь. Только они двое были живыми на тонущем пароходе, и юноша, окликнувший ее в свой смертный час, был ей бесконечно дорог.
— Доктор, у вас нет оружия? — спросил он, оживляясь и приподняв голову.
— Нет.
— Неужели на пароходе ни у кого не было оружия?
— Была винтовка у вахтенного.
— Доктор, принесите мне ее.
Она снова спустилась вниз, обойдя полпарохода, с трудом отыскала винтовку и принесла ее Антону. Он нетерпеливо схватил ее, пересчитал патроны и попросил:
— Помогите мне повернуться.
Она помогла ему лечь так, чтобы можно было стрелять.
Он глубоко, как перед прыжком, вздохнул и сказал Катерине Ивановне:
— Ну, прощайте. Плывите. Когда вы отплывете, я буду стрелять.
Превозмогая боль, он осторожно гладил ее по голове. Он утешал ее, словно не он, а она оставалась умирать на пароходе. Он был благодарен ей. Своим беспомощным жестом она дала ему радость еще раз почувствовать себя сильным, смелым, мужественным. Он не ошибся: в ней было удивительное свойство без слов угадывать и поступать так, как ему

было нужно. И сейчас она делала самое лучшее из того, что могла, — она помогала ему умирать так, как должен умирать мужчина. Он смотрел на нее с нежностью, и пальцы его перебирали ее прохладные тонкие волосы.

Все сильнее пахло гарью и дымом.

— Плывите, — сказал Антон. — Пора.

И для того чтобы облегчить ей уход и утешить ее, добавил, печально улыбнувшись:

— Ведь скоро стемнеет, может быть, вы и успеете приехать за мной на шлюпке.

Она знала, что это невозможно, она понимала, что ему хочется утешить ее, но инстинктивно, обманывая себя, она ухватилась за эту мысль и стала надевать пояс.

— Возьмите, — сказал он и подал ей бумажник. — Это документы.

Она спрятала бумажник в резиновую сумочку для документов, которую носила на шее. Она надела пояс, хотела встать, снова не смогла и прижалась к его рукам мокрыми щеками.

— Я вернусь. Я приеду за вами, — повторяла она. Ей было тяжело оторваться от него. Наконец она встала, задохнувшись, не нашла в себе силы на последний взгляд и, как слепая, вытянув вперед руки, вышла из каюты.

Когда в дверях скрылась тонкая черноволосая женщина — последний человек в его жизни, — он закрыл глаза и долго лежал неподвижно. Он был рад, что именно она пришла к нему в этот час. Тепло ее щек еще согревало его ладони. Он еще видел ее исчезавшую гибкую фигуру в белом халате.

Ему захотелось позвать ее, но он не знал ее имени. Тогда губы сами тоскливо шепнули: «Мама, мама!» Но он сжал их и замер в неподвижности.

Ему казалось, что он очень спокоен, а на самом деле все силы его уходили на то, чтобы не закричать, не забыться в тоске. Выждав время, достаточное для того, чтобы она отплыла, он стал вглядываться в то, что происходило на берегу. Уверенные в своей безопасности, немцы свободно ходили по берегу.

Он выждал некоторое время и, когда увидел двух немцев, перед которыми все другие стали навытяжку, выстрелил в одного из них. Немец вскинул руки и упал.

— Так, паразит! — сказал Антон, загораясь жестокой радостью. Он уложил второго немца и стал стрелять в тех, кто подбежал к упавшим.

По пароходу ударили минометы. Осколки свистели над Антоном, пробивали стены, рвали постель, а он лежал словно заговоренный.

На корме разгоралось пламя и при перемене ветра клубы дыма наполняли каюту. Вода была уже близко — пароход сильнее и сильнее погружался в воду. Антон израсходовал все патроны, кроме одного. Но когда, успокоенные его молчанием, немцы снова вышли из-за кустов, он не выдержал.

— Пусть будет так, — сказал он и израсходовал свой последний патрон. Немцы снова подняли бешеную стрельбу.

Теперь оставалось только ждать. Он откинулся на подушку.

Что первым настигнет его? Огонь или вода? Если бы пуля! Но и огонь и вода лучше, чем непоправимый ужас страшного увечья.

Антон теперь сам искал пули, стараясь приподняться и показать свою голову тем, на берегу. «Не болезнь, не вода, не огонь — все-таки пуля!» Ему пробило висок.

Катерина Ивановна не помнила, как она прыгнула за борт, не почувствовала холода воды и поплыла вперед почти бессознательно. Только через несколько минут она стала яснее воспринимать окружающее и увидела впереди себя плывущих людей. Она плыла больше часа, тело ее застыло и онемело от усталости и холода, она несколько раз теряла сознание, но, когда волны начинали захлестывать ее, она, захлебываясь, снова приходила в себя и снова обретала силы.

Наконец она достигла берега, вышла на отмель и только тогда оглянулась. До этого она не позволяла себе оглядываться, инстинктивно оберегая себя, боясь увидеть то ужасное, что было неизбежно, и обессилеть от горя.

Все было кончено. Всюду расстилалась необъятная, ровная и плотная гладь Волги. Парохода не было. И сейчас у Катерины Ивановны исчезли все ощущения, кроме камнем опустившейся на нее тоски.

Что пережил за этот час тот, чьи руки дали ей пояс и послали ее жить? Как пришла к нему смерть? Вода ли захлестнула или огонь сжег его живое тело?

Горе женщины было так велико, что она не могла шевелиться, не хотела видеть людей и слышать их голоса. Она легла на берег, ей казалось, что только эта огромная, серая, мокрая земля может разделить с ней ее горе. Она вдавливалась в землю всем телом, и колючий мокрый песок прилипал к ней, а волны мерно бились о ее руки.
— Встань-ка, девонька. Встань, голубка. — Старик с ведром в руке тряс ее за плечо.
Она поднялась и покорно пошла за ним. Ее мокрое, насквозь промерзшее тело застывало на холодном осеннем ветру, но она не чувствовала холода. Ноги ее одеревенели от утомления, она шла неверной, заплетающейся походкой, но не чувствовала усталости.
Обогнув береговой холм, старик привел ее к костру, горевшему в ложбине. Она огляделась вокруг. Был ветреный, ненастный осенний вечер. Недоброе, багровое у горизонта небо было покрыто тучами. В ложбине стояло стадо коров.
Коровы задирали кверху больные красноглазые морды и надрывно мычали.
Вокруг костра сидели несколько бойцов и сестер с парохода. Катерину Ивановну увели за кусты и одели в сухое платье. Потом она безмолвно легла у костра. Кто-то дал ей горячего молока, кто-то укрыл шинелью. Было тихо, и только худая женщина говорила неторопливо и мерно:
— Третий день они не доены. Двоих перегонщиков убило, а мне всех не передоить. Вымя у них нагрубли, сами ревут, мочи нет.
Она говорила спокойно и, казалось, думала о чем-то совсем другом. Руки ее быстро и споро чистили картофель, а по неподвижному спокойному лицу одна за другой непрерывно текли слезы. Они мешали ей, она смахивала их, а они набегали снова.
— Катерина Ивановна, вас не ранило? — спросила Лена.
— Нет.
— Счастье наше такое, — удивленно и безрадостно сказала Лена и, желая подбодрить себя и Катерину Ивановну, продолжала: — Значит, через два дня домой попадем. Я с мамой увижусь, а вы с мужем. Господи, да неужто это может быть — дом?!
Вот он, тот миг, которого в глубине души так долго ждала Катерина Ивановна. Окончен страшный путь. Она спаслась! Она может ехать домой!
Она закрыла глаза, и перед ней возникли ее уютная и чистая квартира, паркетный пол, голубые вазы на белых салфетках. Она увидела радостное лицо мужа, его сильные теплые плечи. Но сейчас перед ней встало другое лицо. Оно смотрело глазами брата, друга, командира.
Короткая встреча с человеком, который остался умирать на пароходе, стала самой значительной встречей в ее жизни. Она знала, что никогда ее не забудет.
Все стало другим за этот день. Давно уже она была на фронте и дышала воздухом войны, но до сегодняшнего дня мир войны был чужд ей. Всеми мыслями, всею своей сущностью она продолжала жить в милом домашнем миру. Она была женщиной, посланной на фронт, но не была бойцом.
Раньше она жила на фронте, но сердце ее было дома. Теперь, даже если она уедет домой, сердце ее останется здесь.
И странно, ничего ободряющего не произошло за этот день, наоборот, он был насыщен ужасами, но никогда раньше у Катерины Ивановны не было такой твердости и такой абсолютной уверенности в победе. Ее состояние можно было сравнить с состоянием женщины, которая, задыхаясь в родовых муках, ни на минуту не теряет уверенности в том, что ребенок появится на свет, что он уже рождается.
Катерина Ивановна села и сказала сестрам:
— Мне дал свой пояс танкист, у которого было ранение позвоночника. Он остался на пароходе и стрелял в немцев из винтовки вахтенного.
Девушки ничего не ответили ей, только лица их стали суровее. Они молча обматывали босые ноги бинтами из сансумки, каким-то чудом попавшей сюда.
Катерина Ивановна вынула бумажник Антона и открыла его. Она увидела комсомольский билет, несколько писем и фотографическую карточку. На ней была изображена красивая черноглазая девушка. На обороте она прочла: «Будущему командарму от будущего маэстро».

Катерина Ивановна спрятала бумажник и стала тщательно забинтовывать свои застывшие босые ноги. Неподвижность была непереносима. Только действие могло облегчить ее. Она встала, затянула бинтом отсыревшую тяжелую шинель и сказала:
— Я буду пробираться к Сталинграду. Мы там нужнее. Кто со мной?
— А там не подумают, что мы шпионки? — спросила Лена.
— Меня знают в эвакопункте.
— Мы выйдем на шоссе, там нас подвезут на машине, — сказала Лена, вставая.
Когда они поднялись на холм, из ложбины навстречу им вышли розовощекий лейтенант и Яша. Лейтенант возбужденно и быстро говорил что-то, он энергично жестикулировал. Следом за ним шел безразличный ко всему Яша.
— Не в ту сторону! Не в ту сторону! — закричал лейтенант, увидя женщин. — Поворачивайте обратно. Идем с нами. В пятнадцати километрах районный центр, оттуда идут машины на север. Я уже сговорился с одним человеком, через три дня будем в Саратове.
Катерина Ивановна молча прошла мимо, а Лена, обернувшись, бросила:
— Мы идем к Сталинграду.
Лейтенант, остановившись, смотрел им вслед.
Был сумрачный вечер. Холодный ветер трепал мокрые ветви низкорослого кустарника. Две женщины с босыми, обмотанными марлей ногами, одетые в большие мокрые шинели, шли к Сталинграду. И когда они отошли уже далеко, Яша, словно спохватившись, побежал за ними.

Юрий Нагибин

Ваганов

— …То было летошний год. Еще Ваганов с нами воевал, — сказал старшина Гришин.
— Никифор Игнатьевич, а где сейчас Ваганов? — спросил Коля Куриленков, пятнадцатилетний кавалерист, сын эскадрона.
Худое, как будто вылущенное лицо Гришина с вислыми усами стало нежным.
— Алеша Ваганов врага в самое горло грызет. Он зверек не нам чета. У него война особая…
— Да ведь Ваганова убили под Архиповской, — сказал я, но осекся под тяжелым взглядом Гришина.
— Эх, товарищ лейтенант, молодой вы еще, и такие слова… Нетто Алеша Ваганов даст себя убить? Это ж подстроено все для военной тайны…
Высокий кабардин Гришина, подкидывая спутанные ноги, приблизился к хозяину и тонкой нервной губой шлепнул его по уху.
— Балуй, чертов сын…
Гришин повернулся на локоть, ухватил замшевую губу кабардина, тряхнул и отпустил. Кабардин засмеялся, обнажив розовые десны и белую кость резцов, вызелененных травой.
— Вы, товарищ лейтенант, у нас без году неделя, — стараясь быть вежливым, продолжал Гришин, но взгляд его выдавал затаенный гнев, — а я Ваганова на коня садиться учил. Вот на этого самого Чертополоха. Нет у меня права военную тайну разглашать, а все же скажу: воюет Алеша в самой неметчине, бьет врага в спину, нам путь облегчает. Вот…
Гришин поворошил золу потухшего костра, достал уголек и раскурил трубочку. Махорка, которую он получал из дому, отличалась неимоверной крепостью. У меня заслезились глаза, а Коля Куриленков зашелся в надрывном кашле. Гришин хлопнул его ладонью по узкой мальчишеской спине.
— Очнись, браток! Вот так конник: дыму не сносит! На-кось, затянись разок.

Куриленков, с налившимися от натуги глазами, взял двумя пальцами трубку. Из мундштука выползал тоненькой струйкой дымок. Губы Коли скривились.
— А Ваганов курил? — спросил он с решимостью.
— Ваганов никакого баловства себе не позволял…
— Ну и я буду, как Ваганов, — поспешно сказал сын эскадрона.
— Кури, все равно таким не будешь. Как Гладких будешь, как я будешь, если, конечно, поработаешь над собой хорошенько. Мы люди простые. А Вагановым родиться надо.
В словах Гришина звучала такая вера, такая убежденность в том, что Ваганов жив, что я показался самому себе мелким человеком…
Ваганова убили под Архиповской во время прорыва фронта. Увлеченный преследованием, он ворвался в деревню, занятую неприятелем. С ним был товарищ. Они могли спастись, но под товарищем убили лошадь. Он был схвачен гитлеровцами, прежде чем успел встать на ноги. Ваганов вернулся, чтобы умереть вместе с ним. Дрался он отчаянно. Уже мертвого, его всего истыкали клинками, танк протащил по его телу свою гусеницу. Ваганов был так изуродован, что никто не мог его признать, когда через час с небольшим в деревню ворвался эскадрон, ведомый самим генерал-майором Башиловым. Ваганова опознал лишь сам Башилов, его приемный отец. С бледным лицом, сведенным страшной гримасой боли, и пустыми глазами Башилов опустился на колени и поцеловал сына в обезображенный рот. Стянул с плеч бурку и осторожно, словно боясь разбудить, укрыл его.
В конце деревни еще слышалась стрельба — группа гитлеровцев засела в церковном подвале. Башилов поднялся с колен, коротким броском руки указал на церковь:
— Вперед! За нашего товарища…
Ваганова похоронили с воинскими почестями, а через несколько дней по бригаде пронесся слух, что он жив. Слух поддерживался и такими ветеранами, как Гришин, не верившими ни в бога, ни в черта, и доверчивыми юнцами, влюбленными в Ваганова.
Слух стал правдой эскадрона, правдой бригады, другой правды знать не хотели…
…Я видел Ваганова однажды. Кавалерийская часть генерала Башилова прорвала застоявшуюся оборону противника, я был «брошен» в прорыв вместе с другими корреспондентами нашей фронтовой газеты. Как и следовало ожидать, здесь всем было не до нас. Напрасно промучившись с полдня, мы сели в прифронтовой деревушке.
Я обосновался в большой чистой избе на краю деревни. Старушка хозяйка принесла горячей молодой картошки, самовар и чайник с настоем «гоноболя». Привычна, но, как всегда, до боли обидна была бедность прифронтовой деревни, живущей под огнем в какой-то очумелой покорности, со своими пустыми закутками и обезголосевшими насестами. Источник жизни этих деревень один — воинские части, прохожие и проезжие солдаты и офицеры, несущие с собой надежду, запах жизни, неизменное гороховое пюре и комбижир.
Я выложил свой припас и пригласил старушку к столу. Но она предпочла «сухой паек» и, получив его, скрылась за печку. Я присел к окну и стал пить зеленоватый, и цветом и вкусом напоминающий лекарство чай.
Под окном росла береза. Она была расщеплена миной, половина ее, черная и засохшая, умерла, другая, склоненная к земле, зеленела свежим глянцевым листом. Под этой березой на скамейке собралась компания: танкист в промасленном комбинезоне, с гармонью на потертом ремне, белобрысый сапер, два шофера со свежими розовыми лицами в черной рамке отмытой к вискам и шее грязи, несколько девиц в цветастых платьях и калошах. Выходя на круг, девицы снимали калоши, оттопав положенное, снова надевали их и отходили в сторону. Из кавалеров неплох был белобрысый сапер. Но то ли гармонист был лишен огонька, то ли танцоры вяловаты, а только в пляске не чувствовалось размаха, она казалась бледной и натужной, как повинность.
Подошла хозяйская дочка и тяжело, с ленцой, опустилась на лавку у окна. У нее было большое красивое лицо. Казалось, она ощущает свою красоту как бремя. Усталость чувствовалась в ее чуть опущенных плечах, тяжелых веках, более смуглых, чем щеки и лоб.
— Что же вы не танцуете? — спросил я.
— Очень нужно, — ответила она, не повернув головы.
Она глядела мимо пляшущих, на потонувший в рослых травах погост с тремя светлыми, белесо-матовыми липами, словно искупавшимися в молоке.

По правую руку широкая деревенская улица выливалась в большак. Близ устья большака голубела огромная лужа, в которой с надсадным воем, похожим на гуд пчелиного роя, тонул тупорылый «студебеккер». Два всадника, расплескав лужу, вынеслись на околицу и, завернув коней, осадили их у нашего дома.
Один из них, кургузый, спешился, кинул поводья своему спутнику и, грузно переваливаясь на толстых ногах, заковылял к двери. Испуганно охнула, сорвавшись на низах, гармонь, вскочил танкист, отдавая честь. Как пружиной подкинуло с присядки белобрысого сапера.
— Отдыхайте, отдыхайте! — ворчливо бросил тучный кавалерист.
Шаги его глухо прозвучали по земляному полу сеней, распахнулась дверь, и я увидел красное лицо, сердитые глаза и кургузую, с наклоном вперед, фигуру грозного генерала Башилова.
Я встал.
— Кто такой? — недовольно, в упор спросил, словно выстрелил, Башилов.
— Из фронтовой газеты…
— Писатель, — усмехнулся он, показав крупные желтые зубы. — Харчуйтесь, писатель.
— Может, мне уйти, товарищ генерал?
Сердитые глаза Башилова набухли кровью:
— Сказано, харчуйтесь! Помешаете, сам выгоню!
Вскоре он вышел в голубой трикотажной рубахе и брюках с лампасами. Наклонив голову под стерженек рукомойника, стал поливать шею с толстым вздутием у затылка, покряхтывая и ворча. Казалось, он чем-то недоволен и раздражен: вода ли недостаточно холодная, рукомойник ли слишком скупо выпускает воду.
Дверь распахнулась, в горницу стремительно шагнул высокий кавалерист, прибывший вместе с генералом. Крыло бурки зацепилось за косяк, полы разлетелись, обнаружив в своем нутре тонкую, как тростинка, юношескую фигуру.
— У Рябчика ссадина на цевочке, товарищ генерал! — сказал он звонко.
— А я тебе что говорил? Подорожнику надо приложить.
— Сделано, товарищ генерал! — блеснул тот радостной улыбкой.
Генерал, ожесточенно вытиравший суровым полотенцем лицо и шею, вместе с высоким кавалеристом прошел за печь. Я услышал их тихий разговор.
— Испугался я нынче за тебя, Алеша. Больно уж ты горяч…
Этот голос, как будто вобравший в себя все тепло мира, поразил меня. Неужели обладатель его тот самый Башилов, чей ворчливо-недовольный бас я слышал несколько минут назад?
— Ну что ты, отец. Ты же знаешь, меня пуля не берет!
— Не берет, не берет… А только смотри, ты у меня один, — с трещинкой хрипотцы сказал голос.
Скрытая нежность — эта обычная изнанка суровых душ — казалась мне поразительной в Башилове. Один из самых лихих рубак конного корпуса, Башилов был уважаем всеми, но никем не любим. А между тем он обладал всеми качествами, которые привлекают к командиру сердца подчиненных. Он был заботлив, справедлив и совершенно немелочен в своей требовательности. Нигде не жилось солдатам лучше, чем в бригаде Башилова, но он был замкнут и суров. Говорили, что Башилов потерял семью в первые дни войны…
Ваганова генерал подобрал на Полтавщине, когда бригада с боями вырвалась из окружения. Ваганов спал в придорожной канаве, положив голову на кулак, рядом с ним валялось странное самодельное оружие: кухонный нож, всаженный в длинную толстую палку. Мальчишка дрожал и плакал во сне, но, разбуженный прикосновением руки генерала, сразу вскочил, со злобным блеском мгновенно проснувшихся глаз схватился за свое оружие. Оказалось, он поджидал гитлеровцев. Поджидал двое суток и, не выдержав, уснул. Его мать и сестрёнки погибли от вражеской бомбы в доме, когда он лежал на огороде, чтоб лучше видеть бомбежку. Говорил мальчишка неохотно, каждое слово приходилось рвать из него чуть не клещами.
— Пропадет малец зазря, — сказал адъютант генералу, — может, возьмем его с собой?..
Генерал ничего не ответил, он только хмуро пощипывал жесткую щетину усов. Зато сказал Ваганов, бледными страстными глазами дерзко глядя прямо в лицо генералу:
— Вы тикаете — и тикайте! А мне фашистов убивать надо!

— Дурак, — с удивившей адъютанта мягкостью проговорил генерал, — убивать вышел, а сам дрыхнешь в канаве. Да и кого ты такой вот убьешь? Идем с нами, мы тебя научим воевать. Это вот, — он тронул висящую на боку шашку, — получше твоей орясины.
Мальчишка с жадностью взглянул на шашку.
— А мне такую дадите?
— Покажешь себя — свою отдам!..
Два мрачных лица: одно — совсем юное, со следами недавних слез, другое — сухое и старое, — тронулись улыбкой…
Определив Ваганова во второй эскадрон, генерал, казалось, забыл о нем совсем. Только через год призвал он его к себе, показал свой знаменитый удар, разымающий человека надвое, и усыновил. В течение всего этого года генерал незаметно для окружающих внимательно следил за Вагановым. Он укрепился в своей начальной догадке, что в этом юноше горит огонь более сильный, чем в других оскорбленных душах…
— Все-таки побереги себя, Алеша, — говорил генерал. — Не век же тебе убивать. С твоей душой далеко шагнуть можно.
Я не слышал ответа Ваганова, слышал, как генерал спросил:
— Неужто не перебродил еще?
— Нет, — со смехом ответил Ваганов. — Разгуляться не пришлось. Заорали: «Гитлер капут!» — и с лошадей долой. Зря шашку вынимал: порубать-то почти и не пришлось!
Ваганов вышел из-за печи и, развязав тесемки, скинул бурку на лавку. Она легла, свернувшись, словно отдыхающий зверь. Ваганов был строен и гибок, как хлыст. Он выглядел щеголем, хотя на нем была самая обычная солдатская одежда, довольно поношенная, с крестиками штопок. Но она так ладно облегала его тело, так покорно следовала каждому движению мышц, как это никогда не бывает с казенной одеждой.
Все же вначале я увидел только очень стройного и очень молодого кавалериста. Натуру Ваганова я понял чуть позднее, почувствовав исходящую от него, как ток, нервную, страстную силу, которой была пронизана каждая клеточка его тела.
Скрытое напряжение страсти, его невероятная чуткость обнаруживались даже не в слове, не в жесте, а в чуть заметных волнах крови под тонкой кожей, невольном посверкивании глаз, взмахе ресниц, каких-то нежных тенях, пробегающих по его очень юному лицу.
Ваганов вышел из избы и присоединился к танцующим.
— Что так скучно, ребята?
— Давай веселей, если можешь, — отозвался гармонист.
— Да ты не потянешь, — подзадорил Ваганов.
— Оно конечно, нам, псковским, куда до вас, рязанских! — протянул гармонист, вскинул голову и на весь размах растянул мехи. Словно вздохнула от обиды душа музыканта, разом прорвалась к живому звуку. Пошла, пошла гармонь, то обмирая в робком дыхании, то взвихриваясь вызовом и задором.
У Ваганова опьянели глаза, он бросился в пляску, как в бой. В его пляске была какая-то нежная ожесточенность.
— Давай! — кричал он гармонисту.
А тот, закаменев лицом, все быстрей и быстрей бросал пальцы по клапанам, выламывал плечи, сердясь и изнемогая в борьбе с танцором.
Ваганов ударил о землю коленом перед одной из девиц. Та засмущалась для порядка и вышла на круг, заломив одну руку к затылку, другую отведя, как для защиты, и поплыла вокруг бешено кидающего в присядке ноги кавалера.
— Ходи веселей! — кричал Ваганов.
— Куда Нюшке против него держаться, — сказала красивая дочь хозяйки.
И, словно услышав эти презрительные слова, Нюшка бочком-бочком вышла из круга. Верно, и она почувствовала свое несоответствие кавалеру.
Ваганов вскочил, развел руками.
— Эх, какой все народ холодный!..
Взгляд его упал на наше окно. Лицо хозяйской дочери вспыхнуло. Словно подчиняясь молчаливому приказу, она спустила с плеч шаль и вышла на улицу. Казалось, вместе с шалью она сняла и тяготившее ее бремя. Куда только девалась ленца, вся живая юность радостью вспыхнула в ней.

И все почувствовали: вот два достойных партнера, или, вернее, противника. Это слово точнее определяет характер отношений пары в русской пляске, где вызов ярче соединения, где заман ведет к отстранению в пляске, пронизанной борьбой, гордостью, непокорством.
Она знала: противник может завихрить ее, сбить, одолеть, как Нюшку, если она попытается сравняться с ним в быстроте. Она пошла плавно и неспешно, уравниваясь с ним в силе чувства, единственного дающего согласие в танце. Одно движение плеча, взлет ресниц — и они равны; притоп ногой, неожиданный с разлетом юбки поворот — и уж не ей, а Ваганову приходится разжигать свой огонь, чтоб не отстать в страсти.
Они были равны друг другу. Он шел всюду, куда она его звала. Путь его был не легок. Горы, реки, пропасти, дремучие леса метала она ему под ноги. Но он не боялся трудных путей. Птицей проносился он над всеми препятствиями и, настигая, кричал:
— А ну еще!..
И ни один из них не уступил в этом поединке. Сдался третий: гармонист.
— Дай пощаду, кавалерист, — сказал он, отнимая от гармони упрелое до красноты лицо.
— Неужто уже все? — спросил Ваганов. — Вишь, я сухой совсем.
— Если ты и воюешь, как пляшешь, ценный ты человек, — сказал белобрысый сапер.
Ваганов засмеялся:
— Ну, воюю я с цельной душой, пляшу с остаточков…
Последнее, что я заметил, отправляясь спать на сеновал, было лицо хозяйской дочери. Прелесть его не замыкалась более в грубой определенности черт, а уходила в простор, как сияние.
Я спал на сеновале. Было за полночь, когда пришел Ваганов. Он был не один. Я услышал тихий разговор.
— Спокойной ночи, хороших снов, — говорил Ваганов, вскарабкиваясь по лестнице.
— Что ж так скоро, Алеша? — с тоской проговорил грудной женский голос.
Ваганов остановился, мне видна была его рука, вцепившаяся в балку.
— Нельзя мне, понимаешь, нельзя. А то пропаду совсем. Я себя ни до какой такой жизни не допускаю…
— Постой, Алеша, — просил женский голос. — Ведь, может, не свидимся больше!..
— Нельзя! — Рука Ваганова сильнее вцепилась в балку. — С вашим братом осторожней надо. А то забудешь все…
— Видать, много вы нашего брата перевидали, — ревниво сказала девушка, — то-то вы такие нежадные…
— Если дождешься, первой будешь.
— Ой ли?
— В глаза погляди — вру я?..
— А долго ждать-то? — спросила девушка, и в голосе ее была печаль и немного насмешки.
— До победы! — Ваганов засмеялся, поцеловал девушку и быстро вскарабкался на сеновал.
Через минуту я уже чувствовал его горячее дыхание около своего лица.
…Ваганов спал, врывшись руками в солому. Сквозь окошко в крыше на него падал зеленоватый свет месяца. Ему снились какие-то сны, он улыбался, вскрикивал, не глухо, как спящий в мучительной душной возне подсознанья, а ясно и звонко; раз он вырвал руку из соломы и косо резанул ею воздух. Казалось, и во сне он живет с той же страстной напряженностью.
Под утро пришла хозяйская дочь, босая, на плечах старенький полушубок. Она наклонилась к Ваганову, долго глядела на него, поцеловала его закрытые глаза и сошла вниз…
Я проснулся рано, еще только светало, и подумал, что постыдно упускаю превосходный материал, сам давшийся мне в руки. Но Ваганова уже не было рядом. Я спустился вниз и увидел хозяйскую дочь, строгую, прибранную; она сидела у окна и глядела на дорогу…

Александр Твардовский

В родных местах

Больших лесов уже давно не было, а стояли, как у нас говорят, кормельки, откуда были и дрова, и жердь, и бревно на холодную и даже теплую постройку. Эти небольшие островки леса, разбросанные по взгорьям и разделенные где проезжей дорогой, где заболоченной лужайкой, где пахотным полем, очень украшали местность. Теперь этих кормельков нет, а вместо них пошло, как говорится, всякое лихо: кустарники, жирный малолетний осинник, высокая и глухая трава лесных пожарищ, крушина, полевая березка. Лихо это занесло старые вырубки, ляда и кое-где уже сомкнулось с темными зарослями бурьяна, дедовника и еще какой-то бурой дурной травы, в рост конопли, поднявшейся на пепелищах.

Лучше ехать дремучим лесом, веселее, чем этой пустыней непролазного волчьего мелколесья с редкими и печальными приметами бывшего человеческого жилья. Там выглянет из зарослей груда обожженной глины — остатки печи из деревенского кирпича-сырца, там — облупившийся, голый и потемневший, как кость, ствол яблони, там вдруг мелькнет маленькое, с неровными краями зеркальце сажелки, а то, глядишь, обозначается старое сельское кладбище, и одиночество тех, что когда-то похоронены на нем, необычайно оттенено окрестным безлюдьем и тишиной.

И наверное, лучше было бы не знать и не помнить, как здесь все было прежде, как хороша здесь была эта пора доброй осени с утренними дымами, встающими над лесом, с запахом сухой яровой и ржаной соломы, с постукиванием и скрипом колес по накатанным проселкам.

Не сразу осознаешь беспокойное и томительное ощущение, все сильнее вступающее в душу с приближением к тому клочку этой задичавшей и чужеватой теперь земли, где прошло детство, где отцы и матери на памяти нашей еще были молоды… Это ощущение большого времени, предстающего точно в разрезе, со многими своими слоями…

Вот такою, должно быть, выглядела эта земля, когда значилась она по бумагам «хутором пустоши Столпово» и когда впервые пришли сюда наши отцы в самом начале века. Они застали на месте срубленных еще ранее больших казенных лесов такое же дикое мелколесье. При них та часть этого мелколесья, что не пошла под раскорчевку, стала лесом, который мы помним с детства и после которого теперь вновь пошли заросли. Разница только в том, что отцы наши не видели здесь следов прежней жизни, не слышали даже дальних отголосков такой разрушительной и кровавой войны, да еще в том, что нынешнему мелколесью, может быть, уже не стать лесом…

Сердце настороже, оно избегает вбирать в себя всю силу множества ощущений и впечатлений, рвущихся к нему. Оно словно знает, что ему не справиться с ними сразу. Едешь по этим заросшим красноватой муравой, неверным дорожкам и с мнимой легкостью пропускаешь места и местечки, освященные такой дорогой и незаменимой памятью. Памятью детских лет, ранней дружбы, первой книги, прочитанной здесь в годы хуторского пастушества, памятью первых приездов сюда городским гостем и, наконец, недавней памятью вступления на эту землю с частями одной дивизии в такой же свежий и ясный денек осени 1943 года.

Война обживает и преображает на свой однообразный лад любую местность, любой край, а я это особенно остро чувствовал, когда подъезжал в тот день к родным пепелищам со стороны Ельнинского большака, вдоль которого шла дивизия.

Не говорю сейчас о волнении, с каким я ожидал того дня и наконец увидел древние, по преданию «екатерининские», дуплистые, частью усохшие либо обгорелые березы большака, близ которых пас когда-то коров, купался с ребятами, ходил по грибы. Но я помню, как меня томило и удивляло то, что все, кроме меня, шли по этим местам, как и по всяким иным, никак не отличая мое Загорье от тысяч других деревень и деревушек, что лежали на их большом боевом пути. И уже совсем странно и даже обидно мне было слышать привычные с детства названия искаженными перестановкой ударений. Я не вдруг уверился, что во всем этом ничего нарочито неуважительного или обидного не было. Просто — война.

Она лишает всякую местность ее особливого облика. Всякое своеобразие пейзажа, очарование того или иного уголка земли отступает на задний план перед однообразием военных дорог, изгибами и пересечениями траншей, уродством пожарищ, воронок, руин. У войны своя память, свои приметы и сравнения.
Я ночевал в двух-трех километрах от пепелища моего бывшего дома на немолоченых снопах мокрой ржи, под кое-как натянутой плащ-палаткой, сквозь которую дождь сеял в лицо мелкой водяной пылью. И никак не мог настроиться на воспоминания детства: ночевок на сене или в поле, в ночном. Вспоминалось иное, ближайшее: где и когда я ночевал за войну, какой был обстрел, как приходилось похуже, чем под этой прошибаемой дождем плащ-палаткой.
Когда я в тот раз ступал по полям и кустарникам Сельца, Загорья или Столпова, в сущности, это не были они, поселения и земли, заключавшие в себе мир моего детства и ранней юности.
Это не было Сельцо, Загорье или Столпово, а были тылы дивизии, артиллерийские позиции наступающих войск, скрытное, но все же видимое многолюдье фронта с его порядками, бытом и всеми приметами, знакомыми по множеству других мест, где бывал я впервые в жизни. И отцовская сторона в тот день казалась даже более оживленной, чем сейчас, спустя два года, хотя тогда не все еще жители вышли из окрестных кустов и овражков, и меня на подворье узнала в лицо одна женщина — жена Кузьмы Иванова, нынешнего председателя колхоза, Пелагея Николаевна.
В особой обстановке той встречи, когда еще в трех километрах, за Огарковским болотом, шел бон, не могло так тесно и глубоко уложиться в душу все печальное, что я увидел своими глазами на Загорьевском подворье и узнал от оставшихся в живых односельчан. Этому мешали волнение и потрясение самой встречи, какая возможна поистине только раз в жизни.
Теперь, два года спустя, встреча была иной. Приехал человек в колхоз, как приезжал не раз до войны. И впечатление разоренности, бедности, голого человеческого горя, оставленного немцами на этом подворье, почти без всяких помех наполнило душу. Оно было тем сильнее и собраннее, что теперь уже были видны первые признаки возрождения жестоко и дико поломанной и потоптанной жизни.
Они, эти признаки, еще как те жидкие деревца, что посажены на могилах, только-только принялись и еще не могут скрыть своей тенью осевших от дождей потрескавшихся от ветра бугров…
Перед глазами у меня пустынное, неровное поле, где пепелища бывших строений обозначены зарослями бурьяна, дедовника и крапивы, обвалившимися ямами погребов и еще приметными щелями, в которых загорьевцы укрывались от немецкой авиации.
На этом поле десяток избенок под соломенными, толстыми, необлегшимися крышами с торчащими в сторону будущих сеней концами решетника. Вместо сеней соломенные, на один скат, полушалашики. Я не знаю строения печальнее и непригляднее избы без сеней в открытом поле. И все, что стоит на усадьбе колхоза, спланированной и застраивавшейся здесь еще до войны, стоит так, что трудно определить хотя бы главный порядок поселка. Только видя это, можно понять, как дорого здесь всякое усилие рук, всякое, хотя бы малое умение, каждый отесанный и положенный в связь с другими отрезок дерева, каждый столбик, вкопанный в эту оголенную и приунывшую землю.
На ней — все сначала: с какого ни есть закутка, с куска дикой глины, обформованной в самодельной формовке, с колышка, затесанного топором.
Дует несильный, но уже захолаживающий ветер; шуршит невыкошенная и мало потоптанная скотиной, обчесанная ветром сухая трава; доносится глухой и не в лад прерывающийся стук вальков на току — сыромолотом оббивают лен; повизгивает и поет где-то под одним из соломенных полушалашиков тоскующий поросенок; с тонкой хрипотцой, силясь изо всей мочи, возглашает что-то печально-деловитое петушок-однолеток…
Мы сидим с Мишкой Мартыненком на бревнышке у нового, только что заведенного под крышу сруба. Левая нога Мишки в тяжелом солдатском ботинке лежит, упираясь каблуком в землю, протянутая так, словно он собрался поискать чего-то в глубоком кармане заношенных ватных штанов. Она кажется длиннее его здоровой ноги, точно чужая, и я

невольно думаю, как, должно быть, хлопотно с этой ногой залезать на леса постройки, на крышу.
— Неужели все сам, Михаил Мартыныч? — спрашиваю я, называя так Мишку потому, что передо мной пожилой, усталый мужчина с занесенными седой щетиной щеками и подбородком. А помню я его молодым парнем, еще игравшим с нами, ребятишками, в лапту на святой неделе. — Неужели все сам?
— Ну, как же не сам? Сам. Оно же и видно, что сам. — Он улыбается, как будто конфузясь за свою работу. — Сам, брат.
Говорит он медленным добрым баском, с нарочитой важностью, смягчающей невольную похвалу себе.
— Отвага, — говорю я, пытаясь поощрить Мартыныча к более подробной беседе о его первом опыте плотничества.
— Да нет, какая отвага! — возражает он. — Жить надо, а негде. Видал, как мы с Фрузой живем? Банька — она же ветхая, волков боязно, ночью придут, разорят…
Мне знакома в его речи манера своеобразной угрюмой шутки, и последнее замечание я считаю к делу не идущим, хотя уже порядочно наслышался здесь о волках. Я хочу допытаться, как все-таки он отважился взяться самолично за постройку избы, не будучи плотником, и как он справлялся с этой задачей. Известна поговорка, что всякий мужик — плотник, но практически это означает не более как умение загородить какой-нибудь хлевушек, сменить прогнившую половицу в сенях, собрать готовую постройку, размеченную бревно за бревном на старом месте.
— Ну что ты хочешь, — с усталой и грустной рассудительностью, оставляя шутливый тон, говорит Мартыныч. — Пришел вот в прошлом году с этой лялькой, — показывает он на свою ногу, — жить негде. Ну и давай я думать, как строиться. Кузьма говорит: «Леску подтянуть поможем, а больше что ж? Ты не плотник, и я не плотник. Ты инвалид, а я уже стар, мне и председателем бегать через силу». И верно. Ну, начал я строиться. А хорошо сказать — начал. Начни — закурить надо для начала, а покамест огня добудешь…
И как бы желая показать начальную трудность строительства, Мишка достает кремень, кресало, мягкий тряпичный шнур, продетый сквозь гильзу обрезанного винтовочного патрона, и начинает высекать искру.
— Нет, — он отстраняет мои спички, — ветер, с одной все равно не прикуришь. — И, поймав искру на кончик шнура, машет им, чтоб гуще затлелся, и наконец подносит к потухшей у него в зубах папироске. — Вот, брат. А какой же я, правда, плотник? Сроду не был. Но, думаю, нет же таких крепостей, — продолжает он опять с той же нарочитой важностью, — нет же таких крепостей… Я вот на войне шофером стал и машину с пушкой водил почем зря, а до войны понятия не имел за баранку сесть.
И начинается неторопливый его рассказ с оттенком даже некоторого удивления перед собственной дерзостью. Точно человек сам до сих пор не может поверить, что изба, стоящая рядом, настоящая изба с четырьмя углами, — действительно дело его рук, его смекалки, терпения и хитроумия по нужде.
Я смотрю на серый от дождей осиновый сруб, густо законопаченный бледно-зеленым мхом, на довольно аляповатые углы «в чашку», на низко спущенные застрехи соломенной крыши — колосом вниз — и вижу, может быть, еще более того, что рассказывает мне строитель. Я читаю эту историю возведения дома от первого до последнего венца и до гребня крыши человеком, не имевшим ни опыта в этом деле, ни порядочного инструмента, ни, наконец, достаточной физической силы. Ни одно бревно не легло само на место, — его нужно было окорить, окантовать, поднять, перекатить, впустить в чашки углов и вновь вывернуть, выбрать в нем паз так, чтобы оно плотно пришлось по нижнему, горбылем легло в выемку, кривизной было пригнано по кривизне, — словом, нужно как бы надеть это бревно на бревно, пригнать до неподвижности. И если настоящему плотнику приходится вволю понянчиться с каждым бревном, то во сколько раз увеличивалась и осложнялась эта работа для человека, взявшегося за топор плотника впервые…
Мы обходим избу вокруг, и разговорившийся Мартыныч уже спешит предупредить иное мое замечание или даже мысль, возникающую при осмотре строения. Похоже, что он, такой спокойный, рассудительный и не обольщенный своим мастерством человек, все-таки не хочет оставить ни одного изъяна или упущения, не показав, что он знает о них.

— Угол, конечно, не по шнуру, но он еще и не обрезан как следует. Это не главное. Лишь бы стены ровные. Осина. Виду она не имеет, — не ель, не сосна. И цвет — чуть намокла из-под коры, потемнела. Виду того нет. А лежать — под крышей сто лет пролежит. Дожди, знаешь, дня не было, чтобы не пробрызнул. Ослизнет бревно — жди, покамест опять обвиняет, а то за него и не взяться. Да с кем взяться? Малец меньший поможет, а то Фруза, когда свободна. Она и рада и готова, но одно, что женщина, а другое — больная рука. Другой раз тащим с ней бревно: она правой рукой не может взяться, я на левую ногу опереться избегаю, а тяжесть — двум здоровым мужчинам впору. Ну, поглядим друг на друга — два калеки, засмеемся с горя, но только смех, сам понимаешь, какой. А Фруза, глядишь, и в слезы, у нее это сейчас… Да я и о себе скажу: слаб стал, тоже вспомнишь…
Я знаю, какую незалечимую рану в сердце носят они со своей Фрузой, но он обрывает на этих последних словах, сказанных почти шепотом, и, справившись с собой, ведет дальше речь о постройке.
Я слушаю этого с детства знакомого мне человека, о котором знаю почти все, что можно знать о деревенском жителе. Работящесть и несколько угрюмая положительность отличали его с давнишних колхозных времен. Замуж за него вышла Фруза, девушка грамотная, красивая и любительница читать книги. С годами они сжились, хватили вместе всего, что приходится на долю обзаводящихся своим домом молодых по выделе из общего двора. Пошли у них дети, и дети были на радость. Старшая дочь их, Женя, помню, удивила меня, когда приезжал я сюда незадолго до войны, и своим редкостным сходством в лице с матерью, и редкостной жаждой к ученью, к книжкам — опять же материнской чертой. Помню, разводит девочка самовар, а огонь в нем что-то не берется, и она, раскрасневшись, голубоглазая, темнобровая, как Фруза, стоит над ним, чуть вобрав голову в плечи, с застенчивостью, не то связанностью, за которой легко угадывается материнский характер, крепкий, порывистый и добрый. И помню, как она, помогая матери собирать на стол, по одному взгляду ее срывалась с места что-нибудь принести, подать, убрать. И всякий раз девочка возвращалась к книжке, раскрытой на подоконнике.
В сорок втором году в мой фронтовой адрес как-то дошло письмецо Михаила Худолеева, лежавшего тогда в госпитале после ранения. Не жаловался он ни на что, но тоска по своим, оставшимся под немцами в полной безвестности, горечь солдатского сиротства проникала все это письмецо.
А в сорок третьем году я по случайности попал в дивизию, которая шла в Смоленск и очищала от немцев мои родные места. Фрузы я в Загорье не встретил, — сказали, что она, спасаясь от угона в плен, подалась с младшими детьми к какой-то далекой родне. А про Женю я узнал, что она помогала партизанам. Какая это была помощь, в подробности неизвестно, но когда стала гореть изба Худолеевых, подожженная немецкими карателями, то начали рваться патроны. Немцы, видя такую улику, стали загонять людей в огонь, стреляя из автоматов. И Женя кинулась к ним, что-то крича по-немецки и заслоняя собой остальных женщин и детей. Что она кричала, никто тогда разобрать не мог. «Она была такая гордая и так их всегда ненавидела», — вот в точности слова, которые я много раз слышал от моих односельчан о Жене. Похоронена она вместе с другими расстрелянными на огороде, неподалеку от того места, где теперь стоит сооруженная ее отцом изба…
И, читая историю этого дома по его венцам, я невольно диву даюсь: какая сила, какое терпение и стойкость духа нужны для того, чтобы, не хвастаясь бедами и еще с нередкой добродушной усмешкой над своим рукодельем, справиться с этим сложным, длительным, тяжелым трудом, который выпал человеку после всех мук и трудов на войне, после таких испытаний горя!
«Хороший ты человек, Михаил Мартыныч, — хочется мне сказать ему, — надежный человек…»
Но мы продолжаем осмотр избы, и я воздерживаюсь от какой-либо похвалы вслух, опасаясь, что она помешает серьезности и дружелюбной доверчивости, с какой Мартыныч все мне показывает и поясняет.
Порог дверей кажется слишком высоким оттого, что ступать через него приходится прямо с земли — вместо сеней только навес, притороченный одним краем к стене избы, а другим опирающийся на полуметровые столбики.

Притолоки дверей отструганы без особого блеска, и дверь к ним придется еще пригонять. Мартыныч признается, что в отделочных работах он не мог достигнуть настоящей нормы.
— Топор, один топор. Хоть бы тебе долотечко, стамесочка, — ничего! А тут уж требуется тонкость. Вот хоть бы и потолок, — он указывает мне на то, что я уже заметил и о чем не сказал, чтоб не огорчить мастера, — маленько я ошибся: средние матицы положил чуть выше, и потолок, видишь, посредине выше, чем по краям. Но я думаю, что беды большой нет…
— Воздуху больше будет, кубатура расширяется, — с ходу вступает в нашу беседу председатель колхоза Кузьма Иваныч.
Человек этот еще бодрый и более подтянутый, чем мужики в его годы, хотя отпустил уже порядочную серобарашковую бороду. В молодости он живал в городах, работал полотером, и, должно быть, следующая его шутка, с которой он переступает порог, говорится уже не в первый раз:
— Поторапливайся, Мартыныч, стели паркет, по знакомству полы натру — будешь благодарить.
И Мартыныч возражает, как, может быть, не раз уже возражал на эту шутку:
— Спасибо, Кузьма Иваныч. Паркету настругать до зимы уже не успею, а вот если ты мастер коровьим дерьмом с глиной полы мазать, то прошу.
Оба смеются. И, обращаясь уже только ко мне, Мартыныч вздыхает без особого огорчения:
— Полов мостить нынче не буду. Сил не хватит.
И я только теперь соображаю, что доски для потолка не пиленые, а тесаные, и, чтобы получить две потолочины, человек должен был очень удачно расколоть чурбан надвое и все лишнее с этих плашек согнать топором в щепки. Так делали доски до изобретения продольной пилы. И Мартынычу пришлось наново постигать этот забытый человечеством способ.
— Поначалу, — говорит он, — полдня на доску уходило. Отобью шнуром линию, тешу-тешу — нет, обязательно криво получается. А теперь наладился — как по струне иду.
Это сравнение показалось мне отчасти смелым, когда я разглядывал потолок, напоминающий поверхность фронтовой дороги, мощенной расколотыми надвое бревнами, но оспаривать не хотелось.
Мне все более естественным казалось определить возведение этого незатейливого избяного сруба как некий подвиг. Подвиг простого труженика, хлебороба и семьянина, пролившего кровь на войне за родную землю и теперь на ней, разоренной и приунывшей за годы его отсутствия, начинающего заводить жизнь сначала, с жилья для своей семьи. И вот еще одна новая изба на колхозной усадьбе, отрадный знак возрождения жизни на этих опустошенных оккупантами землях…
— Значит, Мартыныч, — заключает Кузьма по-хозяйски, — теперь у нас есть свой плотник. Сказался. А то беда — никаких специалистов. Думал, пропадем совсем. — И в этом его выводе прямое житейское признание подвига Михаила Худолеева.
— Зачем пропадать? Нет! — отзывается на слова председателя Мартыныч и с какой-то, казалось бы, не свойственной ему лихостью провозглашает: — Жить будем, Кузьма Иваныч!
— Да, будем, Михаил Мартыныч, будем. Только, знаешь, забежал я сюда, сижу с вами, а сам еще в десяти местах нахожусь. Хозяйство. Крутись как хочешь. Поспевай: ах, туда, ах, сюда! И везде Кузьма нужен, а Кузьма один, и ноги у него уже не те… Вот даже и сюда, к Мартынычу, забежать надо: как он тут у меня мучается? Хоть я ему особо помочь не могу, а надо! И на ток надо. И вон там дед крышу кроет на амбаре — надо забежать, а то он прозябнет, слезет греться, а потом его опять поднимай. А-а?..
По хотя при этом Кузьма Иваныч сорвал с себя шапку, сокрушенно махнул ею и умолк, как бы показывая, что, мол, все равно вы всего не поймете, — в его добрых, голубых, по-стариковски подернутых слезою глазах выражение обиды и раздраженности дополнялось оттенком смиренной и вместе горделивой озабоченности.
— Пойдемте, товарищи, — говорит Кузьма Иваныч, надевая шапку, — закусим чем бог послал. Бабы там собирают чего-то. Я, признаться, уже и за горючим спосылал. — И заторопился объяснить, что это близко, лавка в Станькове, через болото.

— Кругом если, так это вон где, Станьково. Куда к черту! А оно — вот оно, Станьково-то. Раз — и там…
— Ну что ж, пойдемте, это ничего, хорошо. Только другой раз приедешь, то уж давай у меня, в моем, так сказать, новом доме.
* * *
Я вскоре простился с односельчанами, и бедная усадебка колхоза с застроенными и незастроенными пепелищами, с могилами Жени Худолеевой и других расстрелянных немцами людей моего родного угла осталась уже далеко позади. Но впечатление от всего, что я видел там, неотступно сопровождало меня вплоть до выезда с проселков на шоссе, ведущее в Смоленск, и в самом Смоленске. И за первым планом того, что мне кидалось в глаза на улицах города, неизменно стояла худолеевская изба.
Я знаю этот город с детства, с той поры, когда он еще не имел для меня иного названия, чем Город.
Я помню гораздо полнее и отчетливее, чем многое другое и не столь отдаленное во времени, свои первые поездки с отцом в этот город, еще единственный для меня, на телеге с картофелем или еще каким сельским товаром, — случалось это обычно по осени. Яркое сентябрьское солнце скромно и ласково грело землю, дорогу, ольховые кусты с застаревшей летней пылью на шершавой, изъеденной мошками листве. Ездили мы по Ельнинскому большаку, но верстах в шести от Смоленска мягкая дорога кончалась, шел булыжник Киевского шоссе, — грохот этой нескорой, тревожной и утомительной езды уже означал собой город.
Со стороны этого шоссе он открывается слишком медленно и, как говорят, вида не имеет. Гористый, овражистый, застроенный по уступам, он лучше всего выглядел со своим белым собором, темно-коричневой старой Стеной, когда, бывало, подъезжаешь к нему поездом. Ровная линия Днепра, лежащая вдоль привокзальных путей, выгодно подчеркивала изломы зеленых высот, выносящих дома и домики, церквушки и башни Стены вверх-вверх, так, что казалось — каждое здание города видишь целиком…
Дорога, по которой я возвращался из деревни в Смоленск, памятна мне еще особым, горьким и радостным волнением. Это Рославльское шоссе, откуда осенью 1943 года я увидел руины родного города, заволоченные дымами свежих пожарищ, в день его освобождения.
Я не видел Смоленска в первое лето войны, когда гитлеровцы жгли и разрушали его с воздуха, и для меня город в этот день выглядел так, словно бы он, не потухая, горел все эти два с половиной года. И казалось, что даже за такой срок непрерывной разрушительной работы огонь не сделал бы больше того, что можно было видеть глазами, знавшими город в целости. Не хочется все это вновь описывать. Насколько разнообразны и примечательны — каждый по-своему — города при жизни, в своем цветении, настолько похожи и скорбно однообразны они в своем уродстве, причиненном войной. Тяжелая, едкая пыль от взорванных зданий, безобразные конусы щебенки, наваленной с высоты первых и даже вторых этажей до середины улицы, стены с черными дырами выгоревших окон — все это видано и перевидано в своем удручающем однообразии. И пожалуй, эта картина была по-своему еще печальнее тех зарослей и опустошения, что встретили меня в деревне.
Но нынче в первый раз я подъезжал к городу еще с одной, новой стороны — с Минского шоссе, откуда идет гладкая, под стать самой магистрали, десятикилометровая ветка. С высокой Покровской горы, приходящейся, пожалуй, вровень с главами собора, с того берега Днепра разрушенный Смоленск виден почти так, как я видел его с самолета У-2, пролетая здесь, когда фронт был еще неподалеку. Сверху кажется, что в городе нет ни одного уцелевшего здания. Но стоит спуститься к железнодорожному переезду — и город виден, как из окна вагона, когда московский поезд минует Сортировочную.
И отсюда он, как ни очевидны с первого же взгляда разрушения, как ни оголены склоны и уступы холмов, застраивавшихся большей частью деревянными домами, он — Смоленск! Смоленск в своей суровой и печальной красе города — страдальца и воина, как будто постаревшего на сотни лет и снова из глубины веков несущего на себе это выражение суровости и печали, свидетельство пережитых испытаний. Ему действительно не в новинку и выгорать дотла, и быть опустошенным, стоя на этом исконном пути иноземных нашествий, устремлявшихся на Москву и Россию. Но все то уже смягчено было давностью,

и для людей, живших в нем перед немецким нападением, он со своей Стеной не был только памятником, внушающим неизменно ощущение древнего времени, бывалых бедствий и славы. Он был просто городом, жилым домом, а не музеем. И тем внушительнее теперь его облик, как бы возвращающий нас ко времени польской осады или наполеоновского вторжения — событиям, запечатленным на камнях той же Стены, которая перестояла и немецкие бомбардировки.

Очень трудно передать то волнение, с каким человек приближается к городу, который был ему городом за все города, в котором он жил, учился, начинал думать о жизни широко и смело, как думается о жизни в юности. Такое чувство, как будто боишься узнать о чем-либо очень печальном или ждешь большой радости, которая должна вот-вот наступить…

Новый мост, сооруженный саперами на месте взорванного, ведет прямо в пролом Стены, и его настил смыкается здесь с мостовой главной улицы города — Советской. Она поднимается вверх, к центру, огибая подножие Соборной горы. Изношенные ступени лестницы, ведущей к главному входу в собор, начинаются от самого тротуара.

Потемневшие плиты белого камня, обозначенные прорастающей в щелях меж ними травкой, — они не постарели, они все те же, что были, — старые, неровно вытоптанные, по форме напоминающие какие-то каменные чаши.

Правый тротуар улицы идет по краю глубокого оврага.

Прежде и этот овраг был живописен: по склонам его лепились домики, садики с лестничками и тропинками вкривь и вкось снизу доверху. В глубине оврага, при его выходе к Днепру, есть старинный колодец, откуда весь город, лишенный водопровода, носил воду при немцах и в первые месяцы по освобождении — в ведрах, в чайниках, консервных банках. Выше овраг заслоняют дома-коробки, частью уже приспособленные под жилье.

Я специально проверил в этот свой приезд одно наблюдение, очень поразившее меня здесь в первый день после немцев.

Через пустые окна дома на левой стороне улицы, мне помнится, я тогда увидел Днепр, хотя прежде он никак не мог быть виден отсюда. Теперь какое-то ожившее на втором плане строение заслонило этот пролом, и река опять скрылась. Как будто что-то стало на свое место, и это ощущение было отрадно. Это примерно то же, как если бы увидеть избу Мартыненка или иную избу на Загорьевской усадьбе уже с пристроенными к ней и покрытыми под одну связь сенями, чтобы дверь открывалась не в поле, а по-обычному и привычному — в жилой полусумрак пристройки…

В нескольких метрах от центрального пункта в городе — Часов — остается поворот вправо — Козловская гора. С этой улицей, начисто выгоревшей и разрушенной, у меня связано одно из самых дорогих и знаменательных на всю жизнь воспоминаний.

Там однажды я сидел на возу, не выпуская вожжей из рук, ожидал отца, скрывшегося за калиткой одного из домов, и читал и перечитывал вывески. Одну из них запомнил так, что мог бы и сейчас нарисовать ее, расположив буквы и слова точно, как они располагались на ней, — дужкой от одного нижнего края вверх и до другого нижнего края: «Клуб поэтов». Мальчиком я писал стихи и, зная, что все известные мне поэты давно умерли, чувствовал себя в этом смысле одиноким на свете…

Часы! Знаменитые смоленские Часы на углу Советской и Пушкинской — главном перекрестке города, — пункт, по которому определялись все направления и расстояния в городе: «от Часов», «пройдя Часы», «не доходя до Часов». От них осталась одна заржавевшая металлическая оправа с закопченным циферблатом.

В первую после немцев зиму, когда дул ветер, они, покачиваясь на своем железном стержне, на уровне второго этажа углового дома-коробки, скрипели и ныли, терзая слух регулировщикам на перекрестке.

В ту зиму здесь на каждом шагу тебя преследовал такой удручающий звук: скрежет оборванной огнем жести, скребущей по жести, либо камню, либо по обгорелой балке. Висит где-нибудь на высоте третьего-четвертого этажа лист кровельного железа, оборванного и полусвернутого в трубку, и бубнит, скрежещет, грохочет там, вверху. Нынче я не услыхал этого звука нигде в городе: нигде не висит зря ни одного обрывка жести, — они где прилажены на своем месте, где вовсе сняты и пошли в дело при возведении окраинным жителем какого-нибудь домишка, сарайчика или оградки участка, отведенного под застройку.

В центре города мертвых домов-коробок все еще остается больше, чем их возвращено к жизни. И нельзя представить себе, чтобы то, что возводилось, строилось и надстраивалось, лепилось, теснилось стеной к стене в течение многих десятилетий и даже столетий, могло быть восстановлено хотя бы в своей главной массе в каких-нибудь два года. Да еще из этих двух нужно вычесть те добрые полгода, когда фронт находился неподалеку, на линии Орша — Витебск. Еще весной сорок четвертого года город пережил несколько жестоких налетов немецкой авиации, и ее бомбы падали не только на руины трехлетней давности, но и на те считанные в городе здания, что уцелели от всех прежних бомбардировок.
Вглядываясь в то, как опустошенные и обезображенные огнем стены больших домов там и сям на протяжении улицы вновь приобретают жилой вид, начинаешь понимать, какая это тяжелая, сложная и многослойная громада — старинный город. Медленный, непрерывный, необозримый в своем объеме труд многих поколений людей! Время, обнимающее собой и первый камень, заложенный на месте Свирской церкви, одного из древнейших памятников русского зодчества, и нынешнюю кирпичную кладку, выравнивающую и ведущую вверх какую-нибудь выщербленную взрывом и закопченную огнем стену дома.
И есть особое удовлетворение в том, чтобы разобраться в унылой неразберихе разрушенных кварталов, найти свой ряд и план восстановления. Там — осветить вновь остекленные окна отремонтированного дома, а в ряду с ним хотя бы убрать щебенку и кривые, горелые балки, торчащие из развалин, а если не под силу, то хоть протянуть порядочный забор до следующего ожившего или оживающего здания. Там — образовавшийся на пожарищах деревянных домов пустырь ограничить стройным рядом молодых деревьев, посаженных в линию с улицей. Один дом будет точно таким, как он был до войны; другой только частью своего корпуса может быть возвращен в строй улицы или квартала; остатки третьего будут убраны. Но в этом незаполненном порядке отрадно угадывать закономерность и обязательность заполнения и будущей завершенности.
Можно все это сравнить с картиной строительства нового города среди нарытой земли, котлованов, груд леса и кирпича, зданий, уже поднявшихся от земли, и еще только заведенных фундаментов.
На окраинах города возобновление его выглядит еще более отчетливо. Там заново возникают небольшие, но довольно опрятного вида каменные домики вперемежку со стандартными деревянными домами разных типов и редкими, целиком сохранившимися либо уже восстановленными зданиями прежнего Смоленска…
Если думать, что жилые стены за долгое время вбирают в себя какую-то частицу тепла человеческой жизни, то, несмотря на дожди и метели, прошедшие за эти годы над руинами, сколько этого тепла и даже запаха прежней жизни заключено в новой кладке стен из кирпича, собранного на развалинах!
На эти дома глядишь с какой-то иной пристальностью, этот кирпич уже не просто кирпич — сформированная и обожженная глина, — на нем отпечаток старины, многолетней, порой многовековой службы, какая приходится на долю городского камня. Он и с виду не такой. В одной стене укладываются кирпичи таких различных по возрасту и назначению зданий — от современного, советской поры дома до старинной церкви. Они разного цвета: то более темные, если положены наружу той же стороной, что и прежде была наружу, то с белыми пятнами цемента или известки, то бурые, то коричневые, то серые.
Незатейливостью кладки и цветом домики эти немного напоминают постройки, какие бывают у нас на юге — например, в Крыму. Строят их, как правило, те люди, что будут жить в них. Не один только Михаил Мартыныч, говоря «мой дом», будет произносить эти слова в их прямом, буквальном значении. Один домик глядит получше, на других заметнее отсутствие профессионального опыта: там стена не очень ровная, осела или раздалась, выпятившись вбок… Но таких совсем мало; должно быть, это самые первые образцы строительной самостоятельности.
Еще за редкость можно увидеть на этих семейных стройках мужчину, все это, по преимуществу, дело рук женских.
За Никольскими воротами, у Чертова рва, на стройке одного дома, поднявшегося уже так, что кирпичная кладка сомкнулась над проемами, оставленными для окон, я увидел человека, который укладывал кирпич с заметной сразу же привычной ловкостью и даже

легкостью. На мои вопросы он отвечал, не оставляя прилаживать один кирпич к другому и зачищать мастерком серую, замешенную на песке глину, что шла за цемент:
— Демобилизовался. Ехал, знаете, на родину. А тут у меня знакомые. Хотел у них узнать насчет своей семьи, потому что сведений никаких не имел. А тут они строиться начали, просят помочь. Я решил помочь, потому я хоть и не каменщик сам, штукатур, но дело мне это знакомо. Решил помочь.
Внутри постройки стояла еще нестарая женщина и подкапывала лопатой раствор из песка и глины. Мне показалось, что она усмехнулась, слушая демобилизованного воина.
— Да, решил помочь вот, — заключил он, быстро и связно коснувшись и своей службы на войне, и прежней работы по специальности. — Решил помочь. Почему не помочь.
— Скажи лучше, — сказала вдруг женщина, усмехаясь, но не отводя глаз от работы, — скажи: нашел тут себе одну, и прижился, и дом стал строить…
Солдат не был польщен этим замечанием, как это могло бы быть с более молодым и более лихим на словах и в подобных делах человеком. Он заметно даже смутился:
— Да нет, что там! Просто, я говорю, ехал, а они мне знакомые. Ну, решил. Ну и живу покамест тоже, потому что где же приютиться. И о семье мне тут нужно еще хлопотать.
— Нашел, нашел, понравился тут одной. Что ж, специалист. Хоть кому так годится.
Я спросил, не она ли и есть эта «одна», привлекшая воина.
— Нет, где уж! — вздохнула она, может быть выражая сожаление, что все это только шутка. — Муж у меня тоже на фронте погиб. Трое детей, мать. Мы здесь раньше жили. А он, правда, помогает.
— Давай раствор, — прервал он ее, — чуть бы погуще надо, а то не вяжет…
И этот маленький, случайный пример доброго рабочего содружества солдата, еще не нашедшего своей семьи, и солдатки, потерявшей на войне мужа, опять привел мне на память избу Мартыненка, построенную самолично, и многое из того, что видано, слышано и передумано за эти годы великих утрат и великого утверждения нашей жизни…
За этим рвом — границей городской окраины, — совсем неподалеку от этой вновь возникающей городской улочки, уже виднеются светло-желтые соломенные крыши новых сельских построек.
А подальше, за горизонтом, невидимый отсюда, копается на новостройке неторопливый по нужде, обремененный инвалидностью, усердный труженик, недавний воин Михаил Худолеев, представляющий в своем маломощном колхозе его строительную бригаду…
Но все вместе — и пятиэтажные здания, восстанавливаемые в центре Смоленска силами профессиональных строителей, и самодельные кирпичные домики новой городской окраины, и вновь отстроенный порядок пригородной деревушки, и Мартыненкова изба, ровесница не только этих строек, но и крупнейших послевоенных сооружений в стране, — все это вместе панорама великого всенародного труда, пришедшего на смену такому же великому воинскому труду.
Я взял самые крайние по маломощности, если их рассмотреть в отдельности, образцы этого труда, то, что мне случилось увидеть на моей смоленской родине, в деревне, в городе.
Человек, посещающий родные места спустя годы — и какие годы! — после того, как он жил там, по-особому заинтересован во всем, что он видит. И приметливость у него, должно быть, несколько иная, чем у человека, впервые видящего этот город, это сельское подворье, или человека, видящего их изо дня в день.
Каждый дом, и каждый жилой закоулок, и каждое пепелище города или села, видевшего войну, — это разнообразные судьбы людей, целые истории любви и разлуки, невозвратимых потерь и разнообразных встреч. Никогда люди, каждый в отдельности человек, не видят столько новых людей и так легко не сходятся с людьми, как во время войны.
Мой родной город — он иной, хотя я и встречаю на улицах иногда знакомые с прежних лет лица. Многие из тех, кто ушли отсюда в первые дни и недели войны на запад или на восток, не вернулись сюда. Многих оставшихся здесь мы не застали, когда город был возвращен стране. Много здесь и людей, заброшенных сюда какими-либо путями войны. И для того, кто начинает здесь жизнь, город иной, чем для того, кто вступал здесь в жизнь когда-то, в довоенные годы.

Но город в целом начинает ту полосу своей возобновленной жизни, когда все уже течет привычным порядком — и движение на улицах, и толчея возле тесного здания кинотеатра, и будний и праздничный день с их приметами. Только заезжий и относительно досужий смолянин ходит здесь неторопливой походкой, заглядывается на развалины, припоминает, что где было когда-то и чего не было, задумывается над чем-нибудь, не идущим к его сегодняшней заботе и делу. Людям, что живут здесь и обживают этот город, уже это привычно. Они и по этим улицам, расчищенным от обломков зданий и осененным по преимуществу еще холодными стенами погубленных домов, ходят так же, как ходят люди в любом городе в магазины, в баню, на работу и с работы…

Владимир Лидин

Братство

На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Пушкин

Поезд пришел перед вечером, и Москва встретила синевой, свежим воздухом зимы, очарованием сумерек. Огни были еще не зажжены; в тончайшей, присыпанной снежком бесплотности терялись оттаявшие, пущистые от инея здания: видимо, оттепель сменила недавний мороз.

Приехавший вышел на привокзальную площадь и остановился в раздумье. Впервые ему некуда было спешить, чтобы попасть в числе первых: будь то вступление в отвоеванный город, капитуляция гарнизона или водружение знамени победы на самом высоком здании в городе… Два фотоаппарата, отслужив свою военную службу, висели через плечо. Сколько раз, волнуясь, переживая все заново, прочитывал он на пленке, фотокорреспондент Соловцов, запись событий, боев, героев, лиц, встреч… Как бы на перекличке проходили товарищи, с которыми крепко, насмерть — так казалось тогда — связала фронтовая дружба. Там, на фронте, в мужском одиночестве, когда каждая тайная мысль была взаимно поверена друг другу, когда делили друг с другом хлеб и табак, спали на одной постели, укрывшись шинелями, вспоминали Москву, читали друг другу стихи, стаканчиком вина отмечая фронтовые праздники и воспоминания, — там разгоралась она, эта дружба. И вот все это уже позади. Дойна кончилась — и друзья разбрелись. Вот он, четыре года гонявший по военным дорогам, вскакивавший на подножку вагона проходившего поезда, летавший на самолетах всех систем, иногда даже за отсутствием места — в бомбовом отсеке, — вот он стоит на привокзальной площади, лишенный обычной стремительной цели. Была ли та дружба, которую называли то фронтовой, то боевой, — была ли действительно она на всю жизнь, как это подразумевалось без обещаний и клятв?

Он пошел с вокзала пешком сквозь таянье и капель московских сумерек. Адрес товарища был записан в походной залистанной книжке рядом с рецептурой проявителей и перечнем населенных пунктов где-то под Кировоградом или Тульчином. За площадью уходила в туман набережная реки. Где был этот далекий Петропавловский переулок на Якиманке, это московское, когда-то предложенное ему прибежище?

Полтора часа спустя, пройдя почти весь город пешком, уже в полной синеве вечера, он разыскал нужный ему дом в переулочке с глухими заборами, за которыми на деревья садов с карканьем и хлопаньем крыльев садились вороны. Он нашел в глубине двора и столько раз описанную и знакомую, точно он бывал здесь не раз, дверь, обитую клеенкой. Он вошел в коридорчик и постоял в темноте, прежде чем нашарить звонок или постучать в дверь.

Уцелела ли еще эта дружба? Может быть, женщина уже ревниво заслонила собой недавнее фронтовое товарищество?
Он глубоко вздохнул и, пошарив по стене и не найдя звонка, постучал в дверь. Минуту спустя детский голос спросил его:
— Кто там?
— Майор Ипатов здесь живет? — спросил он по привычке, сейчас же вспомнив, что тот уже демобилизован.
Его впустили.
— Проходите сюда, — сказал мальчик.-Папа сейчас на работе. А вы кто?
В нем была уже домовитость, привычка настороженного внимания к незнакомым.
— Я его товарищ по фронту.
— Вы идите за мной… вот сюда.
Мальчик ввел его в комнату.
— Так… — сказал Соловцов, расстегивая пуговицы своего кожаного пальто, — значит, ты и есть Игорь Ипатов?
— Да… а откуда вы знаете?
— Ну, вот, — усмехнулся пришедший, — мне тебя не знать! Папа о тебе столько рассказывал.
— Вы раздевайтесь, — сказал мальчик облегченно: до этого он сомневался, правильно ли сделал, что впустил постороннего. — А это что у вас — «ФЭД»? Вы умеете снимать?
— Немного умею. А ты, значит, разбираешься и в фотоаппаратах.
Теперь только Соловцов заметил, как тот похож на отца, Что-то спокойное, уже определившееся было в десятилетнем мальчике с серьезными серыми глазами, с белокурым вихорком, в курточке с трогательно заштопанными локотками. Соловцов снял пальто и повесил его на отдушник печи.
— Вы на печь не вешайте, — предупредил мальчик озабоченно, — мы сегодня топили. Можете испортить пальто.
— Это правильно, — сказал Соловцов и перевесил пальто. — Ты что же, один дома… а мать где?
— Мама умерла в прошлом году… вы разве не знаете? — ответил мальчик не сразу.
Только на миг точно облако проплыло по его лицу, и по блеснувшему в глазах и по легкой краске на скулах Соловцов понял, как трудно тому было сказать об этом.
— Вот как… — произнес он чуть растерянно. — Нет, я ничего не знал… мы ведь с твоим отцом больше года назад расстались.
Но мальчик уже с мужской твердостью преодолел это и сам перевел разговор на другое.
— У меня тоже есть фотоаппарат, мне папа подарил. Только он на пластинках. «Турист», — может, слыхали?
— Ну, как же… ничего аппарат, — похвалил Соловцов. — Ты им снимал?
— Много раз. Я и папу снимал. Я сейчас покажу вам снимки.
Он отошел в сторону и стал рыться в выдвинутом ящике стола. Соловцов оглядел комнату. Так вот тот мир, о котором столько раз в долгие осенние и зимние вечера вспоминал Ипатов на фронте, в сотый раз доставая фотографии сына и жены. Какое же великое крушение пришлось ему испытать, только что вернувшись с войны! Соловцов сидел напряженный и охваченный болью за судьбу товарища… фитилек каганца чадил и потрескивал в хате, в которой жили тогда они вместе где-то на берегу Днепра, и долгие зимние вечера за товарищеской трапезой и воспоминаниями, и образы женщины и сына, столь приближенные мечтой и надеждой, что стали они близкими и ему, Соловцову. Сколько раз, возвращаясь с переднего края, привозил он какой-нибудь трофей, который Ипатов бережно прятал для сына.
— Вот снимки, — сказал мальчик и разложил перед ним снимки на столе, — мы проявляли их с папой.
Соловцов с грустью и нежностью стал разглядывать неумелые, недодержанные или передержанные снимки: был здесь и снежный двор со смазанной собакой, и Ипатов в штатском непривычном пальто.
— Ничего, — сказал он, вздохнув, — со временем будешь снимать хорошо. А пока вот что… я привез тебе в подарок аппарат. — Он снял одну из своих «леек», повешенных на

вешалку поверх пальто, и протянул фотоаппарат мальчику. — Я хочу, чтобы у тебя была от меня хорошая памятка.
Мальчик посмотрел на него очень серьезными глазами, но аппарата не взял.
— Нет, — сказал он, — это мне еще рано. Я буду пока снимать своим.
Он даже насторожился: может быть, ему казалось, что приехавший хочет подарком смягчить недавнее горе.
— Ну, вот какой ты!.. — сказал Соловцов. — Ведь мы с твоим отцом всю войну прошли вместе… и жили вместе, и о тебе говорили столько раз. Как же ты можешь отказываться?
— Мы заходили раз с папой в фотомагазин… знаете, сколько стоит «ФЭД»? — сказал мальчик.
— Сколько бы он ни стоил… ведь я тебе его дарю, разве можно говорить об этом? — Соловцов притянул к себе мальчика и несколько раз провел подбородком по его белокурому вихру. — Ах, Игорь, Игорь… — сказал он затем, — фотоаппарат всегда можно купить, а есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь. Ни за какие!
Мальчик ничего не ответил и только тихо вздохнул. Казалось, он боялся неосторожным движением спугнуть что-то большое, вдруг налетевшее на них обоих.
— А как вас зовут? — спросил он, не поворачивая лица.
— Алексей Соловцов… или просто Леша, меня на фронте товарищи так называли.
— Папа про вас говорил, — сказал мальчик живо. — Вы — фотокорреспондент?
— Ну да, фотокорреспондент. Что же он тебе обо мне говорил?
— Как вы жили вместе и все всегда делили…
— Да, делить нам пришлось… и хлеб, и опасности, — вздохнул Соловцов. Он взял аппарат и перекинул его ремень через плечо мальчику. — Вот, Игорь, будешь снимать — вспоминай: жили в одной хате где-то далеко, на берегу Днепра, два товарища… как оно, это село, называлось? Червоннокаменка, что ли. Зима была сырая, все больше оттепели, вот как сейчас в Москве… и степные ветра, ух, какие ветра!
Мальчик тихонько высвободился из его рук и, обойдя стол, сел, подперев голову, и стал слушать.
— И вот вечерами при каганце или «катюше»… ты знаешь, что такое «катюша»? Это сплющенная гильза из-под снаряда, в которую вставлен фитиль… по вечерам рассказывали они друг другу про свою жизнь и еще говорили о жизни, которую начнут после войны, если уцелеют. — Он замолчал и, щурясь, стал смотреть на огонь лампы на столе, из выдвинутого ящика которого мальчик доставал фотографии. — И вот, война кончилась, и оба они уцелели… и всё в жизни обоим приходится начинать сначала, и вот уже первые удары и испытания.
— У вас тоже что-нибудь? — спросил мальчик осторожно.
— Нет, лично у меня ничего… а вот что у твоего отца и у тебя случилось — это вроде как у меня самого случилось. Отец когда вернется? — спросил он вдруг.
— Завтра утром, у него ночное дежурство… он только недавно ушел.
— Как жаль, — сказал Соловцов, — как жаль. Я ведь только от поезда к поезду. В одиннадцать вечера я должен быть на вокзале.
— А вы куда едете? — спросил мальчик.
— Я… к сестре, — сказал Соловцов.
Он не захотел сказать, что едет к матери, чтобы не задеть этим напоминанием мальчишеское сердце.
— Папа тоже, наверное, будет очень жалеть, что вы его не застали. — Мальчик ощупал вдруг на себе ремень, но снять аппарат не решился. — Может быть, папа будет меня ругать, что я взял у вас это? — сказал он, покраснев.
— Нет… — Соловцов покачал головой. — Папа тебя не будет ругать. Давай я научу тебя, как обращаться с этим аппаратом.
Был уже десятый час вечера, когда Соловцов уходил.
— Вы непременно приедете еще, дядя Леша… ведь правда? Вы сейчас куда… на какой вокзал?
— Сейчас на Северный… еду в Свердловск. Конечно, я еще непременно приеду.
Мальчик надел пальто и вышел проводить его во двор. Через плечо у него висел аппарат. На всякий случай, чтобы не потерять драгоценность, он придерживал его рукой.

— Я первые снимки вам сейчас же пошлю, — сказал он счастливым голосом, — только вы не сердитесь, если они получатся неудачными.
Вороны в садах уже уселись на ночлег, и только по временам какая-нибудь беспокойная перелетала с ветки на ветку. Соловцов шел тишиной этого засыпающего Петропавловского переулка. Предчувствие недалекой весны было в московских садах, во всей этой осторожной ночной капели, в мире, полном таянья и шорохов оседающего снега. До братства, которое должно сохраниться на годы, разгорелся зажженный когда-то каганец фронтовой дружбы, и судьба Ипатова и судьба его сына были ныне и его, Соловцова, судьбой. А это значило, что опять ему надо куда-то спешить, как это было всегда в его полной событиями жизни, теперь обретшей еще одну цель.

Лидия Сейфуллина

Ночной разговор

Близ советской пограничной железнодорожной станции была деревушка со смешанным населением. В маленький колхоз объединились поляки, русские и два еврейских семейства. Немцы, захватив эту местность, жили при станции, в деревню наезжали редко. Мужского взрослого населения к приходу немцев оказалось пять человек. Остались они кто по болезни, кто по горькой случайности. Служить у немцев, покоряться неприятелю ни один из них не захотел. Их замучили, убили. Юных девушек и парней угнали на работу в другие оккупированные области и в Германию. С оставшимися в деревне стариками, женщинами и детьми управлялся поставленный немецким командованием староста Казимир Иванович Ляшин, человек неопределенной национальности. В помощь ему немцы поселили в деревне трех полицейских. Некоторые из жителей знали Казимира Ивановича еще до назначения его старостой. Одно время служил он управляющим в экономии польских панов, по ту сторону границы, близко к русской деревне.
Прошлой жизнью его сейчас никто не интересовался. Было важно теперь лишь то, что староста скрытен, хитер и жесток. Ладить с ним нелегко. Было нечто сокровенно неприятное и во внешности этого человека. Ловкий телом, моложавый лицом, все же был он явно немолодым в обнаруженной им большой житейской опытности. И взгляд его невеселых, тускло-черных глаз был взгляд человека долгой и нехорошей жизни.
На станцию, в гестапо, увозили из деревни время от времени то старика, то молодую женщину. Все это были люди, которые не могли уберечь себя от гнева или от слишком большой «милости» Казимира Ивановича. Вызванные на станцию в деревню уже больше не возвращались. А вот Анеля вернулась живая и неизувеченная, хоть и посидела в гестапо целых две недели. Вдову Антониевну, или Юзефову, как звали старуху по имени покойного мужа в этой наполовину нерусской деревне, благополучное возвращение Анели обрадовало и смутило. Возникло у нее тяжелое подозрение. Анеле она его не высказала, но молодая женщина почувствовала в обычно сдержанном ее тоне особые, неласковые ноты. Вызвать ее на открытое объяснение Анеля боялась. Измученная страхом и допросами на станции, молодая женщина душевно ослабела. В откровенном разговоре с Антониевной, укрывшей ее с ребенком с опасностью для собственной жизни, Анеля не могла бы теперь скрыть то, что так упорно и трудно таила про себя в течение двух лет. Длинных, длинных двух лет! Каждый день был грузен от ожидания позора и смерти, каждая ночь полна отчаянием, не дававшим забыться и отдохнуть хотя бы во сне. Старухе тоже были тягостны эти годы под властью врага. Но так ли, как ей, которая пришла искать у нее крова и защиты, смертельно опасной для самой защитницы, для Антониевны? Всей глубины этой опасности защитница не знала. Под чужим именем неведомой Анели пришла к ней молоденькая женщина, беременная на последних месяцах, принесла ей записку от сына. В записке сын просил Антониевну выдать Анелю за его жену и якобы ее сноху. Правда, Станислав написал

матери, что это в действительности жена его товарища, но ни настоящего ее имени, ни положения ее мужа по работе при Советской власти он не открыл. Имела ли право она сама рассказать всю правду старухе? Антониевна исполнила просьбу сына скрепя сердце, как показалось Анеле. Просто не могла сыну отказать. Слишком его любила.
Как-то, в час очень редкой между ними душевной беседы, Антониевна сказала Анеле:
— Один он у меня, как свет в очах. Мужа не любила я. Нехороший был, нежалостливый. Увез меня, молоденькую, сюда, на чужую сторону, где чужой язык, чужой нрав, не наши обычаи. Была Стеша, здесь назвали Стефкой, по мужу Юзефовой. А на родине я звала его Осип, Ося да Осенька. Как стал он Юзефом, и характер вроде сменился у него. Самой уж неохота стало с лаской его называть.
Она глубоко вздохнула.
— Юзеф так Юзеф. Помер, и ладно. А я и вдовой осталась не Антоновна, как была, а по-здешнему — Антониевна. И сына Станиславом назвал, Стасиком, а не Степой, Степаном, как я желала, по своему деду, отцу моего отца. Ну да что теперь старое ворошить! Немецкие обиды все перекрыли. Кто раньше чужим казался по языку, по обычаю, нынче своим стал. Сроднились в горькой доле, под немецкой пятой. Коли против немцев идет, — значит, наш! Все одно, как русский, он — свой нам. И ты вот Анеля, а не Маша, не Даша, не Настенька. Ну, тебя-то сын прислал. Его воля для меня главней всего.
Мучительную тоску этих страшных двух лет и Антониевна и Анеля вынесли — не наложили на себя рук, с ума не сошли — только потому, что каждый день, на завтра, на послезавтра, через неделю, через две, ждали прихода Красной Армии. Теперь надежда убита. Советские войска были близко, но куда-то стороной прошли. Была у женщин непостоянная, но возникавшая через более или менее определенное время связь с партизанами. Костя, племянник старухи, скрывшийся от угона в неметчину, приносил им газетку и вести от партизан. И он теперь как в воду канул, нет о нем самом ни слуху ни духу. А тут еще непонятно «благополучное» возвращение Анели из гестапо.
«Продала душу, свою шкуру спасаючи», — думала она. Окончательно убедила Антониевну в этом встреча с Казимиром Ивановичем. Случайная встреча на улице. Вряд ли случайная! Высмотрел ее, не иначе. Через кого же тише дело устроить, как не через нее, свекровь названую? Старуха вернулась домой с темным и скорбным лицом. И как раз у порога с ней столкнулась Анеля, несла ведро с помоями. Антониевна глянула ей прямо в глаза, потом на помои в ведре и опять в глаза. И таким взглядом, что Анеля остановилась. Даже рукой по щеке провела. Будто плюнула ей в лицо Антониевна. Старуха отвела взгляд, сказала внятно и спокойно:
— Староста велел тебе нынче ночью обязательно к нему прийти.
— А я не пойду, — так же внятно и спокойно ответила сильно побледневшая Анеля.
Старуха скривила губы в злой усмешке:
— Дело ваше. Не мой приход, не мой расход.
И больше во весь день они не сказали друг другу ни слова, хотя то и дело соприкасались в общей работе по хозяйству.
Настала ночь. Они закрыли ставни на внутренние болты. Обычным тряпьем еще завесили окна. Большая изба дощатой перегородкой, оклеенной пестрыми обоями, была разделена на кухню с русской печкой и горницу. В горнице обстановка городская: и гардероб, и комод, и кровать с пружинным матрацем, и занавески на окнах. Не зажигая огня, старуха улеглась на свою кровать в горнице. Против обыкновения она ни постели не разобрала, ни сама не разделась. Анеля в кухне зажгла самодельный светец, поставила на некрашеный деревянный стол и принялась укладывать сына. Мальчик, которому шел второй год, капризничал редко. Это был здоровый ребенок, привыкший с рождения ко многим лишениям. Как всегда, он быстро заснул, но Анеля, сидя на своей кровати в кухне, не заметила этого. Она продолжала петь колыбельную песню и раскачивать ногой деревянную люльку с загнутыми полозьями, стоявшую на полу. Не зыбку, а нерусскую колыбель-качалку, Анеле всегда казалось, что ребенку в ней неуютно и холодно от близкого земляного пола. Но сейчас мать об этом не думала. Она пела тихую колыбельную, не слыша своего голоса. Глаза ее были сухи, но скорбны в бесслезной горькой жалобе. Ногой она качала, а руки ее привычно двигали спицами. Она вязала шерстяной чулок. И вдруг у нее невольно прорвалось короткое громкое рыданье. Она испуганно закрыла рот рукой,

припала головой на край колыбели, уронив свое вязанье. Сейчас же скрипнула дверь, проделанная в перегородке, из горницы вошла Антониевна. Голова ее была не покрыта. Седые волосы торчали тощим пучком. На стене легла от нее страшная тень. Антониевна подняла чулок и присела на табурет у стола.
— Ты чего стонала? — глухо спросила она. — Зубы, что ль, болят?
— Зубы… Сейчас лягу.
Анеля встала и принялась разбирать свою постель, осторожно отодвинув люльку в сторону.
Антониевна покачала головой:
— Врешь, а врать не умеешь. Пора бы научиться, коли на то пошла. Без вранья-то уж давно на том свете была бы.
— Ох, — воскликнула Анеля с тоской, повернувшись к старухе всем телом, — кабы верила в тот свет, в ад пойти я согласилась бы! Хуже не будет.
— А отродье свое — кому? На меня не рассчитывай. Меня свое горе озлобило. Чую сердцем, знаю — убили Стасика, сына моего. И сердце у меня чисто камень сделалось. Не жалко мне ни тебя, ни сынишку твоего.
Как затравленный зверь взглянула на нее Анеля. В глазах были тоска и бессильная ярость.
Опустившись на кровать, она спросила злобно и громко:
— А чего же медлишь? Выдай теперь меня. Красная Армия не пришла.
— И не придет. О Косте и то третий месяц слуху нет. Никому теперь не верю я. И ты мне записку ту, может, сама написала. Где мне разобрать, его ли почерк иль поддельный. Может, Стась тогда уже убитый был. Гниют где-нибудь на притоптанном, на кровавом поле его косточки, а ты его именем ко мне в дом вползла, как змея. Змея и есть!
Анеля тяжело вздохнула, сказала слабым и покорным голосом:
— Думайте как знаете. Не в силах я больше просить не только за себя, даже за ребенка моего. Вот вы о своем сыне знаете, что он в Красной Армии. Кабы мне о муже это услышать, хоть что-нибудь услышать, господи! В партизанах ли, в армии или на месте схватили. В Минске он ведь ответственный пост занимал.
Старуха подняла голову и нахмурилась:
— В Минске-е? А ты же говорила мне, что из…
Анеля вскочила с кровати, с размаху упала перед ней на колени.
— Пожалейте меня! Третий год я вас мамой… мамашей зову! Пожалейте, как мать… Я ведь о вас заботилась, как о родной матери. Пожалейте меня один только день… Вот сегодня пожалейте, как свою родную дочь, не мучайте меня допросами. Только сегодня! Особенная у меня сегодня тоска!
Она заплакала по-детски жалобно, припав головой на колени к старухе. Антониевна строго, неласково положила ей на голову свою руку. Голос ее звучал глухо:
— Никому на свете не нужны мы. Немцы и те, видать, только затем взяли нас, чтобы своему же прохвосту во власть отдать.
Она отстранила с колен голову Анели. Та поднялась с полу, спросила с укором:
— Какой же он — свой?
— Тебе лучше знать. Кому — лиходей, тебе — добродей. Кабы не он, думаешь, в гестапе обошлись бы с тобой так, валя-валя? С кем еще из нашей деревни были они этакие вежливые?
Анеля ахнула, заговорила не сразу и совсем не своим, тоненьким, жалобным голосом:
— Что вы? Вы что… подозреваете? Били меня, и на железной дороге я тяжелую работу работала.
— Били! Это для них не битье, коль ты — живая, ни в костях, ни в теле не поврежденная. И над женской твоей честью, — ты сказывала, коль не соврала, — они не надругались. Ну и о чем же разговор. Для себя Казимир тебя выпросил. Пойдешь, что ль? Пора.
Анеля всплеснула руками:
— Не пойду! О господи, родная моя мама, где она? Неужели и она забыла обо мне? Посмотрела бы, как мне тяжело около чужой, нежалостливой матери, сердце бы кровью облилось у нее! Куда вы меня гоните? На что толкаете? Как не стыдно вам! Ведь я тоже мать! Не могу я больше! О-о-о! Жить больше не могу.

Она страстно зарыдала, упав ничком на пол около колыбели. Ребенок проснулся от громкого ее рыданья, испуганно заплакал. Анеля опомнилась. Глотая слезы, она расправила на нем одеяльце, погладила его, нежно приговаривая:
— Нет, мое солнышко, сыночек мой, мама здесь, мама с тобой. Спи, спи, голубеночек! С тобой я, никому не отдам. А-а-а!
— Вот… Понимаешь, как за дитя сердце болит. А над ним поешь светло, ласково, скорбь свою затаиваешь. И я над своим пела так! А где он теперь, где?
Внезапным озлобленьем скрывая острую жалость к Анеле, старуха крикнула:
— А с пащенком твоим возиться не буду. С чужим дитем возись да еще Казимиру твоему угождай на старости лет.
— За пащенка этого, — отозвалась Анеля сдержанно, — я на вас, как батрачка, работала. Да какая батрачка! Как мужик-батрак, всю полевую работу ворочала. И для вашего хозяйства, и на немцев не только за себя, а и за вас какую работу ворочала! Внутри все у меня надорванное от этой работы. А я ни разу не пожаловалась. Из уважения к вам сдерживалась. Думала про вас: «Вот женщина — за себя не побоялась, меня с ребенком укрыла, защитила. Вот оно что значит — русская женщина». Так я думала…
— И чего ты мне все в нос шибаешь — русская, русская? Ты-то русская, что ли? Имя-то у тебя откудова неправославное — Анеля? А?
— Ах, вон вы как заговорили! У нас, в Советской России, все мы одно, люди одной страны. И кровь, и порода, и мысли, и вера наша! Я только на ваши слова указала вам, что и национальности мы с вами одной. Знаете, что я вам скажу? Не верю я, чтобы вашей душе, суровой, но честной, была подлость свойственна. Не выдадите вы меня, нет! Я вам сейчас себя в руки полностью отдам. Нет у меня иного выхода. Это последняя моя ночь. Ночь моей гибели. Не может быть, чтоб и умереть мне пришлось на руках предательницы. Не верю я в это. Я вам все про себя расскажу. И не боюсь! Я чувствую, что вы мне поможете умереть без отвращенья к людям.
Антониевна слушала Анелю, стоя прямо перед ней. Она сама не заметила, как поднялась с табурета. Она разглядывала Анелю, будто видела ее в первый раз. И голосом, полным удивления, она спросила ее:
— Что это ты как заговорила? Такой речи я от тебя никогда не слыхивала. Языком ворочала, вроде как мы, деревенские, а теперь…
— И я сама думала, что, кроме грубых и насущных слов, забыла я все, чему училась, что знала, какая речь была обычной для меня. Не в том дело. Сейчас некогда! Не сегодня ночью, так завтра меня смерть смахнет. Всякая речь моя замолкнет. Любовницей Казимира я не стану. Живой не дамся! Да разве это может быть иначе? Вы сами понимаете. Но я не о Казимире. Если б даже наш честный советский человек, товарищ прекрасный, красавец, умница… Все равно, никому я не могу принадлежать как женщина. Да разве я могу после Сергея, после нашей с ним любви?.. Ах, не знаете вы… Сами рассказывали, что своего мужа не любили. Не знаете вы, какая бывает любовь к мужу, к нему, единственному.
— А может, и знаю… Только не к мужу, — глухо проронила старуха.
— Это непонятно мне. То есть умом понимаю, а сердце не соглашается. Мне посчастливилось. Я сразу встретила человека, которого уж никем заменить нельзя. Он один на всем свете муж для меня.
Она всплеснула руками:
— С такой любовью в душе, как я могу спасать свою жизнь в чьих бы то ни было объятиях!.. А… о Казимире что же говорить? Подумать даже мерзко.
— Что же ты делать будешь?
— Если его не удастся убить, себя убью. Больше выхода нет. Не надо об этом сейчас. Некогда! Он с часа на час может прийти, а мне еще много надо сказать вам. Не надо вспоминать, что вы мне говорили.
Дрожащими руками она взяла правую руку Антониевны и прижала к своим губам. Потом, не выпуская ее из своих рук, попросила:
— Сохраните моего ребенка! Сохраните его жизнь. Может быть, может быть… Передадите его отцу… Невредимого, живого, нашего сына. Ведь может же это быть! Может! Хоть после смерти моей может! Спаси, выходи, вырасти моего сына!..

Анеля снова припала в поцелуе к руке старухи. Губы у старухи задрожали. В сильном волнении она прижала голову Анели к своему плечу, сказала медленно и очень твердо:
— Возьми светец, иди за мной.
Анеля подняла светец, Антониевна схватила ее за другую руку и повела в горницу.
— Поставь на стол свет, садись к столу.
Старуха отошла к изголовью своей кровати, где стоял старинный, расписанный разными цветами, уже потускневшими от времени, деревянный сундук, сняла с пояса большой ключ, открыла сундук и недолго искала в нем. Из складок слежавшегося русского сарафана достала Антониевна выцветшую фотографию. С карточкой в руке подошла к Анеле. Лицо у старухи было тоскливое, но торжественное. И глаза на нем вдруг снова ожили, засияли горячим светом. Анеля невольно поднялась ей навстречу.
— Вот, — чуть дрогнувшим голосом сказала Антониевна. — Это Стасик, младенцем снятый на карточку. Ему, ребенку, моему ребенку, хоть и не слышит он меня теперь, даю я обещание, сильную клятву даю, материнскую. Не знать мне еды без горечи, не выпить мне воды без утоления, сколько бы жажда ни томила меня, и в самой смерти не узнать мне покоя, коли я не выхожу сына твоего, как мной роженного, моей лаской утешенного. Крепче этого обещанья нет у меня. Верь мне. Как звать-то тебя?
— Наталья Васильевна Гладышева. Фамилия родителей моих — Скворцовы.
— Так вот, Натальюшка, коли неведомо какими судьбами сделается, что ты сама жива останешься, будешь и ты мне теперь истинно как дочь. Ну за день все расскажешь. Ночь кончилась. По светлому дню тать и палач не ходят. Рассвет я не хуже петуха чую. Сегодня не пришел Казимир, и еще на день есть жизни у тебя. А может, и на долгий срок.
Старуха сняла тряпки с окна, открыла и вытолкнула болт. В комнату проник слабый утренний свет. Он показался измученной молодой женщине особенно чудесным. С необъяснимой, но твердой уверенностью она подумала:
«Останусь в живых и я».

Константин Паустовский

Дождливый рассвет

В Наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто, — горел только один фонарь.
«Где же город? — подумал Кузьмин. — Тьма, дождь — черт знает что!»
Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.
— Часа три, — ответил помощник. — Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.
— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.
— Да, задача! — вздохнул помощник. — Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.
Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.
— Эй, приятель, — громко сказал Кузьмин, — царство божие проспишь!
Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:
— Поедем, что ли?
— Поедем, — согласился Кузьмин.
— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.
— Далеко, — забеспокоился извозчик. — На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.
Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.
— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.
— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?
— К Башиловой.
— Знаю, — извозчик живо обернулся. — К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний…
Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.
— Ты на дорогу смотри, — посоветовал Кузьмин. — Не оглядывайся.
— Дорога действительно… — пробормотал извозчик. — Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.
Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.
«Остаться бы здесь на весь отпуск, — подумал Кузьмин. — От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».
— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.
Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, — сообразил извозчик. — А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».
— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. — Нанялась тесто месить!
«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью, — подумал Кузьмин. — Почему Башилов — его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!»
Башилов был высокий, насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возразить. Но высмеивал хитро — намеками, шутками, — и высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.
За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».
Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.
— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.
— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.
— Я топограф, — ответил Кузьмин. — А топографы по натуре — те же художники.
— Почему?
— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.
— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».
— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.
— Чему завидуете?
Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.
— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке.
— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.
— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?
— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.
— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».
— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.
— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — все! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!
Он встал и протянул Кузьмину руку:
— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.
«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:
— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань…
— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».
Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.
Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел о том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.
«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.
Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто не дал бы ему больше тридцати лет.
Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.
Пролетка остановилась около дома с мезонином.
— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.
Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.
— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.
Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было попрежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.
— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.
Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:
— Кто такие? Чего надо?
Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.
— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждем.
— Не ждете, а дождались!
Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.
— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.
Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.
— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, — у нас по ночам огня нету.
Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, помурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.
За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.
— Пожалуйте, — сказала женщина.
Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом.
Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.
— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.
— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.
— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.
Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое бывает всегда, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?
На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так здесь все старомодно, знакомо и давно позабыто.

Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться тут и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока. И черная женская маленькая шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за газонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините, — сказала женщина и протянула Кузьмину руку. — Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим! — сказала она. — Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно, — сказала женщина. — Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закурила, на лицо ей упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша, — сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери. — Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин, — Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что… о вашем муже.

— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. — Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Не торопитесь, — просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. — Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок, — сказала из соседней комнаты Марфа, — перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до рассвета.

— Это правда, — подтвердила Ольга Андреевна. — Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?

— Вот этого я не знаю, — улыбнулся Кузьмин.
— Тимофей их привез, — сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой. — Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.
Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.
Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старинные чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар. Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», — подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже не нужно здесь и неинтересно. В конце концов, Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:
— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, — я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.
— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.
— Что хорошо?
Кузьмин покраснел.
— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, — строго, подавшись вперед, ожидая ответа.
Но Кузьмин молчал.
— Но все же, что хорошо? — опять спросила она.
— Как вам сказать, — ответил, раздумывая, Кузьмин. — Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?
— Не очень, — ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.
— Как бы вам объяснить, — сказал Кузьмин, сердясь на себя. — С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес и воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.
Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.
— Я в жизни, — сказал Кузьмин и покраснел, как обычно краснел, когда ему случалось говорить о себе, — всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.
— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.
— Да!
Ольга Андреевна опустила глаза.
— Почему? — спросила она.
— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.
— Какой? — спросила Ольга Андреевна.
Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход, — продолжал Кузьмин. — Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.
— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.
— Так… — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо.
Он замолчал.
— Что же вы? Говорите!
— О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.
— Обо всем, — ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов. — О чем хотите, — добавила она. — Хотя все это немного странно.
Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.
— Что странно? — спросил Кузьмин.
— Все дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась. — Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор, — разве это не странно?
Кузьмин смущенно молчал.
В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.
— Ну, что ж, — как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. — Вот и гудок!
Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.
— Погодите, — сказала она спокойно. — Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.
Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.
Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.
Они вышли, молча пошли по темной улице.
— Скоро рассвет, — сказала Ольга Андреевна.
Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.
— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.
— Нет, не зря, — коротко ответила Ольга Андреевна.
Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.
В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцвели и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.
В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождевые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.
— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.
— Идите сюда!
Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.
— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.
Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.
На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз,

когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.
— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.
Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее и в его жизни?
Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же самый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.
Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно…»
Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.
Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.
Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.

Телеграмма

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.
Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.
Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.
По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.
Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же; комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его «Незнакомке в бархатной шубке».
Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.
В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.
Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.
А в селе — называлось оно Заборье — никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.
Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.
Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.
— На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. — Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.
— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала все и уходила.
Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.
Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:
— Работа натуральная!
Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:
— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?
Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.
— Ну, что ж, — говорил он, не дождавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.
— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой!
Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.
Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и черные листья.
Настя, ее дочь и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.
Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так неслышно, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.
Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.
Василий уходил, и Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.
Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.
Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.
Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.
Около калитки Катерина Петровна тихо спросила;
— Кто стучит? — Но за забором никто не ответил. — Должно быть, почудилось, — сказала Катерина Петровна и побрела назад.
Она задохлась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотущкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот, — да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно, одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, — решила прочесть после работы. Письма от Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, — сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл ей сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь, — буркнул Тимофеев. — В шубе и то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. — Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя.

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев. — Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя, — попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор. — Да нет, не туда. Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, начал греть руки и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что? — спросил Тимофеев. — Серьезный дядя, да?

— Замечательно! — с трудом ответила Настя. — Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно, — повторил он. — Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит, конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. — Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все — о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился. — Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе, — сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала. — Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя, — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. — Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы не стоят медного гроша, что они наиграны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будушей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он. — Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев. — Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу! Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все «же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла: «Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда она только заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».
Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.
— В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить и в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.
Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.
Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.
— Что? — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. — Ничего неприятного?
— Нет, — ответила Настя. — Это так… От одной знакомой…
— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.
Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? — подумала она. — Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».
Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»
Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.
Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.
«Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. — Ненаглядная!»
Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.
Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.
— Поздно! Маму я уже не увижу, — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».
Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.
«Что ж это, мама? Что? — думала она, ничего не видя. — Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».
Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.
Она опоздала. Билетов уже не было.
Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.
Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.
— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.
— Ничего, — ответила Настя. — У меня мама…
Настя повернулась и быстро пошла к выходу.
— Куда вы? — крикнула кассирша. — Сразу надо было сказать. Подождите минуту.
В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.
Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:
— Бабка? А бабка? Ты живая?
Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.
В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала, — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.
Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.
— Что, Тиша? — бессильно спросила Катерина Петровна.
— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит, и ей будет способнее ехать.
— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.
— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. — Кому, как не ей.
Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.
— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.
Но Катерина Петровна не взяла ее, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.
— Прочти, — сказала Манюшка хрипло. — Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.
Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».
— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна. — Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.
Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.
Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила его в комнату Катерины Петровны.
Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо, — Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.
— Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, — сказал он сердито Манюшке, — за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.
Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.
На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и смотрела не мигая перед собой.
Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.
По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.
— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.
Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у

учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.
Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.
Учительница, наконец, решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:
— Одинокая, должно быть, была эта старушка?
— И-и, милаая, — тотчас запела Матрена, — почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.
На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в иссохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.
За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.
Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон, Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную, темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла уже давным-давно.
В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.
Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

Николай Вирта

Вечерние тени

День был жаркий, грозовые тучи, густые и мрачные, собирались то здесь, то там, молнии прорезали их, вдали рокотали громы, и глухо шумел лес.
Гнетуше-тяжелая предгрозовая духота раздражала Мартына. Он тосковал и сердился на себя. Он и сам не знал, зачем ему надо было приезжать в места, где когда-то в кругу друзей он проводил беззаботные, легкие часы. Друзей давно уже не было здесь: война поразбросала их по разным краям, и чужие, незнакомые люди жили в их домах.
В речушке, попавшейся на пути, Мартын нашел глубокий бочажок и выкупался, но и это не подбодрило его. Ворона села на березовую ветвь и угрюмо, косым взглядом смотрела на Мартына. Он крикнул на ворону, она повела шеей и улетела с сердитым карканьем, словно предвещая недоброе человеку, нарушившему ее покой.
Мартын вылез из бочажка. В воде отражались все те же черные клубящиеся тучи, выползающие на небо, но они уплывали в бесконечность, не подарив земле ни капли влаги. К вечеру небо очистилось, улеглись порывы ветра и солнце, медленно скользя к черте горизонта, ласкало землю теплыми лучами.
Выйдя из леса и увидев чистые небеса и изгиб шоссе, залитый мягким вечерним светом, Мартын успокоился.

Добрый, простой мир лежал перед ним. Белую закругленную линию шоссе на всем протяжении до самого моста через речку сопровождали могучие сосны. Шоссе шло вдоль пологого оврага; весь склон его до ручья был засеян овсами. На противоположном скате рос картофель и виднелась яркая зелень свеклы, а дальше, за желтым квадратом ржаного поля, раскинулся поселок — тот самый, который Мартын так старательно обходил. Он подошел к нему с противоположного края; здесь он никогда не бывал.

Овраг кончился в лесу. Последние лучи солнца положили тени деревьев на овсы и картофель, а один луч — длинный и узкий — пробился сквозь ряды сосен и разрезал поле светлой межой.

Ребятишки возились внизу, в ручье; блеяла коза, привязанная в лесу; щенок тявкал в поселке… И Мартыну показалось, что он уже читал когда-то описание этого места. Здесь жизнь, вспомнилось ему, идет плавно, как плавно стелются поля, как плавно и безмятежно льется речка среди отлогих, тихих берегов…

Он лег на траву около придорожной сосны и устремил взгляд в бледно-голубое небо, где виднелся прозрачный серп месяца. Деревья стояли неподвижно, возвышаясь над всем видимым миром. Легкое, белоснежное облачко проплыло над вершиной сосны и исчезло, словно растаяло в бесконечном просторе неба; ветерок на миг прошелестел в ветвях и тут же замер.

Четыре года Мартын пробыл в походах, в чужих краях. Часто представлял он себе там родимые места; часто так же, как вот теперь, лежал, глядя в небо и силясь вообразить, что он там, где все ему привычно и любо. И всегда какая-нибудь ничтожная деталь возвращала его к действительности: то окажется, что лес растет на мшистом ложе, чего никогда не видел он у себя, то через ручей, такой похожий на множество ему подобных дома, перекинут мостик совсем другой формы.

Теперь перед ним было то, к чему он стремился всей душой, что дорого и свято и что стало еще более дорогим и святым после этих лет войны, потому что во имя этого пролита кровь тех, кого Мартын никогда уже не встретит, никогда не найдет.

Узкая полоса вечернего света переместилась и легла около Мартына, он мог дотянуться до нее. Все его тело покрывали тени деревьев, а рука, загоревшая под солнцем многих стран, была освещена. Потом солнечный луч, подобно лучу прожектора, переместился еще ближе к Мартыну, коснулся его головы, и он полежал еще несколько минут, согреваемый кротким светом вечера.

Когда луч уполз дальше к шоссе, Мартын встал и направился к поселку. Солнечный луч как бы снял с него всю тяжесть дня; ничто не теснило сердце, и он шагал к поселку бодрым солдатским шагом, как бывало, с кителем, накинутым на плечи, с открытым воротом рубашки.

У дома, где некогда жили его приятели и где жила Варя, он замедлил шаг.

В глубине садика, около веранды, в плетеном соломенном кресле сидела молодая женщина в пестром платье; она вязала. Мартын, услышав пощелкивание длинных спиц, остановился у изгороди, увидел гамак и столик, окрашенный в зеленый цвет, и самовар на столе у веранды.

Все как было, все знакомо, кроме этой молодой белокурой женщины в пестром платье… А так, войди сюда, сбрось китель, сядь на траву, повремени несколько минут — и кто-нибудь из обитателей выйдет, улыбнется, крикнет в открытую дверь: «Мартын приехал!» В доме начнется суета, Варя вынесет скатерть и, холодно кивнув Мартыну, скажет: «Что-то вас давно не было, майор!»

Мартын вздохнул, закрыл на миг глаза и услышал, что его окликают: женщина спрашивала, кто ему нужен.

— Не найдется ли у вас стакана молока? — сказал Мартын.

— Входите! Калитка справа от вас.

Мартын, просунув руку в щель между штакетником, нащупал вертушку и открыл калитку.

— О! — вежливо улыбнулась женщина. — Вы знаете тайну нашей калитки!.. — Она вопросительно посмотрела на него.

— Да, — рассеянно ответил Мартын, — я тут бывал… Часто бывал когда-то… — Он осмотрел вертушку. — Я сам прибивал эту штуку. Прежние хозяева были люди нерадивые, калитка у них вечно была настежь.

— Вы знали Ремневых?
— Знал.
Женщина снова улыбнулась, на этот раз не только отдавая дань вежливости, но и приветливо.
— Очень рада! — проговорила она. — Я сейчас принесу молока, — и поднялась, оставив вязанье.
— Что это вы вяжете? — спросил Мартын, разглядывая ее работу.
— Матери к зиме.
— Хорошо, мастерица вы. Вы уж простите меня за вторжение.
— Нет, нет, что вы! А я, признаться, удивилась: стоит военный, рассматривает дом, словно хочет снять дачу…
— Разве вы сдаете дачу?
— Нет, я так, к слову… А впрочем, что ж это я?! — И, заторопившись, женщина ушла.
Мартын надел китель, провел гребнем по волосам, опустился в кресло. Рядом лежали маленькая белая шапка и деревянная рапира. Мартын повертел ее в руках, усмехнулся. Женщина вошла с кувшином и блюдом, на котором лежал хлеб.
— Это Мишина рапира, — сказала она, — моего старшего. Играют в рыцарей, крестоносцев вспомнили, госпитальеров каких-то. Ходят с исцарапанными носами! Сейчас должны прийти, купаются. Садитесь! Молоко свежее, мама только что подоила корову.
Мартын крепко посолил хлеб, налил молока в стакан и начал есть. Женщина снова принялась вязать, изредка поглядывая на Мартына.
— Вы как-то очень аппетитно кушаете, — и светлая улыбка озарила ее неправильное миловидное лицо. — Вы мне напомнили мужа: он тоже так ел — как-то особенно вкусно.
Мартын хотел спросить, почему она вспомнила о муже в прошедшем времени, но удержался. Женщина поняла невысказанную мысль:
— Он был железнодорожником, начальником службы тяги. А погиб под Смоленском, в самые первые дни. Бомба попала в поезд… — Глаза ее затуманились. — Много их погибло. И старик Ремнев, Иван Ильич, тоже погиб.
Они долго молчали.
— Я не знал, что он погиб, — голос Мартына прозвучал глухо. — Жаль… Могучий и хороший был человек.
— Да, собирался прожить до ста лет, — женщина вздохнула.
Мартын отставил стакан.
— Вы не стесняйтесь. У нас хорошая корова, молока хватает. — Женщина поднялась, чтобы наполнить стакан.
Мартын предупредил ее:
— Не беспокойтесь, я сам. — Он внимательно смотрел на струю молока, мягко льющуюся из кувшина. — А эту дачу, — сказал он потом, — вы ее купили или как?
— Наш дом сожгли. Тут упало много зажигалок… И дом Васиных сожгли, и Мячиковых. Вы их, вероятно, знали: они ведь дружили с Ремневыми.
— Да, да!..
— Ремневы уехали в Сибирь, а меня попросили пожить у них. Потом они там остались, а я им написала, что куплю, если в рассрочку… Понемногу плачу, они не торопят.
Мартын отхлебнул молока и задумался. Вот как: отца Вари нет в живых, а Варя в Сибири, сюда уже никогда не вернется, дачу продали…
— Где же они живут?
— Где-то под Омском. Варенька там вышла замуж, двое детишек у нее. Вы ее, конечно, знали?
— Знал, — коротко ответил Мартын, сдерживая вздох.
Мир перестал ему казаться теплым и добрым: снова лишь чужое окружало его. И этот зеленый стол новый… Тот вечно качался на единственной ножке в центре; и гамак слишком нов; и дом, где было ему так весело и уютно, хмуро, исподлобья смотрит на него, как бы спрашивая: «Зачем ты тут? Чего тебе надо? Тут даже трава вырастала шесть раз после того, как ты в последний раз ходил здесь…»

— …И уж бог ее знает, как она нашла человека по себе, — донеслись до него слова женщины. — Холодная была девушка, дерзкая. А вот поди ж ты! Всему свой срок, каждому человеку.
— Да, — с угрюмой усмешкой отозвался Мартын, чувствуя, как сердце его снова наполняется раздражением. — Долго она искала. Ну что ж, не завидую тому человеку! — добавил он сухо.
Женщина не ответила.
Мартын отставил недопитый стакан.
— Можно закурить? — спросил он.
— Да, конечно… А что же молоко?
— Спасибо, я уже сыт.
— Такой крупный человек — и так мало ест! — Женщина покачала головой. — А я-то думала, вам и кувшина мало.
Мартын невесело рассмеялся.
— Нервы, — прибавила женщина, — все стали нервные, оттого и мало кушают.
— Возможно.
Мартыну хотелось поскорее уйти, остаться одному со своей горечью.
— Простите, — сказал он, — сколько я вам…
— Что вы! — отмахнулась женщина. — И как вам не стыдно?! Ведь не чужие мы люди, — сказала она просто. — Посидите, поезд в город пойдет почти через час. Вам ведь в город?
— Да.
— Жарко там, душно, ужас! Вы там служите?
— С завтрашнего дня начну.
Завтрашний день среди четырех стен, в духоте, за бумагами ему, привыкшему к свободе и просторам, казался невозможным. Мартын и не думал о нем. Это завтра, а сегодня последние часы отпуска он проведет сам с собой.
— А Варенька, — как бы мимоходом проговорила женщина, — приезжала сюда этой весной.
— А-а! — отозвался Мартын, стараясь казаться безразличным к этому сообщению.
— И, знаете, я не узнала ее, право. Такая бойкая, такая добрая! Видно, время пообточило углы. Между прочим, — женщина искоса посмотрела на Мартына, — все спрашивала, не заходил ли сюда майор Кравченко, не оставлял ли записки.
— Да? — тем же тоном деланного безразличия произнес Мартын и притворно зевнул: — Кто же он, этот майор?
— Не знаю. Друг или знакомый. Велела, если зайдет, дать их адрес, попросить написать им. «Все, — говорила, — вспоминают о нем, весь дом. Не знают, что с ним, очень беспокоятся…» Выходит, друг.
Вечерние краски сгущались, все вокруг растворилось в сумерках, прохладой потянуло из оврага. Лишь желтый квадрат ржаного поля еще оставался ярко освещенным; на него упала тень сосны, одиноко стоящей среди поля, — резкая тень, похожая на силуэт, вырезанный из черной бумаги и наклеенный на желтый фон.
— Вы не беспокоитесь за ребятишек? — спросил Мартын. — Что-то их долго нет.
— Ничего с ними не будет. Я, знаете, не из тех, что дрожат над детьми каждую секунду, как клуша над цыплятами. Да, право, — угадав недоумение Мартына, добавила она, — ведь я еще не записалась в старухи.
— Рано записываться! — откровенно рассмеявшись, проговорил Мартын.
— Они у меня растут свободно, я их не тормошу.
— Без отца все-таки плохо?
— Да, конечно, мужчина в доме — важная фигура, — с улыбкой сказала она и уже серьезно добавила: — Особенно когда растут мальчики.
— У вас их сколько же?
— Двое: одному — пять, другому — семь. Хорошие ребятишки. Бабушка содержит их в большой строгости. Моей маме, знаете, под семьдесят, а она работает за трех мужчин. Ее тут кругом зовут железобетонной. Вот уж верно!.. Да вот она сама.
Маленькая, худенькая старушка подала Мартыну сухую, узкую, темно-коричневую руку.

— Варенька, — сказала она, — что же это наши пострелята? Ужинать бы пора. — Она приложила ладонь к глазам и без стеснения рассмотрела Мартына. — Вы, батюшка, отужинаете с нами?
— Нет, спасибо, — заторопился Мартын, — я уж и без того надоел вашей дочери.
— Да что вы, какое! Она у меня охотница поговорить, право. Охотница, а не с кем, соседство у нас скучное-прескучное, все молчком. Дюжий-то вы какой, большой-то какой, боже мой!
Мартын и Варя весело рассмеялись.
— Так я, батюшка, и вам уж тарелочку поставлю. Не обессудьте, чем богаты! — Старушка ушла в дом.
— Видели? — спросила Варя. — Ни единой седой волосинки.
— Значит, и вас зовут Варей?
— Да. Так вот о Варе… Вы сказали: зачем ей нужен тот майор? Видите: вот там тень на поле? Каждый вечер она появляется на этом месте в свой час и уходит… Так и человек: он всегда появляется в памяти в свой час.
— Да, — задумчиво сказал Мартын, — это так. Но ведь это вечерняя тень, только и всего.
— И тень дорога, если к ней привыкнешь. Этот майор, вероятно, забыл уже Варю. А мы помним тех, кто нас любил. Долго помним!
— Никого он не забыл, тот майор! — вырвалось у Мартына.
Варя снова искоса посмотрела на него.
— Тем более, — сказала она, — тем более он дорог ей. Должно быть, она это знает.
— Не может она этого знать. Да и какое ей дело: забыл, не забыл? — Раздражение снова охватило Мартына.
— Нет, она знает, ее сердце знает! — твердила Варя. — Сердце все знает…
В сад вошли дети — светловолосые курчавые мальчики, поразительно похожие на мать, с такими же миловидными неправильными чертами лица, коричневые и стройные.
— А вот и мои мужчины! — весело сказала Варя. — Ну, ЧТО ж мы молчим?
Мальчики с нескрываемым любопытством рассматривали Мартына.
— Здравствуйте! — хором сказали они.
— Здравствуйте, — ответил Мартын, — здравствуйте, друзья!
После недолгого молчания младший спросил:
— Эта крайняя ленточка у вас за Кенигсберг, Верно?
— Верно.
— У вас одиннадцать ленточек, ого-го!
— А машина у вас есть? — спросил старший.
— Нет, машины у меня нет.
— Э-э! — разочарованно протянули дети.
— Ладно, — сказала мать, — вымойте ноги да ужинать. Вас ждем.
— До свидания! — хором выкрикнули мальчики и зашагали к дому, оглядываясь на Мартына.
— Хорошие ребятишки!
— Знают все марки машин, все ордена, как полагается. Ничего, не лентяи… Да ведь у нашей бабушки не очень-то поленишься: сама любит работать и другим спуску не дает.
— Хорошая у вас семья, Варвара…
— Антоновна… А ведь вас Мартыном Петровичем зовут?
— Откуда вы знаете? — вспыхнул Мартын.
— Да ведь вы и есть тот майор… — лукаво сказала Варя. — Я это тотчас сообразила. Как вы стояли, как рассматривали дом.
Мартын от смущения не знал, что сказать.
— Нет, вы должны им написать. Они вас тоже любят и будут очень рады, что вы нашлись, право. Дать вам их адрес?
— Потом…
Они помолчали.
Квадратное ржаное поле, слабо освещенное догоравшим закатом, еще резко выделялось на сумеречном фоне. Но вот потух последний отблеск солнца, и от поля осталось лишь неровное, блеклое пятно.

— Вот и все! — с печалью проговорил Мартын. — Вот и нет тени.
— Но она будет завтра, я же сказала вам.
— Страшно, если человек остается в сознании другого только как тень, правда?
— Но вон та сосна, которая каждый вечер бросает тень на рожь, она живет и днем, — возразила Варя.
— Что вы хотите этим сказать? — с любопытством спросил Мартын.
— Я хочу сказать, что в сознании другого можно оставаться не только тенью…
— Да, это так, — проговорил Мартын, — это так…
— Я думаю, — тихо сказала Варя, — самое важное в жизни — сохранить привязанность к людям. Если они, конечно, заслуживают этого, — прибавила она. — Что может быть дороже старых друзей?!
Дом, исподлобья посматривавший на Мартына, будто улыбнулся ему, словно говоря: «Я тебя знаю. Ты был моим другом. Я знаю, как тебе было хорошо здесь всегда. Ушли те люди, а мы с тобой старые друзья! Дух дружбы, брат, не выветрился за эти годы! Забудь о тенях. Дружба живет всегда, помни это, помни!»
— Ужин готов, — донесся до них голос бабушки.
— Ужинать, мама! — сказали дети, они стояли в окне рядом.
Во время ужина Мартын не успевал отвечать на вопросы детей, задаваемые вразбивку и хором. Потом он попрощался с детьми и с бабушкой… Варя провожала его до оврага, шли они молча; вечер был теплый и тихий, сильно пахло скошенным сеном от стогов на лугу. У спуска в овраг Варя сказала, что должна идти домой, надо уложить детей, приготовить все к утру: она уезжает в город.
— Вы служите? — спросил Мартын.
— В Тимирязевской академии. Мы с Ремневой Варей кончали вместе. До свидания! — Она подала ему руку.
— До свидания.
— Но вы забыли адрес Ремневых, — вспомнила Варя. — Хотите, я схожу? Я быстро…
— Не надо. По крайней мере у меня будет предлог, чтобы побывать у вас еще раз.
Варя рассмеялась и ушла.
А Мартын шел по белому шоссе мимо величавых сосен и вспоминал то, что сказал ему старый дом: «Забудь о тенях и помни: дух дружбы живет всегда. Помни это, помни!»

Валентин Овечкин

Рекорды и урожай

— А в нашем районе золотой звездочки за урожайность никто не получил, хотя кандидаты были. Ну — и к лучшему. Мы очень опасались, что Степаниду Грачеву наградят. Район ее выдвигал. Нет, разобрались-таки там, повыше… Заслуженного человека не отметить — это плохо, конечно, но еще хуже — не по заслугам прославить. Думаете — ему только вред, тому человеку? Возгордится, зазнается? Нет, и нам, другим прочим, — не в пользу. А почему — сейчас поясню.
Я в этом районе родился и вырос. До войны семь лет работал председателем колхоза и, как вернулся по ранению в сорок четвертом, опять заступил в тот же колхоз. Сколько секретарей райкома при мне сменилось — всех помню и могу про каждого рассказать, кто как руководил. И Федора Марковича, нынешнего секретаря, давно знаю. Так себе, не очень дельный работник. Шуму, крику много, а толку мало. Но пыль в глаза пустить умеет. Так вот я и говорю: пока у нас в райкоме Федор Маркович — пусть лучше звездочку никому не дают. И про себя бы так сказал, если б заслужил: не надо, воздержитесь, а то тут из меня святые мощи сделают.

Эта Степанида Грачева — из колхоза «Первое мая». Недалеко, пять километров от нас, соседний хутор. Мы с первомайцами соревнуемся, часто приходится мне бывать у них, так что знаю я там весь народ и все порядки ихние. Когда-то она была скромная женщина, Степанида, и по работе ничего неправильного за нею не замечалось, не жаловались на нее люди, а как получила на Всесоюзной выставке медаль за свеклу да потом еще дважды наградили ее — испортилась характером. Сама, видно, некрепко на ногах стояла, а тут ее еще и подтолкнули.

Эти награды, я скажу, на разных людей по-разному действуют. Был и у нас в колхозе бригадир-орденоносец, Иван Кузьмич Черноусов. За пшеницу получил орден «Знак Почета». Так наш Кузьмич, когда приехал из Москвы с кремлевского совещания, — сам не свой ходил по селу. Захворал от думок. Зима стояла морозная, а снегу выпало мало, за озимые тревожились, и весна была сухая, ветреная. «Что, говорит, как не возьму по двадцать пять центнеров? Я же обещание дал». Сны ему страшные снились. Будто вызывают его опять в Москву, в Кремль, и на таком же собрании, при, всем честном народе, отбирают орден. Аж в уборочную повеселел, когда пошло зерно на весы: по двадцать семь центнеров взял… Погиб под Кенигсбергом.

И Степанида брала новые обязательства после своих орденов. В тридцать девятом году по семьсот центнеров свеклы накопала. Это все правильно, так и полагается — не стоять на месте, а двигаться вперед. Только надо не забывать, для кого и для чего твои рекорды нужны. Если район сеет сахарной свеклы, скажем, тысячу гектаров, а у тебя в звене три гектара, — это же капля в море. Ты одна своим сахаром государство не накормишь. Надо работать так, чтоб и другие прочие могли твой опыт перенять.

Оно, знаете, не только в сельском хозяйстве бывает неверное понятие о рекордах. Лежал со мною в госпитале в Саратове один танкист, шахтер из Донбасса. Много мы с ним говорили о жизни. Я ему про колхозы рассказывал, он мне про Донбасс. И хорошее вспоминали и плохое. Вот он говорит: «Бывало у нас еще и так. Вся шахта выполняет план процентов на восемьдесят, положение незавидное, прорыв, а начальство готовит к открытию партийной конференции или к какому-нибудь празднику тысячный рекорд. Создадут одному стахановцу такие условия, каких другие и во сне не видят, приставят к нему целый взвод помощников, он и отвалит тысяч пять процентов нормы. Шуму потом вокруг этого рекорда — больше чем нужно. А пользы, если разобраться, — ни на грош. Во-первых, стахановца, хорошего человека развращают. Во-вторых, вызывают недовольство у рабочих — рабочие-то знают, как было дело. А в-третьих, сами руководители не тем, чем нужно, занимаются, не туда свою энергию направляют, куда следовало бы направить». Слушал я этого шахтера и думал: точь-в-точь как у нас в районе со Степанидой Грачевой.

Район наш и до войны был средненький. Областную сводку в газете посмотришь: если не на середке болтаемся, так в хвосте плетемся. Сеяли не в срок, с сорняками плохо боролись, уборку затягивали. Бывало, едет Федор Маркович в область с отчетом, а мы все переживаем за него: вернется ли назад секретарем или, может, не только без портфеля, а и без партбилета приедет домой? От хлебозаготовок до хлебозаготовок жил человек, под страхом божьим, как говорится. Да и сейчас так живет. Оно ж это все, и поздний сев и плохая уборка, все потом боком выходит на хлебопоставках. Надо правду сказать — район-то наш тяжелый. Большой район, земли много, и земли разные: там болота, там пески, в одном месте осушать надо, в другом поливать, что в одном колхозе родит хорошо, то в другом не родит. Но все ж таки, если внимательно к каждому колхозу подойти и правильно народом руководить — можно хорошей урожайности добиться. Только надо подальше вперед смотреть, за несколько лет вперед. Мелиорацию сделать, землю в порядок привести, севообороты наладить — это не одного дня работа. А Федора Марковича как вызовут в обком с отчетом, так — выговор ему. В другой раз — строгий с предупреждением, в третий — с последним предупреждением. Куда ж ему вперед смотреть? Еще раз едет, думаем: ну, все, отслужил! Нет, опять с выговора начинают.

Вот он, наш Федор Маркович, должно быть, и решил от такой беспокойной жизни хоть отдельными рекордами прикрыть грехи. Понял, в чем тут ему выгода. Хоть упомянут в газете, откуда она родом, та прославленная звеньевая, из какого района, и то ему — отдушина. Как приедет в колхоз «Первое мая», одно твердит председателю — о звене Степаниды Грачевой, чтоб помогали им всячески. В «Завет Ильича» приедет, идет к

звеньевой Марине Кузнецовой, — тоже орденом ее наградили, — только с ней и разговаривает — будто больше в колхозах и людей нет, и дела нет другого, и никаких других культур, кроме сахарной свеклы, не сеем мы.
Помогать таким людям, конечно, нужно. И я нашему Черноусову помогал больше, чем другим бригадирам. Чтоб уверовали колхозники, какую урожайность можно взять от нашей земли, если сделать все, что наука советует. Но можно так «помочь», что тот человек, ежели здравого рассуждения не потерял, и сам после не скажет тебе спасибо за твою помощь. Если несколько лет изо дня в день хвалить да хвалить человека и ни слова не сказать ему об ошибках, недоделках, о том, что жизнь наша не стоит на месте, что все у нас растет и расширяется, а стало быть, и обязанности наши расширяются, — и стахановец может закостенеть душою.
Что такое есть соревнование в колхозах? Это значит — каждый человек хочет лучше других свою работу выполнить, хочет свое лицо показать. Стало быть, надо всем давать простор. Если ты передовик — подтягивай отстающих, это самое главное. Если изобрел что-нибудь новое — всем расскажи и помоги твой опыт перенять. А так жить, как раньше жили единоличники — лишь бы мне было хорошо, а у соседа хоть пожаром гори, — так нельзя, это не по-колхозному… Был у нас когда-то на хуторе «культурный хозяин» Игнат Бугров. Опытное поле держал, чистосортные семена выводил, новые культуры сеял, а ни бубочкой ни с кем не поделялся. Завел тонкошерстных овец рамбулье, — тогда они у нас еще в редкость были, — ни одной ярочки мужикам на племя не продал, только валашков продавал, на убой. Зайдешь, бывало, к нему в сад — ветки ломятся от фруктов, сливы, абрикосы — в кулак величиной; сорвет одну-две, угостит, а косточки — отдай. Арбуз гостям разрежет — все семечки соберет и в мешочек спрячет — чтоб не унесли. Ну, нам сейчас такой обычай ни к чему.
Я считаю, если б правильно была поставлена у нас работа со стахановскими звеньями, то их в районе бы уже сотни были. А то ведь как получается, хотя бы с той же сахарной свеклой; у Грачевой урожайность из года в год шестьсот-семьсот центнеров, а в колхозе — сто двадцать, сто. А по району в среднем посчитать — и того меньше. Будто ножом отрезано — это рекордных звеньев участки, а это — других прочих. Отчего такая разница? Оттого, что не всерьез взялись за дело, а лишь для вывески, для показа. Чтоб и у нас было на вид, как у людей: есть, мол, в районе электростанция, есть кино, футбольная команда, еще есть то-то и то-то, и знатных стахановцев имеем полдесятка, или сколько там положено их иметь. Оно-то никем ничего не положено, никто тут нормы нам не устанавливал, но знаете же, как бывает, если формально к делу подойти…
На Грачеву сейчас просто жалко смотреть, как вспомнишь, какой она была. И жалко, и досадно, что человека испортили. Не так на нее досадно, как на руководителей районных. Была простая тетка, колхозница, боевая баба, беспокойная, вожак настоящий, а стала — чиновница. Она-то и сейчас боевая на язык, никому спуску не даст, затронь только, председатель колхоза как огня ее боится, но уже не туда она гнет. Свою выгоду лишь защищает.
Как прославили ее знатной стахановкой, мастером высоких урожаев, как зачастили к ней писатели, киносъемщики, академики — у нее и закружилась голова. Стала поглядывать на людей свысока. Вот тут бы ее и поправить с самого начала, невзирая на ее заслуги. Так куда там нашим догадаться! Сверху раз похвалят, а они десять раз повторят. Назвали клуб в селе именем Грачевой, школу, в которой она когда-то училась, назвали ее именем, портретов с нее всюду понавешали, с такими надписями, будто на памятнике: «Вечная слава ударнице полей!», «Гордость нашего района» и так далее. Додумались даже — прикрепили к ней секретаря, одну ученицу из десятилетки, чтоб писала за нее статьи в газеты, на письма отвечала и приезжих принимала, когда ей некогда. Звеньевая с личным секретарем — как председатель облисполкома! И она быстро этак вошла во вкус. Поставила в прихожей диван, графин с водой — вроде как приемная, а горница — то ее кабинет. Придут к ней люди — по двое-трое в горницу не пускает, пока с одним разговаривает, те сидят в приемной, очереди ожидают. Откуда она этого набралась? Побывала в области на слетах, походила там по учреждениям — оттуда, что ли, переняла? Телефон к ней на квартиру провели. Если нужно чего из района передать в колхоз, звонят ей, только с нею и советуются, ее спрашивают о положении в колхозе, через нее и все распоряжения делают, а

она уже председателю их передает. Короче сказать — возомнила она себя первым человеком в колхозе и так стала командовать председателем, будто весь колхоз только для того и существует, чтобы на ее рекорды работать. Не она, с ее рекордами, для колхоза, а колхоз для нее.
Нужно ей, скажем, лишний раз прополоть свеклу — председатель, по ее приказанию, снимает людей с других работ и посылает к ней на помощь. Напали вредители на плантацию, надо быстро борьбу с ними провести — опять из других бригад и звеньев у нее люди работают, хотя в тех бригадах тоже свои посевы есть и такие же вредители их портят. Так то считается — рядовой посев, а у нее — показательный! Если подсчитать трудодни, хотя бы за прошлый год, во сколько обошлась обработка ее плантации, так там только половина трудодней ее звена, а половина — приходящих колхозников. Это уже нехорошо, нечестно. Так же и минеральные удобрения, и тягло, и все прочее — все ей идет в первую очередь. Но другие звенья тоже ведь не отказались бы лишний раз подкормить, прокультивировать?.. И Федор Маркович смотрит на все это сквозь пальцы. И ее самое совесть не мучает. Потому что — успокоилась.
А этого сейчас уже недостаточно — показывать колхозникам рекорды с малой площади. Этому они уже верят — что земля наша способна вдвое, втрое больше родить. И про тысячу центнеров свеклы с гектара слыхали и про семьсот пудов кукурузы слыхали, читали. Разве только лишь какой-нибудь столетний дед станет возражать против науки. Теперь надо такую агротехнику показывать, чтобы всякому звену была доступна. Расширять надо дело, не успокаиваться.
Вот она едет, Степанида Грачева, на слет стахановцев в район или в область и знает наперед, что выберут ее там в президиум, посадят на самое почетное место, все пойдет чинно, гладко, все ораторы будут о ней говорить, хвалить ее. И больше ничего не ожидает. А если бы ее там спросили вдруг: «Как же так, Степанида Ивановна, получается, такой большой опыт накопила ты по сахарной свекле и терпишь, что рядом с тобой у других прочих по сто, по восемьдесят центнеров выходит? Не болит оно разве тебе?» Нет, об этом ее не спрашивают. А надо бы спросить. Надо прямо ей сказать: «Не идут к тебе люди за опытом — призадумайся, почему так получается? Может, сама виновата, оторвалась от массы? Зазнайством своим отпугнула от себя людей? К тебе не идут — ты пойди к ним, поправь ошибку, покажи, научи, поругай кого нужно за неторопливость, но добейся, чтобы все по-твоему стали работать. Что ж ты думаешь — из года в год брать свои рекорды на трех гектарах и на этом покончить? Этим хочешь и славу свою оправдать? Да у нас сейчас, после этой войны, пол-России людей с чинами, орденами. Если б каждый подумал: ну, все, достиг своего — так и жизнь бы остановилась».
…Вот так мы здесь урожайность повышали. Каждый год одни и те же люди у нас славятся, одни и те же колхозы впереди идут, а кто до войны отставал, тот и сегодня отстает. Потому я и говорю, что если б присвоили Грачевой звание Героя — толку мало было бы. Пошумели бы лишний раз, и все.
А вот как дали мы нынче обязательство, какой урожай должны собрать в сорок седьмом году, — за весь район дали, за всю посевную площадь, и цифры назвали по всем культурам, и во всех газетах наше обязательство напечатали, — то теперь будем думать, как его выполнить. И людей будем искать. Не на одного человека будем опираться, сотни таких передовиков найдем, что поведут за собой массу. А это вернее будет, когда вся масса поднимется. Это урожаем пахнет, а не рекордами.
Да вот еще — если бы обком больше внимания обращал на наш район. С Федором Марковичем, я считаю, надо так поступить: либо заменить его другим человеком, — первый секретарь райкома — это же первая голова в районе, самая умная голова! — либо как-то подбодрить его, дух поднять. Сказать ему прямо: работай уверенно, не бойся, что снимут тебя, не поглядывай за ворота. Будешь проводить тут посевные и уборочные до старости, пока и внуков поженишь. Ремонтируй дом, который тебе дали, садик сажай, по-хозяйски; в общем — устраивайся. И в колхозах наводи порядок по-хозяйски. Не на день и не на два, а на годы. Не заглаживай по верхам, лишь бы лоск показать, а глубже вникай в колхозную жизнь, коренные вопросы решай, мозгами в общем пошевеливай. Тогда, может, и он лучше станет работать. Может, тот же самый Федор Маркович совсем иначе дело поведет.

О людях «без стельки»

Будучи в командировке в одном сельском районе, я зашел в сапожную мастерскую райпромкомбината. Пока мастер подбивал к моему сапогу оторвавшуюся подметку, я сидел и слушал его жалобы на директора комбината. В мастерской работало человек десять сапожников. То, о чем начал говорить мой мастер, — звали его Мирон Иванович, — живо задевало всех. Речь шла о непорядках на производстве.
Райпромкомбинат в сельской местности — не бог весть какое колоссальное предприятие. Его так называемые цехи — это обычно кустарного типа мастерские с небольшим количеством рабочих. Но для своего района, при хорошей постановке работы, эти мастерские могут сделать многое — и колхозам помочь и добавить разных необходимых товаров в магазины для населения.
Об этом и рассуждал Мирон Иванович, приколачивая железными гвоздями подметку, чертыхаясь, когда концы гвоздей не загибались внутри на лапке — очень уж толсты были они.
— Нашего изделия… А замки наши вы не видели? Безопасные — никакой жулик не отомкнет. Сам хозяин с ключом не отомкнет. Защелкнул — навеки… Рашпиль тоже нашего производства. Вот полюбуйтесь, ежели понимаете. Разве можно им кожу зачистить? Насечка, как зубья у бороны. Не зачищает, а дерет. Делали — лишь бы поскорее план выполнить. А вот молоток. Стукнуть покрепче по железу — головка долой. Сами себя не можем хорошим инструментом обеспечить, что уж тут говорить о продукции, которую на продажу выпускаем!..
— А мне рассказывали другое о вашем комбинате. Хвалили как лучший райпромкомбинат в области.
— Э-э, товарищ дорогой, так то было в прошлом году, при старом директоре! Действительно, было чем похвалиться. Гремели на всю область. Переходящее знамя держали… Товарищ Сергеев был у нас — вот то директор! И каким, скажи, ветром занесло его сюда? Ленинградец, инженер. Воевал в наших краях, тут его ранило: вылечился в госпитале и остался у нас.
И сапожники наперебой стали рассказывать о Сергееве: как он руководил производством, как заботился о рабочих, как расширил и укрепил комбинат. До войны у них было всего три цеха, а Сергеев открыл еще десять новых цехов: и щетки делали, и хомуты, и мебель, и детские игрушки. Бумагу делали из соломы. Все инвалиды пошли работать к Сергееву, и слепым нашлась работа — веники вязали. Был в районе детдом — пятьдесят сирот погибших фронтовиков, — Сергеев взял всех ребят на полное обеспечение комбината, старших устроил учениками в мастерские. При нем райпромкомбинат занимался даже таким необычным делом, как восстановление разрушенных зданий, ремонтировал школы, больницы. Было у них большое подсобное хозяйство, давало много продуктов, рабочих кормили в столовой сытно и дешево.
— Работал он здесь, а мы дрожали за него: заберут его от нас! Орел! Ему высоко летать.
— Так и вышло. Два года всего пробыл здесь.
— Завод строит сейчас большой где-то в Донбассе…
— Станет, бывало, речь говорить на собрании — каждое слово тебе в душу вложит. Расскажет людям, что творится на белом свете, и к нашим делам подведет — для чего нужны, мол, наши ободья, хомуты: все для колхозов, для народного хозяйства. И мы, дескать, не последние винтики в государстве.
— Оно и работать веселее, когда пользу от своего дела сознаешь…
— Умел поднять дух рабочего человека.
— На таких руководителях земля наша стоит!..
— А теперь у нас директором товарищ Сергеенко, — продолжал Мирон Иванович. — На каблук косячок положить? А может, набойку? Тогда уж и на другой каблук придется положить, как это говорится, для… чего?
— Для симметрии.

— Вот, вот. Давайте сапог… Был товарищ Сергеев, теперь товарищ Сергеенко. По фамилии разница небольшая — Сергеев, Сергеенко, а по делу, как небо от земли! Зайдет в цех — здравствуй людям не скажет, будто и не замечает никого. Молчит, сопит, все вроде сердится на нас. А за что? За то, что сам неудалый? Хотя, как сказать — неудалый. На дело у него способностей нет, а так чего-нибудь скомбинировать — это он умеет. И скажи, какие люди есть! Ну, не можешь сам собственной головой ничего хорошего придумать, так хоть бы по готовому ладу вел. Как настроили до тебя, так и держи. Нет, и этого не может. Или не желает. Три цеха уже прикрыл. На которое производство нет приказа сверху, считает — лишняя обуза, надо его ликвидировать. Вот гвозди. Это при нем стали такие делать. Крупные гвозди скорее делать, чем мелочь, а ему лишь бы отчитаться по весу, что выполнил план. А что мы его клянем тут и что гвоздь этот подошву рвет, обувь губит заказчику — на это ему наплевать… Бондарный цех закрыл, а дом себе под квартиру приспособил. Не то чтобы жить ему негде было — имел квартиру хорошую, но не особняк. Посмотришь на его ухватку — ничто ему не болит наше! С подсобного хозяйства возами продукты тащит. Вот и вся его забота — о своем брюхе. Загубит он наш комбинат!..

Из того, что Мирон Иванович еще рассказывал о Сергеенко, стало ясно, что у рабочих были серьезные основания тревожиться за судьбу своего предприятия. Их нынешний директор переменил в районе уже немало должностей. Работал на райбазе по заготовкам овощей — сняли, не справился. Был заведующим райсельхозотделом — сняли, с выговором. Был председателем райпотребсоюза — сняли, объявили строгий выговор, чуть под суд не угодил за самоснабжение. Еще откуда-то снимали его раза два. И вот опять назначили на ответственную должность — директором райпромкомбината.

Бывает еще у нас так, к сожалению. Человек неоднократно доказывал делом, вернее провалом порученного дела, свою никчемность, неспособность руководить людьми и занимать высокие посты, но все же его продолжают считать кадровым «ответственным» работником определенного масштаба. Хотя весь «масштаб» тут заключается лишь в том, что его то и дело выставляют из районных или областных учреждений. Но именно — из областных или районных, не ниже. Поэтому, что ли, к нему привыкают, как к «кадровику»? Какой-то гипноз послужного списка. После очередного строгого внушения за очередной развал работы в очередном учреждении товарищи в отделе кадров снова ломают голову над вопросом: куда его теперь послать, какую подыскать ему новую должность, чтоб не очень все же обидеть его, не понизить в ранге, зарплате?..

— В райсельхозотдел, в райпотребсоюз — все в рай и в рай его пихают, тьфу ты пропасть! — плюнул с ожесточением Мирон Иванович. — Архангел какой, херувим! В раю ли ему место? Выговора, предупреждения!.. Да разве его этим исправишь? К нему что ни прилепи — держаться не будет. Стельки нету. Знаете, как в сапоге: стелька — самый главный предмет. Основа. Ежели хорошая стелька, то и подметку подобьешь и союзку положишь, а ежели плохая — весь сапог не годится, хоть заново перетягивай. Так и Сергеенко наш. Хоть выговор ему, хоть два, хоть деревянными гвоздями прибей, хоть железными, вот этими костылями — ничто не пристанет. Лубок трухлявый у него в середке вместо стельки… Придется, должно быть, самим какие-то меры принимать. Пойдем в райком, расскажем, что у нас тут делается. Может, он туда совсем другую продукцию представляет из наших цехов, высшего качества — по ней и судят о его работе? А как он для народа старается, того не видят. С лица только видят его. Он же и заходит в кабинеты лицом вперед и выходит, не оборачиваясь, задом дверь открывает. А мы-то здесь осмотрели его со всех сторон… А не добьемся правды в районе — поедем в обком!

Не раз думал я после этого разговора с сапожниками, что же такое стелька в человеке, по образному выражению Мирона Ивановича?

Можно, пожалуй, объяснить так. Люди «без стельки» — это умеющие внешне производить впечатление, а внутренне — никчемные работники, бездельники, болтуны. Но ведь встречаются и очень деловитые люди, энергичные, хозяйственные, а тоже с какой-то душевной пустотой. Иной раз это даже не пустота, а нечто другое, в чем тоже нужно бы разобраться поглубже: не уведет ли оно человека, при всех его благополучных на вид «показателях», куда-то совсем в сторону от больших жизненных целей советского общества?..

В одной кубанской станице работали председателями колхозов двое старых моих знакомых: Тихон Поликарпович Наливайко и Максим Григорьевич Рогачев. Оба руководили крупными богатыми колхозами. «Передовик» — колхоз, где был Наливайко, — имел годового дохода перед войной свыше двух миллионов, называли его «дважды миллионер». Колхоз «Серп и молот», где работал Рогачев, немного отставал по доходности, но тоже приближался к двум миллионам. Рогачев и Наливайко считались лучшими председателями в районе, их колхозы раньше всех кончали сев, уборку, у них больше, чем у других, распределялось хлеба и денег по трудодням.
Наливайко и Рогачев были людьми уважаемыми, и, бывало, в районных организациях им прощали многое такое, за что других не преминули бы взгреть.
Если бы председатель какого-нибудь отстающего колхоза в разгар полевых работ повез в Краснодар два вагона ранней капусты и сидел там со своим товаром неделю, выжидая дождя, — чтоб прекратился подвоз и поднялась цена, — это не сошло бы ему даром. Наливайко сходило, потому что в хозяйстве у него было все налажено, были у него распорядительный заместитель, толковые бригадиры, и его отлучки не отражались на текущих кампаниях. Если, случалось, и журили его за чрезмерные увлечения базаром, то в шутливом тоне, похлопывая по брюху: «Социалистическое накопление? Красный Ротшильд! На который миллион перевалило?»
Рогачев — жилистый, худой, почерневший и высохший на степных ветрах, красный партизан, боец Первой конной — тоже был не дурак насчет купли-продажи. И о нем говорили с похвалой: «Хозяин! Копейки колхозной не упустит!»
«Не для себя — для колхоза», — этим оправдывалось все, и это мешало райкому партии глубже вникнуть в дела оборотистых председателей.
Мне, жившему ближе к ним, многое в их колхозах — и хорошее и плохое — было виднее. Чувствовалось, что у самих председателей в душе осталось еще что-то от мужика, от крестьянской ограниченности. Все — для нашего колхоза, а что за нашими межами — хоть пожаром сгори! Любить колхозное, как свое, — этому они научились. А дорожить государственным, как колхозным, — этому им надо было еще научиться.
Странная вещь: в самой богатой станице района, где было два колхоза-миллионера, учителям, врачам и рабочим МТС жилось труднее, чем в других, не столь богатых станицах и хуторах. Наливайко и Рогачев «монополизировали» рынок и завышали цены на продукты, как им вздумается. Даже в городе все стоило гораздо дешевле, чем на местном глубинном рынке, но до города — тридцать километров, за молоком туда не наездишься.
Из-за этих двух самых мощных, но не отзывчивых на общественные начинания колхозов в станице сорвалось строительство межколхозной электростанции. Наливайко и Рогачев никак не могли договориться, кому проводить свет в первую очередь, а кому во вторую — строительство планировалось на две очереди. Решили строить каждый себе «собственную» станцию. Но для маленьких электростанций трест не отпускал оборудования. Так и жили там люди при керосиновых лампах и каганцах. Не было станичного клуба, радиоузла, школы не освещались по вечерам. А хлеба колхозники получали по десять килограммов на трудодень.
Поговаривали, будто Наливайко приказал однажды чабанам перед стрижкой овец целый день гонять отары по пыльным дорогам и взлобкам, чтоб набилось песку в шерсть — для весу. Все умные хозяева, мол, делали так раньше. А Рогачев дал как-то свой духовой оркестр в соседний колхоз на похороны с почестями одного старика активиста, а потом прислал его вдове, больной одинокой бабке («чужая» — из другого колхоза!), повестку на сто рублей «за пользование оркестром».
Их звали иногда в шутку «братья Копейкины» — в станице были когда-то знаменитые купцы-воротилы Копейкины. Но теперь всем ясно, что Наливайко и Рогачев, при некоторых схожих чертах, не были все же братьями по духу. Я говорю теперь, потому что в военные годы их пути круто разошлись.
Рогачев был малограмотный человек, с трудом прочитывал районную газету и, кроме нее, пожалуй, никакой литературы никогда в руки не брал. Это был организатор-самородок, практик, доходивший до всего «нутром», выросший за годы коллективизации из рядового крестьянина в руководители огромного общественного хозяйства лишь благодаря своей преданности делу. Сколько я знал колхоз «Серп и молот», там не было хорошего парторга,

не было возле Рогачева человека, который помогал бы ему государственно осмысливать многие вещи, расширял бы его кругозор, постыдил бы его кстати и за барышничество: с кого же ты дерешь, мол, по пять рублей за арбуз — с рабочего МТС, который тебе тракторы ремонтирует?
Но руководил колхозом он все же как председатель, а не как управляющий. Созывал часто общие собрания, советовался с народом, не командовал, помнил и старался соблюдать колхозный устав. Любил Рогачев свой колхоз беззаветно. Почти не жил дома, дни и ночи проводил в поле, личным хозяйством совсем не занимался. И если скупился и даже жадничал, выгадывал всячески, как бы положить в кассу лишнюю сотню рублей, то действительно «не для себя». Себе он отказывал в самом необходимом, боясь, чтоб колхозники не упрекнули его в мотовстве. Само правление как-то решило купить председателю выездную тачанку, а то все ездил по бригадам на случайных подводах, а больше ходил пешком: не хотел отрывать от полевых работ лошадей и расходовать трудодни на конюха.
Наливайко был другого склада хозяйственник. Этот часто говаривал колхозникам: «Я вам гарантирую, что десять килограммов на трудодень вы получите, ну и все, не мешайте мне делать, что я хочу». О колхозе он заботился, но и себя не забывал, смотрел на колхозные кладовые как на собственные, выписывал «по себестоимости» целые свиные туши, мед, масло пудами — сверх причитающегося на его председательские трудодни. Ездил без нужды ежегодно на курорт за счет колхоза. «Дорогой председатель? — говорит он на отчетных собраниях, предупреждая выступления недовольных колхозников. — Дорогой? Ну что ж, вы свои десять килограммов получите, а я свое возьму. А не нравлюсь — выбирайте дешевого. Он вам развалит хозяйство, по килограмму будете получать. Лучше будет?»
Когда стансоветские комиссии перемеряли усадьбы колхозников, выявляя излишки сверх положенного по уставу, у самого председателя колхоза тоже пришлось отрезать два лишних огорода. Было у него три коровы, полный баз овец, свиней, птицы. Жена его не управлялась одна с домашним хозяйством, держали работницу, не принятую в колхоз бывшую кулачку, старуху, семья которой вся была выслана из станицы.
Смотришь, бывало, как живет Наливайко, и думаешь: а может быть, такому председателю колхоз дорог лишь тем, что дает ему доходную должность? Может быть, только это и вдохновляет его на накопление колхозных миллионов, — что он оттуда немалую толику и для себя урвет?
С людьми он обращался неприветливо, грубо. Колхозники неохотно шли к нему со своими нуждами, боялись его, не любили. Однако ценили его хозяйский глаз, опыт, смекалку. Одни его широкие знакомства что стоили для колхоза — мог достать сколько хочешь и кровельного железа, и стекла для парниковых рам, и гвоздей.
Проработал он председателем «Передовика» пять лет, Там и застала его война. Разразились события, изломавшие все привычное, налаженное. Наступило время проверки каждого человека — способен ли он выдержать тяжелейшие испытания, как готовил себя к ним, не потеряет ли, несмотря ни на что, веру в победу? Да и нужна ли она ему, победа, настолько, чтобы он не мог жить без нее?..
Я знаю точно: Наливайко не был выходцем из кулацкой или помещичьей семьи. До коллективизации он был бедняком. Привело его к тому, к чему он пришел, не чуждое социальное прошлое, не голос крови, а — голос шкуры.
На месте секретаря райкома, отбиравшего в партизанский отряд лучших, надежнейших людей, я бы не допустил в отряд Наливайко, не доверил ему партизанской тайны. Черты собственника, стяжателя слишком явно проступали в нем. Можно ли было не опасаться, что в критическую минуту личное благополучие он поставит выше всего?.. Но в таком случае, естественно, возникал и другой вопрос: зачем же его держали председателем колхоза пять лет? И не следовало, ли еще раньше призадуматься — для чего этот человек вступал в партию?..
После оккупации немцами Украины, Ростова, прорыва на Кубань Наливайко потерял, видимо, надежды на возвращение Красной Армии. Когда немцы подошли к станице, он, обвешанный гранатами, опоясанный двумя патронташами, с охотничьей двустволкой ушел ночью с партизанами в плавни. Ушел, но до места не дошел (обо всем этом партизаны

рассказывали мне уже после войны, когда мне случилось опять побывать в этой станице). Присел где-то на полпути переобуться, отстал в темноте, и больше его в отряде не видели. Спустя несколько дней партизанские разведчики донесли командиру отряда, что Наливайко вернулся домой и назначен немцами станичным старостой.

Купил Наливайко «помилование» себе и даже доверие немецкого командования ценою предательства: выдал немцам партизанские продовольственные базы. Но знал он расположение не всех баз, только тех, куда сам возил продукты за несколько дней до ухода партизан в плавни.

А затем, в новой должности, Наливайко стал делать все то же, что делали и другие старосты из раскулаченных и бывших белобандитов: угонял молодежь в Германию, отмечал день рождения Гитлера, выдавал на расправу гестапо семьи партизан и коммунистов. За пять месяцев службы оккупантам он успел, беря из лагеря на работу пленных красноармейцев, построить себе новый кирпичный дом в станице, получил от коменданта «в собственность», за усердие в выполнении поставок для немецкой армии, бывшую колхозную вальцовую мельницу…

В январе сорок третьего года партизаны совершили удачный налет на немецкий гарнизон в станице, уничтожили роту эсэсовцев. Полицаев, по возможности, брали живьем. Наливайко подняли с постели в его новом доме в кальсонах и, не дав ему времени одеться потеплее, увезли в плавни. Разговор там с ним был недолог. Партизан не очень интересовали психологические подробности его падения, что и как заставило его продаться врагам родины. Экономя боеприпасы, спустили его прямо в прорубь — «именем советского народа». В числе приводивших приговор в исполнение был и Максим Рогачев.

О Рогачеве партизаны рассказывали мне много хорошего. Дрался он с фашистами честно, храбро, не щадя живота, был три раза ранен. Уходя в плавни, Рогачев отправил семью в дальнюю станицу, в горы, к родственникам, а хату свою, не дожидаясь, пока немцы, узнав, что он в партизанах, уничтожат ее, сжег сам… Хату спалил, хватило духу, а когда подошли ночью в поле к огромным скирдам необмолоченного колхозного хлеба — не выдержал. «Хлопцы! Да неужели ж не отобьем это добро назад? Это же хлеб! Сколько трудов вложено!» И пошел прочь от скирд, бросив под ноги партизанам-колхозникам зажженный пук соломы. «Не могу. Палите сами…» Однако, отойдя немного и увидев, что ветер не перенес огня с первой скирды на другие, вернулся и доделал все по-хозяйски… За боевые подвиги в отряде он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени.

Сейчас он по-прежнему председательствует в колхозе «Серп и молот».

Я спрашивал его, что он думает о Наливайко?

— Что думаю?.. — Рогачев крепко, непечатно выругался. — Он мне всю душу, гад, перевернул!.. До сих пор думаю: за что нас братьями Копейкиными называли? Вот родич какой!

— Ну, это ты знаешь, за что… Помнишь, как Наливайко рисом торговал?

— Как же! Выделил пятьдесят продавцов, каждому два мешка риса под отчет, командировку в зубы, и — в разные города: Таганрог, Кривой Рог, Киев, Одесса. Всю зиму возили. Пятьсот центнеров стаканами продали. Стаканами дороже выходило раза в два, чем крупным весом.

— А ты, глядя на него, муку блюдечками продавал в Харькове. Тоже держал целый штат разъездных спекулянтов. Превратили колхозную торговлю в мешочничество.

— То-то и оно — глядя на него… Не хотелось, чтоб меня худшим хозяином считали!

— А как у вас начали строить школу-десятилетку? Да заломил ты за кирпич такую цену, что дешевле его было привезти из города по железной дороге, чем у тебя купить?

— Не говори!.. Директор школы был с нами в отряде. Он мне и там за тот кирпич и снабжение учителей проходу не давал, стыдил… Вот скоро восстановим кирпичный завод — отпустим школам и больнице по себестоимости сколько потребуется. В самом деле, на чем наживались?

Бывший командир отряда Алексей Кириллович Осипов, вернувшийся из плавней в свой секретарский кабинет в райком партии, — вернувшийся, надо сказать, лучшим секретарем, чем знал я его раньше, более вдумчивым и серьезным, — говорил о Наливайко:

— Этого случая я до гроба не забуду. Как мы ошиблись в нем!.. Если бы не война, мы его, пожалуй, за хозяйственные достижения к ордену представили. Ослепил он нас своими

«показателями». Ведь нам в райкоме очень трудно приходится, когда председатели колхозов неопытные, неумелые. Уполномоченных держим безвыездно в таких колхозах, звоним, нажимаем. А к этому можно было месяцами не заезжать. Это же был зубр! Хозяйство у него, как часы. Забыли указание товарища Сталина, что колхоз лишь форма организации, социалистическая, но все же форма, и все зависит от того, какое содержание будет влито в эту форму… Такого шибая держали руководителем колхоза! Как мы его партийность проверяли? Опять же — по сводкам. А как он с людьми разговаривает, чему их учит, куда ведет, какой пример нам подает своей жизнью — в это не углублялись… Как его назвать? Перерожденец? А с чего ему перерodиться? Обстановка влияла, среда? Так вокруг него были советские люди и занимались все хорошим делом — социалистическим строительством. Нет, никакой он не перерожденец…

— Теперь он у тебя, Алексей Кириллович, не выйдет из головы, пока формулировку не подберешь.

— Да. Такая наша обязанность — подбирать формулировки. Вам, писателям, что: настрочил целый рассказ об одном человеке, литературный портрет, так сказать, художественные тона, полутона, а нам надо — коротко и ясно. Протокол. Иной раз исключаем из партии, надо в двух словах сказать: за что? Вот ты рассказываешь про сапожников, как они того директора назвали — «без стельки». Так этого же не запишешь в протокол… Не перерожденец он был. Таким и в партию вступал. Может, с должности председателя колхоза метил и повыше, в предрика, а там, чем черт не шутит, и в область, на какой-нибудь высокий пост?..

> Труднее всего, пожалуй, «перевоспитать» карьериста, шкурника. Да и стоит ли над этим трудиться — в том смысле, чтобы уберечь такого человека от полного краха, сохранить его во что бы то ни стало в «номенклатуре», в кадрах ответственных работников? Оберегать
> ответственные посты
> разных масштабов от таких людей — задача более своевременная и важная. Вот об этом и хочется еще поговорить в этих заметках, вернувшись к началу.

В некоторых партийных организациях у нас изучают людей не по их делам, а по анкетам, дипломам, обещаниям и заверениям. Иной человек зажигательно, с пафосом говорит о необходимости быстрее двигаться вперед, к коммунизму. Говорит — а самому коммунизм представляется неким журавлем в небе, не очень рвется он к нему, не много сил тратит на это, норовит покрепче держать сегодня синицу в руках: персональную машину, отличную квартиру, высокий оклад. На словах он за демократию и критику, а на деле — самодур, не выносит критики, как черт ладана. На людях — энтузиаст, а в личной жизни — обыватель, зевающий от скуки, когда сын-ученик рассказывает ему о спорах на комсомольском собрании: «Давай, сынок, хоть дома без политики, она мне и на службе надоела…» Коммунизм для него — служебная форма, и даже не повседневная форма, а парадный мундир, звучное слово для «закругления» митинговой речи. Смысл этого слова не доходит до его сердца.

А для советских людей борьба за коммунизм — все содержание их жизни и в праздники и в будни. Чем больше пота и крови стоит народу наше дело и его защита от врагов, тем дороже цели, тем непримиримее относится народ ко всему, что мешает нашему движению вперед, к этим целям.

Об умении некоторых опытных карьеристов пускать пыль в глаза, производить внешне выгодное впечатление можно бы написать много, специальное исследование. Тут и тонкое знание никем не писанного этикета, и угодливость, принимаемая по ошибке за служебное рвение, и обыкновенное нахальство, принимаемое за напористость, и ловкачество, похожее на инициативу.

Вероятно, у них есть свои «десять заповедей». Может быть, они и не заучивают их наизусть, как молитвы в детстве, не произносят вслух, ложась в постель и восстав ото сна, но живут они, безусловно, по каким-то интуитивно выработанным правилам. Например:

Уезжая в отпуск, не оставляй заместителем человека умнее себя — могут сделать невыгодное для тебя сравнение, и твой отпуск превратится в бессрочный.
Учись. Не для расширения кругозора, а для отметки в личном деле о высшем образовании. Если поможет личный секретарь — пиши и диссертацию, пригодится!
Живи просто — проживешь лет со сто. Побольше запрещай поменьше разрешай. Иногда проще и безопаснее запретить какое-то «мероприятие», чем разрешить его.
Если уж провалился — старайся как можно искреннее признать все ошибки. Признавай охотно, не артачься. Падай наземь и проси прощения — в характере русских людей не бить лежачего…
А впрочем — довольно. Не к чему перечислять все заповеди, а то как бы эти заметки не превратились в руководство для начинающих пролаз.

Рано или поздно таких людей у нас распознают, и их карьере приходит конец. Товарищи убеждаются, что действительно нет «стельки», не к чему прибивать выговоры и последние предупреждения. Но между этими «рано» или «поздно» проходит иногда слишком много времени. Лучше бы раньше!

Борис Полевой

Мы — советские люди

На вид этой девушке можно дать лет девятнадцать. Тоненькая, легкая, смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза, большие, ясные, опушенные длинными ресницами, смотрели так удивленно, как будто спрашивали: нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это только кажется?
И лишь мудреная высокая прическа, в которую были забраны густые темно-каштановые волосы, как-то портила ее светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню. На ней было легкое цветастое платье, тонкая золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая головка.
Должно быть, поняв, что уж очень выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, темных от походного загара, она набросила на плечи чью-то шинель и, несмотря на жару душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке.
Ее глаза жадно следили за жизнью обычной, ничем не примечательной штабной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они на промасленных, ржавых комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишенника в моторе опрокинутого вездехода; и на военном почтаре, что прошел мимо нее с тем торжественно значительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, туго перетянутом походными ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный какой-то своей мыслью; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной мураве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.
— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу, не могу наглядеться. Нет, вам этого не понять! Это понятно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в этот чужой мир! — сказала она низким грудным голосом.
Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.
Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безымянная героиня,

которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию разгадывать намерения противника. Разведчики — народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.
У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительно походила на молодую, стройную, гибкую березку, из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости — этих необходимых качеств, присущих человеку ее военной профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало успех, сопутствовавший Березе при выполнении самых сложных заданий.
Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.
Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она заканчивала университет. Увлекалась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина, работу полемическую, интересную, даже обратившую на себя внимание в научных кругах.
Вопреки воле родителей она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но окончить курсы не удалось: враг подошел к городу, а окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике.
Был дан приказ об эвакуации. Родители готовились к отъезду и настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.
— Есть старая истина: кому много дано, с того много и спрашивается, — убеждал ее отец. — Помогать раненым может каждая девушка, а на твое обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.
Девушка понимала: отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощание обижать стариков, и она мягко сказала:
— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дворца Советов, заложенный в Москве, переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.
В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Ну да! Она знает языки, наверное, может принести Родине на войне большую пользу, чем в медсанбате или на эвакопункте. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.
Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, может быть, впервые проявился характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание.
— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — удивился секретарь райкома, с трудом отрываясь от горьких эвакуационных забот. Внимательно просмотрел ее документы. Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее: — Вы знаете немецкий?
— Как свой украинский.
Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигурку, лицо, в котором было так много детского.
— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.
— Я согласна.
Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона и назвал какой-то номер.
— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура, — сказал он кому-то. — Да, немецкий, отлично… Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю… Предупреждал и предупрежу еще. — Он

положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза: — Хорошо, свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы… Но вы, может быть, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила, — сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в родном городе, оккупированном немцами. В немецкую комендатуру донесли, что родители ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной, оставленной в городе для подпольной работы, но из всех разведчиков она получила самое сложное, самое неприятное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза по заданию подпольного комитета должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то идей с комфортом, бросить все и тащиться в неизвестность куда-то на восток. В квартире профессора, обставленной старинной мебелью, поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала по-немецки стихи Гете. Полковник ввел ее в круг своих друзей, крупных штабных офицеров, собиравшихся у него, познакомил со своим начальником-генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то древних украинских магнатов, выгодно отличалась от крикливых, жирных и вздорных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угождать, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, уличную сумку и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей полковником с собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапожным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась самою собой — советской девушкой, гражданкой своего плененного, но не покорившегося города, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— …Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять, нет, не расстрелять — повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, как мог, успокаивал ее. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она увидела и услышала. Пили чай из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа.

А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую солдатскую песню о разудалой Лили Марлен, сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла свою роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать свои чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о боевой деятельности, о налетах на вражеские транспорты, поджогах складов, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные из тех, кто остался вместе с ней. Но в эти дни в городе обосновался штаб большой группы войск, ее сведения были нужнее, чем когда бы то ни было, и «сапожник» строго и твердо направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два — и она сможет исчезнуть. Но тут ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она влепила ему пощечину.

Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покорил шесть стран, он воюет теперь с седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что Советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, обещали богатые поместья, и она будет его женой, хо-хо, женой немецкого помещика. И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле… Пьяный фашист оскорблял ее народ, и девушка не выдержала. Воля изменила ей. Она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло генерала…

Вся городская военная полиция, вся полевая жандармерия и специально вызванное подразделение из войск СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт. Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для Родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общефашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одесщине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков, скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал своим детям образование. Потом за свои симпатии к новой Германии он был арестован. Человек прямой, он не умел и не хотел эти симпатии скрывать. Его расстреляли. Такова была ее новая легенда.

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к самому начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригаденфюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старинные баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным штабным офицерам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!» — удивлялись они. И когда иной раз обнаруживалась вдруг пропажа важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрений не ложилась на Эрну Вейнер.

Но какой ценой девушка вырывала для Родины эти фашистские тайны! Она присутствовала на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к Родине, любовь всеобъемлющая, безмерная, давала ей силы для этой работы. Но лишь связной, суровый воин, безвыходно сидевший со своей рацией в подвале разрушенного дома, человек, разбитый ревматизмом, которому она приносила свои сведения, слышал от нее жалобы. Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот, как мог, утешал ее неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его спокойное мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказала сама, сидя на завалинке в погожий августовский вечер.

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда войска генерала Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего. Но посмотрели бы вы на их заправил! Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные редкости, мебель — все,

что награбили и натащили к себе. Все это посылалось в Германию на глазах у собственных солдат. А слухи! Это был уже не штаб, а базар какой-то, на котором передавались слухи, один невероятнее другого… Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин. Невиданные модели!.. Какое-то чудовищное вооружение. Офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно видеть, какой в трудную минуту оказалась малодушной, трусливой, мелкой эта штабная челядь с высокими званиями. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом: «Господин начальник, неужели так плохо?.. Этот генерал Конев, он, говорят, страшно жесток. Ведь они меня убьют!..» Я видела, как мой начальник бледнел. Но он еще петушился: «Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия…» Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле и не попаду в руки страшного генерала Конева…

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к начальнику в кабинет. Он взволнован, сияет, будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, державшие оккупантов в постоянном страхе и напряжении, в те дни особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из руководителей. Мой начальник возбужденно носился из угла в угол. В кабинете тем временем шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

— Приехал какой-нибудь господин из армии? — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

— А, чепуха, стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии! — ответил шеф. — Гораздо важнее, гораздо интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты.

Я решила, что захвачен какой-то наш большой военный. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем часовых в комнату… внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив на свое лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он сам тоже летчик и рад приветствовать здесь своего доблестного коллегу, судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже простодушным, этот майор, одна из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке с тремя орденами Красного Знамени и еще какими-то знаками отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд… простите, минуточку…

Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены хаты. Она тяжело дышала, кусала губы, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Не обращайте внимания. Нервы… Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

— Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что кодекс воинской чести у нас неукоснительно соблюдается, что безоружный противник для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества высоко ценятся, переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал… э-э-э, нет, это будет не по-русски… чашу доброго вина.

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти, нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды, против воли, чуть не выступили у меня на глазах.

— Ничего я ему не скажу. Впрочем… пусть даст папиросу.

Летчик приподнялся на локте, взял сигарету и жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь…
— Пусть меня унесут, — ответил летчик и отвернулся.
И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда… я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался, он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел начальник. Меня отпустили и отвезли домой…
В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой. Этот летчик, его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос. Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел за рулем.
— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда с Дальнего Востока. Фрейлейн, вы, именно вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему, что хотите, только вытащите из него, что сумеете. В случае удачи, слово чести, вы заслужите Железный крест.
Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что тут же проболтался о том, что в Харьков из ставки прилетел какой-то их авиационный генерал, которому эти сведения нужны до зарезу. У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было даже полезно для дела. Можно было предупредить его. Но я вспомнила этот его взгляд, и мне, привыкшей все время жить под угрозой смерти, было страшно, именно страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!
Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я села на табурет возле его койки.
— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.
— У них ничего не вышло, теперь они натравливают на меня свою немецкую овчарку, — недобро усмехнулся он.
Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.
Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослаб за эту ночь, но он продолжал так же твердо и жестоко:
— Чего же краснеешь, продажные шкуры не должны краснеть!.. Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.
Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.
А он продолжал, все повышая голос:
— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним! В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!
И он захохотал. Нет, не нервно, у него, должно быть, вовсе не было нервов, он захохотал злорадно, торжествующе, как будто он не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке, а победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу.
И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность:
— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях, прибывших с Дальнего Востока. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.
Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

— Так, — сказал он и еще раз повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него немного подобрели, но смотрели зорко и изучающе. — Та-ак, бывает… — Он усмехнулся, но уже не так зло и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу, ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!
Он долго кричал на всю тюрьму. Потом спросил тихо:
— Так вы…
Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мои выбивали дробь, и я боялась, что лишусь сознания.
— Ну, успокойся, — сказал он, переходя на «ты». — И говори честно: мне конец?
— Если ничего не скажете — расстреляют, — сказала я, и мы опять испытующе посмотрели друг на друга.
— Жаль, очень жаль, мало пожил, а как хочется жить!.. Ну, ступай, ступай отсюда.
— Не надо ли что передать туда? — спросила я, глазами указав на потолок.
— У тебя очень измученные глаза, я тебе почти верю, — ответил он. — Почти. И все-таки ничего я тебе не скажу, так лучше и тебе, и мне, прощай, девушка… — Он вздохнул и опять принялся громко ругать меня на всю тюрьму.
Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь… Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору. Он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не слышал, кроме этих ругательских слов. Я еле держалась на ногах. Майор, бледный от злости, играл скулами.
— Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужным… — Он не договорил.
Я не помню, как вышла из тюрьмы…

Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были совсем расшатаны. Ее бил озноб, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала.
— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Или придумываете. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека.
После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Призывала всю свою волю, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих, и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму. Мои слезы они поняли по-своему, принялись утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость, не словами, так взглядом расшифрую себя.
Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий, самоуверенный человек с румяным, каким-то фарфоровым лицом и длинными бесцветными ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал ему свою довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.
— Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших.
Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!
— Что вы понимаете о чести? — усмехнувшись, ответил летчик.
Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:
— Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу принять меры. Герой остается героем в любых обстоятельствах.
— Спросите, что ему нужно, — устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему. Генерал начал терять терпение.
— Скажите ему, черт побери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бад-Вильдунген, Карлсбад… Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов.
Я перевела.
Летчик даже захохотал:
— Скажите генералу, что он, по-видимому, достойный выкормыш своего фюрера.
Не найдя в немецком языке слово «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и сказал: это так, лейтенант правильно заметил, он действительно старается подражать фюреру. Он сказал, что теперь, несомненно, они найдут общий язык — два героя, два солдата. И он спросил: пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее других своих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут свои дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают борьбу, навлекая на себя вынужденные репрессии и заслуженные кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война ими проиграна. Почему?
Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на уступки. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом, перед майором, которых считал посрамленными.
Я сейчас же перевела летчику вопрос.
— Балда! — отчеканил. — Потому что мы — советские люди, не им чета.
Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные от того, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.
Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант — глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.
— Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными, — ответил лейтенант.
— Соглашение! Ха-ха, станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!
Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут! Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик приподнялся на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки, На лицо ему хлынула кровь.
— Не надо мне фашистского милосердия! — бормотал он.
— Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов! — кричал генерал.
И вдруг, это было мгновенно, он отшатнулся, зажимая лицо, — лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.
Они все трое набросились на него и стали бить по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, он был еще крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его…
Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как эти звери терзают этого гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь, и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой Родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступала, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против вас, что замышляют наши противники.

И я совершила в этот день свой единственный подвиг. Я даже не вскрикнула, я сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот незнакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью. Но, как мне кажется, и я в этот страшный час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков…

Она вся тряслась, эта девушка с нежной внешностью, с нервами закаленного бойца, с волей старого солдата.
— Я даже не знаю его имени, и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..
И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа ее рассыпалась, шпильки попадали на землю, каштановые волнистые волосы раскатились по грубому сукну шинели, и среди них стала видна одна широкая, совершенно седая прядь.
Потом как-то сразу успокоилась. Лицо, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким. Она вытерла глаза, собрала и заколола волосы, спрятав седую прядь.
— Извините — нервы… Ничего не поделаешь, придется отдыхать… Мне дают отпуск. Съезжу к родителям в Ташкент. На целых две недели.
— А потом?
— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.
Тонкое лицо ее снова стало суровым, замкнутым и сразу как-то состарилось лет на десять.
— Туда? После таких испытаний?
— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. И я запомнила. Наверное, на всю жизнь…

Викентий Вересаев

Euthymia

Насмешка судьбы соединила друг с другом самого счастливого человека с самым несчастным.
Леонид Александрович Ахмаров был талантливейший инженер-строитель, один из лучших советских архитекторов. Каждая его постройка вызывала шум и разговоры. Она была оригинальна, ни на что прежнее не похожа и покоряла красотою, жадною любовью к жизни и мужественностью духа. Начинала светиться душа, когда глядел человек на благородные линии его зданий, на серьезную, чисто эллинскую радостность их, осложненную современною тонкостью и сложностью. Леонид Александрович много зарабатывал. Был красив, молод, здоров. Прекрасный теннисист и конькобежец. Во всем ему сопутствовала удача.
Жена его Люся была собранием множества болезней и множества несчастий. Восход ее жизни был ярок и многообещающ. Студенткой университета она была принята в студию Станиславского, там все носили ее на руках. Станиславский повсюду говорил торжествующе, что появилась в Советском Союзе первоклассная трагическая актриса с огромным темпераментом. И вдруг все оборвалось. У Люси открылся туберкулез кишечника. Рухнули надежды на артистическую дорогу. У ней много было и еще болезней. Прирожденное сужение аорты. Рвущие мозг мигрени, доводившие почти до помешательства. Сколько она проглотила пирамидона, фенацетина, кофеина! И только незадолго до смерти выяснилось, что мигрени вызывались скрытою малярией, не разгаданною врачами. Все почти время Люся проводила в постели. А была при этом полна

огромной энергии, не имевшей приложения. Изнывала от страстной жажды материнства, но врачи запретили иметь детей.
Оба они сильно и прочно любили друг друга.
Машина мягко неслась по гудронированному шоссе дачного поселка. Леонид Александрович возвращался из Москвы с дневного диспута в Политехническом музее об его последней постройке — Всесоюзном Дворце физкультуры. Нападали, защищали, но в том сходились все, — что это будет одно из замечательнейших зданий Москвы, что оно, пожалуй, даже знаменует нарождение в архитектуре нового, советского стиля. Потом был банкет. Голова кружилась от шампанского и восхвалений. Дубы и сосны просеки чернели высокою стеною, закрывая заходящее солнце. Как всегда после временного отсутствия, все вдруг было по-новому мило, неожиданно значительно.
Машина въехала в ворота дачи. В саду, около куста цветущей жимолости, лежала в гамаке Люся и смотрела на заходящее солнце. Лицо у ней было бледное и страдающее. Она медленно перевела глаза на входившего в сад мужа и встрепенулась.
— Ну, иди скорей, рассказывай!
Расспрашивала о всех подробностях диспута, жадно глядя огромными черными глазами, расспрашивала серьезно и требовательно. Леонид Александрович сидел возле гамака на березовом пне, рассказывал, а в душе было горько: в какой он живет яркой, интересной жизни, а она тут вяло прозябает в одиночестве и непрерывных страданиях.
Кончил рассказывать, припал головою к ее плечу.
— У тебя очень страдающее лицо. Плохо тебе?
Она нетерпеливо повела плечами.
— Это совсем не важно! — И оживилась. — Знаешь, я сейчас лежала и смотрела вон туда. Березы стоят огромные, тихие-тихие. Зелень под солнцем такая яркая, зеленая до невероятности! И как будто все замерло в благоговении. Как хорошо! Какая красота! — повторяла она в упоении. — И воздух какой, вдохни всею грудью! Ой, Леня, как у нас тут хорошо!.. И… ой-ой! Смотри-ка, Анна Павловна идет гнать меня домой!
По дорожке шла, подергивая головою, худенькая старушка и лукаво улыбалась.
— Людмила Александровна, солнце садится, нужно домой.
— Да уж вижу, идете отравлять мне жизнь!.. Ох, Леня, какая это отравительница жизни, если бы ты только знал!.. Ну, что ж делать! Нужно идти.
Анна Павловна сконфуженно улыбалась, и кожа темени светилась сквозь седоватые, очень редкие волосы.
Пошли к дому. В цветнике к вечеру сильнее пахло левкоями и резедой. На застекленной террасе кипел самовар. Анна Павловна села к нему.
Леонид Александрович сказал нерешительно:
— В филармонии объявлен концерт. Пятая симфония Шостаковича. Взять и для тебя билет?
— Что за вопрос? Конечно!
— Люся, ведь после этого опять на несколько дней придут твои ужасные мигрени.
— И из-за этого отказываться от радости! Какая нелепость! Очень прошу тебя не опекать меня. Обязательно возьми.
Он пожал плечами и сказал покорно:
— Хорошо.
С говором и смехом взошла на террасу молодежь: комсомолец-вузовец Борис, брат Леонида Александровича, и две племянницы Люси — сероглазая хохотунья Ира и чернобровая Валя с насмешливыми глазами. Все были в теннисных костюмах, с ракетками. Перебивая друг друга, стали рассказывать: приезжал в гости к Куприянову чемпион по теннису, знаменитый Кидалов. Борька играл с ним сингль, конечно, проиграл, однако взял два гэма. Вот так Борька наш! Все-таки два на шесть!
Борис сказал брату:
— Кидалов много слышал про тебя и очень жалел, что не застал сегодня. В следующее воскресенье опять будет здесь и был бы рад сразиться с тобою.
— С удовольствием. Таким игроком интересно быть и побитым.

Леонид Александрович был очень рад. Он самозабвенно любил теннис — вольность и разнообразие движений в нем, красоту и удобство теннисных костюмов, упоение от удачно посланного или принятого мяча. А тут еще встреча с таким мастером, как Кидалов.
Всегда, когда у него была радость, Леониду Александровичу было стыдно перед Люсей, больно, что она в ней не может участвовать, и поднималась к ней особенная нежность.
Молодежь ушла гулять. У Люси глаза были очень бледны, она с трудом поднялась со стула: начинался скрытый припадок малярии. Леонид Александрович подал ей руку, чтоб отвести в ее комнату. Но Люся сурово сказала:
— Не надо. Я с Анной Павловной. Иди к себе работать.
В просторной спальне от открытых окон стояла сыроватая ночная свежесть. Анна Павловна грела постель, Люся причесывалась на ночь. Разделась, подошла к постели, сказала устало:
— Какая я счастливая! Уж не нужно раздеваться, не нужно причесываться, все позади. А постель какая мягкая, какая нагретая! — С наслаждением завернулась в одеяло. — Ой, как хорошо!.. Как тепло! — Притянула за руку Анну Павловну и шепнула: — Анна Павловна, милая! Я вам так благодарна за вашу всегдашнюю заботу обо мне! Я не представляю, что бы я без вас делала. Мне только перед вами не стыдно страдать.
Анна Павловна изумилась:
— Вы — благодарны мне! Я никогда не смогу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали.
Люся засмеялась, махнула рукою и сказала:
— Ну, покойной ночи!
Знакомство их началось так.
Года два назад, в слякотный осенний день, Люся шла через Патриаршие пруды и увидела на скамеечке маленькую женщину с трясущеюся головою. Лицо женщины, мокрое от мелкого дождя, застыло в таком страдании и отчаянии, что Люся невольно повернула к ней, села рядом и заговорила. Старушка отшатнулась. Но Люся была мягко настойчива, и постепенно старушка все рассказала. История была простая. У нее умерла от тифа единственная дочь восемнадцати лет, вузовка, в которой была вся ее жизнь. Люся с жадным участием расспрашивала, и старушка с радостью рассказывала, какая ее девочка была талантливая, красивая, добрая, как ее все любили. Люся просидела со старушкой под зонтиком два часа. Старушка плакала, а Люся ей говорила, говорила горячо и долго. Ни Анна Павловна, ни сама Люся не смогли бы передать, что именно говорила Люся. Дело было не в словах, не в мыслях, не в логике. Действовала спокойная мягкость голоса, несокрушимая вера в жизнь, ясно ощутимое, жаркое сочувствие. Как будто музыка звучала, серьезная и торжественная. Анна Павловна слушала и облегченно плакала.
После этого Анна Павловна несколько раз была у Люси. Эта больная, уже негодная для жизни женщина непонятным образом давала ей силу нести горе и опять привязала ее к жизни. Вышло как-то так, что Анна Павловна поселилась у Люси и стала в доме совершенно незаменимой: заведовала хозяйством, ухаживала за Люсей, чинила белье и платье. И решительно отказывалась от вознаграждения. Жила же тем, что шила на заказ. Люсю она любила сильною, благодарною любовью, окружала материнскою заботою, в нее вкладывала весь огромный запас любви, который оставался в ее душе неистраченным после смерти дочери.
И обеим было хорошо друг от друга.
Утром Леонид Александрович проснулся по-обычному в мрачном настроении. Еще отуманенный сном, он только ощущал владевшую душою мутную тоску, но не мог бы даже ответить, с чего она. Вечные дома болезни. Вообще всегда что-нибудь мешает полной радости. Ах да, вот что сейчас главное: Борис. Скоро из-за неуспешной учебы ему придется покинуть вуз. Куда, к чему его приспособить? Перед необходимостью всякого решительного действия Леонид Александрович терялся и становился беспомощным. С Люсей надо посоветоваться.
Комната ее была уже прибрана. Люся, одетая, лежала на кушетке и читала. В раскрытые окна сквозь листья ясеней рвались в комнату запахи сада, зеленый солнечный свет, стрекот и птичий гам. Люся рассеянно протянула мужу руку и, полная большой внутренней сосредоточенности, медленно стала читать из книжки:

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!
Все во мне — и я во всем…

Леонид Александрович нежно поцеловал ее и спросил:
— Чье это?
— Тютчева.
В глазах Люси он прочел ту бурно кипящую радость, которая ею овладевала при художественных или умственных переживаниях.
Он нерешительно сказал:
— Мне хочется поговорить с тобою об одном деле, но, может быть, потом? Это не к спеху.
— Нет, отчего! Говори сейчас!
— О Борисе. Беда мне с ним. Мальчик он добрый, но какая умственная пустота и какое легкомыслие! Наукой не занимается, курса, наверно, не кончит, И думает только о теннисе. Говорить с ним совершенно безнадежно: он всею душою рад пойти мне навстречу, но что способен вместить этот низкий и отлогий лоб спортсмена, кроме дум о теннисе и футболе?
Он угрюмо зашагал по комнате. Люся спокойно ответила:
— Страшного тут ничего нет. Лобика ему не переделаешь. Нужно мириться с тем, что есть.
— Это довольно печально.
— В нынешнее время ничего не печально. Отчего ему не стать, например, инструктором по теннису? Чем это плохо? Пусть переведется в физкультурный институт. Что у тебя за склонность все видеть в мрачном свете и сейчас же падать духом! А по-моему, как бы было хорошо, если бы взамен постылой термодинамики и дифференциального исчисления у него явилась работа, в которой бы он горел душою. Ведь это же красота! Как я буду рада за него!
Леонид Александрович все больше светлел. Он подсел к Люсе, прижал ее ладонь к своей щеке.
— Поговоришь с тобою — и сразу как-то становится на душе крепко. Подумаю. Это выход. — Встал и весело сказал: — Ну, пойду купаться!

Странный встречается народ среди художников. Публика читает юмориста и покатывается со смеху, а сам он угрюм и в жизни никогда не смеется. С самою искреннею ненавистью писатель громит мещанство, а сам не живет как мещанин только потому, что живет как владетельный принц. Смеясь, умиляясь, любя, ненавидя, художник в творчестве своем искренне и сильно переживает соответственные чувства. А в жизни проявляет их очень мало. И в творчестве его нет никакой фальши. Этим он в корне отличается от художников неискренних, приноравливающихся, чувствующих про себя одно, а выражающих другое. Таких художников читатель раскусывает скоро и не стоит перед их биографией в недоумении, как перед биографией, например, Некрасова, Достоевского или Гейне. Творчество Леонида Александровича дышало мужеством и благоговейною, чисто религиозною любовью к жизни. Но сам он был к жизни мрачно равнодушен, она не зажигала его, в будущем он опасливо ждал от нее самого плохого. Был косен и неактивен. В углах губ его красивого лица всегда лежала угрюмая складка. И часто Люся говорила ему:
— Леня, Леня, почему у тебя всегда такое нерадостное лицо? Да оглянись вокруг, погляди, как жизнь хороша!.. Вот погоди! Вдруг какому-нибудь там верховному существу взбредет в голову мысль устроить суд над людьми. Тогда оно тебе скажет: «Тебе было дано в жизни так много, а как ты к этому относился? Ничего не замечал». И даст оно тебе подзатыльник, и ты кувырком полетишь в бездну скуки, ничтожества и равнодушия. И поделом тебе будет!

Сама несчастная, кругом обделенная жизнью, Люся была подлинною музою Леонида Александровича, вдохновлявшею его на бодрость и радость.
У Люси стали сильно разбаливаться зубы. В начале августа она поехала в Москву к зубному врачу. На обратном пути полил дождь с холодным ветром. Она вышла из машины продрогшая, бледная. Леонид Александрович заботливо спросил:
— Ну, что?
— Еще беда! И без того своих зубов почти уже нет, а тут: три зуба вырвать, две коронки, протез… Совсем хочет опустошить мой рот. И сам говорит: «Уж не знаю, на чем мне прикрепить протез». Господи, что же это!.. Ну, да ничего!
Но в потускневших глазах Леонид Александрович прочел отчаяние. Она прошла к себе, попросив прийти Анну Павловну. Начиналась жестокая мигрень.
Весь день она мучилась несказанно. Анна Павловна клала ей на голову горячие компрессы, поддерживала лоб при мучительных позывах на рвоту. К вечеру Люся заснула. К ночи позвала Леонида Александровича.
Лежала успокоенная, с ласковым, измученным лицом. Он тихо целовал ее худые руки.
— Трудно тебе, бедная моя!
— Ну, бедная! Сейчас ничего. Вот утром — да! Пала духом. Тогда стала бедная. А это — самое страшное преступление, какое только можно себе представить, — пасть духом. Тогда убивается все, и право жить на свете остается только за счастливчиками.
Он продолжал целовать ее пальцы, а сам думал: «Как может она жить в этих непрерывных бедах. Я бы уж давно покончил с собою».
Большие, черные глаза Люси засветились. Она говорила мечтательно:
— Ты сказал: трудно. Мне недавно пришло в голову: трудно, когда человек думает о будущем или прошедшем. А без этого жить всегда можно. Как все живое, кроме человека, — не заглядывать в будущее, не вздыхать о прошедшем. Как это у Тютчева? Погоди.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет;
И страх кончины неизбежной
Не свеет с ветки ни листа.
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Леонид Александрович думал: «Она настойчиво вырабатывает для себя особую, свою философию преодоления страданья».
Люся говорила:
— Вот я спрашиваю себя: ну, если не думать о прошедшем и будущем, чем мне сейчас плохо? Зубы не болят, голова прошла, на душе тихо, в спальне моей так уютно, в окно смотрит Юпитер… И ты возле меня… О, моя дорогая рука!
Она гладила его руку, сиявшими любовью глазами смотрела на него и вдруг сказала:
— Ничего, что ты в жизни такой нытик. Ты все-таки будешь творцом советского архитектурного стиля, от которого радостно улыбнется весь мир… Да, да!

Веселым солнечным утром Люся рыхлила в цветнике землю вокруг тубероз и подвязывала к палочкам их вытянувшиеся, пышно зацветавшие головки. Вышел из дома Леонид Александрович:
— Я сейчас еду в Москву. Нужно тебе там что-нибудь?
— Ой, как хорошо! Нужно очень. Сейчас, когда я вот здесь смотрела с обрыва на заречные дали, мне вдруг вспомнилась одна наша факультетская лекция о Демокрите, греческом философе. Особенно одно его изумительное слово euthymia. И захотелось хорошо

познакомиться с ним. Пожалуйста, поищи его у вас в библиотеке или еще где-нибудь и привези сегодня же.
Леонид Александрович неохотно возразил:
— Как же его искать?
— Только не говори себе с самого начала, что это невозможно. Если не на русском, то, наверно, на немецком найдется перевод дошедших до нас его отрывков. Только чтобы в подлиннике, а не в пересказе ученого тупицы. В университетской фундаментальной библиотеке, наверно, найдется.
Необходимость всякого энергичного действия вызывала у Леонида Александровича тоску. Люся внимательно посмотрела на него и настойчиво сказала:
— Леня, преодолей себя. Мне очень нужно. Ну как при желании не найти, — где? В Москве!
Он ответил с сомнением в голосе:
— Постараюсь.
Оказалось, найти было совсем нетрудно. Как раз только что вышло в русском переводе издание всех отрывков Демокрита, и Леонид Александрович с торжеством привез купленную книжку.
Люся с жадностью сейчас же принялась читать. Читала до вечера и сердилась, когда ее отрывали. К ужину она вышла с прочитанною уже книжкою. Люся обладала редкою способностью очень быстро читать и усваивать прочитанное.
Ужинали на застекленной террасе. Была половина сентября, но стояла такая теплынь, что все рамы были отодвинуты и теплые волны аромата тубероз плыли с цветника на террасу. Небо непрерывно дрожало тусклыми взблесками. Голубоватые зарницы перебегали с тучки на тучку, на миг выделяя их темные силуэты. Вся природа как будто была полна смутной нервной тревоги.
Огромные черные глаза Люси блестели, лицо было необычно оживлено. Как будто большим праздником была охвачена душа.
Она сказала:
— Ну, молодежь, слушайте и вы. Может быть, и вам будет интересно.
Дрожащими от волнения пальцами она перебирала по закладкам листы.
— Вот! Во-первых: огромный, всеобъемлющий гений. Путем почти одной интуиции он строит миропонимание, которое только через десятки веков было подтверждено наукой. Вы только послушайте! Все вещество состоит из атомов. Миров бесчисленное множество. Ничего не возникает из ничего. Люди явились на свет подобно червякам, без всякого творца и без всякого разумного основания. Борьба за существование научила людей всему. Ощущения и мысли — только изменения тела… Это все он говорил больше двух тысяч лет назад! — в восторге воскликнула Люся.
Леонид Александрович мягко положил руку на ее локоть:
— Люся, не так страстно! Разволнуешься — не будешь спать ночь.
Она сердито сверкнула глазами:
— Господи! Знаешь ли ты хоть какую-нибудь радость, из-за которой не побоялся бы бессонной ночи!
И продолжала говорить. Она горела, глаза светились жарким, как будто собственным светом. Вся она была в полном упоении от встречи с великим умом эллинской древности. Леонид Александрович думал: да, радости такого размаха, какую сейчас переживает Люся, сам он, может быть, никогда в своей жизни не знавал. Даже самый яркий подъем вдохновения мутнел у него от мысли: «Не одолею, ничего не выйдет!» И удивительно, как из всего вокруг она умеет извлекать радость — из большого и малого. Симфония Бетховена и писк зверюшки в ночном болоте, великий человеческий подвиг и земляника со сливками, — ото всего она в восторге, обо всем: «Ой, как хорошо!»
Люся продолжала:
— В этой же книжке приведено: Сенека называл Демокрита «самым тонким из древних». А кто его у нас сейчас знает? Никто. Теперь вот! Самое главное. Слушайте. В чем высшее благо? Важно только одно: «euthymia». «Ей» по-гречески значит «хорошо», «thymos» — «дух». Переводчик в этой книжке переводит: «хорошее расположение духа». Хорошее расположение духа!.. Человек вкусно пообедал, закурил сигару, прихлебывает кофе — вот

хорошее расположение духа. Но как перевести? «Прекраснодушие», «благодушие»… Это все у нас уже с совершенно определившимся значением. Нужно какое-то особенное слово. По-моему, вот какое: «радостнодушие». Слушайте же!
Леонид Александрович обеспокоенно переглядывался с Анной Павловной. Подъем даже для Люси был совершенно необычный, внутреннее пламя как будто сжигало ее. Но останавливать ее было бесполезно — только сердить.
Люся читала по книге:
— «Цель — радостнодушие. Оно не тождественно с удовольствием, как некоторые по непонятливости своей истолковали, но такое состояние, при котором душа живет бодро и без забот, не возмущаемая никакими страхами, ни боязнью демонов, ни каким-либо другим страданием». Демокрит называет такое состояние также бесстрашием и счастьем… Вот! Правда, замечательно?
— Замечательно! — отозвался Леонид Александрович. Анна Павловна сочувственно кивнула головой. Молодежь неопределенно промычала. Она осталась глубоко равнодушной. Миропонимание Демокрита было для них банальнейшими аксиомами, а «радостнодушия» у них самих было столько, что проповедание его казалось странным. Они с недоумением смотрели на восторженное оживление Люси. Поговорили, сколько требовала вежливость. Ира переглянулась с Борисом и Валей.
— Какая ночь замечательная! Пойдемте, ребята, пройдемся к реке!
— Пошли!
Шумно разговаривая, они скрылись в тревожно сверкавшей зарницами тьме.
Люся с любовною улыбкою перелистывала книгу. Она сказала усталым голосом:
— Ясность духа, бесстрашие перед жизнью и перед страданьями — вот счастье! Леня, дорогой мой, как бы я хотела, чтобы ты почувствовал, сколько в этом счастья! А ты все измысливаешь себе каких-то «демонов»! Ой, как я боюсь: вдруг эти демоны прокрадутся и в твое творчество!..
Вдруг она замолчала. Глаза взглянули растерянно. Еще более побледневшее лицо склонилось на плечо. Книга упала. И Люся всем телом заскользила с кресла на пол.
Борис мчался в машине Леонида Александровича в Москву за профессором Багадуровым, всегда лечившим Люсю.
Догоравший костер вспыхнул последним ярким светом и теперь чуть тлел, угасая.
Люся быстро приближалась к смерти. Она стала малоразговорчива. Все силы ее были устремлены на преодоление темных волн, набегавших на душу, на смотрение поверх этих волн, в широкую даль, где она хотела видеть блеск и свет. Однажды она сказала мужу:
— А знаешь, Леня, в смерти определенно есть какая-то скрытая радостность. И умирать, оказывается, очень интересно. Вдруг настолько становишься выше жизни! Я никак ничего этого не ожидала. Ой, как хорошо!
Леонид Александрович хотел переехать с нею в Москву. Но она упорно отказывалась.
— Довольно лечений и курортов. Ничего мне уж не поможет, а я хочу видеть желтеющие березы, сверкающие в воздухе паутинки, трепеты воробьиной ночи.
С каждым днем она все больше худела и слабела. Малокровие быстро усиливалось. В ушах стоял непрерывный, очень тягостный звон.
Леонид Александрович, низко опустив голову, сидел возле ее постели. Дождь хлестал в окна, небо было серое, ветки ясеня бились под ветром, бросая желтые листья в воздух, полный брызг. Люся лежала вытянувшись, с закрытыми глазами, и тихим голосом говорила, как будто сама с собою:
— Какой странный звон в ушах! Как будто тысяча кузнечиков стрекочет кругом. Вспоминается детство, наше Опасово, залитый июльским солнцем большой наш сад.

А там вдали сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон!..

А потом вечер. От нагретого за день каменного крыльца дышит теплом. Падает роса. И задумчиво трещат сверчки… Как хорошо!

Сергей Антонов

Поддубенские частушки

Из записок землеустроителя

1

Этим летом мне пришлось поехать в Д-ский район по землеустройству объединенного колхоза. Я добрался до деревни часов в одиннадцать вечера и отправился разыскивать председателя. В конторе правления никого, кроме румяного парня, не оказалось. Парень сидел за столом председателя, писал письмо и при этом сжимал карандаш так крепко, что пальцы его побелели.

— Вам кого? — спросил парень, подняв голову.

Видимо, я ответил ему недостаточно уважительно, потому что он сдвинул вбок перекидной календарь и сказал строгим голосом:

— А ну, дайте документы.

Хмуро взглянув на меня, он небрежно отодвинул чернильницу, открыл первую попавшуюся папку с делами и даже попытался выдвинуть ящик письменного стола, но ящик оказался запертым. Я протянул ему командировочное предписание.

Он прочитал все сверху донизу, вплоть до названия типографии, и, когда читать стало совсем нечего, перевернул бумажку вверх ногами, чтобы удобнее было разобрать надпись на круглой печати. Потом подумал и спросил:

— Это что же, выходит, вы приехали наши поля с поддубенскими соединять?

Я ответил утвердительно.

— Выходит, севооборот наш нарушите?

Я ответил, что первые год-два на некоторых полях придется нарушить правильную ротацию.

— Это плохо. А кормовой севооборот выделять будете?

Я ответил, что кормовой севооборот придется выделять обязательно.

— Это хорошо. И водоемы запроектируете?

— Запроектирую и водоемы. Вы кто, член правления? — в свою очередь спросил я.

— Все мы тут хозяева, — уклончиво проговорил парень. — Вам, случайно, шорник наш, Иван Иванович, не родня?

Я сказал, что о шорнике Иване Ивановиче слышу в первый раз.

— А фамилия, между прочим, у вас такая же, — с некоторым изумлением произнес парень. — Ну, что же. Придется тогда вас поместить в комнате для приезжающих. Сейчас дела закруглю и проведу вас…

— Ты опять здесь сидишь? — раздался тихий, брюзжащий голос. Я обернулся. На пороге стояла старушка в кирзовых сапогах.

— Сейчас вот, дела закруглю… — повторил парень, словно не замечая ее, и поспешно переставил чернильницу на прежнее место.

— Я тебе закруглю дела, — продолжала старушка. — Тебе сколько раз говорено: на столе ничего не трогать.

— Да ладно, тетя Дарья. Я председателя жду. Надо, наконец, договориться, когда начнем уборку.

— Уборку, уборку… А что тебе численник помешал. Снова весь порядок на столе нарушил. Вот обожди, скажу Василию Степановичу, он тебе…

— Да ладно, тетя Дарья, — смущенно протянул парень. — Пойдемте, я вас проведу, — сказал он мне, сунул недописанное письмо в карман и поднялся из-за стола.
— Ладно да ладно, — не унималась старушка. — Вот скажу Василию-то Степановичу, он тебе покажет почем сотня гребешков. Гляди-ка, снова бумагу брал…
Мы вышли на крыльцо.
— Прямо беда с ней, — вздохнул парень. — Это сторожиха. А вон видно избу. Это и есть наша гостиница.
Он указал на темнеющее поблизости строение и повел меня совсем в другую сторону. Мы вышли в какие-то ворота, миновали огород, вышли на тропинку и только после этого повернули к дому. Целый день шел дождь, и мой провожатый вел меня, выбирая места посуще. Дойдя до крыльца, он предупредил:
— Вытирайте ноги как следует. А то Любка задаст вам по первое число.
И по тому, как долго он топтался на соломенной подстилке, я понял, что он и сам побаивается строгой хозяйки.
Мы вошли в темные сени, затем в такую же темную комнату, и парень неуверенно спросил:
— Есть кто-нибудь?
В дальнем углу мяукнул котенок.
— Никого нет, — облегченно сказал парень, — опять Любка, наверно, в Поддубки пошла.
Он пошарил поднятыми руками в темноте и, нащупав лампочку, повернул ее в патроне. Загорелся свет. Горница отличалась тем подчеркнутым неуютным порядком, который свойствен комнатам для приезжающих. На стене висел большой плакат, объясняющий, как надо бороться с колорадским жуком. Посредине стола стояло блюдце для окурков, а у стен — две узкие кровати. Тюфяки, видимо, были недавно набиты, и от них пахло свежим сеном.
— Ну вот, располагайтесь тут, — сказал парень и добавил нерешительно: — Только не ложись, пока Любка не придет. Она вам сама укажет койку.
Мой провожатый ушел, а я от нечего делать стал листать лежащую на тумбочке школьную тетрадку. Страницы ее были аккуратно разграфлены и на первой написано следующее:

3 мая
. Пчеловод. Один день полного питания.

5 и 6 мая
. Писатель из Москвы. Два дня по два литра молока.

10 и 11 мая.
Данила Иванович. 10-го ужин, 11-го завтрак.

13 мая
. Суббота. Киномеханик. Обед и ужин.

14 мая
. Воскресенье. Баянист из города. Две порции обеда.

18, 19, 20 мая
. Землемеры. Три дня полного питания. Бесплатно, по распоряжению председателя колхоза.

21 мая
. Воскресенье. Баянист из города. Две порции обеда.

23 и 24 мая.
Данила Иванович. 23-го ужин, 24-го завтрак.

26 мая.
Ветеринарный профессор. Ничего не ел.

28 мая.
Воскресенье. Футболисты. Семнадцать бесплатных обедов, по распоряжению председателя колхоза. Баянисту не хватило.

Дальше шли еще несколько лиц, потом снова неизвестный Данила Иванович съел один ужин, а на следующий день — один завтрак, и уехал.
Я с интересом перевернул страницу и в это время услышал голос:
— Вы что это у меня ревизию наводите?
На пороге стояла девушка в легоньком коверкотовом пальто с плечиками и в резиновых ботиках. У нее было широкое скуластое и открытое лицо с дубленой коричневой кожей, а голова была повязана деревенским бабьим цветастым платком.
Я извинился и положил тетрадь на место.
— Механик эмтеэсовский не приходил? — спросила Люба, указывая на левую кровать.
Я сказал, что никого еще не было.
— Значит, все еще в Поддубках, — усмехнулась она. — Понравилось ему, наверно, песни наши слушать?
— Какие песни?
— Частушки. Там, в Поддубках, каждый день новые. Туда со всех деревень за частушками ходят. Там и про колхозные дела и про любовь — про все складывают. Вот эмтеэсовский механик вчера только приехал трактор чинить, а про него уже частушка сложена. Больно тихо работает парень. Как это сложено, обождите: «Ваня Иванов из эмтеэс вчера под трактор полез, а починит его Ваня не раньше посевной кампании». Я эту частушку позабыла, она там складно сложена. Вам что сготовить: яишницу или, может, картошки поджарить?
Она пошла за перегородку, в свою половину, переоделась и вышла на кухню. Пока я умывался, печь была затоплена и на сковородке кипело масло.
— Вы, наверно, давно ждете? — говорила Люба. — Вот тоже была в Поддубках. Целый час цыганочку танцевала. Даже плечи заболели. А никак не уйти. Больно песни хорошие поют. Вот, глядите, поддубенская частушка.
И она, улыбаясь, запела, поводя в такт плечами:

Милый в армию ушел,
Я сказала: — Точка!
Я ни с кем гулять не стану
Эти два годочка.

— И тут горло дерут, — недовольно проговорил, входя на кухню, высоченный парень с руками, вымазанными в автоле. На пуговице его синего мокрого комбинезона висел электрический фонарик.
Я понял, что это был Ваня Иванов.
— Так я же про любовь, — отвечала Люба. — Я про трактористов не пою.
Даже не посмотрев на нее, парень начал умываться, расплескивая воду и на пол и на стену. Умывался он долго и сердито. Утеревшись, он снова вышел на кухню и спросил:

— Кто у вас там всякие глупости сочиняет?
— Поддубенские ребята складывают, — ответила Люба. — Вам что: яишницу или, может, картошки поджарить?
— Не надо ничего. Завтра разбуди меня в пять часов.
Парень ушел, а мне вдруг самому захотелось сходить в Поддубки, послушать поддубенские частушки и обязательно разыскать человека, который их складывает.
2
Моя работа оказалась довольно сложной. И у Синегорья и у Поддубок до объединения было по девять полей, а теперь предстояло запланировать новый общий зерновой севооборот и заново организовать кормовую базу. Для повышения урожайности очень важно, чтобы последовательность культур на полях севооборота не нарушалась. Но при укрупнении полей в первые годы соблюсти это условие очень трудно, а иногда и совсем невозможно. Вот, например, в Синегорье на первом поле травы второго года пользования, а на соседнем, поддубенском, озимая рожь. Как эти поля соединить в одно? Что на нем сеять?
Вот и приходится с утра до ночи разговаривать с местными агрономами, с председателем колхоза и бригадирами, ходить по полям. Неудивительно, что я как-то совсем забыл про поддубенские частушки и про их сочинителя.
Долго пришлось ломать голову из-за поддубенской птицефермы. Птицеферма эта была гордостью колхоза. Прекрасное здание с шиферной крышей, с паровым отоплением и электрическим светом было построено только в прошлом году на границе поддубенских и синегорских земель, и по новому землеустройству оно оказывалось совсем не на месте, как раз посредине седьмого поля зернового севооборота. Как ни жаль было этого здания, но приходилось перенести его на другое место. Я показал Василию Степановичу Боровому, председателю объединенного колхоза, свои расчеты, и скрепя сердце он согласился.
И вот однажды, когда я был у Василия Степановича, он сказал, что ферму уже разбирают. Я удивился. Новый план землеустройства еще не был утвержден, и мне казалось, что председатель действует рискованно.
— Чего ждать, — сказал Василий Степанович, заметив мое удивление, — переиначивать так переиначивать, чтобы раз-два, и готово. Пойдем поглядим. Ребята там горячие, наверно, уже стропила снимают.
Мы вышли в поле. Василий Степанович, бритый и стриженый шестидесятилетний старик, на цыпочках, словно молодой, забирался вверх по крутому размякшему откосу. Я следовал по вмятинам его следов, как по ступенькам. Наконец показалось здание фермы. Оно стояло целехонькое. На бревнах сидел парень в красной ковровой тюбетейке и человек десять девчат. Среди них была и моя хозяйка — Люба. А рядом с Любой сидела девушка с коротким вздернутым носом, видимо, самая младшая из всех. Колечки белокурых волос торчали из-под ее платка. Эта девушка чем-то выделялась среди своих подруг, и сначала я не мог понять — чем. Но, приглядевшись, я догадался: у нее были удивительно выразительные глаза — голубые глаза, смотревшие на все вокруг с каким-то наивным удивлением и радостью.
Никто не работал. Василий Степанович сдвинул брови.
— Чего это вы, уже утомились? — обратился он к парню. — Устали ночью головами подушки подпирать.
Голубоглазая девушка взглянула на парня, словно говоря ему: «Ну, Сеня, скажи скорей что-нибудь, а то, ох, тебе и будет!»
— Ни одна не хочет на крышу лезть, — неторопливо ответил Семен. — Жалко им рушить.
— Что же это вы? — спросил председатель, заложив руки в карманы брюк и медленно переводя взгляд с одной девушки на другую.
— Пошли, девчата, полезем, — сказала Люба.
— Зачем мы станем такую красоту рушить, Василий Степанович! — пронзительно заговорила строгая Феня, заведующая птицефермой. — А курей куда будем девать?
— Пока на новом месте ферму соберем — кур в сарай переведем.
— Неладно придумано, — заметил Семен. — Там низина, Василий Степанович, сырость. Захворают куры туберкулезом.

Голубоглазая девушка вопросительно взглянула на председателя, и во взгляде ее можно было прочесть: «Ведь и правда, захворают куры туберкулезом. Как же это вы так, Василий Степанович?»
— Не захворают, — сказал председатель, — не на век переводим. От силы на неделю.
— И хорек повадится, — продолжал Семен. — Место там угрюмое, на отлете. Хорек повадится, не уследишь.
Девушка обернулась к председателю, словно говоря: «Вот видите, какой у нас умный Семен. Хорек кур передушит, что будем делать?»
— Не бойся, собаку на цепь посадим, — сказал председатель. — Отпугнет.
— Где вы такую собаку возьмете? — спросил Семен.
«Да, да, где вы возьмете собаку?» — сияли большие глаза девушки.
— А хоть у Бирюковых. Я гляжу, и тебе не больно охота задание выполнять. А ну, дай ломик.
И, забравшись на крышу, Василий Степанович стал отрывать плитки шифера.
— Ладно сидеть. Полезли работать, — сказала Люба и стала подниматься по приставной лестнице.
— Рушить-то она мастерица, — сказала Феня.
— И строить стану не хуже! — крикнула сверху Люба.
— Дожили, — продолжала Феня, — поддубенские строили, а синегорские рушить станут.
— Теперь что синегорские, что поддубенские — один колхоз «Победа», — отвечала Люба. — Наташка, а ты что стоишь? Лезь ко мне!
Голубоглазая девушка колебалась. Люба неловко подковырнула плитку шифера, выворачиваемый гвоздь вскрикнул, словно от боли, и плитка треснула пополам.
— Слезай! — закричала Феня. — Что хотите делайте, Василий Степанович, а не могу я глядеть, как наше добро портят. Знает она, как мне плитки достались? Это в ихнем колхозе ничего не строили… Слезай оттуда!
— Ты все делишь! — воскликнула Люба. — Колхозы слились, а ты все: «наше» да «ваше». Ну и дели. Думаешь, если наш колхоз послабей был, так и попрекать можно…
— Я тебя не попрекаю. А ты спроси, как я в прошлом году стекла из своей избы вынимала да сюда вставляла. Слезай, тебе говорят!
— Мне что, я и слезу. Работай сама. Что мы тебе, приживалки?
Люба сошла вниз, сделала несколько решительных шагов, словно направлялась домой, но вдруг села прямо на грязную землю и заплакала.
— Да что вы сегодня все с ума посходили? — растерянно проговорил Василий Степанович.
Все молча смотрели на Любу. Наташа подошла к ней, неуверенно тронула ее за плечо и проговорила:
— Гляди, юбку замараешь…
— Ну и шут с ней.
— Ладно тебе. Утрись, и пойдем плитки складывать…
— К нам, небось, приходили в прошлом году тес выпрашивать…
— Ладно. Она заведующая птицефермой. Ей это все равно, Любушка, что свою избу ломать…
— Сама же Фенька приходила за тесом да за лампочками, а теперь…
— А ты не гляди на нее, — уговаривала Наташа подругу. — Пойдем, Любушка, пойдем…
— Долго вы будете постановку разыгрывать? — сказал Василий Степанович, посмотрев на часы. — Семен, начинай.
— Как же я начну? Что мне их на руках, что ли, носить на крышу?
— Как хочешь. Хоть на руках. Начинай.
— Ну, ладно!
По-медвежьи растопырив руки, Семен пошел на девчат, и все они с визгом бросились в разные стороны. Только Люба сидела по-прежнему на земле, закрывая лицо рукой, плакала и казалась худенькой, остроплечей.
Семен легко поднял ее на руки. Сначала она старалась вырваться, отбивалась, болтала ногами, но, увидев, что Семен несет ее уже по зыбкой скрипучей лестнице, испуганно обхватила его за шею и притихла.

Лестница была высокая, метров пять высотой, и стояла довольно круто. Семен осторожно поднимался вверх, опираясь о перекладины ступнями и коленями. На спине его, возле плеч, под майкой вздулись мускулы, а шея все больше и больше краснела.
— Довольно тебе, — вскричал встревоженный Василий Степанович. — Прекрати сейчас же!
— Бросить? — спросил, остановившись на середине лестницы, Семен.
— Да неси ты быстрее, черт! — воскликнул председатель, испугавшийся, что его распоряжения стали исполняться чересчур точно.
Семен добрался до крыши, тяжело дыша, опустил смущенную Любу и пригладил волосы своей красной тюбетейкой. Вслед за ним одна за другой полезли наверх девчата.
— Василий Степанович, — не унималась Феня, — давайте хоть с неделю погодим ломать. Чехословацкие делегаты приедут, что же мы станем показывать? Электростанцию перестраиваем, к коровнику пристройку делаем и еще птицеферму вовсе сломаем. Что мы станем показывать?
— Труд свой станем показывать, — сказал Василий Степанович. — Они к нам не в музей приедут. Поймут. У них у самих там все заново переделывается.
И снова начал отдирать ломиком плитки.
Работа стала разгораться, как костер, когда от маленького язычка огня постепенно занимаются веточки, обвиваются летучим пламенем, разгораются все сильней и сильней, словно соревнуясь, чей огонь жарче и веселее.
Я не утерпел и тоже забрался наверх и стал работать, хотя Феня, считавшая меня виновником всех бед, свалившихся на колхоз, пробормотала: «Пришел грехи замаливать».
Стояло погожее июньское утро. Было видно далеко вокруг и слышно все издалека. До самого горизонта, до самых утренних зорь, тянулись невысокие холмы, разделенные лощинами и оврагами. На вершинах каждого холма виднелись деревни, окруженные садами и пашнями. Над избами поднимался тонкий дымок: молодухи уже затопили печи. В прозрачной дали было хорошо видно розовую ровную ленту канала и вертикальные грани шлюзовых башен. Во все стороны расстилались поля пшеницы, ячменя, проса.
Быстро обнажались стропила здания.
— Давайте веселее, девки, — сказал Семен, выколачивая стропильный брус. — Мне сегодня вечером еще в Игнатовку топать надо.
— Зачем, Сеня? — спросила Наташа.
— В сельсовет. Кое-какие данные о колхозах взять. Чтобы объяснить чехословацким гостям, если поинтересуются… — он сунул лом под брус стропила. — Любка, вывешивай комель. Вывешивай больше. Пойдем со мной в сельсовет? — неожиданно добавил он тем же тоном.
— Я уже и так вся повисла, — словно не слыша вопроса, отвечала Люба. — Больше во мне веса нет.
— Обожди. Лом подложу. Наташа, а ты что застыла? Ну, теперь опускайте… Опускай, Любка. Пойдем со мной. Поможешь выписывать данные.
— А тюбетейку подаришь?
— Подарю.
— Да что ты. Я ведь в шутку. Не пойду. У меня простыни три дня не глажены.
— Теперь подавай на себя… Пойдем. И речь приветственную поможешь мне составить. Еще на себя. А ну, бросили! Наташа, да что ты вовсе руки опустила?
Сухой брус со звоном упал на землю.
Наташа наклонилась к Любе и спросила, пытливо глядя в ее лицо:
— Сегодня вечером придешь за гармошкой ходить?
— Не знаю, Натка, — отводя глаза, отвечала Люба. — Гладить надо.
— Много ли тебе гладить?
— Много. Одних простыней больше десятка.
— Может, прийти пособить?
— Не знаю. Ничего я не знаю, Натка.
И, словно больную, обняла и поцеловала подругу в лоб.

Вечером в городе Д. состоялось совещание районного отдела сельского хозяйства по поводу утверждения новых планов объединенных колхозов. Оно окончилось поздно, и мы с Василием Степановичем Боровым возвращались домой в кромешной темноте. Как я и предполагал, Василию Степановичу на совещании досталось за то, что он начал действовать, не дожидаясь утверждения плана. Хотя замечания были добродушны, и делались скорее не для него, а в назидание другим председателям колхозов и хотя наш план был признан образцовым, Василий Степанович сильно расстроился, два раза просил слова и вовсю спорил с секретарем райкома, Данилой Ивановичем. Теперь, шагая домой, он молчал и на все сердился. Ему не нравилось, что деревня далеко от города, что левый ботинок у него скрипит, что дорога идет в гору и что у меня нет детей.

Наконец показались огни Поддубок. Василий Степанович посмотрел на меня, довольно долго подумал и сказал:

— А ты, смотри, не говори моей старухе, как меня крыли.

Я обещал молчать. Мы спустились в овраг, медленно поднялись на горушку. На самом верху Василий Степанович вздохнул и сказал снова:

— Она, смотри-ка, тоже не велела птицеферму рушить. Ты молчи. И так она слишком много об себе понимает.

Я снова обещал помалкивать. Мы шли длинной улицей деревни, и, хотя было совсем темно, Василий Степанович шагал уверенно и быстро, как по своей горнице. Справа от нас, на задах, словно заведенная, басом лаяла собака. В отдалении показались три освещенных окна его избы.

— Если она узнает, как меня честили, — сказал Василий Степанович, — так и вовсе подумает, что у нее министерская голова. Про ветвистую пшеницу или про агронома эмтеэсовского скажи, а про планы молчи.

У ворот председателя окликнули, и я отправился в избу один. В просторной горнице вместо фотографий и картин на стенах висели пучки ржи, пшеницы, овса. С каждого пучка свисала фанерная бирка с указанием года сева, номера поля, урожая и нормы высева. На подоконнике, среди резеды и столетника, стояли консервные банки, наполненные семенами клевера, тимофеевки, кок-сагыза и лежали огромные желтые огурцы. И на комоде, где хозяйки обыкновенно помещают две высокие, зеленого стекла вазочки с бумажными цветами, блестели под стеклянным футляром аналитические весы. Другие, большие весы, сделанные Василием Степановичем из жести и гуперовских проводов, висели в красном углу, а возле них, на подоконнике, покоилась грудка бронзовых монет, которые употреблялись вместо гирек. Василий Степанович был опытником. Катерина Петровна, жена его, сначала ворчала, пыталась наладить в комнате жилой порядок, но потом смирилась и даже полюбила все эти пучки и зернышки и хвасталась гостям желтыми огурцами, которые были величиной с доброго поросенка. Она ежедневно смахивала пыль с колосьев, собирала в бумажку опавшие зерна и аккуратно сообщала мужу, откуда они упали. Впрочем, если она ошибалась, Василий Степанович без особого труда разбирался в этом сам.

Единственным предметом, к которому так и не смогла привыкнуть Катерина Петровна, был большой круглый барометр, укрепленный на доске мореного дуба, с блестящими, как золото, стрелками. Через несколько дней после того как он появился на стене, Катерина Петровна заметила, что показания его сильно влияют на настроение мужа. Как только стрелка двинется налево — Василий Степанович сердится и не разговаривает. Однажды Катерина Петровна заметила, что прибор с изъяном: если постучать по стеклу, то стрелка на некоторое время отходит направо, на хорошее настроение. И Катерина Петровна, более всего на свете не терпевшая, когда муж не в духе, тайком постукивала пальцем по стеклу. Вот и теперь, когда я вошел, старушка стояла возле барометра с видом провинившейся первоклассницы, а стрелка показывала «ясно», хотя духота обещала ночную грозу.

— А мой где? — спросила Катерина Петровна, отойдя от злополучного прибора.

— Сейчас придет. Его по пути, кажется, секретарь правления остановил.

Через несколько минут вошел Василий Степанович, и вскоре мы сидели за столом и пили чай.

Толстый самовар, «царь Берендей», как называл его Василий Степанович, стоял на подносе в короне и при медалях. Хотя у Катерины Петровны были и плитка и электрический

чайник, — чай она пила из самовара, потому что в самоваре и кипяток слаще, и горница с ним становится уютней.
И действительно, когда Катерина Петровна открыла окно и белая занавеска стала заигрывать с огурцом, как с котенком, и самовар запел свою песенку, и внутри него изредка с легким звоном стали проваливаться вниз угольки, когда вдали, на улице, кто-то начал перебирать лады гармоники, разминая пальцы, и вместе с теплым ветром в комнату залетели обрывки вкрадчивых, тихих, девичьих голосов, — мне стало так хорошо и покойно, что я даже немного поежился, как бывало в детстве, под одеялом.
— Куда же ты столько сахару навалила, — сказал Василий Степанович жене. — Ложкой не провернуть.
Катерина Петровна покосилась на барометр. Стрелка все еще показывала «ясно», но Василий Степанович был не в духе.
— Всегда столько кладу, Вася. Или сахар стал слаще? Что на собрании-то говорили?
Василий Степанович строго взглянул на меня и ответил:
— Ничего особенного. Наш план утвердили. Потом эмтеэсовского агронома песочили. Покрывает своих механизаторов.
— Так ему и надо, — Катерина Петровна недоверчиво посмотрела на мужа. — И план, говоришь, утвердили?
— Утвердили. Ты-то вот ворчала, выказывала себя умней всех, а райзо утвердило.
— А про ферму так никто и не поминал?
— Налей-ка еще. На будущий год нам ветвистой пшеницы придется пять гектаров осваивать. Надо бы уж теперь место подбирать. Где-нибудь на южном склоне, подальше от дороги.
— Данила Иванович был?
— Был.
— Он тоже про ферму ничего худого не говорил?
Василий Степанович отхлебнул чай и поморщился.
— Теперь и вовсе не сладко. Дай-ка сахарницу, сам положу. Надо вот место подобрать для ветвистой пшеницы… Чего ты все заладила: ферма да ферма. Я тебе говорю, всё утвердили, сам заведующий райзо и гербовую печать поставил и красным карандашом расписался… И Данила Иванович… Похвалил, в общем.
— Ну, тогда что же, тогда хорошо, — примирительно заговорила Катерина Петровна, — конечно, на новом месте несушкам лучше будет. Сухое место, высокое.
Внезапно в темноте ночи уверенно и громко заиграла гармошка. Радостная, широкая мелодия разлилась по деревне, и все звуки вечерней улицы, и чирканье шагов, и торопливый говор девчат, и сердитый шепот засыпающей листвы, и равномерный шум далекого товарного поезда — все потонуло в этой певучей струе музыки. И только иногда, когда гармонист рассыпал заливистую, затихающую трель, становилось слышно, что возле него смеются девчата и на задах басом лает собака. Гармонист шел серединой улицы и играл, повторяя мелодию и украшая ее все новыми и новыми узорами. И вдруг, как будто не в лад, как будто немного опаздывая, смелый, пронзительный девичий голос начал частушку, и тут уже не стало слышно ни смеха, ни собачьего лая. Я прислушался, но не смог разобрать слов: только сильный переливчатый голос, то кокетливо отставая, то нагоняя мотив, разливался по улице, повторяя все затейливые колена гармошки. Частушка оборвалась так же внезапно, как и возникла, но гармонист все играл и играл, ни на что не обращая внимания, терпеливо дожидаясь, когда к нему подстанет следующая певица.
Молодежь приближалась. И по очереди запевали девчата: одна тонким, почти визгливым, счастливым голосом, другая — грубоватым, низким, немного задумчивым. И колхозники навстречу песням отворяли окна.
— Опять Маруська игнатовская пришла, — сказала Катерина Петровна, прислушавшись. — Каждый день к нам повадилась. Вон как, вон как выводит… И откуда у них охота? Целый день на поле, а потом всю ночь напролет ходят…
— Ты вспомни, какая сама была, — заметил Василий Степанович.
— И правда. Только тогда мы не так певали. Все больше печальное.
Гармонь приблизилась настолько, что я смог уже разобрать слова. Девушка пела:

Милый любит, не целует,
Только обещается,
А любовь без поцелуя
Строго воспрещается.

— Это Клавка из Хвалова, — сказала Катерина Петровна. — Вон откуда приходят, господи боже ты мой!
И не успела она закончить своих слов, не успел гармонист сыграть отыгрыш, раздался другой голос:

Ты, серебряная звездочка,
Фасонить погоди.
Погляди, у Лены нашей
Золотая на груди.

Василий Степанович заслушался, положив на стол руки, и с него слетело все его недовольство, хотя стрелка барометра снова упрямо стала показывать бурю.
— Хорошо поют, — сказал он, оборачиваясь ко мне с таким видом, будто и на это он положил немало труда, — нет другой такой деревни, где бы так пели. Налей-ка еще, Катя.
Вдруг под самыми нашими окнами голос низкого грудного тембра, голос такой красоты, что к нему нельзя было не прислушаться, на всю деревню запел:

Птицеферму разобрали,
Загордился Боровой,
А в районе услыхали,
Покачали головой.

Василий Степанович глотнул чай и поперхнулся. Катерина Петровна взглянула на него, поджав губы.
— А это наша Фенька поет, — сказала она.
Василий Степанович сосредоточенно пил чай.
— Так я и знала, — продолжала Катерина Петровна, — Еще чего надумали, ферму рушить. А и вы тоже, — обратилась она ко мне, — надоумили его на такое дело.
Я внимательно посмотрел на барометр и подмигнул Катерине Петровне. Старушка поняла меня, смешалась и замолчала. Я закусил губу, с трудом сдерживая улыбку. Василий Степанович недоуменно посмотрел на меня, на жену и, ничего не поняв, проговорил;
— Сочиняют тоже, сочинители…
— Я бы ее немного приструнила, — сказала Катерина Петровна.
— Кого? — спросили мы в один голос.
— Да Наташку, кого же еще. Она частушки складывает.
— Наташа? — протянул Василий Степанович. — Да ты что? Она еще дите совсем. Выдумала тоже.
— Как там хочешь, дите или не дите, а она складывает, — уверенно проговорила Катерина Петровна и пошла на кухню.

4

От Катерины Петровны я узнал, что Наташа в эти дни работает подсобницей на постройке новой птицефермы, и утром, торопливо позавтракав, пошел разыскивать девушку. Яркое солнце стояло уже высоко. Чистое небо светилось, и казалось, что это даже не небо, а сплошное голубое сияние. Молодые, умытые ночной грозой липы стояли облокотившись о заборы палисадников, как скучающие красавицы. Птицеферма строилась за рощицей, на

высоком месте. Бревенчатые стены длинного здания были уже собраны, и четыре плотника занимались установкой стропил. Возле груды досок сидел Семен и, зажав между коленями топор, точил его оселком. Семен был в широких брезентовых штанах, заляпанных дегтем, в добела выгоревшей гимнастерке, не имеющей ни одной пуговицы, и в резиновых сапогах, на голенища которых были напущены штанины. Он был распоясан. Широкий солдатский ремень висел у него через плечо. В общем его спецодежда выглядела довольно потрепанной и даже красивой тюбетейки не было на этот раз на его голове.
Возле него стояла Наташа.
— Я думала, что тебе далеко ходить за досками, Сеня, — услышал я ее голос, — вот и перетаскала доски поближе…
— Думала, — строго перебил ее Семен. — Я вчера почти целый день доски для филенок отбирал, а ты снова все перепутала.
— Так я ведь не знала, я хотела, чтобы тебе лучше. Теперь мне чего делать?
— Сиди, пока не скажу. Сама ничего не трогай.
Семен цепко обхватил обеими руками топорище и принялся тесать бревно.
— Что же теперь, Сеня, делать? — нерешительно спросила Наташа. — Может, их обратно сносить?
— Зачем обратно носить. Ладно уж.
Склонив голову набок, Наташа со страхом следила за его работой, видимо опасаясь, как бы он не тяпнул себе по ноге. Я видел, что она хочет ему сказать что-то, но не решается. Чем больше я смотрел на нее, тем больше она мне казалась похожей на молодое деревцо, спокойно принимающее счастье расти под этим чистым, бесконечно синим небом. Заметив меня, Наташа вздохнула и, совсем отчаявшись поговорить с Семеном, куда-то ушла.
Семен упруго выпрямился и небрежно отбросил топор. Топор, как кошка, перевернулся в воздухе, тюкнулся носом в бревно и застыл, задрав топорище.
Вскоре Наташа вернулась, держа в руке долото. Глаза ее блестели.
— Сеня, вот я тебе ручку на долото насадила. Сама насадила. Хорошо?
— Где же ты такую ручку нашла? — спросил Семен, снисходительно осматривая долото.
— Сама настругала. Там возле точила валялась палка…
— Осиновая? — насторожился Семен.
— Осиновая.
— С зарубками?
Наташа испуганно смотрела на него потухшими глазами.
— С зарубками? — снова спросил Семен.
— Так ты же сам вчера велел долото насадить.
— Это у меня мерка была, — с досадой проговорил Семен. — Я же сказал: сиди и не трогай ничего… Сказал или нет?
Наташа стояла, опустив голову, и шевелила камушек носком туфли. Губы ее дрожали.
— Ну, ладно, — махнув рукой, сказал Семен. — Сходи-ка на скотный двор, там двухдюймовые рейки лежат. Отбери шестнадцать штук, которые без сучков, и принеси сюда.
— Там, Сеня, конец той палки остался…
— Ладно, испортила мерку… Иди неси рейки.
Наташа пошла, не поднимая головы.
Семен долго смотрел ей вслед, потом перевел взгляд на меня и, прочтя на моем лице осуждение, отвернулся.
— Смотри-ка, теплынь какая, — сказал он, чтобы прекратить неловкое молчание. — Видишь, березка греется. Весь свет обойдешь, не найдешь такой березки.
Одинокая кривая береза росла на откосе, и ничего особенного в этой березе не было.
— А ограда-то! Погляди, какая ограда под солнцем. Серебряная.
Ограда тоже была обыкновенная, сделанная из еловых кольев, похожая на сотни других оград.
«Видно, не бывал ты нигде, не видал настоящей красоты, просидел всю жизнь в своих Поддубках, — подумал я с сожалением и грустью, — вот зубы-то и заговариваешь», — и, не удержавшись, спросил напрямик:
— Зачем ты так строг с Наташей? Разве ты не видишь, что она тебя любит?

Семен как-то странно посмотрел на меня и, ничего не ответив, снова принялся тесать. Я подумал было, что он хочет показать, чтобы я не ввязывался не в свое дело, но он вдруг сказал:
— А ты думаешь, я не вижу? Думаешь, мне легко с ней так говорить? Я уж знаю — только стань с ней поласковей, только приласкай, — прилипнет, и все. А какая между нами может быть любовь? Ей еще восемнадцати нет, а мне — тридцатый. У меня, брат, жену на войне убили… Конечно, Наташа заманчивая девка, она хоть кого заманит, если полюбит. В глаза погляди — душу видно до самого дна. Сердечная. Сперва и я думал вот так, из жалости, с ней погулять, да решил это дело отставить. С этим играть, все равно что с огнем играть. И ей голову закрутишь и себя обманываешь. Какая между нами может быть любовь?
Семен повернул топором бревно, срезал узкую полоску коры и отбил шнуром черту.
Она еще молодая, нигде не была, ничего не видела, — продолжал он. — Тут один семеновод из Хвалова к ней подбирался, — я его так шугнул, что он сюда и дорогу позабыл. Больно это у него просто, как по писаному пошло, видно, большую практику имел. Неправильный человек. А она не понимает. Где ей понять. Она было с этим с семеноводом в Хвалово стала ходить. А вот есть паренек, рядом тут в Синегорье живет. Почти каждый день письма ей пишет и кидает в почтовый ящик. Правильный такой паренек. Культурный. Радиолюбитель. Уже в эмтеэс помощником комбайнера работает. И летами и ростом как раз ей под пару. Так вот он ей не очень, видишь ли, нравится. «Это не он, говорит, письма пишет, это ему кто-нибудь надиктовывает. А сам он, говорит, и разговаривать не может. Как рядом встанет, так и начинает свистеть, ровно на телку». Подумаешь, какая привередливая. И не свисти ей. Он нигде и не свистит вовсе, он только при ней начинает посвистывать, да и то редко, так, немного посвистит и бросит. Ей-то что, жалко? Ясно, молодой еще, растеряется, как ее увидит, вот и свистит, чтобы показать свою самостоятельность. Вполне понятно. Я уж их пробовал сдружить, — улыбнулся Семен, — я ему говорил, чтобы не свистел при ней. Так тут другая беда: свистеть перестал — говорить начал. Совсем девчонку заговорил. Говорит и говорит без остановки. Она притормаживает, а он говорит. И все больше про приемники, про радио да про конденсаторы. А ей, сам понимаешь, не больно интересно слушать про конденсаторы. Ей восемнадцатый год идет — ей другие разговоры слушать охота.
— Это правда, что она частушки сочиняет? — спросил я.
— Кто, Наташка? — Семен отложил топор и недоуменно посмотрел на меня. — Кто это тебе говорил?
— И Катерина Петровна, и другие…
— Ну, да! Знает Катерина Петровна! Разве Наташка запевку сложит? Петь-то она, конечно, поет, у нее голое такой, что в Синегорье слыхать. А запевки складывать — куда ей. Я думаю, у нас новые запевки Фенька складывает, ты ее видал, заведующая птицефермой… Так вот, стал он ей про конденсаторы рассказывать, еще хуже у них дело пошло. Опять ей не нравится. Я тогда рукой махнул и отступился. Любовь такая вещь, она советчиков не терпит. Вот я тешу и тешу бревно, как умею, а станешь меня переучивать — сразу ничего не получится. Так и любовь, — у всех она разная, кому какая с руки, и третьему лезть в это дело — все равно без пользы. А насчет Наташи ты меня не суди — я нарочно ее на дистанции держу… Я тебя каких просил принести? — внезапно переменив тон спросил он.
Позади меня стояла Наташа с охапкой реек.
— Я тебя двухдюймовых просил, — безжалостно продолжал Семен, — а ты каких принесла?
— А это разве не двухдюймовые?
— Два дюйма — это пять сантиметров. Надо понимать.
— Так бы и сказал, — рассердилась Наташа. — Ты бы еще на аршин мерил. Как купец при царе.
И пошла обратно.
— Вот она какая. С норовом. — Я улыбнулся. Улыбнулся ей вслед и Семен.
— Видишь, какая занозистая, — сказал он. — Вот в Чехословакии, в городе Шахи, такую же, похожую на нее, встретил. Такая была Анежка Брахачек.
— Ты бывал в Чехословакии?

— Пришлось. Так вот эта Анежка Брахачек пришла наниматься к нам в Красную Армию. Подошла ко мне, говорит «пан» да «пан». Ихний язык на украинский немного похож. Я ей говорю: «Я не пан, а товарищ старшина. Ясно?» — «Ано, — говорит, — пан товарищ старшина». Ано по-ихнему да. Смеху с ней было, прямо беда. Правильный у них в Чехословакии народ. Вот видишь — на гимнастерке ни одной пуговицы нету. Это, как мы в город Шахи вошли, — на память пообрывали. Так ее теперь и держу. А в Румынии тоже настоящий народ, и язык у них настоящий. Война, например, по-ихнему будет «разбой». Правильный язык. Мы, когда за Яссы зашли, видим, в одной деревне ходит мужик, босой, оборванный, а в фетровой шляпе и с барабаном. Ходит по деревне, бьет в барабан и кричит, что пришла Советская власть. Это у них глашатай в Румынии, вместо газеты, кричит приказы местных властей. Едва мы его уняли. Всюду, брат, побывал, много чего навидался.
Подошла Наташа и молча бросила возле нас охапку реек.
— Ну вот, это и есть двухдюймовые. Правильно, — скупо похвалил ее Семен.
— Сеня, — сказала Наташа с таким видом, словно бросилась в холодную воду. — Сеня, можно я с тобой буду нашим гостям речь писать?
— Чего же, — подумав, отвечал Семен. — Кто знает — может, у тебя душевнее моего получится. Завтра писать станем. Приходи…
Задумавшись, я перевел взгляд вдаль и снова увидел березку, про которую говорил Семен. Она росла немного косо, вся листва ее спадала на одну сторону, как волосы у девушки, когда она их моет; сквозь освещенные солнцем листья, похожие на зеленые стеклышки, было видно все, до единого сучка, и мне самому вдруг показалось, что такой березки не сыскать нигде во всем мире.

5

После разговора с Семеном мне еще больше захотелось разыскать составительницу частушек и поговорить с ней. Может быть, многим эта настойчивость покажется странной, но я с малых лет люблю колхозные запевки, готов слушать их с утра до вечера, и меня издавна занимало — кто сочиняет меткие, короткие песенки, в которых иногда больше мысли и чувства, чем во многих длинных.
Много лет я хожу и езжу по колхозным дорогам и всюду слышу эти песни о встречах и о расставаниях, о любви и изменах, о труде и о коммунизме. Поют их на севере и на юге, в Белоруссии и в Сибири, и всюду они особенные, самобытные, и отличаются в разных местах друг от друга так же, как природа и труд людей.
Еще мальчишкой я услыхал частушки на берегу Ладожского озера. Дул холодный северный ветер, низко над водой тянулись дымные облака, а бородатые рыбаки, разбирая сети, запевали своими низкими, хрипловатыми голосами:

Мы по-ладожски сыграем…

Внезапно все вдруг умолкали, словно песня натыкалась на мель, и после длинной паузы, в течение которой только пресные волны Ладоги отбивали такт, снова, так же согласно, как удар весел по воде, раздавалось:

Мы по-спасовски, по-спасовски споем!

А однажды вечером на полях Воронежской области я услышал чистый, как ключевая вода, голос.

Восемь часиков, подружки,
Без пятнадцати минут… —

отчетливо и протяжно пропела девушка первую половину частушки, и, не успели еще звуки растаять в синем воздухе, десяток веселых голосов подхватил едва понятной скороговоркой:

Скоронашиухажерыкнамбеседоватьпридут!

Совсем по-другому поют на берегах Волги, где-нибудь возле Саратова. Широко и спокойно плывет над заливными лугами, над Жигулевскими горами:

С неба звездочка упала-а-а,
Волга-матушка река-а-а… —

и кажется, медленно гуляют две голосистые подруги, одна на этом, другая на том, крутом, берегу, и перекликаются, а легкий ветер подхватывает песню и несет ее над плесами великой реки, и она замирает, замирает вдали…

В одной деревне, недалеко от Пскова, мне довелось услышать «страдания»:

Ой вы, яблочки,
Ой вы, вишенки,
Не видали ль вы
Моего Мишеньки?

Много разных «страданий» поют в тех местах, мягко, по-псковски, растягивая слова, а мотив такой, что нельзя удержаться, чтобы не заплясать. И все самое грустное, самое печальное, о чем поется в «страданиях», мотив этот окрашивает в легкие, смешливые тона, и совсем не удивляешься, когда девушка, напевающая о близкой разлуке с милым, пускается в пляс и, раскрыв, словно для объятий, руки, выбивает частую дробь каблуками.

А узорные, как искусное кружево, мотивы вологодских песен, а рязанские запевки, а уральские «подгорные», а сколько еще других песен существует на нашей земле, которых я не успел еще узнать, не успел услышать.

Все это мне хотелось рассказать Фене, хотелось попросить, чтобы она спела свои частушки, и записать их. После того как по просьбе Любы я сделал доклад на комсомольском собрании о землеустройстве объединенного колхоза, Феня перестала сердиться на меня за изменения в хозяйстве, и мы с ней даже подружились.

На другой день после разговора с Семеном я отправился в сарай, где временно разместили несушек и цыплят. Утепленное здание сарая было разделено сенями на две половины. Я вошел туда, где находились недавно привезенные из города инкубаторные цыплята. За сеткой пищало и копошилось больше тысячи пушистых шариков. Отдельно, в ящике от письменного стола, сидели четыре нахохлившихся утенка. Видимо, в инкубатор вместе с куриными по ошибке попадают и утиные яйца.

Возле ящика я увидел Наташу. Она сидела на корточках и, сунув клювик утенка в рот, поила его. Утенок пил, покорно закрыв глаза.

В помещении было жарко, как в теплице. Горел яркий электрический свет. Начинался вечер, из-за стенки доносилось сонное курлыканье кур, усаживающихся спать на насест.

Через несколько минут за дверьми раздались шаги, и Наташа торопливо выпустила утенка.

«Совсем еще зеленая девушка», — подумал я, скрывая улыбку.

Услышав шаги, цыплята запищали громче.

— Вот они какие, — улыбнулась Наташа, — второй день существуют, а мамашу свою уже по поступи узнают.

Вошла Феня с ведром, наполненным пшенной кашей. Цыплята протискивались к сетке, забирались друг на друга, растопыривали маленькие крылышки, падали и пищали. Гомон стоял оглушительный.
— Тише, вы! — крикнула Феня.
Цыплята все, как по команде, замолчали.
— Смотри-ка, совсем как малые ребятишки, — засмеялась Наташа.
— Это они на одну минуту, — опрастывая ведро, говорила Феня ровным, спокойным голосом, словно разговаривая сама с собой, — минута пройдет, и снова заголосят.
Она рассыпала кашу по полу, и скоро тысяча носиков застучала по доскам.
— Вот как затукали, — сказала Наташа, — словно дождик пошел.
— С ними, пока малы, и заботы мало, — говорила между тем Феня неизвестно кому: мне или Наташе. — А вот с несушками прямо беда. Наши куры еще ничего, привыкли нестись на своем месте, а вот которых из Синегорья после объединения привезли, эти где попало несутся… И на сеновалах свежие яйца находят, и на скотном дворе, а то и прямо на улице. Одна так в шапке у деда Игната снеслась, пока он работал. Вовсе с ума сошла.
Феня замолчала, нежно глядя на цыплят, и тут я исподволь завел разговор о частушках. Поняв, что мне надо, она насторожилась и спросила:
— Зачем это вам?
Я начал путано объяснять.
— Я знаю, что им надо, — сказала Наташа, уважительно называя меня на «они» — Про них пели, вот они и хотят узнать, кто сложил, да в Москве и пожаловаться.
То, что и про меня была сочинена частушка, я слышал в первый раз.
— А как же, — сказала Феня, — не знаете разве, как вас продернули за ваши планы? Да вы не сердитесь. Теперь-то после доклада все поняли, что по-вашему лучше. Не сердитесь.
И тут я рассказал все начистоту. Я сказал, что ни на кого не собираюсь жаловаться, а просто записываю частушки, стараюсь запомнить мотивы. Говорил я долго и, мне показалось, убедил девчат.
Когда я кончил, Феня критически оглядела меня и сказала;
— И вам не совестно такими пустяками заниматься? Вы же с высшим образованием.
Мне снова пришлось объяснять, что этим делом занимаются целые учреждения, и даже Академия наук посылает экспедиции записывать народные песни, и ничего в этом нет удивительного, потому что народные песни такое же настоящее искусство, как, например, опера. Даже Пушкин записывал их.
— Это, конечно, интересно, — песня, — сказала, внимательно выслушав меня, Феня. — «Ой, туманы мои, растуманы» или «Одинокая бродит гармонь». А в частушках чего интересного? Даже совестно, что к ним такое внимание. Они ровно мотыльки, день летают, а на другой день и нет их. Уже другие поют. Только нам они и понятны. В других местах и не разберут, об чем речь… Хорошо, если уж вы так хотите, давайте после работы соберемся, споем вам. Записывайте. Вам какие надо: про любовь или производственные? Всякие? Ну, хорошо, споем всякие. Только не обессудьте, если такую споем, что уши заткнете… А почему вы это не у других, а у меня просите? — снова насторожилась Феня.
— Мне сказали, что вы их сочиняете.
— Кто вам сказал?
— Многие говорят, — слишком поздно поняв свою ошибку, ответил я.
— Это вам Семен сказал. Трепло, — сразу словно припечатала Феня. — Ну, хорошо, тогда и я скажу. Эти частушки больше всех он сам, Семен, и составляет, и спрашивайте у него, вон четвертая глава еще не сдана, а он, вместо того, чтобы заниматься…
За стенкой раздалось громкое куриное клохтанье. Феня бросила ведро и побежала в другую половину.
Я стоял, совершенно сбитый с толку, и думал, как поступить дальше. Наташа следила за мной своими выразительными глазами. Ей, видимо, было меня жалко.
— Вы когда уезжаете? — спросила она.
— Дней через пять.
— Вы на нас не сердитесь. Мы про вас другую, хорошую складем.
— Кто складет-то?

— Мы, поддубенские, — доверительно проговорила Наташа. — У меня к вам будет просьба. Мы с Сеней будем сегодня в ночь речь составлять. Он меня просил помочь. — В голосе Наташи слышалась наивная гордость. — Так вот я тут набросала кое-что. Полные сутки думала. Посмотрите, пожалуйста. А то я Семену боюсь показывать. У меня всегда все получается, только при Семе как-то не так, как надо, выходит. Вот послушайте, я вам почитаю, а вы скажите, понравится ему или нет…
Вдруг она перестала говорить, посмотрела куда-то мимо меня, и лицо ее сделалось испуганно-тревожным. Я оглянулся. В дверях стояла Люба. На голове ее была надета красная тюбетейка Семена.
— А я тебя, Наташа, всюду ищу, — сказала Люба.
— Что я, кошелек с деньгами, — с трудом ответила Наташа, не сводя глаз с тюбетейки. — Чего меня искать?
— На бюро тебя выделили чехословацким делегатам ночлег организовать.
— Мне надо речь готовить.
— Без тебя сготовим.
— Мне Семен велел приходить сегодня.
— Наташенька, сама посуди, какую ты можешь сготовить речь? Какой из тебя оратор? Ты подумай лучше, в каких избах разместить гостей, а речь мы сами составим.
— И ты с ним?
— И я… Что ты смотришь на меня, как на чужую?
— А кто ты мне, своя, что ли, — так же с трудом проговорила Наташа и вышла на улицу, позабыв затворить за собой обе двери.
6
И все-таки я нашел составителя частушек. Случилось это так.
В последнее время у нас с Василием Степановичем вошло в обычай работать на его квартире в Поддубках, потому что в правлении каждую минуту председателя отрывали то бригадиры, то участковый агроном из МТС. Однажды мы с ним засиделись часов до одиннадцати, и, выйдя на улицу, я вспомнил, что обещал Любе вернуться пораньше. Комната для приезжающих теперь, наверное, заперта, и Люба ушла к Семену помогать ему готовить выступление на встрече с чехословацкими делегатами. Три вечера подряд составляли они текст этого выступления, и все-таки им казалось, что оно плохо выражает их мысли и чувства.
Подумав, я отправился к избе Семена. В избе горел свет. Через открытое окно было видно и Семена и Любу. Они сидели за столом и, не глядя друг на друга, тихо разговаривали. Между ними лежала красная тюбетейка.
— Так ведь завтра правление, — говорил Семен.
— Да. Завтра нельзя. Завтра правление, — отвечала Люба.
— Послезавтра тоже нельзя.
— Да, и послезавтра нельзя…
— Зачем же ты меня упрекаешь?
— Не знаю, Сеня… Понимаю, что и завтра, и послезавтра нам повидаться нельзя, а что-то… Хочешь, я тебе скажу, в чем дело?
— В чем?
— А ты не рассердишься на меня?
— Нет, Люба. Я ни за что на тебя не смогу рассердиться.
— Дело в том, Сеня, что это у тебя не настоящее. У тебя есть что-то на сердце, что ты прячешь от меня, да и от себя… Ты не любишь меня…
Я спохватился, что подслушиваю, и отошел от окна. Выступление, видимо, было подготовлено, и между Любой и Семеном шел теперь разговор, который не стоило прерывать. Я сел на ступеньку крыльца и стал ждать, когда выйдет Люба.
Ярко светила луна. Пустынная деревня была видна из конца в конец, не хуже, чем днем. На дороге лежали изломанные в колеях тени телеграфных столбов. Напротив, за полуоткрытой калиткой, виднелась часть двора: белая, чисто выметенная земля, тележные переда у сарая. Возле ворот росла осина, и на суку ее висел тяжелый вагонный буфер. Было неподвижно и тихо. Даже провода не гудели.

Так я просидел несколько минут. Вдали показался человек в черном костюме, шагающий со стороны Синегорья.
Когда он приблизился, я узнал того самого паренька Гришу, который проверял мои документы. Не замечая меня, он торопливо прошел мимо, поднялся на крыльцо какой-то избы и постучал. Грише открыли, и он скрылся в сенях.
— Нет, ты меня не обманываешь… — донеслись слова Любы, подошедшей вплотную к окну. — Ты стараешься верить… Даже чересчур стараешься верить. А знаешь почему? Потому что тебе надоело одному. Ты, наверное, думал: «Долго ль одному жить? Чего ждать?» Думал так?
Семен что-то ответил.
— Значит, думал. Я почувствовала это в первый вечер. Когда мы с тобой шли из Игнатовки. А мне, Сеня, мало этого. И тебе мало.
Семен подошел к окну и спросил:
— А ты меня любишь?
— Не знаю, — ответила Люба. — Ты не сердись. Это не значит: «не люблю». Это честно — не знаю. От тебя зависело, чтобы я говорила яснее.
Они отошли в глубь комнаты, и снова все стихло. На улице снова появился Гриша и пошел обратно, но уже гораздо медленнее. Поравнявшись со мной, он поздоровался и спросил, не видел ли я Наташу.
— Вчера с ней уговорились идти ко мне радио слушать, — сказал он, — а дома ее нет… У вас там, где выживете, линоксиновые трубочки для изоляции не продаются? Не знаете? У нас их и вовсе не достать… Интересно, куда она подевалась?
Гриша сел рядом со мной и грустно вздохнул. Некоторое время мы молчали.
— Да ведь она, наверное, здесь, у Семена! — вдруг радостно воскликнул Гриша и хлопнул себя ладонью по колену. — Они же там речь составляют!
Он бросился к окну, и лицо его разочарованно вытянулось. В свете падающего из окна луча я разглядел, что Гриша одет необычно нарядно. На нем был длинный модный пиджак и шелковый галстук, затянутый так туго, что концы воротничка торчали.
— Там ее нет, — сказал он, вернувшись. — Там только Любка с Семеном.
Он долго размышлял, уставившись на свои ботинки, и казался таким же неподвижным, как калитка, как все вокруг, усыпленное этой лунной ночью.
— Да ведь она в Игнатовке! — протяжно проговорил он наконец, словно утешая не себя, а меня. — У них там семинар сегодня. И как я не догадался!
Он весело достал коробку «Казбека», распечатал ее ногтем, сунул в рот папироску и похлопал себя по карманам. Спичек у него не оказалось. Не было их и у меня. Гриша махнул рукой и сунул папиросу за ухо.
— Очень просто. Она в Игнатовке, а я голову ломаю. Вот всегда… — он оборвал фразу и прислушался.
Издали, из поддубенского леса, доносилось пение.
Вдоль всей деревни тянулась полоса деревьев, прикрывающая Поддубки с северной стороны от ветра. Рощица шла сразу за избами, подступала к самым огородам, словно обнимала деревню у околиц, и была такая узкая, что ночью сквозь деревья просвечивали огни изб. Но в этих безлесных местах и такие поросли были редкостью, и когда еще во время войны невесть откуда в рощицу забрел волк, — поддубенцы совсем загордились и стали всерьез называть небольшую полоску деревьев лесом. Они любили свой лес и знали наперечет все березки и сосенки. Матери пугали детишек «лесовиком», учительница водила в лес своих питомцев собирать листья для гербария, ребятишки играли в лесу в партизан, а старики если и обламывали ветки берез, то только для веников, чтобы в субботу попариться в баньке.
Летними ночами по прохладной лесной тропинке гуляли девчата и пели песни.
И вот теперь, когда мы с Гришей сидели на крыльце, из леса донеслись голоса:

Моя тропка
Потерялась,
Я любови

Не дождалась.

— Вон она где! — удивленно проговорил Гриша.
Я прислушался. Пели в три голоса, и мне трудно было выделить из этого маленького согласного хора голос Наташи.
— Как раз сейчас мимо вратаря идут, — печально сказал Гриша.
— Мимо какого вратаря?
— Дуб там есть. Между двух березок стоит. Один на весь лес. Он у них и называется вратарь…
Вскоре снова раздался голос, на этот раз напротив того места, где мы сидели. Теперь я узнал его — пела одна Наташа.

Хоть бы цветики
Завяли —
Про него
Не поминали.

Я не знал этих слов. Никогда не слышал их прежде. Они так совпадали с переживаниями Наташи, что мне в первую минуту показалось удивительным такое совпадение. И внезапно я понял, что слышу рождение частушки, рождение новой коротенькой песенки, которая, может быть, выпорхнет из этого узкого леса и полетит над пашнями нашими и дорогами, над деревенскими улицами и полевыми станами, над концертными залами и антеннами. Хотя пели трое, — я был уверен, что сочиняет Наташа, а две ее подруги только подхватывают, может быть дополняют то, что она вначале тихо-тихо напевала. Слишком искренне было чувство, с каким пела Наташа, слишком непринужденно ложились слова на грустный мотив, чтобы сомневаться в этом… Впрочем, может быть, давно существует эта частушка, а Наташа только повторяла ее, выбрала себе по настроению и повторяла?
— А конденсатор на десять микрофарад у вас достать можно? — спросил Гриша.
Голоса удалялись, становились все глуше и глуше, и слов нельзя было уже разобрать.
— Теперь они к докторше подошли, — сказал Гриша. — Березка там есть белая, докторша.
И вдруг громко, обиженно заговорил:
— Почему я ее должен ждать? Что я, маленький, что ли? Она думает, — у меня время неограниченное. Небось больше ее занят, помощником комбайнера работаю. Если Евсеев не выздоровеет, так и комбайн завтра приму. Посмотрим тогда…
Голоса девушек совсем затихли. Сияло ночное звездное небо. Казалось, звезды становились то больше, то меньше. Их было очень много. Я никогда не видал так много звезд. И оттого, что в небе шевелились звезды, все на земле казалось особенно неподвижным, застывшим.
Обычно поддубенские девчата в одну сторону идут лесом, а в другую — деревней, и я стал терпеливо ждать их. Дожидаться пришлось довольно долго. Наконец вдали показались три девушки. Они шли посредине дороги — две низенькие и одна повыше. Высокую я узнал раньше, чем Наташу. Это была Феня, и меня удивило, что заведующая птицефермой гуляет с молоденькой Наташей. По другую сторону от Наташи шла девушка, которую я видел, кажется, в первый раз.
Поравнявшись с избой Семена, девушки замедлили шаг и стали смотреть на освещенные окна.
— Первый час, а они сидят, — заметила незнакомая мне девушка.
— Составляют речь, — сказала Феня.
— Сочиняют, — добавила Наташа то ли всерьез, то ли с грустной насмешкой.
Девушки остановились. Луна светила так ярко, что если бы Семен выглянул на улицу, он увидел бы и лицо Наташи, и глаза ее, и то, что было в ее глазах. Но он спорил с Любой тихо, но настойчиво, и вряд ли его интересовало, что делается на улице.
— Здравствуйте, — сказал Гриша.

— Здравствуйте, — ответила незнакомая мне девушка и, обратившись к подругам, спросила: — Пошли?
— Пошли, — машинально ответила Наташа, не трогаясь с места.
Кроме двух освещенных окон, кроме тюбетейки, лежащей на столе, она не замечала никого — ни меня, ни Гриши. И мне до того сильно захотелось крикнуть Семену, чтобы он посмотрел в окно, заметил Наташу, чтобы хоть взглянул на нее, что я едва сдержался.
— Ну, пошли, — сказала Феня.
— Пошли, — отозвалась Наташа, и они двинулись дальше вдоль улицы и запели, и я услышал слова, точно повторяющие мои мысли:

Понапрасну
Месяц светит,
Меня милый
Не заметит.

Нет, эта частушка не могла быть составлена раньше. Она сочинена теперь, несколько секунд тому назад, и даже не сочинена, а просто сама вырвалась из души, и автору ее не надо было ничего выдумывать и искать рифму.
Наконец-то я узнал автора поддубенских частушек, но не было у меня от этого ни радости, ни удовлетворения. Узнал я и гораздо более важную вещь. Я понял, как много надо пережить и перечувствовать, чтобы составить короткую, всего на две строчки, песенку…
Девушки снова скрылись в лесу, и сколько я ни прислушивался, — ничего не мог услышать. Иногда казалось — доносятся какие-то звуки, но нельзя было понять, — поют ли это девчата, или мне просто слышится.
В сенях раздались шаги. На крыльцо вышли Семен и Люба. На голове Любы по-прежнему была надета тюбетейка, только теперь, в лунном свете, она казалась черной. Люба остановилась, пораженная красотой ночи. Гриша стал угощать Семена «Казбеком». У Семена оказались спички. Гриша забыл, что у него папироса за ухом, и достал себе другую.
— Ты к Наташе? — спросил его Семен.
— А на что она мне? — с великолепным равнодушием проговорил Гриша.
Некоторое время мы стояли и разговаривали все вчетвером, и было заметно, как трудно Любе произносить слова спокойным, безразличным тоном.
— Пойдемте по домам, — сказала она наконец. — Радиолюбитель, ты идешь? Спокойной ночи, Сеня.
— Вам спокойной ночи. А мне еще выступление переписывать начисто, — проговорил Семен, как бы объясняя, почему он не провожает Любу.
Мы отправились домой, в Синегорье.
По дороге Люба завела с Гришей разговор о том, что завтра полеводов нарядили убирать пшеницу, а неизвестно, можно ли ее убирать, погода стоит плохая. Когда надо, дождей не было, а теперь, как нарочно, что ни день, то дождь. Но это не беда. Если комбайны станут работать хорошо — уборку можно закончить досрочно. Она говорила, наполняясь заботами предстоящего трудового дня, и я чувствовал, как успокаивалось ее сердце.
Девичье горе — непрочное горе.
Не прошли мы и двухсот метров, а Люба уже смеялась над длинным Гришиным пиджаком. И когда нам встретились три девушки, тоже возвращавшиеся по домам и устало напевающие во второй или в третий раз:

Мое сердце
Не на месте…

Люба вдруг встрепенулась и перебила их пенье резким, пронзительным голосом:

Похудела
Грамм на двести.

Все засмеялись. И как только по деревне разнесся смех, в избе отворилось окно и сонный женский голос произнес: «Наташа, ты до утра шуметь станешь? Сейчас же ступай спать!» Наташа попрощалась с нами и побежала домой, громко напевая:

Не ругай меня, мамаша,
Не ругай грозно.
Ты сама была такая,
Приходила поздно.

7

Люба и Гриша стояли на поле, склонившись над колосьями пшеницы, и Люба разминала на своей длинной узенькой ладони колосок. Было чистое, безоблачное утро, только вдали, над городом Д., висела маленькая румяная тучка. Рыжеватая пшеница пологим уклоном уходила вниз, туда, где виднелся зеленый вагончик тракторной бригады и кривая жердь антенны. Ветер гнал по полю одну за другой широкие золотистые волны.
— Значит, ты считаешь, можно? — с насмешкой спрашивала Люба.
— А что — по-твоему, нельзя? — с еще большей насмешкой в голосе спрашивал Гриша.
— А что — можно?
Спор шел о том, созрело ли зерно для жатвы и можно ли пускать комбайн.
На дороге стоял только что подъехавший «натик», от которого струился прозрачный пар, и комбайн «Сталинец-6».
— Ты же видишь, восковая спелость, — говорил Гриша.
— Да ты давни, давни ногтем. Смотри, из него вода бежит!
— Где вода бежит?
— Смотри. Сырое еще зерно!
— Что ты мне голову морочишь. Будем начинать! — решительно заявил Гриша.
Люба смотрела на него с изумлением. Лицо его было озабоченно и непреклонно. Он стоял перед Любой в комбинезоне, таком новеньком, что ясно виднелись все стежки двойного белого шва на карманах. Воротник комбинезона был расстегнут ровно настолько, чтобы показать вчерашний шелковый галстук. Сегодня рано утром директор МТС временно передал Грише комбайн. Передача получилась короткой. Директор напомнил Грише то, что он давно знал, потом обнял молодого комбайнера, чмокнул в щеку и, кажется, даже прослезился. Гриша стал полновластным хозяином агрегата. Помощник комбайнера, тракторист и девушки, работающие на копнителе, подчинялись ему. Он имел право подписывать документы, и без его подписи никакие акты о количестве скошенных гектаров были недействительны. Он отвечал за все простои и неполадки. И кроме того, он, Гриша, бывший школьник и колхозник Синегорья, а теперь штатный работник МТС, должен был не ронять чести орденоносной станции.
— Заводи, — сказал Гриша трактористу.
— А ты знаешь, — предупредила его Люба, — здесь был Василий Степанович и запретил начинать уборку. Зерно сырое.
— Знаем мы эти штуки, — сказал Гриша. — Ему неохота зерно сушить. Ему охота сразу из-под комбайна в амбар возить. Поехали.
— Куда же мы поедем, товарищ комбайнер? — проговорил тракторист. — Подвод нет. Куда зерно ссыпать станем?
Гриша подумал и спросил меня:
— Какая длина поля до дороги?
Я ответил.
— А ширина?

Я назвал и ширину.
— А сколько здесь можно собрать пшеницы с гектара?
Гриша записал в блокнот цифры, подсчитал что-то и уверенно кивнул трактористу:
— Поедем! Наташа, лезь на копнитель.
Ловко цепляясь за перекладины босыми ногами, Наташа забралась по железной лестнице на площадку.
Трактор застучал, повернулся так, словно его неловко сдвинули с места, глубоко вскорябав гусеницами землю. Тяжелый комбайн, упрямо дергаясь, неохотно двинулся за трактором, и поднятый хедер вздрагивал на неровностях. Шум трактора усилился, мотовило стало вращаться, загребать колосья, и за комбайном потянулась коротко остриженная пожня, и стало видно, какими ровными рядами, словно под линеечку, были посеяны весной зерна.
Семен с тремя другими плотниками доделывал на току крышу навеса. Услышав шум трактора, он слез на землю и недоуменно уставился на Любу.
— Куда это они поехали? — спросил он.
— Косить поехали, — отвечала Люба. — Председатель запретил сегодня работать и подводы услал огородникам, а этот чудак поехал… А куда поехал? Намолотит полный бункер и встанет. Вон, Василий Степанович идет, сейчас будет шуму!
Василий Степанович остановился возле сортировки, оглядел всех по очереди и проговорил:
— Поехал, а?
Все молчали. Трактор с ровным рокотом уходил все дальше и дальше.
— Поехал, а? — повторил Василий Степанович, глядя на Семена и не находя слов, чтобы выразить свое возмущение. — Ты, Люба, говорила ему, что я не разрешаю косить?
— Говорила.
— А ну, Семен, давай пиши акт!
— Так ведь, наверно, хорошо молотится зерно, раз он едет, — попробовал Семен защитить своего молодого приятеля.
— Пиши акт, тебе говорят!
Семен достал из кармана тетрадку и вырвал лист бумаги.
— Пиши: «Мы, нижеподписавшиеся…» Поехал, а?
Василий Степанович шагал по чисто выметенной площадке тока, задевая за ручки сортировок, сильно рассерженный.
Пока он диктовал акт, я заметил отца Наташи — Федора Игнатьевича.
Федор Игнатьевич шел в нашу сторону неторопливым, запасливым шагом, держа в левой руке кепку. На нем была гимнастерка с отложным воротником, подпоясанная крученым поясом с кисточками. Под воротником виднелась аккуратно подшитая белая сатиновая полоска. Ветер закидывал на сторону его белокурые, легкие волосы, открывая большой лоб с малиновым следом кепки. На щеке его бледнели два незагоревших пятна — след бывших когда-то ран. Он был чисто выбрит.
— Об чем речь? — спросил он и взял у Семена бумагу.
— Самовольничают! — отвечал Василий Степанович. — Смотри, Гришка-то поехал без разрешения.
Федор Игнатьевич внимательно прочел все, что было написано в акте, подумал и сказал:
— Слово «неподчинение» надо писать вместе. Поехал, значит, без разрешения?
— Ты смотри, подвод-то нет! — сердито говорил Василий Степанович. — Куда он зерно ссыпать станет?
Федор Игнатьевич посмотрел на комбайн из-под руки.
— Сколько метров тут до дороги? — спросил он.
— С полкилометра.
— Так. Центнеров пятнадцать снимем с гектара, Василий Степанович?
Я насторожился. Федор Игнатьевич задавал такие же вопросы, как и Гриша.
— Пожалуй, снимем. А что?
— Я думаю, он у дороги вправо повернет. Когда бункер наполнится, он как раз к току подъедет. Прямо на ток и ссыпет.
— Не догадается он вправо свернуть, — заметил Василий Степанович. — Ты всегда придумаешь что-нибудь.

— Я, Василий Степанович, когда мне кажется, что человек ошибается, не люблю сразу акты писать. Я гляжу на него сперва со светлой стороны, — и Федор Игнатьевич сделал четкий военный жест правой рукой, — а если только ничего не увижу, тогда уж гляжу с темной.
Он сделал такой же жест левой рукой и зашагал дальше тем же скупым, запасливым шагом, рассчитанным на то, чтобы пройти много километров.
— Писать? — спросил Семен.
— Обожди, — сказал Василий Степанович.
Оба они стали смотреть в поле. Комбайн был уже далеко, и виднелась только задняя часть короба, куда подается солома после обмолота, задняя часть того самого копнителя, на котором работала Наташа. Издали казалось, что машина стоит на месте и маленькая фигурка Наташи неподвижно застыла на площадке, и только лопасти мотовила бешено мелькают вверх и вниз, как будто рубят землю по одному месту. Но вот трактор выдвинулся с левой стороны комбайна, шум его стал гораздо слышней, как будто открыли окно, и стало видно, что и трактор движется, и комбайн движется, и Наташа быстро и однообразно водит руками, словно вытягивает бесконечную веревку. Комбайн шел вдоль дороги.
— Догадался, — сказал Василий Степанович и вдруг, не удержавшись, весело рассмеялся. — Радиолюбитель, язви его в душу. Порви эту бумагу! Пойду подводы верну.
Семен наклонился ко мне и сказал с видимым удовольствием-:
— А хорошо, что Наташа с ним работает. Это я посоветовал Василию Степановичу ее на комбайн направить. Пусть она поглядит, какой он на деле.
Председатель ушел за подводами. К току подъехал комбайн, и Гриша открыл заслонку бункера. Брезентовый рукав расправился, вытянулся, и с сухим шумом тяжелой струей хлынуло зерно. На земле начал быстро расти правильный конус, он стал увеличиваться, оплывать плотными языками, расползаться. Девчата с визгом бросились собирать узелки с пирогами и бутылки с молоком, пока их не засыпала пшеница. Бункер опорожнился. Брезентовый рукав обмяк и повис. Наташа сошла на землю и подняла очки на лоб. Глаза у нее были испуганные, словно она только вынырнула из воды, чуть не захлебнувшись. В волосах, налипших на лоб, застряла полова и зеленые крошки сорняка. Щеки были вымазаны серыми пыльными полосами.
— Да как же мне успеть, — начала она оправдываться, не дожидаясь, когда ее станут укорять, — соломы целая прорва.
— Надо веселей руками шевелить, — сказал Гриша. — Смотри-ка, совсем запарилась. Завяжи получше лицо.
Гриша бесцеремонно снял с ее головы платок и завязал ей лицо так, что остались видны только глаза.
— Как же я дышать буду? — проговорила Наташа, с трудом двигая сжатыми платком губами.
— Ничего, не задохнешься. Опускай очки!
Семен молча, но неодобрительно смотрел на все это. Я не мог удержаться от улыбки: «Вот, надеялся Сеня, что Гриша влюбит в себя девушку, а как бы не удушил ее от усердия этот Гриша».
— На волосы повяжи другой платок, — командовал Гриша, — а то к Октябрьским праздникам волосы не отмоешь.
— Да где же я его возьму?
— Девчата, дайте косынку. И скорей поедем. Туча-то, вон она!
Действительно, безобидная тучка, висевшая над городом, подвинулась ближе и потемнела. Гриша криво повязал голову Наташи косынкой и, когда она по привычке вытянула на щеку белокурое колечко, безжалостно запихал его обратно. Теперь вместо Наташи стояло странное существо с черными круглыми глазами и замотанным сверху донизу лицом. Трактор зарокотал, и комбайн тронулся снова.
Между тем неровная тень тучи легла на поле, и по пшенице бежали уже не золотистые волны, а какие-то пепельно-серые валы. Ветер мел по дороге лохмотья пыли, и казалось, что вдали дорога дымится. Одинокий куст, растущий возле канавы, дергался, как будто старался вырвать из земли корни, и все листья его вывернулись в одну сторону матовой

изнанкой. Внезапно ветер утих, словно прислушиваясь. Куст замер. Но вот на нем кивнул один листочек, потом кивнул второй, третий, и я сначала услышал, а потом увидел падающие капли дождя. Семен вышел из-под навеса, поднял поперечную пилу и медленно пошел обратно. На земле остался белый сухой рисунок пилы.
Работу пришлось останавливать, ждать, когда просохнут колосья. На ток пришел Гриша и уселся на корточках возле сортировки. Рядом с ним на кучу зерна села Наташа. Гриша осмотрел ее усталые руки и грязное лицо, едва заметно ухмыльнулся и проговорил:
— Теперь хорошо работаешь. Как часы.
Наташа вспыхнула и благодарно взглянула на него. Потом она обвела ясным взором ребят и девчат, собравшихся под навесом, словно хвастаясь своей ловкостью и сноровкой. Но никто, кажется, не слышал слов Гриши. Некоторые завтракали, некоторые беседовали. Только Люба стояла одна, облокотившись о сортировку, и смотрела на пилу так пристально, как будто это была не простая поперечная пила, а какое-то диковинное существо. Наташа вздохнула и, расстелив на коленях платочек, тоже принялась завтракать. А Гриша посмотрел на Любу и сказал:
— Вот видишь, почти четыре гектара обмолотили. Зерно обмолачивается — лучше не надо… Ты, секретарь комсомольской организации, должна болеть за работу механизмов.
— Я не люблю болеть, — равнодушно сказала Люба.
— Нет, я серьезно. Если видишь, что колхозные руководители тормозят работу механизмов ради своих узкоколхозных интересов…
— Послушай, Гриша, — тихо перебила его Люба, — если бы ты полюбил девушку, стремился бы ты быть с ней…
— Что? — спросил Гриша и встал.
— Если бы ты был занят по уши. С утра до ночи. И с ночи до утра. Нашлась бы у тебя минута, чтобы побыть с ней?
— Ясно, нашлась бы. А что?
— Как бы ни был занят?
— Конечно. В крайнем случае написал бы письмо.
— А после первого круга я ни одной пробки не сделала, — сказала Наташа. — Правда, Гриша?
Она по-детски обеими руками держала кружку, и на лице ее белели усики молока.
— Молодец, — ответил Гриша. — Ни одной пробки. Сразу освоилась.
И снова глаза Наташи вспыхнули радостью.
— Ну, а если он так занят, что не может даже письма написать, — допытывалась Люба.
— Тогда… тогда все равно она знала бы, что он любит.
— Почему?
— Чувствовала бы.
— А если она не чувствует?
— Кто?
— Теперь я всегда с тобой буду работать, — сказала Наташа. — Весь сезон.
— Конечно, — солидно согласился Гриша. — Сначала я не хотел тебя брать. А ты, оказывается, здорово работаешь.
Лицо Наташи сияло.
— Ты, кажется, добился своего, — тихонько сказал я Семену. — Теперь она станет ходить к нему слушать радио.
— Да, станет ходить, — ответил он вслух, грустно вздохнул и отвернулся.

8

Дождь прекратился. Подошли подводы. Целый день Наташа работала на комбайне, и поговорить с ней насчет частушек, а тем более записать их, я не мог. Вечером я отправился в Поддубки, надеясь застать Наташу дома. Надо было торопиться, потому что она должна уходить на комсомольское собрание.
Я почти дошел до Наташиного дома с нарядными, выкрашенными в зеленый цвет наличниками, как меня остановила маленькая старушка, одетая в дырявое пальто и рваные башмаки.
— Ты, сынок, из области? — спросила она, тронув меня за локоть. — Хоть бы ты припугнул наших хозяев. Топить печку вовсе нечем, сучки на дороге собираю… —

подбородок ее задрожал, и она беззвучно заплакала. — Хоть бы они мне дровец привезли… Одна я осталась. Братья бросили, сынов нету, а работать через силу не могу…
Я посоветовал ей обратиться к бригадиру или председателю колхоза.
— Да чего мне к ним ходить? Все одно без толку. Только и слава, что председатель, а никакой в нем заботы о людях нет. Ты бы его припугнул, сынок.
Я, как мог, объяснил старушке, что я землеустроитель. Она перестала плакать и спросила:
— Так, значит, из колхоза в колхоз и ездишь?
— Так и езжу.
— И зимой тоже ездишь?
— И зимой. Поживу дома дня три и снова еду…
Старушка жалостливо посмотрела на меня и спросила:
— Это что же у тебя, принудиловка, что ли?
— Нет, обыкновенная работа.
— Обыкновенная?.. — недоверчиво протянула она. — Может, ты деньги растратил, или что?
Я сказал, что люблю свое дело и учился ему пять лет. Старушка опасливо оглядела меня с ног до головы и отошла, видно решив, что у меня, как говорят, «не все дома», а я снова зашагал к Наташе. На мой стук не ответили. Ни в сенях, ни в комнатах никого не было. Наверное, Наташа уже убежала на собрание, пока я разговаривал со старушкой. Я уже решил уходить, но заметил на столе, под кружкой, лоскуток бумаги. Округлым, ясным почерком на нем было написано: «Дочка! Пошел на скотный двор. Сделал все, как велела. Картошку поставил в печь, щи — тоже, молоко вынес в сени. Забеги за матерью к Дементьевым. Хватит ей там шуметь».
«Значит, она еще не приходила. Надо подождать», — решил я и сел.
Я и прежде бывал в этой комнате, но теперь не узнавал ее: комната выглядела по-новому. Раньше у крайнего окна находился столик, на котором лежали игрушки младшего Наташиного братишки Андрейки: заводной мотоцикл, деревянный грузовик и мельница из консервных банок. Теперь не было ни столика, ни игрушек. Раньше у двери, возле перегородки, стоял комод, а теперь только ровный прямоугольник невыцветших обоев обозначал его место. Большой стол, застланный новой голубой скатертью, поделенной складками на ровные квадраты, был переставлен на середину, а окна затянуты чистой марлей. Белоснежные взбитые подушки лежали на кровати, едва касаясь ее, словно надутые воздухом. В комнате хорошо пахло свежими березовыми вениками.
Заглянув за перегородку, я увидел там и комод, и столик с игрушками, приставленные почти вплотную к хозяйской постели. Там же помещалась и этажерка Федора Игнатьевича с томиками сочинений Сталина и с книжками по животноводству.
Пока я осматривался, стараясь сообразить, зачем сделана эта перестановка, появилась мать Наташи, женщина лет тридцати пяти, статная и худощавая, похожая на физкультурницу. Она была в комбинезоне, в юбке, надетой поверх него, и в косынке из того же самого материала, что и Наташино платье.
Она сняла у порога сапоги, надела мягкие туфли и только после этого вошла в комнату.
— Они из рукомойника не умываются, — услышал я ее голос, доносящийся из кухни.
— Кто?
— А чехословацкие люди. Семен рассказывал, они из тазов умываются.
Она внесла в комнату большой эмалированный таз и поставила его в углу на табуретке.
— Что же, они у вас ночевать будут? — спросил я.
— Не знаю. Это я так. На всякий случай. Ну, как, по-вашему, по-городскому, хорошо? — спросила она, оглядывая комнату.
— Хорошо, — искренне ответил я, заметив, что она в эту минуту удивительно похожа на Наташу. — А где Андрейка?
— На два дня к бабушке снесла, чтобы не мешал. Надоел. Хорошо, значит? Ну вот. Дементьевы, вон, всю квартиру на дыбы подняли. Моют все да скребут. А у них, как два часа ночи, так ребенок просыпается и давай орать… Пианино три раза с места на место переставляли. А что с него, с пианино, если ребенок по ночам плачет? Или Бунаев. Сегодня с культивации иду, вижу — едет из города, цветы везет. «Куда, спрашиваю, дедушка,

цветы?» — «В школу», — говорит. Хитрый. Знаю я, в какую это школу. А у него прямо под окнами циркулярная пила визжит. До двенадцати ночи работает…
Она прервала фразу, увидев записку мужа, прочла ее и улыбнулась:
— Ну зачем же ты щи в печь поставил? Эх ты, дитя малое. Щи на холод надо, — проговорила она так, словно Федор Игнатьевич был рядом.
Потом вынесла чугун в сени, вернулась обратно и продолжала:
— Сегодня у нас все бабы переругались, прямо смешно на них смотреть. Три человека приедут, три чехословацких делегата, а всем охота, чтобы у них гости ночевали. А они и ночевать, наверное, не станут. Приедут, посмотрят и уедут. А наши бабы все равно ругаются. И у нас и в Синегорье. Говорят, завтра утром сам Василий Степанович будет ходить и смотреть, у кого лучше. И мой с ним будет ходить. Что ж, пускай смотрят. Да разве мужики поймут, где лучше? Например — у Иванищева, ничего не скажешь, хорошо дома, чисто, просторно, а разве можно к ним пустить? Он как заснет, так и начинает сам с собой говорить, полные речи произносит. Или к Дементьевым. Разве Дементьевы такие щи сготовят, как я сготовлю? Федя, вытирай ноги, — предупредила она, увидев мужа.
Федор Игнатьевич стоял у двери, не решаясь переступить порог. За его спиной я увидел ту самую маленькую старушку, которая останавливала меня на улице.
— Ну, и нагнала страху, — заговорил Федор Игнатьевич, — в собственную избу войти боюсь.
Он прошел на цыпочках, шаркая по стене рукавом гимнастерки, сел к столу, и я почувствовал исходивший от него острый запах йодоформа.
— Химия отелилась, — устало сказал он.
— Бычок или телка? — спросила жена.
— Телка. С пятном на носу. Вся в отца… Иди, садись, Мария Евсеевна, — обратился он к старушке. — Что тебе?
— Известно что, Федор Игнатьевич. Сказали бы хоть вы председателю, чтобы корову обратно в стадо взяли. Ведь одна я. Братья бросили, сынов нету.
И она опять беззвучно заплакала.
— А сколько ты трудодней наработала? — спросил Федор Игнатьевич.
— Да сколько мне наработать? Больная сверху до самых пяток.
— А на своем огороде работаешь?
Через силу, батюшка. Кабы на огороде не работала, так и вовсе ноги бы протянула.
— Так. А чья корова? — Федор Игнатьевич быстро взглянул на старушку и медленно стал поглаживать мягкими ладонями неподатливые складки скатерти.
Чья корова? Моя, батюшка, моя.
А не брата, который в город уехал?
Старушка утерла слезы и испуганно посмотрела на Федора Игнатьевича.
— Нет, не братова корова, батюшка, ей-богу, не братова.
Федор Игнатьевич молчал, поглаживая рукой скатерть.
— Моя корова, убей меня гром, моя…
— Дочка, зажги свет, — сказал Федор Игнатьевич.
За перегородкой кто-то зашевелился, тупо защелкали кнопки платья, и вскоре вышла Наташа. В сумерках я и не заметил, что она спала там. Наташа зажгла свет, подошла к отцу, вынула из его кармана часы и ахнула. После сна она была теплая и розовая, и круглый отпечаток пуговицы был заметен на ее пухленькой смуглой щеке.
— Ой, таз! — удивилась она. — Мама, можно я умоюсь в тазу?
— Умывайся, — сказала мать из кухни.
Наташа принесла белый кувшин, наполненный водой.
— Так и что же, что корова братова, — неожиданно сказала старушка. — Брат в город уехал и мне ее бросил… Кормить-то ее надо? Куда я ее дену?
— Сдай в колхоз, — посоветовал Федор Игнатьевич.
Старушка как-то недоверчиво засмеялась, видимо не понимая, шутит ли заведующий животноводством или говорит всерьез.
— Скажи, батюшка, председателю, скажи…
— Что же я ему скажу, Мария Евсеевна? Есть положение, что за пастьбу единоличных коров надо вносить в кассу колхоза пятьсот рублей.

— Опомнись, батюшка! Где я возьму пятьсот-то рублей!
— Брата корова, пусть он и вносит. Так ему и скажи.
— Скажу, скажу, батюшка. Так и скажу. — Старушка помялась, утерла глаза и губы концом косынки и нерешительно проговорила: — А пускай пока она в стадо ходит…
— Нет, так нельзя. Пусть он или деньги платит, или тебе корову передаст. Принеси бумагу, что корова твоя, а тогда и веди ее в колхозное стадо.
— Бумагу, значит, надо? — насторожилась старушка.
— Да, бумагу.
— Ну, бумагу-то мы сделаем. Вот спасибо, что выручил… Вот спасибо, батюшка.
Раздался грохот. Наташа уронила на пол кувшин.
— Тяжело, дочка? — спросил отец, не поворачивая головы.
— Пальцы у ней не держат, — сказала мать из кухни. — Умаялась.
— Ничего, сейчас отойдут, — отозвалась Наташа. — Мы сегодня сто восемьдесят три процента дали. Правда, папа, сто восемьдесят три! Гриша считал.
— За какое время?
— За двенадцать часов. Да еще стояли час из-за дождя. А сто восемьдесят три процента нормы сделали. Завтра, Гриша сказал, еще больше накосим.
— Смотри-ка, какие вы горячие! — заметил Федор Игнатьевич, все так же разглаживая скатерть мягкими руками. — Ну, все, Мария Евсеевна, все.
Казалось, ему стыдно за старушку.
— Все, все, батюшка… И в сельсовет ходила и в район, ничего и слушать не хотят. Один ты, ровно отец родной…
Умывшись, Наташа подошла к столу и села, подперев кулаком щеку. Старушка поднялась со стула, но не уходила, видимо ожидая, что Федор Игнатьевич ей еще что-нибудь посоветует. Наташа жалостливо смотрела на нее.
— Теперь куда пойдешь? — спросил Наташу отец.
— На комсомольское.
— Опять всю ночь заседать?
— Часов до двенадцати.
— А нельзя мне дровишек немного, батюшка? — заговорила старушка и снова собралась плакать.
— Насчет дров — к председателю, — сказал Федор Игнатьевич и нетерпеливо встал.
— Жалко? — спросил он Наташу, когда старушка ушла. — Вижу, что жалко. А ты ее брата знаешь? Кузнецом в Синегорье работал, Иван Евсеевич. До объединения, когда в синегорском колхозе не клеилось и бывший председатель на все сквозь пальцы смотрел, — этому кузнецу не плохо жилось. Каждый день на колхозных лошадках на базар ездил. А вот как объединились, не пришлись ему по душе колхозные порядки, — ушел Иван Евсеевич из колхоза. Работает в городе, а по-прежнему живет в Синегорье в своей избе, и огород разводит на нашей, земле, и корову гоняет на колхозный выгон, и дровец ему больше, чем другим, надо, — на базаре продавать. Ты вот работаешь, а он оставил старуху колхозницей, чтобы ее руками наше добро тянуть. Хочет погреться возле организационной неразберихи. Она небось думает, что хитра, как лиса. Тебе ее жалко, а у меня, пока я с ней говорил, внутри все кипело… — Федор Игнатьевич зашагал из угла в угол, не замечая, что сапоги его оставляют на чисто вымытом полу следы извести. — Ничего. Разберемся как-нибудь, что к чему. Коммунистов у нас теперь семнадцать человек. И вас, комсомольцев, тоже порядочно. Только поменьше бы вам заседать надо… Вот вы на комсомольском собрании обсуждали, как принять делегатов из Чехословакии, а толку нет. Что у вас получилось с организацией ночлега? Надо было сразу же, как вам поручили это дело, назначить три дома — и все. А то теперь все словно к Октябрьским праздникам готовятся. Кому поручена организация ночлега?
— Любе и… — Наташа опустила глаза, — и мне.
— То-то, что и тебе. Сейчас шел со скотного двора, а про тебя частушку поют — про твою оперативность. Увидали меня и поют. Каково такие частушки отцу слушать?
— Да ну их, — сказала Наташа смутившись. — Они ведь про всех сочиняют. Не только про меня. И про землеустроителя пели, бессовестные. Я думаю, надо на комсомольском собрании поставить вопрос, чтобы прекратить это. На то стенгазета есть.

Я слушал, совершенно сбитый с толку.
— Ты что же, дочка, — улыбнулся Федор Игнатьевич, — хочешь критику только в стенгазету загнать? Чтобы висела эта критика где-нибудь в темном углу да помалкивала? Нет, дочка, критика у нас горластая, ничего тебе с ней не поделать…
— Федор Игнатьевич, — проговорил я почти с мольбой в голосе, — скажите хоть вы мне, пожалуйста, кто у вас сочиняет частушки?
— Как кто? — удивился заведующий животноводством. — Да наши, поддубенские.
9
В тот день, когда должны были приехать чехословацкие делегаты, работа в колхозе шла спокойным, привычным порядком.
Как только вдоль дороги скользнули первые лучи солнца, на пастьбу повели коров. Коровы шли, забредая во все проулки, и долго после них стоял розовый, пыльный туман. Потом, неведомо откуда, словно рождаясь в студеном утреннем воздухе, на дорогу стали слетаться воробьи. С ночного вернулись лошади, мокрые от росы, с блестящими в солнечных лучах медными крупами. Из МТС по радио передали в тракторную бригаду, что можно приезжать за дизельным топливом. Люба записала в своей тетрадке, что художник из города вчера вечером съел один ужин. Я собирался на поезд, с трудом пытаясь запереть свой портфель, набитый бумагами и бельем.
Только в Синегорье, в маленьком кабинете Василия Степановича, собралось необычно много народа. Здесь были и Феня, и свежевыбритый Семен, и Федор Игнатьевич, и жена председателя — Катерина Петровна, в белой, только что выглаженной косынке, и мальчик в пионерском галстуке, с мокрыми приглаженными волосами, и эмтеэсовский агроном. Прижав колено к колену, на диване тесно сидели бригадиры.
Семен читал речь, которую должен был произнести вечером. Читал он внушительно и хорошо, как-то со звоном, с размаху перелистывая страницы, но Василий Степанович, не дослушав, попросил начать сначала, потому что излишняя выразительность оратора мешала ему ловить смысл. Семен обиделся и начал читать значительно хуже. На этот раз ему никто не мешал. Только перед самым концом моя вчерашняя знакомая, старушка, приоткрыла дверь в кабинет и заглянула в щелку.
Распорядок встречи гостей был точно определен.
Секретарь райкома Данила Иванович позвонит, когда гости выедут из города. В колхозе их встретит делегация в составе председателя колхоза, Семена, Федора Игнатьевича, Героя Социалистического Труда Лены Дементьевой и мальчика с мокрыми волосами. После завтрака гостей пригласят осматривать хозяйство, причем объяснения будет давать Семен, один из самых крепких бригадиров, красноречивый парень, немного знающий к тому же чешский язык. У него уже была приготовлена записная книжка со всеми справочными материалами, касающимися развития и истории колхоза. Вечером в синегорском саду состоится ужин, рассчитанный человек на двести, и там же выступит колхозная самодеятельность. В саду же расставлялись столы, развешивались на яблонях электрические лампочки, в клубе проверялась радиола, приезжий художник заканчивал раскрашивать плакаты на русском и чешском языках, и Люба целый час уговаривала скупую свою подругу, чтобы та дала под любой залог пластинку «Снова замерло все до рассвета». Кроме Любы, подготовкой ужина занималась Феня, и ее лицо, раскрасневшееся от огня печи, куриный пух, налипший на подол ее платья, пальцы, измазанные краской, показывали, что дело идет и у нее полным ходом.
На ночь гостям был приготовлен ночлег: двум человекам в Поддубках, у Гусевых и у Дементьевых, и одному, — чтобы не обидно было синегорцам, — у отца Гриши, в Синегорье.
Как это часто бывает, долго обсуждали, что делать с водкой: подавать ли ее за ужином или не подавать, и если подавать, то сколько. Пока обсуждался этот с виду несложный вопрос, на лицах у всех было печальное выражение. Наконец решили водку к столу не подавать, но на всякий случай держать в запасе.
В общем подготовка к встрече проходила нормально. Только мелкий дождичек, заладивший с утра, так и не переставал, несмотря на то, что барометр Василия Степановича настойчиво показывал «ясно». Речь, составленную Семеном, одобрили. Вскоре позвонил Данила Иванович и сообщил, что гости выезжают минут через пятнадцать.

Василий Степанович подозвал мальчика с мокрыми волосами и стал растолковывать ему, чтобы он сейчас же бежал на дорогу сторожить «Победу» Данилы Ивановича. Мальчик бросился было к двери, но Катерина Петровна остановила его и сказала, чтобы он на дорогу не выбегал, что с дороги ничего не видно, а чтобы бежал к крайней избе, да встал бы не с той стороны, где палисадник, а на горушке, возле огорода, да по сторонам бы не глядел, да ни с кем бы не разговаривал.
Наконец мальчик убежал, а Василий Степанович положил на стол часы и затеял спор с эмтеэсовским агрономом. Агроном вежливо требовал, чтобы с завтрашнего утра колхоз начал вывозить солому, лежащую мелкими копнами после того, как прошел комбайн, потому что она мешает пахать под зябь поперек прошлогоднего пласта. Эта работа предусмотрена договором, а договор подписывал председатель колхоза, так вот, будьте любезны… Василий Степанович говорил, что у него не кавалерийский полк и тягла не хватает даже на другие неотложные работы, а Федор Игнатьевич добавил, что лошади и так больше месяца работали без выходных дней, чем очень рассмешил агронома. Федор Игнатьевич хотел добавить еще что-то, но его вызвали на скотный двор, и, как только он ушел, в кабинете появилась маленькая старушка и стала просить, чтобы ей завезли дровец. Василий Степанович объяснил ей, что дрова ей завезены так же, как и другим, — сколько положено, что у него не кавалерийский полк, чтобы отрывать тягло в такое время на посторонние работы.
Насчет уборки соломы с агрономом вскоре договорились, а потом Василий Степанович достал из папки заявление Гриши. Гриша писал, чтобы ему разрешили эксплуатировать комбайн («Ишь ты, эксплуатировать!» — произнес Василий Степанович и покачал головой) напрямик по поддубенской и синегорской пшенице, потому что поля смежные и, после объединения колхозов, крутиться по отдельности на каждом поле агрегату («Смотри-ка ты, агрегату!» — снова удивленно произнес Василий Степанович) нет никакого смысла. Эмтеэсовский агроном одобрил предложение Гриши и заявил, что раз колхозы слились и поля общие, так будьте любезны… Тут снова вмешалась Катерина Петровна и сказала, что это пустая затея, что если так работать, то нельзя будет определить урожайность в отдельности на синегорском и поддубенском поле, а Гришка всегда что-нибудь выдумает. Василий Степанович внимательно выслушал ее и, поджав губы, написал в углу Гришиного заявления красным карандашом «Разрешбор», что означало «Разрешаю. Боровой». И тут же он вспомнил насчет лущения стерни и посоветовал агроному побыстрей подбросить лущители, а то будет доложено Даниле Ивановичу, и тогда он покажет эмтеэсу «будьте любезны»… Агроном обещал уточнить этот вопрос и попрощался. Как только он ушел, старушка стала просить, чтобы ее корову взяли в колхозное стадо. Василий Степанович ответил, что нельзя об одном и том же говорить пять раз, и посмотрел на часы. С того момента, как звонил Данила Иванович, прошло много времени, а гостей все не было. И от мальчика ни слуху ни духу. Василий Степанович надел кепку и вышел проверить, в чем дело. Погода была такая, что приходилось долго вглядываться, чтобы понять, идет ли дождь или уже кончился. Дорога виднелась плохо. Мальчик куда-то исчез. Замочив свой праздничный костюм, Василий Степанович вернулся и стал звонить в райком: не отложили ли гости поездку из-за плохой погоды. До райкома было трудно дозвониться, а когда Василий Степанович, наконец, дозвонился, ему сказали, что чехословацкие делегаты давно выехали, не меньше чем час тому назад. Теряясь в догадках, председатель долго стоял у стола и молча смотрел на старушку, которая снова принялась просить его завезти хоть возок дровец. Он уже собрался опять звонить в город, но в это время увидел Данилу Ивановича.
Секретарь райкома, запахивая плащ, чтобы не задеть людей мокрым брезентом, осторожно пробирался к столу.
— Один? — изумленно проговорил Василий Степанович.
— Один, — секретарь райкома привычно повесил плащ на дальний незаметный гвоздик. Это был высокий, быстрый в движениях молодой человек, с волосами, остриженными под машинку, и с улыбчивым загорелым лицом.
— Где же гости? — спросил Семен.

— У вас. В колхозе. На электростанции, наверное, — ответил Данила Иванович. Он достал пачку «Норда» и вытянул папироску зубами, чтобы не мочить ее влажными от дождя пальцами. — Им там Наташа Голубева рассказывает.
— Кто? — воскликнул Семен. — Наташа? Да что вы, Данила Иванович. Где же она их перехватила?
— Возле Хвалова. Еду я к вам. Сидим с чехословацкой учительницей… Между прочим, Василий Степанович, я тебе наказание придумал. Посажу тебя на машину и стану возить по твоим дорогам. До тех пор буду возить, пока не поймешь, что людей надо ставить на ремонт мостовой.
— Где их взять, людей? — вставил Семен.
— В твоей в строительной бригаде… Так вот, едем. Смотрю — кто-то идет обочиной. Подъехали ближе: Голубева Наташа. Полны руки пакетов. Подбородком пакеты придерживает. Остановил машину. Садись, говорю, с водителем. Она церемонится. Не садится. Ноги, видишь ли, у нее грязные…
Данила Иванович подошел к окну и посмотрел на небо, и Семен вслед за ним тоже посмотрел на небо.
— Наконец все втроем ее уговорили. Села. Учительница спрашивает: «Что, мол, девушка, у тебя за покупки?» Это, говорит, для хорового кружка. Вечером выступать будем. К нам, говорит, сегодня гости из Чехословакии приедут. Ей-богу, говорит, правда. Прямо, говорит, беда, сколько у нас из-за этого хлопот. Семен полную ночь речь составлял.
— Ну, а вы что? — с укором произнес Семен.
— Что я? Люди разговаривают, зачем мне вмешиваться? Тем более — моя соседка не хуже нас с тобой говорит по-русски. Разговорились они, словно из одной деревни. Наташа свертки стала разворачивать, покупки показывать. Всякие бусы там, платки, ленты. Наряды, в общем, для артистов. В машине до сих пор галантерейным магазином пахнет… Между прочим, Василий Степанович, почему ты комсомольцам на культработу средств не выделяешь? Или колхоз обеднел?
— Какая же это культработа, Данила Иванович, платки да бусы, — заметил председатель.
— Смотри. Тебе не только хлеб сеять. Тебе и культуру поднимать… Повернула Наташа к себе зеркальце, которое перед шофером, и стала платки примерять. Все подряд. Сперва на себя надевала, потом учительнице предложила померить. Мой Борис смеется, аж на баранку ложится. Перемерили они все, что было, и совсем подружились. Наташа спрашивает: «Что это я вас ни разу не видала? Вы в нашем городе живете?» — «Нет, — говорит учительница, — много дальше». — «Не в Москве ли?» — «Еще дальше. В селе, возле города Шахы». — «А где же такой город? На Украине?» — «Нет, не на Украине. В Чехословакии». Тут Наташа обернулась к ней, встала коленями на сиденье и говорит: «А ну, дайте честное слово».
— Ой! — сказал Василий Степанович.
— Так они хорошо разговорились, что даже Борис заслушался, чуть курицу не задавил. Учительница про своих ребят, про то, как они с малых лет на карте Москву ищут, а Наташа, конечно, про уборочную кампанию. Все сообщила: что работает на копнителе, что комбайнер ее отпустил за покупками, пока идет дождь, и что когда дождь кончится, надо бежать на поле. «Ну, — говорит, — пока до свиданья. Вон он, мой комбайн, стоит». И вижу я по глазам учительницы — жалко ей с Наташей расставаться. «Может быть, вы хотите на комбайнера посмотреть?» — спрашиваю я гостью. «Конечно, конечно!» Ну, раз такое дело — вышли мы все. Тут догоняет нас исполкомовская машина, подходят еще два чехословацких делегата. Учительница знакомит их с Наташей. Подошли к комбайну. Строгий комбайнер лежал под машиной и что-то писал. Увидев меня, сразу начал жаловаться. До сих пор, говорит, буккера не доставили. Вчера ездили без буккеров, и сегодня стерня не лущеванная. Наташа говорит: «Сейчас, Гриша, я сбегаю в тракторную бригаду, узнаю, в чем дело». Пошла она туда, а мы все за ней. Пришли в тракторную бригаду. Включили радио. Наташа вызывает контору эмтеэс, просит директора. «Кто это говорит?» — спрашивает диспетчер. «Рядовой колхозник говорит», — сказала Наташа, да так сказала, что диспетчер, видно, сильно испугался. Побежал искать директора. Минут через пять возвратился, докладывает рядовому колхознику: «Директора нет, уехал в Синегорье проверить, как установили ролики для канатной дороги на скотном дворе». —

«Что же, придется идти в Синегорье», — сказала Наташа. Вижу, делегаты перешептываются. Сели мы на машины и поехали в Синегорье. По пути ненадолго остановились, и Наташа показала ветвистую пшеницу.
— Безобразие, — проговорил Семен, у которого ветвистая пшеница была припасена для заключения экскурсии. Впрочем, он успокоился, вспомнив, что в конце гостям можно показать синегорские ясли.
— Приехали на скотный двор, — продолжал Данила Иванович. — Наташа наступает перед дверью в лунку с известью и объясняет, чтобы и мы тоже, прежде чем войти, продезинфицировали обувь. Мне что, я сапогами в известь, да и на порог. А когда учительница направилась, так сказать, по моим стопам, я подмигнул Наташе, чтобы пощадила гостей. Туфельки-то у них модельные. Наташа в момент достала где-то три пары резиновых сапог, и мы благополучно посмотрели ваших коровушек. Директора снова не нашли. Ребята, которые монтировали ролики, сказали, что он пошел на электростанцию, определять, как вести проводку на канатную передачу. Хотел я посмотреть ваших свиней, да Наташа не пустила. Говорит, у них после еды час отдыха. Потом гости и Наташа отправились на электростанцию, к директору эмтеэс, а я — к тебе, Василий Степанович…
Шлепая босыми ногами, вбежал мальчик в пионерском галстуке.
— Дядя Вася, дядя Вася, — торопливо заговорил он. — «Победа» едет. Совсем с другой стороны.
— Молодец, — сказал Василий Степанович, посмотрел на Семена, на мальчика с мокрыми волосами и вдруг рассмеялся.
— Что ты приуныл, Семен, — продолжал председатель колхоза. — Выходит, из всех наших с тобой чудес самое большое чудо — Наташка.

10

Дождь кончился. Небо просветлело, и между Синегорьем и Поддубками встала большая нежная радуга.
Мы пошли на электростанцию и застали там только директора МТС и механика. Директор сказал, что Наташа торопилась на работу и, кажется, повела гостей показывать ясли, Семен нахмурился и снова проговорил: «Безобразие».
Ясли были расположены почти в середине деревни, в кирпичном доме, выкрашенном прямо по кирпичу голубой краской. Как только мы вошли в раздевалку, сразу стало ясно, что гости здесь: возле вешалки стояло три пары резиновых сапог.
— Часто товарищам приходится переобуваться, — заметил Василий Степанович.
Перед тем как войти в комнаты, полагалось надеть халат и туфли. Туфель было сколько угодно, а халат остался только один, да и то какой-то коротенький, в ржавых пятнах. Пока Семен затягивал тесемки на рукавах единственного халата, а мы с Данилой Ивановичем упрашивали дежурную сестру пропустить нас в собственной одежде, нетерпеливый Василий Степанович дернул дверь.
Как только дверь распахнулась, с порога на ноги председателю колхоза упал рыжий толстощекий мальчик. К счастью, Василий Степанович успел подхватить его. Он поднял мальчика на руки и стал цокать языком, опасаясь рева. Но маленький житель Синегорья и не думал плакать. Сильно откинувшись назад, он внимательно осмотрел лицо Василия Степановича и сказал:
— Татути.
Председатель озадаченно молчал.
— Здравствуйте, — ответил за него Данила Иванович.
Мальчик так же внимательно осмотрел секретаря райкома и проговорил:
— Мама поехата на потутоте.
— Неужели на полуторке! — удивился Данила Иванович.
Мы вошли в правую комнату. По полу был разостлан ковер, на котором изображалась сцена единоборства Геракла со львом. На стенах, настолько высоко, чтобы до них не дотянулись ребята, висели картонные зайчики в штанишках. Человек тридцать длинноволосых, стриженых, кудрявых, белокурых и чернявых мальчиков и девочек ползали и ходили по комнате. На полу валялись кубики, пирамидки из разноцветных колец, целлулоидные звери и куклы.
Все ребята были заняты делом.

Карапуз с черными, как арбузные семечки, глазами сосредоточенно выкладывал из кубиков столбик, а его приятель сосредоточенно, почти не дыша, следил за его работой. Девочка с мягкими-мягкими льняными волосами, вьющимися в колечки, сидела на ковре, тыкала пальчиком в глаз Геракла и радостно твердила: «Дядя! Дядя!» Впервые за много дней пребывания в этой комнате она увидела, что на ковре изображен именно дядя, и в восторге, что никто еще во всем мире не знает этого, она смотрела вокруг своими удивленно-восторженными ясными глазенками и искала кого-нибудь, кто порадовался бы ее открытию. Но взрослые на цыпочках прошли вдоль стены, стараясь ничего не задеть, и ушли в другую комнату.
В другой комнате находилась спальня.
Здесь царил полумрак. Тонкие полоски света проникали сквозь неплотно закрытые ставни, изображая на стене неясные, призрачные отражения деревьев, домов, проплывающих по улице людей. Четыре человека, казавшиеся возле непривычно маленьких детских кроваток очень высокими, стояли в дальнем углу.
Спиной к нам, молча опустив голову, стоял широкоплечий мужчина с блестящими даже в сумраке волосами, в халате, надетом задом наперед. Худощавая женщина быстро и беспокойно говорила что-то на незнакомом языке своей подруге. А ее подруга плакала. Она плакала, сжав кулак правой руки, и по кулаку было видно, с какой силой она старается сдержать слезы.
Почему-то я сразу догадался, что это и есть учительница, с которой Наташа познакомилась в машине. Ей было лет сорок — сорок пять, но по лицу ее, с высоким чистым лбом, по тонким темным бровям и широкому подбородку легко угадывалось — какой эта женщина была в двадцать лет.
Наташа смотрела на нее растерянно и испуганно.
Все они стояли возле маленькой кроватки, в которой спала девочка. Остальные кроватки были пусты, и только на одной спала девочка в этой темной комнате. Девочка лежала раскинувшись, и была такая полненькая и плотненькая, что казалось, ножки у нее составлены из нескольких отдельных частей, как у целлулоидных кукол, которых мы видели в соседней комнате. Девочка спала, чуть высунув язычок и тихонько посапывая во сне.
Василий Степанович открыл рот, чтобы позвать Наташу, но Данила Иванович предостерегающе положил на его плечо руку.
Увидев нас, Наташа еще больше растерялась.
— А вот здесь кроватки для тех, кто побольше… — проговорила она, и плачущая женщина, все так же сжимая кулак, кивнула головой.
Мужчина стоял неподвижно, опустив голову, и мне была видна его жилистая шея и черные блестящие волосы.
— Эти кроватки для двухлеток, для трехлеток, — говорила Наташа, растерянно поглядывая на нас, — а вон те, на той стороне, с полозками, для грудных, чтоб укачивать. Вот так вот: а-а-а-а…
Наташа поправила маленькую подушку. Женщина снова кивнула, но рыдания стали сильнее рваться из ее груди.
— Вот так вот… — говорила Наташа дрожащим голосом. — А-а-а…
И вдруг она тоже заплакала.
— Откройте хоть ставни, — сказал Василий Степанович, не зная, что делать. — Наташа, что ты?
Наташа посмотрела на него мокрыми глазами и выбежала из комнаты.

11

Вечером я собрал вещи и в последний раз окинул взглядом комнату для приезжающих, которая давно перестала казаться мне скучной и неуютной. Поезд отходил в двадцать один час пять минут, а мне надо было еще найти в Поддубках председателя, отметить в командировке число выезда и километров двадцать ехать до станции.
Вот так всегда: поживешь недели две-три, увидишь кусок незнакомой жизни, наполненной трудом и любовью, радостями и горестями, интересной в самых малых мелочах, привыкнешь к новым людям, — и только начнешь в чем-нибудь разбираться, надо уезжать

на новое место. Как будто прочитал несколько выхваченных из середины страниц интересной книжки, а так ничего и не знаешь, ни конца, ни начала…
По пути я встретил Семена. Он предложил мне помочь нести вещи и, сколько я ни упирался, все-таки отобрал треногу теодолита. В шелковой рубашке с отложным воротником и в брюках в полоску он был похож на дачника. Ему все-таки удалось показать гостям хозяйство колхоза как следует, в том порядке, который он выработал, но, несмотря на это, бригадир строительной бригады был не в духе. Полного впечатления гости от экскурсии не получили, потому что многое смотрели во второй раз, а на участок ветвистой пшеницы и вовсе не захотели идти. К тому же учительница все время была печальна, и развлечь ее ничем не смогли. Прямо с поля все они поехали в Поддубки, а Семен решил пройтись пешком.
Мы молча спускались с холма. Внизу, на самом дне оврага, была устроена запруда, и там с низких дощатых мостков поддубенские женщины по утрам полоскали белье. У запруды я заметил Наташу. Только что кончилась ее смена, и она умывалась, засучив почти по плечи рукава блузки.
Через ручей можно было перейти или по мосткам, на которых стояла Наташа, или по камню, лежащему посреди ручья значительно выше по течению. Семен повернул к камню. Когда мы сошли к самой подошве откоса, он спросил:
— Наташа нас видела?
— Конечно.
— Тогда пойдем к ней. А то и так она теперь думает, что на нее весь свет злой. Пойдем запрудой.
Мы пошли вдоль говорливого ручейка и вскоре снова увидели Наташу. Она умылась и сидела теперь, крепко упираясь о доски ладонями. Красивые руки ее, с шершавой кожицей на локтях, дочерна загорели, и на правой руке виднелась длинная белая царапина. Задумавшись, Наташа тихонько шевелила погруженными почти по колена в воду ногами, и от полукруглых волн разбегались в стороны черные водяные жучки.
Наши тени легли на воду. Наташа перестала болтать ногами.
— До свидания, Наташа, — сказал я. — Уезжаю.
— Счастливо, — ответила она, не поднимая головы.
Семен молча следил за солнечными зайчиками, от которых дно запруды казалось цинковым.
Вода сливалась поверх прогнивших в торцах, заляпанных зеленой плесенью досок тонкими, осторожными струйками, словно процеживаясь. В маленькой заводи скапливались сонные соломинки, веточки, семечная шелуха, и на дне ее отчетливо виднелась оброненная кем-то шпилька.
— Комбайн работал? — спросил, наконец, Семен.
— А как же.
— Много наработали?
— Еще не мерили.
— Больше вчерашнего?
— Не знаю.
Помолчав немного, Семен спросил:
— Почему ты на меня сердишься?
— Надо было гостей принимать, раз тебе поручено.
— Вот так здравствуйте!
— Конечно, — Наташа взглянула на него снизу вверх. — Надо было выйти на дорогу и ждать. Я ведь им ничего и не показывала. Я директора эмтеэс искала, а они со мной ходили. И больше ничего… А уже потом, вижу — нет никого, я и повела их в ясли. Я хотела как лучше, Сеня, чтобы им веселей было…
— Ну, ну, ну, — сказал Семен, увидев по ее подбородку, что она собирается плакать.
— А чем я эту женщину расстроила, убей, не знаю. Хочешь верь, хочешь не верь. Такая хорошая женщина. Чем я ее обидела? Стою на копнителе, солому ворошу, а сама реву да реву. Теперь хоть домой не ходи…
— Ничем ты ее не обижала, — Семен погладил Наташу по плечу. — У нее мужа убили. И ребенка убили.

— Где?
— Мужа в гестапо. В сорок втором. А ребенка… ребенка, считай, в кроватке… В сорок пятом. В таких же вот, как у нас, яслях. Когда она мне это рассказала, я рот раскрыл. Ведь это я, Наташа, своими глазами видел. Наша дивизия через тот городок проходила. Иду по улице со своими солдатами, думаю — что такое? Домик стоит — видно, ясли. Женщины бегают, хватают из зыбок кто что, кто — простынку, кто — подушку маленькую. На память, что ли, не знаю… Кричат. Плачут.
— Куда же ребятишки делись? — спросила Наташа.
— А фашисты их с собой взяли. Большие попрятались, не хотели с фашистами эвакуироваться, так они надумали в отместку детей из яслей забрать. Дескать, за ними и матери побегут… Окружили нас женщины, руками машут, просят, чтобы догнали…
— Эта учительница тоже там была?
— Может быть, и была. Может быть, мы тогда друг друга видели. Разве теперь вспомнишь?
— Догнали, Сеня, фашистов?
— Догнали. Окружили. Да все равно душегубы всех гражданских поубивали. И стариков, и ребятишек, и младенцев. Звери. — Лицо Семена сделалось серым, некрасивым.
— Зачем же они младенцев поубивали?
— Душегубам, Наташа, младенцы страшней стариков. Младенцы-то, они вырастут. Ответа спросят.
На откосе холма показался мальчик в пионерском галстуке. Он вприпрыжку бежал к нам в пиджаке, увешанном орденами и медалями. Пиджак был настолько длинен, что из-под него мелькали только голые ноги мальчика, а коротких штанишек вовсе не было видно.
Мальчик подбежал к Семену и выпалил:
— Сеня, тебе Василий Степанович велел сейчас же в правление приходить во всей форме.
Коротко звякнув серебром медалей, Семен накинул пиджак на себя и сразу превратился из дачника в стройного, боевого парня.
— Ладно, иди, — сказал он сумрачно. — Я сейчас.
Мальчик побежал обратно.
— Ничем ты эту женщину не обидела, — продолжал Семен, обращаясь к Наташе. — Все ты делала правильно. А она увидала пустые кроватки, и все ей вспомнилось. А ты ничего не понимаешь…
Он снова погладил Наташу по плечу и спрятал руку в карман.
— Понимаю, Сеня, понимаю…
— Хотя да. Это ты, наверное, понимаешь. И про ветвистую пшеницу хорошо гостям рассказала. Пока я с ними ходил, они все время про тебя расспрашивали. Конечно, ты правильная девушка…
— Ну да уж, правильная, — Наташа покраснела от удовольствия.
Вдруг она встала, взялась за треногу, которую Семен придерживал левой рукой, и спросила:
— А больше не будет войны, Сеня?
— Не будет! — твердо ответил Семен.
— Правда, не будет?
— Не будет.
— И у них, в Чехословакии, не будет?
— И у них не будет.
— Не нападут на них фашисты?
— Не нападут. Не дадим разбойничать. Хватит.
Он посмотрел вокруг. На синем небе покойно висели облака. Вдоль ручья зигзагами летали ласточки. Издали доносился равномерный шум трактора, похожий на стук швейной машины. Там ходил Гришин комбайн. Едва слышным, резко прерывающимся комариным зуденьем со строительства птицефермы доносился звук циркулярной пилы. На канале два раза протяжно прогудел пароход. Казалось, во всем мире, от края до края спокойно и без тревог работают люди.
— Я ведь и правда все понимаю, Сеня, — тихо заговорила Наташа. — И зачем к нам гости из-за границы приезжают, тоже понимаю. Трумэн пугает своих рабочих, обзывает нас агрессорами, а боится послать их поглядеть, какие мы.

— Это верно, боится, — сказал Семен. — Ему там, у себя дома, лучше говорить, что ты, Наташа, агрессор…
Он потрепал ее белокурые волосы и снова спрятал руку в карман.
Наташа улыбнулась, но, заметив, что Семен сделал движение уходить, схватила его за полу пиджака и испуганно проговорила:
— Обожди, Сеня!
«Если ты, Сеня, сейчас пойдешь, то я пойду за тобой, — читал я в ее глазах, — и стану говорить то, что ты ждешь от меня, стану говорить это при чужом человеке, и мне ни чуточки не будет стыдно».
— Что тебе, — растерянно спросил Семен, прочитав в глазах ее то же, что и я.
— Обожди, — повторила Наташа, дыша так, словно только что сбежала с откоса.
Я поднял чемодан и ящик с теодолитом, взял под мышку треногу и пошел отмечать командировку.
— Я вас сейчас нагоню, — смущенно проговорил вслед мне Семен.
Я поднялся наверх. Шум трактора стал слышнее. Ровная лента канала блестела, как сталь. Навстречу бежал мальчик в пионерском галстуке.
— Ты куда? — спросил я его.
— За Семеном.
— Подожди!
— А что?
— Да подожди!
— А что?
— Не беги так быстро. Устанешь!
Мальчик только свистнул и скрылся за гребнем холма.
12
Возле правления стояла приготовленная для меня полуторка, и шофер пинал ногами задние скаты. Скаты звенели, как стеклянные. Председатель колхоза был у Наташиных родителей. Когда я вошел в горницу, то, кроме Василия Степановича, увидел там и чехословацких гостей, и Данилу Ивановича, и Героя Социалистического Труда Лену Дементьеву. Все они сидели у стола, накрытого голубой скатертью, и Наташина мать показывала гостям семейные фотографии. Судя по карточкам, родственников у Федора Игнатьевича было великое множество.
— А это свекор, — говорила Наташина мать, показывая учительнице фотографию в желтых пятнах. — Такая тогда форма была у Красной Армии. У Котовского служил. Может, знаете Котовского? Федор, какая у Игната Васильевича от Котовского награда была: часы, кажется, с надписью? Это мой двоюродный дядя. Его кулаки убили. А это золовка, сейчас машинистом на электровозе. А вот это Федор, в Сочи, в санатории. Вон он сбоку стоит, в панамке, вон он, вон он, черный, как негр… Ну, а эту и показывать совестно. Это я еще невестой, а рядом — Федор. Заревновала я его с чего-то, да глаза ему зачернила. Так и лежит с тех пор эта карточка, память о моей дурости.
Учительница перевела своим спутникам эти слова и улыбнулась, но тень печали все еще лежала на ее строгом лице.
И тут я понял, что все эти сердечные люди неспроста показывают фотографии, а стараются развлечь гостью, стараются развеять ее большое, хорошо понятное им горе.
— Вот нашу Феню, заведующую птицефермой, в прошлом году для газеты снимали. — Наташина мать держала грубо ретушированную для клише фотографию. На снимке была изображена Феня, стоявшая возле птицефермы, которую при мне разбирали.
— Эту ферму, считайте, она сама, своими руками построила. Народу не хватало, так она и водопроводчиком, и монтером, и столяром работала. На все руки мастерица. Эту карточку она в редакции выпросила, а Наташа у ней отобрала. Дружат они с Наташей. И хорошо. Подходящая дружба… А вот это Федор сохранил.
Наташина мать протянула учительнице ветхий, пожелтевший листок старого отрывного календаря. На нем с трудом можно было разобрать написанные карандашом слова: «Родилась дочка, 4 часа утра». Судя по листку календаря — день был ничем не примечательный. В этот день в 1933 году группа грузинских альпинистов совершила

восхождение на вершину Казбека, а долгота дня была четырнадцать часов одиннадцать минут. На обороте сообщалось, как из сои приготовить десять питательных блюд.
— А вот еще листочек, — сказал Федор Игнатьевич, — когда она в первый раз выговорила «мама»…
На лицевой стороне этого листка была изображена диаграмма роста погрузки на железных дорогах в двухосном исчислении, а на оборотной напечатана антирелигиозная басня Демьяна Бедного.
— А вот это мой младшенький, Андрейка, — сказала Наташина мать. — В яслях снимали…
— Вон что! В яслях! — Лена укоризненно посмотрела на нее и сунула карточку в общую кучу. — Повеселей что-нибудь покажи.
Улучив минуту, я подошел к Василию Степановичу. Он достал из кармана кисет, вынул из него круглую печать, хрипловато дыхнул на нее, положил командировочный бланк на свою широкую морщинистую ладонь и в графе «выбыл» оттиснул название сельскохозяйственной артели. Потом подписал свою фамилию, предоставив мне самому написать число отъезда.
Добрый старик сделал это не из-за лени, а для того, чтобы лишний раз показать мне свое доверие.
Лена и Данила Иванович просили меня погостить денек, побывать на вечере. Мне и самому хотелось остаться, но впереди ждала меня срочная работа. Я обошел всех и попрощался. И когда я прощался с чехословацкой учительницей и она в первый раз взглянула на меня, я понял, как нужно ей, чтобы ее утешили, и как трудно ее утешить.
Я вышел на улицу. Солнце спряталось за облака. Приближался сумрачный, грустный вечер. На душе было тоскливо, — может быть, потому, что на меня взглянула давно забытая мной печаль умных материнских глаз, а может быть, потому, что приходится снова уезжать от людей, к которым привык… Хорошо бы остаться еще на денек, увидеть солнечное небо, светлое лицо чехословацкой учительницы, узнать, сговорились ли все-таки Семен и Наташа, да выведать — кто же в конце концов сочиняет поддубенские частушки. Хорошо бы, да некогда.
Я забрался в кабинку. Шофер нажал стартер. И в эту минуту послышался счастливый голос Наташи.

Я любила, ты отбила,
Я не суперечила.
Не надолго ты отбила,
Только на три вечера! —

пела Наташа, и я понял, что мальчик не успел помешать ее разговору с Семеном и они обо всем договорились.
— Подождите минутку, — сказал я шоферу.
Он недоуменно взглянул на меня и выключил зажигание. Между облаками проглянуло солнце, и сразу словно рассвело вокруг.

То в Тамбове, то в Мытищах
Наша Валька счастье ищет.
А чего его искать —
До него рукой достать! —

снова послышался задорный, какой-то улыбающийся голос. В избе Федора Игнатьевича отворили окно. И я отчетливо представил, как светлеет лицо чехословацкой учительницы, как слетает с ее души тяжелое горе и покойная радость начинает светиться в ее серых глазах и Федор Игнатьевич потихоньку собирает со стола ненужные больше фотографии…
— Вы забыли что-нибудь? — спросил шофер. — Уже девятый час…

— Да, да, поехали… — торопливо проговорил я.
Машина тронулась, Наташа снова запела, но слов уже было не разобрать.
Так я и не узнал, кто в Поддубках сочиняет частушки. Впрочем, мне кажется, сочиняет их и Наташа, и Люба, и Феня, и незнакомая мне подруга Наташи, а может быть, даже и Семен. Может быть, начало какой-нибудь частушки придумала Наташа, а конец — Люба.
Наверное, так и есть.
Но все-таки всегда, когда я теперь слышу коротенькие запевки, мне сразу вспоминается голубоглазая девушка, которой, стоит только протянуть руку, — и она дотронется до счастья.

Примечания

СОБОЛЕВ Леонид Сергеевич
(1898–1971). Ночь летнего солнцестояния. Впервые: Новый мир, 1941, № 9–10. Морская душа (Из фронтовых записей). Впервые (весь цикл): Новый мир, 1942, № 10. Печатаются по изданию:
Соболев Л
. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1972.

ГАЙДАР (Голиков) Аркадий Петрович
(1904–1941). Мост. Впервые: Комс, правда, 20 авг. 1941. Печатается по изданию:
Гайдар А.
Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1961.

ЛАВРЕНЕВ Борис Андреевич
(1891–1959), Подвиг. Впервые: альм. Залп. Ташкент, 1942. Чайная роза. Впервые: Красный флот, 1943, 10 янв. Печатаются по изданию:
Лавренев Б.
Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1964.

ШОЛОХОВ Михаил Александрович
(1905–1984). Наука ненависти. Впервые: Правда, 1942, 22 июня. Печатается по изданию:
Шолохов М.
Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1960.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич
(1883–1945), Рассказы Ивана Сударева. Впервые: Красная звезда, 1942, 14 авг. («Ночью в сенях на сене», «Как это началось»); 1942, 16, 22, 28 авг. («Семеро чумазых», «Нина», «Странная история»); 1944, 7 мая («Русский характер»). Печатаются по изданию:
Толстой А.
Собр. соч.: В 10-ти т. Т. 10. М, Худож. лит., 1961.

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович
(1909–1984): Март — апрель. Впервые: Новый мир, № 7, 1942. Печатается по изданию:
Кожевников В.
Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1969.

СИМОНОВ Константин Михайлович
(1915–1980). Третий адъютант. Впервые: Красная Звезда, 1942, 15 янв. Свеча. Впервые: Красная Звезда, 1944, 30 дек. Печатаются по изданию:
Симонов К.
Собр. соч.: В 10-ти т. Т. 2. М: Худож. лит., 1980.

КАТАЕВ Валентин Петрович
(1897–1986). Флаг. Впервые: Правда, 1942, 19 марта. Печатается по изданию:
Катаев В.
Собр. соч.: В 9-ти т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1968.

СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ (Сергеев) Сергей Николаевич
(1875–1958). В снегах. Впервые: Красноармеец, 1942, № 22. Старый врач. Впервые: Красная новь, 1942, № 8. Печатаются по изданию:
Сергеев-Ценский С. Н.
Повести и рассказы: В 2-х т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1955.

ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич
(1908–1954). Алексей Куликов, боец. Впервые: Правда, 1942, 3, 5, 6, 8, 9 окт. Рассказы о солдатской душе. Впервые напечатаны отдельной книгой: М.: Сов. писатель, 1943.
Печатаются по изданию:
Горбатов Б.
Собр. соч.: В 5-ти т. Т. 4, 2. М.: Худож. лит., 1956.

ТИХОНОВ Николай Семенович
(1896–1979). Весна. (Из цикла «Ленинградские рассказы»). Впервые (весь цикл): Правда, 1942. Печатается по изданию:
Тихонов Н.
Собр. соч.: В 7-ми т. Т. 4. М.: Худож, лит., 1972.

СЛЕЗКИН Юрий Львович
(1885–1947). Старики. Впервые (предположительно):
Слезкин Ю.
Воспитание характера. М.: Правда, 1942. Печатается по этому изданию.

ФЕДИН Константин Александрович

(1892–1977). Мальчик из Семлёва. Впервые: Краснофлотец, 1943, № 4. Печатается по изданию
Федин К.
Собр. соч.: В 12-ти т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982.

БАЖОВ Павел Петрович
(1879–1950). Иванко Крылатко. Впервые: Челябинский рабочий, 1942, 4 апр. Живинка в деле. Впервые: Красный боец, 1943, 17 окт. Васина гора. Впервые: Молодой колхозник, 1946, № 1. Аметистовое дело. Впервые: Уральский рабочий, 1947, 1 мая. Печатаются по изданию:
Бажов П. П.
Соч, В 3-х т, Т, 2. М.: Правда, 1976.

ПЛАТОНОВ (Климентов) Андрей Платонович
(1899–1951). Одухотворенные люди (Рассказ о небольшом сражении под Севастополем). Впервые (под названием «Одушевленные люди»): Знамя, 1942, № 11. Неодушевленный враг. Впервые: Лит. Россия, 1965, 7 мая. Афродита (рассказ написан предположительно в 1944–1945 гг.). Впервые: Сельская молодежь, 1962, № 2. Возвращение, Впервые: Новый мир, 1946, № 10–11 (под названием «Семья Иванова»), Печатаются по изданию:
Платонов А.
Собр. соч, В 3-х т, Т, 3, М; Сов, Россия, 1985.

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович
(1895–1963), Близ Старой Смоленской дороги. Впервые: Октябрь, 1943, № 8–9. Печатается по изданию:
Иванов В.
Собр. соч.: В 8-ми т. Т, 5. М.: Худож. лит., 1975.

СЕРАФИМОВИЧ (Попов) Александр Серафимович
(1863–1949). Веселый день. Впервые: Красная звезда, 1943, 14 янв. Юная армия. Впервые: Краснофлотец, 1943, № 11 (под названием «Ребята»). Печатается по изданию:
Серафимович А. С.
Избр, произв. М.: Худож, лит., 1976.

ПРИШВИН Михаил Михайлович
(1873–1954). Голубая стрекоза. Впервые: сб. Вперед, за нашу победу! ОГИЗ, 1941. Соловей (Рассказы о ленинградских детях). Впервые (весь цикл): Новый мир, 1944, № 1–2. Старый гриб. Впервые: Красноармеец, 1945, № 18. Печатаются по изданию:
Пришвин М. М.
Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 4. М.: Худож. лит., 1957.

АСАНОВ Николай Александрович
(1906–1974). Человек из Минска. Впервые: Красная звезда, 1944, 14 мая. Печатается по изданию:

Асанов Н.
Огненная дуга. М.: Воениздат, 1968.

ШИШКОВ Вячеслав Яковлевич
(1873–1945). Дед Андрей. Впервые: Краснофлотец, 1943, № 5–6. Буря. Впервые: Краснофлотец, 1944, № 7. Печатается по изданию:
Шишков В. Я.
Собр. соч.: В 10-ти т. Т. 3. М.: Правда, 1974.

ГЛАДКОВ Федор Васильевич
(1883–1958). Маша из Заполья. Впервые: сб. Клятва. М.: Сов. писатель, 1944. Печатается по изданию:
Гладков Ф.
Собр. соч.: В 8-ми т. Т, 5, М.: Худож. лит., 1959.

НИКОЛАЕВА (Волянская) Галина Евгеньевна
(1911–1963). Гибель командарма. Впервые: Знамя, 1945, № 10 (с подзаголовком «С.Т.С. № 42»
[5]
). Печатается по изданию:
Николаева Г.
Собр, соч.: В 3-х т. Т, 3, М.: Худож. лит., 1973.

НАГИБИН Юрий Маркович
(р. 1920). Ваганов. Впервые: Знамя, 1946, № 5–6. Печатается по изданию:
Нагибин Ю.
Собр, соч.: В 4-х т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1980.

ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович
(1910–1971). В родных местах. Впервые: Известия, 1945, 21 и 23 ноября. Печатается по изданию:
Твардовский А. Т.
Собр. соч.: В 6-ти т, Т, 4. М.: Худож. лит., 1978.

ЛИДИН Владимир Германович
(1894–1979). Братство. Впервые: Смена, 1946, № 1–2. Печатается по изданию:
Лидин Вл.
Избранное. М.: Сов. писатель, 1948.

СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна
(1889–1954). Ночной разговор. Впервые: Огонек, 1946, № 29. Печатается по изданию:
Сейфуллина Л. Н.

Соч.: В 2-х т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1964.

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич
(1892–1968). Дождливый рассвет. Впервые в журнале «Ленинград», № 13, 1945.
Телеграмма. Впервые: Огонек, 1946, № 8. Печатаются по изданию:
Паустовский К.
Собр. соч.: В 10-ти т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1983.

ВИРТА Николай Евгеньевич
(1906–1976). Вечерние тени. Впервые: Огонек, 1947, № 22. Печатается по изданию:
Вирта Н
. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 4. М.: Худож. лит., 1982.

ОВЕЧКИН Валентин Владимирович
(1904–1968). Рекорды и урожай. О людях «без стельки». Впервые опубликованы в 1948 г.
Печатаются по изданию:
Овечкин В.
Избр. произв.: В 2-х т. Т. 1. М, Худож. лит., 1963.

ПОЛЕВОЙ (Кампов) Борис Николаевич
(1908–1981). Мы — советские люди. Впервые: Октябрь, 1948, № 1, Печатается по изданию:
Полевой Б.
Собр. соч.: В 9-ти т. Т, 2. М.: Худож. лит., 1984.

ВЕРЕСАЕВ (Смидович) Викентий Викентьевич
(1867–1945). Ehthymia. Впервые:
Вересаев В.
Соч.: В 4-х т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1948. Печатается по изданию:
Вересаев В. В.
Соч.: В 2-хт, Т, 2. М.: Худож. лит., 1982.

АНТОНОВ Сергей Петрович
(р. 1915). Поддубенские частушки
(Из записок землеустроителя).
Впервые: Огонек, 1950, № 38, 39, 40, 41. Печатается по изданию:
Антонов С.
Избранное. М.: Молодая гвардия, 1954.

Примечания

1

Как исключение — лишь те случаи, когда несколько произведений одного писателя целесообразнее было объединить, независимо от времени публикации. Кроме того, несколько рассказов, дающие более полное представление о творчестве некоторых писателей в тот период (в частности, А. Платонова), включены в антологию по времени их написания, хотя опубликованы они были гораздо позже
(см. примечания).

2

Безнадежно, очень плохо!
(лат.)

3

Яд.
(лат.)

4

СТС — санитарно-транспортное судно.

5

Санитарно-транспортное судно № 42.